

Vtriusque Linguae Grammaticorum
Academiae Moscouiensis Elisabethanae Lomonosouiana Stationis
Socii et Alumni

AZAE TACHO-GODI ALIBECI F. suae,

Vtriusque Linguae Profestrici,
salutem plurimam dicunt.

Cum multo iam tempore felicitate ista fruimur, tale tantumque ingenium dignitatemque grauissimam non solum saepius inter nos uidendi uerum etiam tecum identidem ac maximo semper cum emolumento colloquendi atque consiliis pulcherrimis utendi, mirari tamen non desistimus tali te strenuitate alumnorum numerosissimos greges docere, tanta doctrinae ubertate atque acumine libros commentationesque utilissimas conscribere, tanta denique pietate coniugis tui clarissimi memoriam tum scriptis tum orationibus, tum etiam multis et uariis inceptis colere.

Te igitur nunc anno hoc iubilaeo completo uidentes quid facere possumus, quam ut imo corde tibi hunc diem laetissimum gratulemur? quid exoptare restat, quam ut eadem qua soles strenuitate opera tua magnificentissima pergas eademque ut soles dignitate excellas, praecipue uero ut etiam atque etiam quam optime ualeas.

Collegae Discipuli Amici



Στηρίξασα νόον σεμνῆς ἐνὶ πίστιος ἔδρη
Ἐς γενεὰς θεϊκῆς σοφίης σπινθῆρα φυλάσσεις

МНОГАЯ ЛЕТА!

Среди разных образов времени, созданных людским воображением, самым распространенным следует, пожалуй, признать тот, которым поражает читателя наш отечественный сразу и Пиндар и Анакреонт, Гаврила Романович Державин: разумею всем памятную реку времен, которая все уносит и топит, поддерживаемая в своем всегубительном порыве прожорливой вечностью. Конечно, мы можем тут же вспомнить и Плотина, назвавшего время жизнью души, или Хайдеггера, для которого лишь в виду времени уловимо бытие, но образ реки времен и тогда не померкнет, а призовет на помощь не только стоиков и самого Платона с его движением времени, отображающим вечность, но и множество поэтов, писателей и прочих сочинителей из самых разных стран и эпох. Я же вспоминаю об этом образе потому только, что опыты моей жизни позволили мне опознать и выделить тех, кто словно изъят из этого мощного и неудержимого тока реки времен, причем не то чтобы совсем исторгнут из него, нет, но и подверженный ему, неким непостижимым способом принуждает это всеобщее течение тесниться, сторониться, отступать и нехотя признавать свою беспомощность.

Первый образ такого человека возник у меня по рассказам, причем я, должно быть, по нерадивости, никогда не пытался эти рассказы записать и как-то их уточнить или проверить. Так вот, как помнится по рассказам, таким сказочным героем, неподвластным течению времени, мне со студенческих лет представлялся Сергей Иванович Соболевский с его невероятным распорядком дня (шесть часов спит, шесть работает: с полуночи до шести утра занимается наукой, с полудня до шести вечера преподает), с его жизнью в огромной пятикомнатной квартире, заполненной книгами по классической филологии и хранящей все, что выходило до 1918 года: эту квартиру обошли все волны уплотнений и прочих революционных притеснений и преобразований, и это было тем более поразительно и непостижимо, что Сергей Иванович всю жизнь был человеком православным и монархистом и не скрывал этого, что не мешало ему оставаться профессором Московского университета и стать член-корреспондентом Академии наук СССР; а не стало Сергей Ивановича и вдруг – все расточилось и исчезло, и река времен следа не остави-

ла от его великолепной библиотеки, уплывшей неведомо куда из-под пригляда трех мощнейших учебно-научных советских институций, – как все это держал в сохранности старец уже под сто лет?

Второй пример совсем не сказочный, а совершенно живой и близкий. Когда мы в 1990 году организовали курсы древних языков при только что созданном *Греко-латинском кабинете*, нас очень поддерживал петербургский профессор Александр Иосифович Зайцев. Мы попросили его провести у нас на курсах лекции по истории греческого языка, и Александр Иосифович согласился. Он приехал к нам в январе 1991 года, и по всему было видно, что только невероятно развитое чувство долга и некое общее благорасположение к предпринятой нами затее побудили его к этому шагу, потому что в глубине души Александр Иосифович никак не был уверен в успехе предложенного ему лекционного курса. Но заинтересованная и в известной части весьма профессиональная аудитория очень быстро растопила недоверие Александра Иосифовича к москвичам: занятия шли успешно, и вопрос о продолжении лекций был тут же решен положительно. Закончив свой первый недельный январский курс, Александр Иосифович сказал: «Следующее занятие состоится 1 июня в 11 часов». Кто помнит 90-е годы, бесконечные крушения, разрушения, гибель всех властных, военных, административных, финансовых и прочих еще совсем недавно казавшихся незыблемыми структур прежнего коммунистического режима, все, кто пережил это, поймут, что столь смелый план на полгода вперед вызвал у самых больших оптимистов известное недоверие. Но кризисы, распады, инфляции, дефолты и вся неразбериха того времени были совершенно бессильны против решения Александра Иосифовича продолжать свой курс по исторической фонетике, а затем и морфологии древнегреческого языка: назначенное за полгода занятие состоялось, и потом эти встречи дважды в год неукоснительно и неотменно продолжались вплоть до болезни Александра Иосифовича, прервавшей наши занятия, которые и завершились затем только в связи с его кончиной. Филолог-классик, практикующий католик, монархист, нежнейшей любовью любивший Российскую империю последних десятилетий ее существования, Александр Иосифович был и остается для меня уже совершенно живым примером человека, явственно неподвластного течению реки времен, которой прихо-

дилось считаться с его университетским расписанием и возможностью совмещать служебные обязанности петербургского профессора с лекциями в частном московском учебном заведении.

Эти два примера важны для меня еще и потому, что оба предполагают некую укорененность человека в бытии, никак непосредственно не связанную с его образом мысли и жизни, поскольку эти образы могут быть разными. Конечно, и Сергей Иванович, и Александр Иосифович были филологами-классиками, но это объясняет только то, почему я знал об одном и долгие годы общался с другим. Но, вспоминая их сейчас, я размышляю, разумеется, об Азе Алибековне, а также о том, что хотя и Аза Алибековна блистательно представляет все то же не слишком великое, но все ж и отнюдь не малое племя филологов-классиков, не этим определяется ее принадлежность к числу тех, с кем река времен вынуждена считаться и кого она неким неведомым способом обходит в своем течении.

Как и чем объяснить эту по сей день существующую возможность не только приходить в дом, где по адресу Арбат 33, кв. 20 жил Алексей Федорович Лосев, и заставать там ту же комнату, те же шкапы с книгами, картины, фотографии, отмечать все усовершенствования подъезда и квартиры, но осознавать, что благодаря Азе Алибековне сохранилось само сердце этого места? Кто не посягал на этот дом, кто не брался его опекать, кто не обещал помочь! Как было пережить эти годы одичания и брожения Москвы, все метаморфозы ее центра, в частности, все алчные покушения на Арбат, как было укротить это время, когда уличные перестрелки были обычным делом, а любые здания и территории, любые ремонты и строительство требовали немыслимых средств и поистине всемогущих связей? Да, конечно, кто-то и опекал, и кто-то поддерживал, но бурное течение времени явственно останавливалось только перед самой Азой Алибековной.

Нет, я менее всего сомневаюсь, что имя Алексея Федоровича уже стало широко известным, и наша классическая филология, видимо, вызывала чье-то пусть и стороннее, но все же уважение. И я ни на минуту не забываю, сколь многочисленным был отряд помощников, поддерживавших идею сохранения лосевского наследия. Но, вспоминая то время, я не могу назвать других прецедентов, когда такого рода ценности побуждали уступать собственность или делиться недвижимостью. И сам этот ремонт дома, где жил Лосев, капитальнейший ре-

монт, во время которого была сохранена его квартира с библиотекой и обстановкой, и само преобразование дома, где жил Лосев, в Дом Лосева, и памятник русскому философу Лосеву во дворе этого живущего новой жизнью дома, – все это для меня столь же неоспоримые свидетельства той загадочной власти над потоками самых бурных времен со стороны Азы Алибековны, которая позволяла и Александру Иосифовичу приезжать к нам в течение многих лет и начинать очередную лекцию ровно в те день и час, которые он сообщал за полгода.

Когда я впервые увидел памятник Алексею Федоровичу в день его открытия, я подумал, что ну просто невероятно похож, особенно в определенном ракурсе: так Алексей Федорович иной раз выглядел, когда задумывался и замолкал, переставая диктовать. И только потом я постепенно осознавал, в чем было главное сходство: Алексей Федорович думает, а рядом, как всегда, недалеко, – Аза Алибековна хранит его покой и создает самую возможность размышлять и работать – и Алексей Федоровичу, и приходящим к нему ученикам, и тем, кто помогает ему, и его редакторам и издателям, и журналистам, и его почитателям и поклонникам.

В свое время мне это казалось таким правильным и естественным, а теперь представляется столь же правильным, но только совершенно чудесным, – здесь явственно различается та самая планомерно сбывающаяся судьба, о которой так внимательно и вдумчиво рассказывает Аза Алибековна в своих *Воспоминаниях*. Невероятная и все же, вот, лежащая передо мной книга, подаренная Азой Алибековной на Благовещение 2011 года с драгоценной надписью, невероятная хотя бы по той простой причине, что невероятен по своему объему и подробности материал, который в преимущественной степени самой же Азой Алибековной был собран и сохранен, спасен из той реки времен, обуздать равнодушную мощь которой дано далеко не всякому. Но автору этой книги в высокой степени дано и самой одолевать, казалось, неодолимое, и читателей познакомить с миром ушедших людей словно иной породы, знание и память о которых помогает и нашему веку сохранять человеческий облик.

Но не могу не сказать также о том, что чувство некоего чуда охватило меня и на заседании ученого совета по классической филологии, куда я попал после довольно долгого перерыва. Заседание проходило чуть ли не в той же аудитории, где некогда я защищал написанную под

руководством Азы Алибековны кандидатскую диссертацию по Плотину: на заседании была, конечно, Аза Алибековна, был Алексей Федорович и выступал, – великая честь, хотя и казалось, что так именно это и должно быть. Но с тех пор много воды утекло (река времен все ж таки), и на сей раз я пришел в ту же аудиторию как член того самого совета, в котором некогда защищался; но советом по-прежнему руководила Аза Алибековна, она вела это заседание со своей всегдашней неспешностью и основательностью, уважительной расположенностью к защищаемым и к совету, и в то же время с юмором, с полным соблюдением положенной формы и при этом решительно безо всякого формализма.

Но затем, уже на рабочих заседаниях совета, которые Аза Алибековна иной раз проводила у себя дома (все в той же столь знакомой мне комнате), я более всего радовался тому, с каким вниманием и спокойствием Аза Алибековна выслушивала и вводила в приличное русло иной раз имевшие место разногласия во мнениях уважаемых членов совета: многих из них я хорошо помню еще студентами и потому понимаю, что в присутствии Азы Алибековны они не без удовольствия позволяли себе некую ученую склоку только в силу исходной уверенности, что все возникающие дискордансы Азой Алибековной будут непременно введены в рабочее русло.

Это же чувство узнавания было у меня основным и на кафедре классической филологии, где я вновь стал преподавать примерно тогда же, когда был приглашен в совет. Разумеется, меня заинтересовали новые программы для студентов-классиков и прекрасная библиотека, собранная сменившим Азу Алибековну на посту заведующего Андреем Александровичем Россиусом, в свое время мудро оставленным на кафедре, успешно защитившим докторскую диссертацию и вошедшим в ученый совет; и я, конечно, высоко ценю расположение нынешнего заведующего Алексея Ивановича Солопова, с которым мы не раз обсуждали важную для руководителя тему преемственности в руководстве кафедрой. Но в то же время, вернувшись в университет, я прекрасно понимал, вернее, чувствовал: несмотря на целый ряд важных и скорее приятных метаморфоз я по-прежнему на кафедре Азы Алибековны. Китайская мудрость гласит: о хорошем императоре известно только то, что он существует. Слава Азы Алибековны как ученого, педагога, литератора всегда полнит слух и привлекает внимание просвещенной части человечества; но для глубинного и

фундаментального руководства кафедрой ей по-прежнему довольно того, что отличает хорошего китайского императора...

Прекрасно понимая, что не мне объять все стороны разносторонней и разнообразно успешной деятельности Азы Алибековны (да я и не ставлю перед собой такой задачи), не могу не коснуться того, о чем постоянно думаю в силу своих узких профессиональных интересов: разумею Платона и платонизм. В свое время я посвятил Алексею Федоровичу маленькую книжку: платоновского *Федра* в переводе А. Н. Егунова с моими статьей и комментариями. Это посвящение объяснялось не только тем, что я всегда с благодарностью вспоминал и по сей день вспоминаю как наши рабочие занятия с Алексеем Федоровичем, так и вполне необязательные беседы о Платоне, неоплатониках, возрожденском платонизме, беседы, которые Алексей Федорович вел в силу своей щедрой и вдохновенной любви к этим мыслителям; дело было еще и в том, что моя работа над Платоном сопровождалась постепенным осознанием того несомненного факта, что – при всех заслугах многих и многих знатоков и переводчиков Платона в России – мы именно Лосеву обязаны сохранением и непрерывностью изучения Платона и платоновской традиции у нас. Создание, издание и теперь уже многочисленные переиздания корпуса русских переводов Платона прямо связывают нас с исторически важнейшей идеей издания по-русски творений Платона, к реализации которой приступил Владимир Соловьев. Только фигура такого масштаба и творческой мощи, какая отличала философа, филолога и историка философии Лосева, только такая фигура могла понести на своих плечах груз столь великой задачи, которая была оставлена нам все дальше уходившим и вот уже совсем ушедшим XIX веком. Но с восхищением и все большим удивлением я теперь думаю о том, что и в этой области, так сказать, «условием возможности» столь плодотворных трудов Лосева, объединившего нас с величием нашего XIX века, в течение многих десятилетий была Аза Алибековна.

Да-да, на плечах на сей раз уже Азы Алибековны с 50-х годов лежала забота обо всех опубликованных и неопубликованных, создаваемых, издаваемых, готовящихся и планируемых трудах Алексея Федоровича; и уже одно это само по себе – подлинный подвиг, поскольку мы знаем, сколько этих трудов увидело свет благодаря Азе Алибековне. Но в случае с Платоном недостаточно одной только организаторской опеки, даже самой безупречной и героической, како-

вой она и была. Потому что создать примечания ко всему корпусу сочинений Платона мог только профессионал и специалист очень высокого уровня, не говоря уже о том, что в данном случае этот специалист должен быть еще и выдающимся тружеником. И мысль об одном только этом труде наполняет меня глубоким уважением, которое возрастает, когда я вспоминаю книги о Платоне и Аристотеле, а также работы о Порфирии и Прокле, некоторые тексты которых Аза Алибековна впервые ввела в поле зрения отечественных исследователей, и о множестве иных трудов.

Платон в *Горгии* обличал риторику и враждовал с ней; Аза Алибековна, составив сборник *Античная риторика* и написав к нему комментарии, задала одну из важнейших тем, разработка которой, на мой взгляд, непременно должна войти в сферу самого пристального внимания кафедры и найти продолжение в трудах ее преподавателей и студентов. И немало таких тем, заданных Азой Алибековной и предполагающих дальнейшую разработку, обнаружит в ее трудах внимательный и понимающий взгляд.

Недавно студенты-классики пятого курса сказали мне, что ждут занятий греческим с Азой Алибековной, и я вспомнил, как и с нашим курсом Аза Алибековна читала *Вакханок* Еврипида, – с тех самых пор это одна из моих любимых его трагедий. «Разве не надоедает читать все время одно и то же?» – Я улыбнулся, сказал, что даже только постоянно перечитываемых текстов у хорошего специалиста всегда немало, а множество других живут в поле его зрения в качестве совершенно необходимого рабочего фона; а про себя подумал, что иные тексты именно при их постоянном чтении только и начинают мало-помалу открываться. Взять хоть тексты молитв: чем больше их читаешь, по-славянски ли, по-гречески ли, тем больше от них исходит света. Поэтому и не нужно тут ничего придумывать, а нужно просто молиться, как положено:

Благоденственное и мирное житие,
здравие и спасение и во всем благое поспешение
подай, Господи, рабе Божией Наталье
и сохрани ее на многая лета!

QUID AUGUSTINUS DE RE PUBLICA CENSUERIT

Disputationem nostram, quae est de Augustini scientia civili, in quinque partes divisimus: ac primum Augustinianam «populi» definitionem intellegi non posse, nisi theologiae rationem habeamus, deinde Augustini de iure naturali doctrinam procedente tempore mutatam esse, tum Augustinum imperium Romanum non omnino sprevisse, denique incunabula scientiae civilis a theologia seiunctae apud Augustinum inveniri videbimus; postremo quid haec ad posteros attinuerint et ad nos attineant quaeremus.

1. Quid sit populus

Primum igitur Augustinianam «populi» definitionem cum Ciceroniana comparemus; nam Tullius (*rep.* 1, 25, 39) populum «*coetum multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatum*» esse dicit, Augustinus (*civ.* 19, 24) «*coetum multitudinis rationalis rerum quas diligit concordi communione sociatum*». Quo loco scriptor christianus *ius* quidem atque *utilitatem* omisit (quae res *rationi* subiectae sunt), addidit vero eas «*res quas diligit*», quae ad *voluntatem* hominis pertinent. Quo autem melius intellegamus, quaenam sit ea voluntas atque dilectio, – breviter exponere liceat, quid Augustinus de duabus civitatibus docuerit. Duas igitur civitates Augustinus esse voluit, alteram Dei, alteram terrenam. Qua in re cavendum est, ne civitatem Dei eandem esse putemus atque eam ecclesiam, quam oculis cernimus, neve civitatem terrenam eandem atque Romanorum rem publicam. Etenim civitas Dei etiam angelos, prophetas, martyres, quos videre non possumus, continet, civitas terrena diabolum ceteraque daemonia. Quarum in altera amor Dei dominatur, in altera amor sui; hanc satanas, illam Christus regit. Amor autem Dei quid aliud est nisi voluntas divina aut Spiritus sanctus? Qua ex re patet civitatem Dei neque ad solam eam ecclesiam quae oculis cernatur, neque ad solam illam ecclesiam referri, quae oculis cerni non possit, sed ad utramque, id est *ad ius quoddam civitatis caelestis*, quod Christianis est, quamquam in terra vivunt, et ad Spiritum sanctum, qui efficit, ut omnes unum sint. Habetis definitionis «populi» fontes a capite repetitos.

Omisit autem Augustinus *ius et utilitatem* non quo has res despiceret, sed quia summi aestimavit. Nulla enim res publica vero iuris consensu ac vera utilitate sociata est, excepta civitate Dei. Quare modestius Cicerone dixit Augustinus: *rerum quas diligit*. Quibus verbis multos esse gradus honorum, iuris, utilitatis multaque genera rerum publicarum exstare confessus est.

2. De iure naturali

Deinceps dicendum est de iuris naturalis doctrina progrediente aetate ab Augustino mutata. Cuius rei testimonia multa afferre possum, sed longum est. Unum hoc definio: Augustinum iuvenem ius illud naturale (quod in hominis conscientia positum est) ad rationem revocasse (qua de re cum Cicerone, Thoma Aquinati, Erasmo, doctoribus societatis Iesu consentit); propecta vero aetate Augustinum minus de *ratione* quam de *voluntate* atque *gratia* Dei locutum esse. Voluntas autem hominis cum Deo coniuncta «caritas» appellatur; inde Augustinus: *dilige et quodvis fac*.¹ Sed temporibus mutatis non omnia explicantur. Nam Augustinus iuvenis atque philosophus cum paganis colloquitur, senex atque episcopus coram populo Dei ac contra haereticos dicit (quorum paene maximus Pelagius fuit, qui virtutem naturalem nimis amplexus erat). Ergo in hac re iudicanda et temporis et eorum qui Augustinum audiebant habenda est ratio.

3. De imperio virtutibusque Romanorum

Tertius locus est Romanorum imperii virtutumque; quae paulo plenius atque uberius nobis tractanda sunt.

Ac primum quidem consideremus, quomodo Augustinus se a theologia civili «Constantiniana» (quae Civitatem Dei Imperium Romanum esse putet) liberaverit. Igitur circa annum p. Chr. n. quadringentesimum (400) Augustinus putabat imperio Romano Christiano facto ea quae prophetae speravissent tandem evenisse – haud aliter atque Constantinus, qui Vergili eclogam IV similiter interpretatus erat. At anno 410° exacto, quo Visigothi Alarico duce Romam expugnaverant, Augustinus gravissime in Vergilianam illam theologiam

¹ In epistulam Ioannis ad Parthos, tractatus 7, 8.

historicam invehitur. Iam non tam de totis gentibus imperiisque baptizandis quam de singulis hominibus cogitat. Ergo idem de rei publicae doctrina quod de iure naturali dicendum est: Augustinus iuvenis ac philosophus more Ciceroniano cogitat atque loquitur, idemque senex atque episcopus omnia ad civitatem Dei refert.

Iam vero explicandum est nobis, quem locum Romani in rerum memoria obtineant. Qua in re idem fere cadit in Romanos quod in Hebraeos: qui et «typi» prophetici sunt et Christianis exemplo esse possunt. Quid autem sit typus sive figura, optime illustratur epistola ad Galatas scripta (*Gal.* 4, 22 sqq. ; cf. *Aug. civ.* 15, 2), ubi dictum est, Abrahae duas fuisse uxores, alteram liberam, nomine Saram, matrem filii (quae est typus ecclesiae), alteram servam, nomine Hagar, matrem servi (quae est typus synagogae). Personae igitur veteris testamenti pro typis prophetis rerum futurarum (novi testamenti) habebantur. - Quid autem sit exemplum, per se patet: Abraham Christianis pietatis atque fidei exemplo esse potest (non duplicis matrimonii!, quod sola interpretatione typologica defendi potest).

Eâdem ratione Augustinus Romanorum res gestas explicat, qui Romuli asylum typum quendam ecclesiae ac paradisi esse vult. Idem Christianis Romanorum exempla imitanda proponit: Nonne Romani patriam atque civitatem terrenam summa fide ac pietate dilexerunt? Quod Christianis imitandum est in patria caelesti atque civitate divina diligenda (*Aug. civ.* 5, 12). Quin etiam addit Christianis Romanorum exempla et semper et diligenter intuenda esse. Huc accedunt ea, quae ad naturalem Dei cognitionem pertinent, velut Sibyllae vox prophetica, qua falsos deos impugnavit, et Platoniorum sapientia, qua unum Deum esse perspexerunt. In his Ciceronem divinis laudibus exornat Augustinus, cuius *Hortensio* perlecto non solum vitam philosopho dignam sed etiam Deum ipsum se invenisse praedicat, confiteturque se id solum dolere, quod in Ciceronis scriptis Christi nomen non legerit.

Similem ergo Romani atque Hebraei locum obtinent in rerum memoria; multaue in rebus Romanis inveniuntur, quae – dummodo recte ea intelligamus atque interpremur – nobis usui esse possint: voces prophetae, virtutes naturales, maiorum exempla, cognitio Dei.

Sequitur, ut de Romanorum imperio aucto pauca dicamus. Quod non deorum, sed unius Dei beneficio crevit, qui omnes gentes in unam rem publicam coire voluisset. Nonne igitur videtis civitatem Romanam minime

eandem esse atque civitatem diaboli, sed Dei voluntate factam? Qui veteres Romanos adiuvat, quia «boni» erant (hoc loco Augustinus plures bonitatis gradûs ponens more humano loquitur communi iudicio popularique intellegentia usus). Qua in re Sallustium secutus gloriae cupiditatem his verbis laudat: *ambitio, quod tamen vitium propius virtutem erat* (Catil. 11, 1). Quid? Augustinus virtutem non populorum neque rerum publicarum, sed singulorum hominum propriam esse dicens nonne Sallustio adsentitur? Nonne etiam in iis, quae de *vitio ingenii humani* docet, Sallustii *Historias* affert, quibus etiam utitur ad ea, quae Sallustius in *Bello Catilinae* de Romanorum maioribus pulchrius quam verius somniaverat, corrigenda?

Multis ergo de rebus Augustinus more Romanorum disserit: de moribus, de vitio ingenii humani, de exemplis maiorum, de eorum auctoritate, de virtutis singulorum hominum in re publica vi atque pondere. De Romanorum virtutibus civilibus ab Augustino laudatis satis dictum.

4. De philosophia politica

Proximus locus est philosophiae politicae a theologia seiunctae, cuius fundamenta Augustinus quamquam invitus videtur iecisse. Igitur ante Christum natum Romani rem publicam κόσμον quendam eumque sacrum ac religiosum putaverunt. Mox aetate Constantini multi Christiani sanctitatem imperii Romani novae religionis auctoritate auctam esse existimaverunt. Tandem Româ anno 410 a Visgothis direptâ intellectum est distinguendum esse inter Civitatem Dei et Imperium Romanum. Quo factum est, ut scientia civilis a theologia separari posset. Initia igitur atque incunabula philosophiae hodiernae politicae, quae a deorum cultu seiuncta est, et temporibus apostolicis et temporibus Augustini praeparata esse contendimus.

Iam vero quid Augustinus de talis rei publicae lineamentis dicat, consideremus.

Ac primum quidem homo lege quadam naturae ad societatem communionemque petendam impellitur (Aug. *civ.* 19, 12), id quod iam Aristoteles et Stoici dixerant. Est igitur res publica non solum pacto, sed naturâ. Quo fit, ut res publica non a diabolo condita esse possit. Esset enim in paradiso res publica, etiam si Adam et Eva non peccavissent. Propter peccatum autem ex principe bono tyrannus fit. Ceterum malane sit res publica an bona, ex animo ac virtute eius, qui eam regit, pendet.

Et quoniarn finis sive te,loj rei publicae pax terrena atque civium salus est, haec bona, si necesse est, etiam vi et armis defendenda sunt (quod et in barbaris et in haereticis propulsandis Augustinus fieri vult). Sed quamquam Christiani ducibus atque magistratibus parere debent, tamen iis potentiae eorum magistratuum, qui potestate abutuntur, resistere licet.

Loquor de bello; quid? Pacis opera nonne graviora? Rei enim publicae est non solum scelera prohibere, sed etiam id studere, ut cives quam optimi atque honestissimi fiant. Quare res publica et moribus Christianis et a viris bonis regi debet; tamen non opus est, ut unum ac solum imperium sit, immo prodest plura regna esse. Denique in re publica Augustino nil antiquius est pace, ordine, lege, societate. Quibus bonis, quamquam temporalibus, etiam ecclesiae ad vivendum opus est. Habetis imaginem rei publicae temporalis, modestam quidem, sed ab imperatorum idololatria liberatam.

5. Quid illa ad posteros attineant

Restat, ut dicendum sit, quid haec ad posteros attinuerint et quid ad nos attineant.

Ac primum quidem Augustinus et res et cogitationes (quas idēas appellamus) optime inter se coniungit: nam et Platonis philosophi et viri doctissimi Hobbes res publica ab hominum vita abhorret, sola cogitatione concipitur; Ciceronis res publica (more Aristotelio) et cogitatione et re constat, sed ita, ut Romanorum res publica in maius tollatur; Augustini duae civitates partim oculis, partim menti subiectae sunt; quae ratio explicandi fortasse ceteris praestat.

Quae concordia discors ab Augustino constituta a posteris diruta est: sua enim quisque ab Augustino petebat. Nam ii, qui «specula principum» scribebant, ea, quae Augustinus libri quinti capite 24 congesserat, sui iuris fecerunt; imperatorum adiutores (ut Alcuinus) denuo ad Imperium Romanum fulciendum religione atque cultu Christiano utebantur; sed etiam ii, qui – et Romae et Genevae² – theocratiae favebant, Augustino teste utebantur. Quid dicam de iis, qui Augustinum secuti ecclesiam oculis cerni non posse docuerunt? Quid de mysticis, qui iis, quae Augustinus de peregrinatione vitae dixerat, allatis rem publicam paene nullius esse mo-

menti contendebant? Idem cadit in ea, quae Augustinus de bello iusto docuerat, quae et ii, qui bella Christiana susceperunt gerenda, et ii, qui contra disputabant, sibi vindicarunt. Sed quid haec omnia ad nos?

Primum *pacem*, non bellum finem rei publicae esse hodieque etiam atque etiam dicere debemus. Deinde populum multitudinem *rationalem* esse magni refert (nam ii populi, qui cogitare didicerunt et mea quidem sententia ii qui Latine didicerunt – a tyrannis minus decipi possunt). Tum Augustinus nos docet (id quod philosophi medii aevi optime intellexerunt) certos gradus esse bonorum; inter quae res publica medium quendam locum obtinet; non enim per se expetitur, neque in se posita est, sed adiumento, subsidio, instrumento est, quippe quae non dea sed administra consiliorum divinorum sit. Qua re nomine iuris naturalis atque divini nobis iniustis magistratibus resistere licet. Quam doctrinam Calvinus et Hugo Grotius suam fecerunt. Denique paene omnia, quae Americani iustissime de iure naturae humanae sanxerunt, ab Augustino et a Cicerone posteris tradita sunt. Quodsi Augustinus non unam sed multas civitates temporales esse docuit, hoc quoque nobis adiumento esse potest contra eos, qui id student, ut omnia rei publicae subiecta sint. Est igitur res publica magnum bonum, non summum. Quod superest, re publicâ inter bona temporalia numeratâ etiam Romanorum res publica eorumque virtutes ab Augustino denuo aestimari poterant; quo factum est, ut illo tempore studia humanitatis renascerentur. Quod ut hodie quoque fiat, non philologorum tantum, sed omnium hominum salutis causa optare licet.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРДАНАПАЛА В ВИЗАНТИИ

Филологическая безделица

Στηρίξασα νόον σεμνῆς ἐνὶ πίστιος ἔδρη
Ἐς γενεὰς θεϊκῆς σοφίης σπινθῆρα φυλάσσεις.

Среди персонажей созданной греками легендарной истории древнего Востока почетное место занимает последний царь Ассирии, распутный и изнеженный Сарданапал, будто бы сгоревший в собственноручно подожженном дворце, когда столицу его империи захватили мидяне, персы и вавилоняне. В истории, передаваемой Диодором Сицилийским (II, 27) и восходящей к утраченному сочинению историка Ктесия, несомненно, присутствуют сведения, отражающие некоторую реальность (к примеру, Ниневия действительно была взята и разрушена в 612 г. до Р. Х. объединенной мидийско-вавилонской армией, а имя царя соответствует ассирийскому «Ашшурбанипал»), однако в целом образ растленного восточного деспота был призван служить совершенно определенным идеологическим установкам греческой цивилизации. Неудивительно поэтому, что столь колоритная фигура приобрела большую популярность уже в древности, а затем и в Новое время.

Между тем, уже в самом начале миф о Сарданапале содержал у греков некую амбивалентность. В IV в. до Р. Х. поэт Херил Иасийский написал или, как он сам утверждал, перевел с «халдейского» языка эпитафию, высеченную в якобы основанном царем городе Анхиаде Киликийском (прозаический «подстрочник» сохранился у Афиней – *Deipnosophistae*, XII, 39). Вот ее текст:

Εὖ εἰδὼς ὅτι θνητὸς ἔφυς σὸν θυμὸν ἄεξε
τερπόμενος θαλίῃσι· θανόντι τοι οὔτις ὄνησις.
καὶ γὰρ ἐγὼ σποδὸς εἰμι, Νίνου μεγάλης βασιλεύσας.
ταῦτ' ἔχω, ὅσσ' ἔφαγον καὶ ἐφύβρισα καὶ μετ' ἔρωτος
τερπν' ἔπαθον· τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὄλβια πάντα λέλειπται¹.

¹ Supplementum Hellenisticum. B., 1983. P. 154-155. frr. 334-335.

Идею, выраженную в этих строках, кратко сформулировал апостол Павел: «Будем есть и пить, ибо завтра умрем» (1 Кор. 15:32). Приверженцев такого мировоззрения в античности было предостаточно, как, впрочем, и их оппонентов. Недаром знаменитый киник Кратет Фиванский переиначил эту эпиграмму, отразив собственное представление о жизни:

Ταῦτ' ἔχω ὅσσ' ἔμαθον καὶ ἐφρόντισα καὶ μετὰ Μουσῶν
σέμν' ἐδάην, τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὄλβια τῷφος ἔμαρψεν.
(Anthologia Graeca, VII, 326).

Уже при сопоставлении этих двух стихотворений примерно одного времени мы сталкиваемся с интересным различием: вместо ἔπαθον у Кратета читается ἐδάην. Русский перевод будет в данном контексте идентичен: «испытал» или «изведал», но если в оригинале Кратет читал ἐδάην, то ему предоставилась возможность поиграть на дополнительной семантике этого корня (отсюда, например, διδάσκω - учить). Если же привлечь более широкий контекст, то окажется, что вряд ли употребление другого глагола можно приписать творческому вмешательству фиванского философа, поскольку в той же Греческой антологии эпиграмма VII, 325 выглядит следующим образом:

Τόσσ' ἔχω, ὅσσ' ἔφαγόν τε καὶ ἔκπιον καὶ μετ' ἔρωτος
τερπν' ἐδάην, τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὄλβια πάντα λέλειπται.

А в другом варианте вот так (Anthologia Graeca, XVI, 27):

Τόσσ' ἔχω, ὅσσ' ἔφαγον καὶ ἐφύβρισα καὶ μετ' ἔρωτος
τερпν' ἐδάην, τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὄλβια κεῖνα λέλειπται.

Однако Anthologiae Graecae Appendix, epigrammata sepulchralia 130, дает чтение ἔπαθον, причем оно фигурирует и в следующей эпиграмме, озаглавленной Χρυσίππου ἢ Κράτητος παρωδία, но та выглядит явно вторичной по отношению к цитированной выше, а кроме того, создает в соседних строках гомеотелевт ἔμαθον – ἔπαθον,

что у греков далеко не всегда считалось допустимым с точки зрения хорошего вкуса.

Количество метрически и содержательно равно приемлемых различий, из которых здесь приведена лишь небольшая выборка, оставляет стойкое впечатление, что уже в античную эпоху эпитафия ассирийского владыки бытовала скорее как часть устной словесности, примерно как в наше время – стихотворение Олега Григорьева «Я спросил электрика Петрова», породившее целый жанр т.н. «садиистских стишков». Не говоря уже о том, что весьма немногим нашим современникам известно имя автора (и вообще то обстоятельство, что это собственно авторский текст, а не народное творчество), в памяти воспроизводящих это произведение людей оно закрепляется во множестве вариантов, нередко существенно отличающихся друг от друга. В данной заметке нас интересует судьба эпитафии на греческой почве в постантичную эпоху, тем более что о классическом периоде ее бытования написаны как минимум две диссертации².

Каким же образом отразился «гедонистический манифест» Херила в византийской литературе? Следует сразу сказать, что очень близкий к процитированному первым текст находится в «Хилиадах» Иоанна Цеца (XI в.), со ссылкой на Диодора³. Здесь мы, кстати, также видим чтение ἔπαθον. Конечно же, и Греческую антологию составляли византийцы, поэтому эпитафия в ее оригинальном или слегка модифицированном виде была, безусловно, известна ромейским эрудитам. Интересно, однако, как ее воспринимали на несколько менее ученом и более массовом уровне.

Замечательное свидетельство обнаруживается в словаре «Суда» (Σ 121). Рассказывая о Сарданапале, составитель приводит текст, взятый, вероятно, из Георгия Монаха, но вместо того, чтобы процитировать эпиграмму, говорит: τόσος ἔχω καὶ τὰ ἐξῆς. Надо полагать, стихотворение было настолько, что называется, «на слуху» у предполагаемых читателей, что они могли вспомнить его по первым двум словам. Интересно, что у великого филолога Евстафия Солун-

² Crause J., Seiler Ch. Exercitatio de Sardanapali epitaphio. Jena, 1666; Niese B. De Sardanapali epitaphio disputatio. Marburg, 1880.

³ Ioannis Tzetzae Historiae, III, ch. 95, 450-457.

ского ссылака выглядит похожим образом, но при том совершенно игнорирует метрику⁴!

По-видимому, основным источником, по которому не очень высокообразованные византийцы могли знакомиться с эпитафией Сарданапала, служило сочинение Феодорита Киррского «Исцеление эллинских недугов». Там говорится (*Graecarum affectionum curatio*, XII, 93-94):

Поскольку, стало быть, столь велика разница между преступающими закон, не следует одинаково негодовать против всех, но гнушаться теми, кто явно привержен свинской жизни, а другим и советовать, и увещевать их, и протягивать руку, и заботливо лечить, и подносить оздоравливающие лекарства. Тех же, кто упорно живет подобно зверям, будем и при жизни оплакивать, и после смерти приведем им эпитагму Сарданапала. Ибо на его могиле было написано:

То мое, что я съел, и выпил, и накуролесил,
И улады любви – а богатства остались без толку.
Ибо я пепел теперь, Ниневией владевший великой.
Τόσσ' ἔχω, ὅσσ' ἔφαγον καὶ ἐφύβρισα καὶ μετ' ἔρωτος
τερπν' ἔπαθον, τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὄλβια πάντα λέλειπται.
καὶ γὰρ ἐγὼ σποδός εἰμι, Νίνου μεγάλης βασιλεύσας.

Но ведь и это начертавшие написали лживо. Ибо нет у скончавшегося того, что он съел и выпил, но все это обратилось в смрадную гниль. А есть у него только зловоние беззаконной жизни, которое постоянно причиняет боль и тяготу душе, создающей за собой самое худшее и вспоминающей, что она сотворила противозаконно.

Характерным образом стих о пепле, в который ныне превратился прежний могущественный правитель, перемещается в конец, поскольку это больше соответствует назидательной задаче церковного

⁴ Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes // ed. M. van der Valk. Vols. 1-4. Leiden, 1971-1987. Vol. 4. P. 460, 19: «τοσαῦτ' ἔχω ὅσα ἔφαγον τε καὶ ἔπιον» καὶ ἐξῆς.

писателя. Нетрудно догадаться, что на такой же позиции стоят и более поздние византийские авторы. Однако с текстологической точки зрения исследователя здесь поджидает настоящий ребус. Вот какой фрагмент приводит Константин Багрянородный (точнее, его сотрудники) в сборнике эксцерптов «О добродетелях и пороках»⁵:

(Георгий Монах пишет), что Сарданапал, царь ассириян, был убит Персеем. Лстецы же и подражатели его любви к плоти, обжорства и похоти написали как бы от его лица на его могиле вот что:

Τόσσ' ἔχω, ὅσσ' ἔφαγόν τε καὶ ἔπιον καὶ μετ' ἔρωτος
τερπν' ἐδάην, τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὄλβια πάντα λέλειπται.
καὶ γὰρ ἐγὼ σποδός εἰμι, Νίνου μεγάλης βασιλεύσας.

Но лживо ведь, конечно, начертавшие написали это. Ибо нет у скончавшегося того, что он съел и выпил, но все это обратилось в смрадную гниль. А есть у него только зловоние беззаконной жизни, которое постоянно причиняет боль и тяготу его страстной и жалкой душе, сознающей за собой самое худшее, вспоминая, что несчастный сотворил противозаконно и распутно.

Отрывок помещен в разделе, озаглавленном: «Из летописи Георгия Монаха. 2. О добродетели и пороке»⁶. Заметим, что в отличие от Феодорита Константин дает чтение ἐδάην, а не ἔπαθον. А что же Георгий Монах, из хроники которого вроде бы заимствована цитата? Прозаическая часть текста действительно дословно совпадает с Константином, а вот эпитафия выглядит по-другому⁷:

τόσσ' ἔχω, ὅσ' ἐφύβρισα, ἔφαγόν τε καὶ ἔπιον καὶ μετ' ἔρωτος
τερπνοῦ ἐπολιτευσάμην, παθόντα δὲ πολλὰ καὶ ὄλβια πάντα
λέλειπται.

Первое, что приходит в голову: император, более начитанный, чем Георгий Монах, заменил перевранное у хрониста стихотворение

⁵ Constantinus Porphyrogenitus. De virtutibus et vitiis // ed. T. Büttner-Wobst et A. G. Roos. Excerpta historica iussu imp. Constantini Porphyrogeniti confecta, vol. 2: excerpta de virtutibus et vitiis. B., 1906-1910. Pars 1, p. 122, 25-26.

⁶ Ibid., p. 122, 25-26: Ἐκ τῆς χρονικῆς ἱστορίας Γεωργίου μοναχοῦ. β'. Περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας.

⁷ Georgii Monachi chronicon / ed. C. de Boor. Editio stereotypa correctior, cur. P. Wirth. Stuttgart, 1978. P. 13,13 - 14, 9.

так, чтобы восстановить метрику и поэтический стиль, заимствовав текст из другого источника или воспроизведя по памяти. Но не все так просто. Во-первых, строка о пепле находится там же, где и в хронике Георгия, и у Феодорита, при том что есть два значимых разночтения: уже упомянутое ἐδάην и метрически сомнительное ἔφαγόν τε καὶ ἔπιον вместо безупречного ἔφαγον καὶ ἐφύβρισα у Феодорита (ср. выше в Греческой антологии ἔκπιον). Это наводит на мысль о контаминации двух источников. Во-вторых, есть случаи, когда Константин пользуется не всем известной опубликованной версией Георгия Монаха, а предшествующим ей оригинальным текстом хроники, представленным единственной рукописью Coislinianus 305 и славянским переводом XIV в., называемым «Лѣтовникъ»⁸. Стало быть, необходимо посмотреть, что содержится в греческом кодексе. Приведем всю лемму.

[f. 6^v] Μετὰ δὲ Λάμην ἐβασίλευσεν Σαρδανάπαλλος ὁ μέγας ἔτη λε καὶ ἐσφάγη ὑπὸ Περσέως. οἱ δὲ γε κόλακες καὶ μιμηταὶ τῆς ἐκείνου φιλοσαρκίας καὶ γαστριμαργίας τε καὶ οἰσθηλασίας ἐπέγραψαν ὡς ἐξ αὐτοῦ δῆθεν ἐν τῷ τάφῳ αὐτοῦ τοιάδε· τόσσ' ἔχω, ὅσ' ἔφαγόν καὶ ἔπιον καὶ ἐφύβρισα καὶ μετ' ἔρωτος τερπνέο, παθόντα δὲ πολλὰ καὶ ὄλβια πάντα λέλειπται. καὶ γὰρ νῦν σποδός εἰμι Νίνου μεγάλης βασιλεύσας. ἀλλ' οὖν γε ψευδῶς οἱ γεγραφότες ἐπέγραψαν τοῦτο πάντως. οὐ γὰρ ἔχει ὁ τελευτήσας ἄπερ ἔφαγεν καὶ ἔπιεν, ἀλλ' εἰς τὴν δυσώδη φθορὰν ἐκεῖνα κεχώρηκεν. ἔχει δὲ μόνον τοῦ παρὰ νόμου βίου τὴν δυσοδμίαν, [f. 7] ἥτις διηνεκῶς τὴν ἐμπαθῆ καὶ ἀθλίαν ψυχὴν ἀλγύνει καὶ ἀνιᾷ συνειδυῖαν ἑαυτῇ τὰ κάκιστα καὶ μεμνημένα ὧν παρὰ νόμῳ καὶ ἀκολάστως ὁ τάλας εἰργάσατο.

Как видим, разночтения опять касаются только самой эпитафии. Однако здесь в Coisl. 305 отчетливо просматривается искаженный переписчиком первоначальный текст Феодорита:

Τόσσ' ἔχω, ὅσ<σ>' ἔφαγον [καὶ ἔπιον] καὶ ἐφύβρισα καὶ μετ' ἔρωτος
 || τερπν' ἔ[ο,]παθον<,> τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὄλβια πάντα λέλειπται.
 || καὶ γὰρ νῦν σποδός εἰμι Νίνου μεγάλης βασιλεύσας.

Кодекс, весьма вероятно, переписывал грузин (тетради, в частно-

⁸ См. об этом подробнее: Афиногенов Д. Е., Муравьев А. В. Два мотива антиисламской полемики в хронике Георгия Монаха // Христианский Восток, 5, 2009, с. 358-368. Перевод данного пассажа в Летоунике не представлен.

сти, пронумерованы по-грузински), так что формы типа τερπνεο удивлять не должны. Пара «съел и выпил», по-видимому, звучала для византийцев гораздо органичнее, чем ἔφαγον καὶ ἐφύβρισα, поэтому ἔπιον и появляется у настоящего Георгия Монаха, и сохраняется у Константина Багрянородного. Но ведь и Феодорит пояснял: «нет у скончавшегося того, что он съел *и выпил*». Именно потому это слово включено в русский перевод.

Откуда же у редактора хроники, работавшего в последней четверти IX в., взялось слово ἐπολιτευσάμην? Естественно было бы, если бы он заменил им форму ἐδάην, вряд ли ему понятную. Однако, как мы видели, ее место занимает древнее разночтение ἔπαθον, превратившееся в παθόντα. Тем не менее вовсе не очевидно, что это слово – плод творчества составителя второй редакции Георгия Монаха. Дело в том, что оно находится также в анонимном хронографическом сочинении, изданном вместе с хроникой Иоанна Малалы⁹. По всей видимости, источником этого текста послужила не сохранившаяся по-гречески первая книга Малалы, а дословные совпадения с Георгием объясняются параллельным заимствованием. Таким образом, редактор Георгия мог вписать слово ἐπολιτευσάμην просто потому, что помнил его по сочинению Малалы. Если все эти предположения верны, то прозаическая форма эпитафии (ἐπολιτευσάμην ни в какие метрические рамки не лезет) циркулировала уже в VI в.

Неожиданное подтверждение этому тезису предоставляет произведение, незаслуженно обойденное вниманием исследователей. Это похвала преп. Евфимию Великому и Савве Освященному, написанная известным агиографом Кириллом Скифопольским, вероятно, в конце VI в. Греческий оригинал не сохранился, но в Великих Минеях Четиих митрополита Макария имеется церковнославянский перевод¹⁰, содержащий такую фразу (гл. 13, стб. 572¹¹):

⁹ Chronologica (fort. auctore anonymo excerptorum chronologicorum) / ed. L. Dindorf // Ioannis Malalae chronographia. Bonn, 1831. P. 19, 12.

¹⁰ См. Общий день памяти преподобных Евфимия Великого и Саввы Освященного (неизвестное свидетельство Кирилла Скифопольского) // Sacrum et Profanum, 2, 2006. С. 27-30.

¹¹ Великие Минеи Четиих, собранные всероссийским митрополитом Макарием / изд. Археографическою комиссиею. Декабрь, дни 1-5. М., 1901. Стб. 552-578, славянская нумерация.

Но симь подобно надъгробное речемь: се имамь, еже ядох, и пихъ, и съ любовію красною пожих: нынѣ вся остаща, азъ же есмь пепель.

Обратный перевод:

ἀλλὰ τοῦτοις τὸ πρέπον ἐπιτάφιον εἶπωμεν· τοῦτ' ἔχω, ὃ ἔφαγον, καὶ ἔπιον, καὶ μετ' ἔρωτος τεῖρπνοῦ ἐπολιτευσάμην· νῦν πάντα λέλειπται, ἐγὼ δέ εἰμι σποδός.

Здесь «пожих», несомненно, передает ἐπολιτευσάμην, а с учетом еще и совпадения формы τεῖρπνοῦ становится понятным, что во второй редакции Георгия мы опять-таки, как и в случае с Константиновыми эксцерптами, имеем дело с сознательной подстановкой одного уже существующего варианта вместо другого. На фоне того, что весь остальной текст остается без изменений, это может означать только одно – для византийцев, даже не очень ученых, эпитафия Сарданапала (точнее, три ее последние строки) продолжала оставаться общеизвестной ходячей цитатой, будь то в стихотворном или в прозаическом виде.

ПРОСТРАНСТВО ВИЗАНТИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Византийская культура, как своеобразный феномен в системе мировых цивилизаций, впитала в себя традиции, по крайней мере, трех историко-культурных традиций — римского цезаризма, эллинской античной словесности и ближневосточного христианства. Первое сказывалось в самоназвании византийцев — «ромей» (т. е. дословно «римляне»), и их государства — Ромейская (т.е. «Римская») империя, в опоре византийской юридической системы на нормы классического римского права и в особом культе императора, унаследованном из Древнего Рима. Второй элемент определялся тем, что Византия занимала территорию греческой культуры или эллинизированных (в Малой Азии, на Ближнем Востоке, на островах и др.) земель, что византийская литература в основном (за исключением доюстиниановской поры и сирийских, армянских, грузинских, в основном агиографических текстов) — литература грекоязычная, а с начала VII в. греческий язык становится повсеместно государственным, вытеснив из официального употребления латынь (уже «Новеллы» Юстиниана были созданы по-гречески). Особая роль христианства как государственной религии, начиная с IV в., времени Константина I Великого, проявлялась в византийских периодизациях истории (и в ранневизантийской «Хронике» Евсевия Кесарийского, и в поздних т.н. Кратких, или Малых, Хрониках), начинавших «свою» историю со времени правления Константина Великого как историю «Христианской империи» и унаследовавших основные библейские категории в вырабатывавшейся идеологии православия.

Пространство византийской, как ее стали называть в ученых кругах Западной Европы на рубеже позднего средневековья и раннего нового времени, культуры определялось, с одной стороны, постоянными изменениями государственных границ Византийской империи: они то сужались до пространства балканских территорий и островов в Европе и Анатолии в Малой Азии с утратой Италии и Африки (уже в доюстинианову эпоху), Сирии, Палестины, Египта (в эпоху персидского нашествия и позже), наконец, Малой Азии (под натиском сельджуков, а затем османов), а накануне падения Константинополя в 1453 г. — до государства на проливах, включая столицу, и

небольших владений на Пелопоннесе и отдельных островах, — то вновь раздвигались, после отвоеваний Юстинианом итальянских и североафриканских территорий, или после прекращения натиска с востока арабов, персов, авар, как и после реконкисты Василием Македонянином Подунавья, Армении, Малой Азии с Каппадокией, Антиохией, Иверией, или после восстановления византийской государственности на землях крестоносных империй, графств и княжеств, образовавшихся на византийских территориях после IV Крестового похода и латинского завоевания Константинополя в нач. XIII в.

Но пространство византийской культуры не определялось лишь политическими границами. При всех иноземных вторжениях эллинистическая культура большинства населения продолжала развиваться: и Иоанн Дамаскин, творивший при дворе халифа, и богословские традиции отцов-каппадокийцев в подвергавшейся военным вторжениям с востока Каппадокии, как и юридические — в утраченном для Византии со всей Сирией Бейруте, монашеская практика от киновийного общежития до индивидуальной духовной аскезы исихазма на Афоне при всех многочисленных набегах и завоеваниях, — всё это оставалось явлениями византийской культуры, прорывавшей все политические границы.

Пространству византийской культуры присуще понятие своетождества. За внешней идентичностью элементов пространственных перцепций византийских ориентаций с античными представлениями стоят принципиальные различия всей системы понятий. Историографы классической древности исходили в целом из полисных критериев: полис является точкой отсчета в пространстве¹. Геродот, давая ту или иную локализацию события, как бы приглашает сограждан в путешествие. Кризис рабовладельческого полиса не разрушил, но укрепил тягу к возрождению полисной идеологии: римская архаика реактуализируется Титом Ливием, полисная гражданственность в единстве со все развивающейся этикой отдельной семьи реставрируется Плутархом². Скульптурно осязаемые полисные про-

¹ Тахо-Годи А. А. Ионийское и аттическое понимание термина «история» и родственных с ним // Вопросы классической филологии Вып.2, М., 1969. С. 107-126; Она же, Эллинистическое понимание термина «история» и родственных с ним // Там же, с. 126-157.

² Аверинцев С. С. Плутарх и античная биография (К вопросу о месте классика жанра в истории жанра). М., 1973. С. 190 и сл.

странственные ориентации переполнены атрибутами мифологических и полумифологических элементов, в которых никогда не умирали общинные связи архаики, как бы далеко ни заходила эмансипация личности на исходе античности.

Византийская культура не только унаследовала от эллинизма пространственную протяженность диаспоры взамен полисной конкретности древнегреческой классики³, но культивировала и христианский экуменизм. Апеллирующая к ойкумене антитеза мира христиан миру непосвященных не стала прямой заменой античной оппозиции «эллин» — «варвары». Определенность, стабильность понятия полиса уступила место в византийской историографии неконкретности, абстрактной локализации постулируемой ойкумены. Таков дихотомический («ромеи-неромеи») принцип описания мира у Константина Багрянородного. Это пространство – будь то у Скилицы, Никиты Хониата или Анны Комниной, – потеряв полисные связи, не обрела подобной четкой и адекватной структуры. Оно дифференцировано и противоречиво в своем построении. Одно и то же явление находится сразу в нескольких отношениях связи в этом пространстве. Так, можно установить несколько уровней воззрений, например, на Древнерусское государство у византийских историков XII-XIII вв.⁴

Пространственное членение оказывается не только неодноточным, но даже противоречивым, а идеология экуменизма принимает скорее символическую, чем реально осязаемую форму. Характерный средневековый символизм организации пространства византийскими историками проявляется и в психологической окраске описываемого места действия. Горы, леса у Льва Диакона (62.13-63.4), Кекавмена (210.11-14) становятся символом опасности и, вместе с тем, у Пселла – символом уединения, отшельничества, анахоретства (II. 67: CXCVI. 5-7), а у Иоанна Каминиата связаны с представлением о монастырском укрытии (7.43-46). Море для Никиты Хониата соименно с бурей, шквалом, бедствиями, гибелью (Ист. 122.58-123.59; 171.59-60; 315.73-76; 316.91; 326.51-66 и др.), а для Пселла (I. 151; LXXII.1-4; II.58;

³ Cf. Beck H.-G. Das Literaturische Schaffen der Byzantiner. Wege zu seinem Verständnis. Wien, 1974. S. 8.

⁴ См.: Бибииков М. В. Древняя Русь и Византия в свете новых и малоизвестных византийских источников // Восточная Европа в древности и средневековье. М., 1978. С. 296-298.

CLXXVIII.1-5) и Никифора Григоры (1.97.1-6; 459.12-13; II.576.10-13; 978.23-979.6 и др.) – чаще с тихой гаванью, успокоением, устойчивостью, стабильностью.

Пространство в византийской историографии индивидуализируется в восприятии. Символичность и неконкретность ойкуменической установки восполняется пристальным вниманием к «своей», индивидуальной точке вселенной. Именно это средоточие в пространстве становится лично окрашенным местом притяжения интересов византийского историка. Так, Малала особое внимание уделяет Антиохии, Иоанн Каминиат сосредоточен на Солуни, Пселла интересуется императорский двор в Константинополе, Никита Хониат не преминет упомянуть родные Хоны, для Киннама придунайские области, где он оказался в военных походах, конкретнее и ближе, чем центр империи. И все же основной центр пространственных ориентаций, политических интересов – столица на Боспоре. Центром мира, вторым раем назовет ее Дука (385.11-14). И эта гипертрофированная исключительность сама превращается в символ – императорской власти, всемирного центра культуры.

Пространство несет и «этическую» нагрузку. Мир земной представляется миром борьбы, противоречий, наконец, – миром, являющимся в целом антитезой «небесной гармонии». Дуалистично само восприятие космоса как арены борьбы добра и зла, подвижничества и греха, небесного и земного, духовного и материального.

Итак, историческое пространство византийской культуры при внешнем тождестве этно-географической номенклатуры, представляет отличную от классической античности систему. На смену скульптурно осязаемому полису, являющемуся ценой деления пространственных оценок и атрибуций, приходит доходящий до символизма универсализм – оборотная сторона партикуляризма. Личное, дифференцированное восприятие пространства отражает новый характер социальных связей средневекового общества.

Политическая определенность отчетливо проявляется в социальной составляющей культуры Византии. Эта культура была по преимуществу культурой элитарной, даже такие феномены, как так называемая «народноязычная» поэзия XII в. Михаила Глики или Феодора (Псевдо-) Продрома или т. наз. Птохопродрома с её апелляцией к монаршей милости, тоже составляла элемент этой культуры. При-

дворный этикет византийской культуры, концентрация на вкусах двора, объединение всей эллинской культуры средневековья, как в границах империи, так и вне их, идеологемой «ромейского» (а в последние века византийского тысячелетия и реабилитированного «эллинского») патриотизма обуславливают элитарность памятников как византийской изящной словесности, включая поэзию и риторику, или шедевров мелкой пластики, в т.ч. эмальерного искусства, резьбы из слоновой кости, шелкоткачества и золотого шитья, так и церковно-монастырского искусства мозаик и фресковых росписей, архитектурно-строительной техники сооружения дворцов, храмов и монастырей.

Характер византийской культуры определялся принципами политической идеологии, к которой восходили основные идеологемы в Византии, отличаясь от принципов западноевропейского менталитета. Когда в XII в. византийская и западная, в лице крестоносцев, культуры непосредственно сошлись «в очной ставке», то не только рыцарей удивляла размытость социальных границ между властью (в частности, церковной) и паствой, но и византийцы, как например очевидец событий Иоанн Киннам, поражались иерархичностью социальной структуры латинян. Византийская общественная мысль артикулируется патриархом Николаем Мистиком, у которого империя представляется некоей общиной, где все жители связаны общностью судьбы, а законодатели относятся к подданным как к детям одного отца — императора. Император, или по-гречески василевс, его власть, был той осью, вокруг которой обращалась культура империи, а ее элитарный характер тем самым не создавал непреодолимых преград для широких слоев общества.

Византийцы в словесных формулах самовыражения и в создаваемых ими памятниках изобразительного искусства позиционировали себя казалось бы ортодоксальными приверженцами традиции. Когда считающийся по праву классиком жанра Феофан Исповедник приступал к составлению своей «Хронографии» в преамбуле он категорически настаивал: «Я не скажу ничего своего!» Все что он пишет — это де пересказ, завещанный его умирающим со-келльником Георгием Синкеллом, начавшим писать историческую хронику и, умирая, завещавшим Феофану завершить труд. Да и современные Феофану события он лишь фиксирует *sine ira et studio*. На самом-то

деле, как показал И. С. Чичуров⁵, в том, *как* компилирует Феофан собранный им материал, как являет его в высшей степени пристрастным и субъективным хронистом. Но он сознательно уходит в тень, подчеркивая в преамбуле к объемному сочинению свою слабость перед стоящей перед ним задачей, неспособность удовлетворительно выполнить завещание предшественника, полный отказ от писательских амбиций. Декларирование творчества на грани анонимности становится принципом византийского средневекового метода. В еще большей степени он присущ мастерам фресковой живописи, иконографии и пластических искусств.

Поэтому не случайно большинство византинистов видят в традиционализме, консерватизме, континуитете социо-культурных феноменов отличительную черту средневекового византинизма (П. Лемерль, Г. Вейс, М. Я. Сюзюмов, И. Караянопулос и мн. др.⁶).

Модель византийской культуры, отражающей принципы ее дисконтинуитета, предложили (декларативно ли, имплицитно ли — неважно) Г. А. Острогорский, А. П. Каждан, Я. Н. Любарский и ряд других ученых⁷. Остановлюсь на этих идеях.

На первый взгляд, Византия аккумулировала полуторатысячелетний период непрерывного государственного строительства. Но под маской номинального континуитета («ромей», «василевс», «кейсари», сенат-синклит, цирковые «партии и т.п.») ясно проглядывают черты, а затем и принципы инновационного характера культуры. Античная цивилизация существовала пока был жив и развивался античный полис-муниципий с его институтами, ценностями, мировоззрением. Но Византия уже вслед за эпохой Юстиниана утратила урбанистическую стабильность. Стагнация строительной активно-

⁵ Чичуров И. С. Место «Хронографии» Феофана в ранневизантийской историографической традиции (IV-нач. IX в.) // Древнейшие государства на территории СССР. 1981. М., 1983. С. 42 и сл.

⁶ Сюзюмов М. Я. Некоторые проблемы исторического развития Византии // Византийский временник. 1973. Т. 35. С.3-18; Weiss G. Antike und Byzanz... // Historische Zeitschrift. H. 224. 1977. S. 529-560.

⁷ Ostrogorsky G. Geschichte des byzantinischen Staates. Muenchen, 1975; Kazhdan A. P., Epstein A. W. Change in Byzantine Culture in the 11th and 12th C. Berkeley; Los angeles; London, 1990; Kazdan A., Franklin S. Studies on Byzantine Literature of the 11th and 12th C. Cambridge; Paris etc., 2009. pp.1-22; Любарский Я. Н. Византийские историки и писатели. Спб., 1999. С. 295 и сл.

сти, аграризация городов, утрата органической связи полиса и хоры, последовавшая концентрация жизни населения вокруг укрепленных «кастра» с изменением городской структуры, наконец, отмеченная археологами цезура городского развития в VII–VIII вв., дробление крупных античных городских центров на ряд автономных мелких поселений, экономический «паразитизм» византийского города эпохи «темных веков» шли рука об руку с вырождением и основных муниципальных институтов и традиционных полисных культурных ценностей. Исчезновение городской собственности как основы урбанистической экономики после VI в., упрочение принципа верховной власти василевса на землю, недвижимость, материальные средства и контроля над духовной жизнью приводит к появлению сорок шестой новеллы Льва VI, отменяющей права и обязанности куриалов, упраздняющий фактически городское самоуправление, «ибо обо всем печется император».

На смену городским гражданским корпорациям приходят общины нового типа — монастыри, келлиотство, анахореза становятся поведенческой нормой, на первый план выходят социальные микрокультуры, прежде всего, семья, неформальные кружки единомышленников. Социальные связи индивидуализируются. Вертикальная мобильность становится принципом жизни: головокружительные карьеры и не менее стремительные низвержения судеб создают психологический фон византийца, ожидающего постоянно ударов судьбы. Не удивительно, что в христианском государстве, исповедовавшем принципы политической ортодоксии, богиня судьбы Тиха занимает столь важное место по частоте упоминаний и апелляций к ней наряду с канонизированными святыми Церкви.

Христианство не просто явилось заменой языческого культа уже в ранневизантийский период. Оно определило новое качество средиземноморской культуры, последовательно овладев не только общественным ритуалом, но и бытом, школой, семьей, и, самое главное, системой мышления.

Унификация и канонизация становятся эстетическим принципам. Идеалом творчества в классической Византии эпохи «македонского возрождения» становятся не столько свободное самовыражение автора, сколько систематизация своего рода «каталогизация», определившего лицо византийского энциклопедизма X в.

Византийская литература и искусство приносят в мировую сокровищницу такие принципы творчества, как психологизм, понимание диалектического противоречия миропорядка, симпатию к человеческому страданию: плач становится не только эмоциональным проявлением чувств индивида, но литературным жанром, поведенческой нормой (Симеон Новый Богослов призывает умываться ... слезами). Отсутствие театра в Византии как культурного феномена с лихвой компенсируется действием церемоний (придворные приемы, публичные триумфы, всенародные процессии во время венчания новых императоров и т.п.) и церковной литургии. Драматизм перипетии принципиально заменяется драматизмом эмоционального напряжения. Посты, службы Великого Четверга и Великой Пятницы, траурные церемонии становятся постоянным лейтмотивом земной жизни византийца, источником многочисленных литературных и художественных произведений.

В повседневной жизни изменения средневекового характера видны на каждом шагу. Путь от храма как базилики, представляющий собой публичное здание с расчетом на публичное шествие процессии с выходом на улицу или форум уступает место в IX в. крестово-купольному храму как замкнутому микрокосму, вмещающему в себя всю ойкумену и все историческое время — с раем-алтарем, адом на западе с изображением Страшного Суда, евангельскими, ветхозаветными и житийными композициями на стенах и колоннах.

Публичный культ в античные времена меняется в Византии на значительно более индивидуализированный, направленный на личное устремление человека, его сердца, к Богу и соучастие в общинной службе.

Путь к индивидуализации и партикуляризации частной жизни византийца — это путь от античной открытой одежды к брюкам и рубашке с рукавами, от античного открытого дома с плювиумом, садом, аулой, где было средоточие семейной («семья» в широком смысле слова!) жизни к средневековым домам-крепостям, глухим стенам, выходящим в узкие и запутанные проулки-тупики, от античной книги-свитка, самой формой предназначенной для публичной громкой рецитации к книге-кодексу для уединенного чтения, это путь от архитектуры площадей и портиков к планировке городов с закрытыми во вне усадьбами с путанной сетью коротких улиц.

Меняется и поведенческий идеал. От идеализации мира как средства духовного общения византиец приходит к осуждению публичных

трапез, к моралите по поводу естественных человеческих чувств, от прославления дружбы к идеям Симеона и Кекавмена, предостерегающих от измены друзей, их доносов и зависти, от досуга в термах — своего рода клубах к практическому использованию бани как лечебницы и призыву умываться слезами. Если эти, как и многие другие, элементы рассматривать не изолированно, а представить себе в системе, как предложил А. П. Каждан, то мы увидим, как из гражданина античного полиса вырастает византийский идеальный семьянин, живущий в замкнутом кружке, ревностный ортодокс, подданный императору.

Сохранение традиций, часто нарочитое, касается языка (только «кафаревусы»!), уважения к античной словесности, в этнических дефинициях, производственной техники, гипертрофированной роли столицы — Нового Рима, государственном аппарате, символизме государственной власти, формулах правовых норм.

Идея континуитета укреплялась с утверждением христианства: как образ восходит к архетипу, как Новый Завет есть преобразование Ветхого, так современность дольней жизни есть проекция и отблеск горней. Принцип континуитета, по А. П. Каждану, соответствует принципам общественного сознания византийцев, смысл которого лежит в поиске иллюзорной стабильности, ибо окружающий мир византийца нестабилен: в политической сфере — эта череда постоянных войн и мятежей, в административной — в условиях вертикальной динамики общества частые большие и малые перевороты, крушения судеб, ссылки, опалы, в правовой — отсутствие того, что мы называем конституционными гарантиями, и слабость корпоративных уз, в этической сфере — болезненная подозрительность, недоверие, сикофанство, в ментальности — ожидание чудесных событий, внезапных поворотов судьбы, концепция деградации мира.

Таким образом, за внешним атрибутивным номинальным миром теплится дисконтинуитет — социальный, житейский, сущностный.

Культура Византии — это культура живая, творческая, развивающаяся.

ПОЧИТАНИЕ «МУЧЕНИКОВ МАККАВЕЙСКИХ» У ЕВРЕЕВ И ХРИСТИАН

Мы предлагаем читателю обзор истории возникновения и распространения почитания мучеников Маккавейских, основанных на немногочисленных свидетельствах и многочисленных их истолкованиях¹.

История эта уникальна и значительна. В целом культовое почитание героев Ветхого Завета – Давида, Авраама – характеризовало скорее Восточные церкви, а в церквях Западной Европы, за исключением кругов Иоахима Флорского, не отмечено. Но почитание так называемых «Маккавейских мучеников» за веру очень быстро распространилось среди христиан, о чем свидетельствуют данные мартирологической литературы, проповедей, богослужения, церковной археологии. Их изображает одна из первых христианских фресок, в церкви Santa Maria Antiqua на Римском форуме.

История культа могилы «мучеников Маккавейских» связана с некоторыми обсуждаемыми в науке проблемами. В частности: является ли почитание евреями могилы результатом христианского влияния и появилось в III в., как считал, например, Бикерман²? Или почитание этой могилы старше христианства? И имеет ли христианский культ мучеников Маккавейских иудейские корни или это собственно христианское явление? Ответ на эти вопросы важен и для понимания более общего вопроса об иудейских предпосылках Нового Завета и раннехристианского богословия.

Легенда о еврейских мучениках за веру.

Прозвище Иуды было перенесено не только на его братьев и соратников, не только дало имя его эпохе, но и безымянные мученики из 7 главы 2 Макк тоже стали «Маккавеями», хотя в еврейской традиции оснований для такого переноса не засвидетельствовано. Это произошло не позднее IV в., когда сложился и распространился по восточным и западным территориям Римской империи христиан-

¹ Последние по времени обобщения написанного ранее см. ZIADÉ 2007: 107 сл.; JOSLYN-SIEMIATKOSKI 2009.

² BICKERMAN 1951: 77 сл.

ский культ «мучеников Маккавейских», как называет их ЕВСЕВИЙ КЕСАРИЙСКИЙ (ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ, 3. 10. 6).

У такого перенесения могли быть исторические поводы. Мы знаем, что Иеронима Стридонского смущало существование *двух* гробниц Маккавеев: в Палестине возле и в Антиохии: «Модеин (*Modeim*), деревня около Диосполя, откуда были родом Маккавеи; там и по сей день показывают их могилы (и я немало дивлюсь: каким образом их же могилы показывают в Антиохии?)»³. Из других источников (1 Макк 13. 28, Иуд. древн. 13. 6. 6. 211) известно, что Симон воздвиг в Модеине семь величественных, видимых с моря пирамид в честь своего отца, матери и пятерых братьев, которых называли «Маккавеями» или «братьями Маккавеями». «Есть Маккавеи и Маккавеи», как говорил Ф.-М. Абель⁴.

Смещение двух локализаций гробницы "Маккавеев" увековечилось, когда в XVI в. эта гробница была перенесена из Модеина в Эммаус (Амвас, Имвас, в 1 Макк Аммаус), где стала гробницей семи братьев и в этом качестве была помещена в церкви Эммауса⁵.

Возможно, семь пирамид, воздвигнутые Симоном в Модеине и стоявшие на виду в течение многих столетий, дали толчок к тому, чтобы эта семёрка была отождествлена с семёркой безымянных братьев-мучеников.

Однако именование братьев-мучеников, так же как и братьев-воителей, символически оправдано: это не просто путаница, это легендарная правда.

Сообщения 1 Макк и 2 Макк о жестоких гонениях укоренены в действительности, однако истории Элеазара, семерых братьев и матери имеют в такой мере символический, а не исторический характер, что остается неясным, где происходили события, описанные авторами 2 Макк и 4 Макк. В 2 Макк не говорится о месте казни мучеников и не называются имена братьев и матери, и повествование в целом касается разных мест, в том числе Иудеи (2 Макк 6. 8-11). Автор 4 Макк думал, что царь учиняет расправу в Иерусалиме (ср. 4 Макк 4. 23, 4 Макк 5. 1 и 8. 1). Возможно, когда он предлагает, чтобы на могиле была эпитафия (4 Макк 17. 8-10), он думает о гробнице в

³ ИЕРОНИМ СТРИДОНСКИЙ, О еврейских именах: PL 23, 911

⁴ См. ABEL 1949: 383.

⁵ См. ABEL 1949: 383, ZIADÉ 2007: 55, прим. 116.

иудейской столице, а не в Антиохии, хотя согласно более поздним источникам именно там существовало почитание могилы мучеников.

Для авторов не так важно место географически, прежде всего оно было местом встречи благочестивых и героических мучеников и жестокого тирана и гонителя. Однако традиция помещать место казни в Антиохии, когда бы она ни возникла, впоследствии явно возобладала. Связь тут могла быть и чисто умозрительной, ведь царь, находившийся во время гонений в Антиохии, при казни присутствует собственной персоной. Впрочем, М. Шаткин находит указания на то, что всё происходит в Антиохии, в том, что братья и мать говорят и на греческом и на «родном», вероятно арамейском, наречии, что более естественно для Антиохии, а не Иерусалима⁶.

Наименее вероятной кажется версия, сохраненная Иоанном Малалой (см. ниже), согласно которой царь привез Элеазара, отроков и их мать для казни в Антиохию. Но к поступкам Антиоха Эпифана трудно применять мерки разумности и вероятности.

Символическое значение определено есть у имени «Элеазар», что означает «Бог мой помог». Элеазар в 2 Макк 6. 18 – это благочестивый старец, писец, переписчик Торы, в 4 Макк – священник и учитель Закона, а в 3 Макк 6.1–15 – добродетельный старый священник, спасающий своей молитвой иудеев. В примеч. к 2 Макк 6. 43-47 перечислены и другие Элеазары еврейской истории, объединенные жертвенной смертью и благочестием⁷.

Семеро братьев, напротив, не имеют имен, для них символическим становится их число. Семеро сыновей – библейский образ полноты счастья, прежде всего счастья матери: 1 Сам 2. 5, Иов 1. 2, Иов 42. 13, Руфь 4. 15. Соответственно нет большего горя, чем лишиться семерых сыновей: Иер 5. 9. Семеро сыновей, которые претерпевают героическую жертвенную гибель, фигурируют и в других легендах, например, о Таксо и его сыновьях (мать тоже упоминается) в апокрифе ЗАВЕЩАНИЕ МОИСЕЯ (гл. 9)⁸ и в рассказе о галилейских мучениках у Иосифа Флавия (Иуд. древн. 14. 15. 5. 429-430). Мать также безымянна, это образ Матери и образ Премудрости, и когда впоследствии она и семеро ее детей получают в традиции различные имена,

⁶ См. SCHATKIN 1974: 98-9.

⁷ См. о такого рода библейском образе священника GOLDSTEIN II: 284-285.

⁸ TROMP 1993: 223–227.

она будет именоваться Саломонией / Соломонией, как женское соответствие царя-мудреца Соломона⁹.

Мартирологический материал 6-7 глав 2 Макк прерывает повествование, которое отличается от остального текста присутствием «библейского» стиля, и это позволило Хабихту утверждать, что 6-7 главы переведены с древнееврейского¹⁰, а многим другим -- считать их вставкой, которой не было в сочинении Ясона Киренского¹¹. Однако эти главы в книге важны и уместны. Как мы писали во Введении II, композиционно-смысловая роль этих глав чрезвычайно высока, и есть некоторые убедительные признаки их «исконности» в композиции всего сокращенного Эпитоматором сочинения. Это не отменяет возможности особого их источника, отличного от остального повествования, но и из иного источника они попали в труд Ясона, а уже от него - в 2 Макк¹². При том что 2 Макк как книга в целом не пользовалась у евреев большой популярностью¹³, рассказы о Элеазаре, матери и семи сыновьях были весьма распространены в раввинистической литературе. Сходство деталей в упомянутых выше повествованиях иудео-эллинистической литературы и в этих рассказах позволяет говорить о существовании не одной «истории», а топических образов, которые обнаруживаются в разных исторических и легендарных произведениях¹⁴. Это наводит на мысль о легендарной традиции, устной или не сохранившейся письменной, но независимой от 2 Макк, в которой мученичество Элеазара и матери с сыновьями, возможно, вообще было двумя отдельными историями¹⁵. Оказавшись рядом с историей братьев, Элеазар уже в 4 Макк, а затем в дальнейшей повествовательной и культовой традициях вошел в соседствующий сюжет как учитель юношей.

⁹ См. ниже об именах, которыми впоследствии были наделены эти герои.

¹⁰ HANSEN 1976: 171 и прим. 1a, 2b, 6a, 9ab, 17a and 23a к гл. 7.

¹¹ Г. Боверсок считает эти главы христианской вставкой середины- второй половины I в. н.э., переведенной с иврита или арамейского на греческий, т.е. одним из древнейших текстов христианства: BOWERSOCK 1995: 10-13.

¹² SCHWARTZ 2008: 19-20.

¹³ SCHWARTZ 2008: 85-88.

¹⁴ TROMP 1993: 223-227; DORAN 1980: 189-221.

¹⁵ HANSEN 1976: 171, прим. 19.

Особняком стоит предположение Г. Боверсока¹⁶ о том, что гл. 6-7 добавлены в 2 Макк христианами. Это связано с его убеждением в том, что христианские мученики и сама идея мученичества появились после гонений на христиан в Риме и не имеют еврейских корней. Боверсок подчеркивает отличия этих глав от остального текста, но этого недостаточно, чтобы считать их интерполяцией. Боверсок подкрепляет позднюю дату мартирологических глав отсутствием упоминаний о Храме, но это аргумент не слишком сильный. Авторы диаспоры могли не упоминать Храм, когда он стоял, а Иосиф упоминал его, когда он уже был разрушен (ПРОТИВ АПИОНА 2. 23. 193–198).

Роль 2 Макк как источника в этой позднейшей раввинистической традиции утверждается одними¹⁷ и отрицается другими¹⁸, большинство же склоняется к тому, что устное предание и письменную его фиксацию в раввинистической среде питало и поддерживало почитание могил мучеников в Антиохии¹⁹.

Иудейский культ мучеников Маккавеев

Существование могилы мучеников в Антиохии документально засвидетельствовано, начиная, по крайней мере, со второй половины IV в. н. э.

Самый древний документ, который упоминает могилу Маккавеев в Антиохии – это «Сирийский breviарий», мартирологический календарь из Эдессы (ок. 412 г.)²⁰. Он был издан Райтом в 1865-66 г. и представляет собою сокращение греческого оригинала, восходящего к 362 г. (в нем упомянуты мученики эпохи императора Юлиана)²¹. Запись, посвященная празднику Маккавеев (1 августа), называет местом их погребения Кератей, или Кератейон, то есть (как известно

¹⁶ BOWERSOCK 1995: 9-13.

¹⁷ LEVI 1907: 138-141.

¹⁸ COHEN 1991: 58–59, прим. 62.

¹⁹ DUPONT-SOMMER 1939 : 75, 81, ПРИМ. 45 (CP. 4 МАКК 17. 8–10); OBERMANN 1931: 250; GUTMAN 1949: 30–32; DORAN 1980: 191–197; WERNER 1980: 52–55; YOUNG 1991: 67–81; STEMBERGER 1992: 193–203 (в основном о раввинистической традиции о роде Маккавеев); SCHNEIDER 2000: 24–60.

²⁰ ROSSI & DUCHESNE 1894 : L–LXIX. Полную библиографию трудов о мартирологе Райтасм.: LECLECQ 1932, X, 2, 2564.

²¹ ROSSI & DUCHESNE 1894: L–LXIX.

из других источников) квартал в южной части Антиохии возле ворот, ведущих в Дафну²²: «исповедники, в числе тех, кто был погребен в Антиохии, а именно в Кртие [Кератее], которые были сыновьями Ш(а)муни, упомянутыми [в книге] Маккавеев (или: «называемые Маккавеями»)»²³. Дата создания Ефремом Сирином гимна «Семь сынов Шамуни» (в греческой передаче «Самоны») – 363 г., примыкает к дате греческого мартиролога²⁴.

Между 386 и 398 гг. Иоанн Златоуст произнес в Антиохии, где он родился, первые две проповеди о Маккавейских мучениках. Упоминания о погребении мучеников в окрестностях города можно видеть не только в них, но и в Константинопольской проповеди НА [ПРАЗДНИК] ЭЛЕЗАРА И ОТРОКОВ²⁵, произнесенной ок. 400 г.

Григорий Назианзин в речи НА [ПРАЗДНИК] МАККАВЕЕВ, произнесенной в Каппадокии, по мнению Зиаде в 362 г.²⁶, хотя позднее, быть может повторенной в Константинополе, говорит о том, как должны быть прославляемы и почитаемы Маккавейские мученики, но не упоминает их останков²⁷.

В «Страстях святых Маккавеев» (*Passio SS. Maccabaeorum* сокращённом латинском пересказе 4 Макк, современном Иерониму Стридонскому также сообщается о почитании могилы мучеников в Антиохии²⁸.

В проповеди, произнесенной в последнее десятилетие IV в., Августин упоминает базилику в Антиохии, где почитают Маккавейских мучеников. В его словах содержится не совсем понятная настойчи-

²² ZI^o DÉ 2007: 57.

²³ Издание оригинала см.: WRIGHT 1865-1866: 45-56; англ. перевод см.: WRIGHT 1866: 423-432.

²⁴ ЕФРЕМ СИРИН, СЕМЬ СЫНОВ САМОНЫ: 211-220.

²⁵ «Не о прахе мне молви, не о пепле помышляй, не о костях, истлевших от времени...» (ИОАНН ЗЛАТОУСТ, НА [ПРАЗДНИК] СВВ. МАККАВЕЕВ И МАТЕРИ ИХ 1. 1: PG 50, 617, ср. 623 «...не пройдя и нескольких стадиев от зрелища их борьбы» (ИОАНН ЗЛАТОУСТ, НА [ПРАЗДНИК] ЭЛЕЗАРА И ОТРОКОВ: PG 63, 530, ср. О СВВ. МУЧЕНИКАХ 1: PG 50, 647.

²⁶ Традиционные датировки отличаются несущественно, см. ZI^o DÉ 2007: 140-142.

²⁷ ГРИГОРИЙ НАЗИАНЗИН, РЕЧЬ XV. НА [ПРАЗДНИК] МАККАВЕЕВ: PG 35. 911-933

²⁸ «Итак, старец Элеazar и святейшая сия мать с семерыми детьми (*parvulis*) украшены всяческими погребальными почестями <...>; глубочайшее благоговение охватывает даже иноверцев (*alienae fidei homines*)». См. DÖRRIE 1938: 17; ср. JEREMI^o S 1937: 283-286.

вость: «Говорят, что в Антиохии есть базилика святых Маккавеев... Эта базилика содержится христианами, воздвигнута она христианами»²⁹.

Вильямс усматривает в этих словах скрытую полемику, связанную с тем, что базилика представляла собою перестроенную синагогу³⁰. Этому мнению придерживается и М. Шаткин, которая приводит исторические примеры, когда синагоги переходили в руки христиан³¹, и многие другие³².

Как известно из проповедей Иоанна Златоуста, особенно его восьми речей ПРОТИВ ИУДЕЕВ, и его борьбы против «иудействующих»³³, в Антиохии было довольно много иудеев (более 10% населения), и христиан из иудеев³⁴. Именно в Антиохии очень рано возникли христианские храмы, здесь ап. Петр был епископом, здесь появилось само название «христиане» (Деян 11. 19-26). Христианский автор VI в. связывает превращение синагоги в церковь с обращением жителей Антиохии. Но можно ли говорить о превращении еврейской общины в христианскую в результате обращения? Это сомнительно; скорее речь может идти о превращении здания синагоги в церковь (см. ниже).

Источники, которые сообщают, что могилу мучеников в Кератейоне до христиан почитали евреи и что это почитание было связано с синагогой, весьма поздние.

Иоанн Малала, антиохийский хронист VI в., в рамках истории Селевкидов в VIII книге своей «Хронографии» сообщает, что Антиох привез Элеазара и «Маккавеев» в Антиохию, пытал и казнил их неподалёку от города, на «вечно стонущей горе».

Согласно Малале, преемником Антиоха, именуемого у него Антиохом Главком, был «Деметриан, сын Селевка», правивший восемь лет. Так же как этого Антиоха отождествляют с Антиохом Эпифаном, так и «Деметриана» – с Деметрием I Сотером. В «Хронографию» Иоанна Малалы попало немало фантастических сведений, например, о том, как египетскому фараону из книги Исхода Пифия открывает тайну

²⁹ АВГУСТИН ГИППОНСКИЙ, СЛОВО 300. НА ПРАЗДНИК МУЧЕНИКОВ МАККАВЕЙСКИХ I: PL 38. 1379: Haec basilica a Christianis tenetur, a Christianis aedificata est.

³⁰ WILLIAMS 1975: 250.

³¹ SCHATKIN 1974: 106-107.

³² См. литературу у ZIADÉ 2007: 133-135.

³³ См. ИОАНН ЗЛАТОУСТ, ПРОТИВ ИУДЕЕВ: PG 48, 843-942.

³⁴ ZIADÉ 2007: 125.

Троицы³⁵. Тем не менее, его рассказ о том, что «некий человек иудейского племени по имени Иуда» пришёл в Антиохию и то ли тронул, то ли поразил царя настолько, что тот откликнулся на его просьбы и отдал Храм и «останки Маккавеев», интересен и важен тем, что написан с какой-то иной точки зрения, чем все имеющиеся у нас свидетельства об Иуде Маккавее и его деяниях. Свои сведения, верные или неверные, Иоанн Малала получил не из Маккавейских книг и не из Иосифа Флавия.

Согласно Малале, Иуда похоронил останки «Маккавеев» в Антиохии, в Кератее, потому что там была иудейская синагога. Затем этот «некий» Иуда очистил Храм, отстроил Иерусалим и отпраздновал Пасху³⁶. Малала как бы не знает, что этот иудей может быть только Иудой Маккавеем; похоже, его источник – языческий историк Селевкидов: Иуда Маккавей выступает здесь по отношению к Деметрию I как проситель, а не победитель. В то же время мученичество и осквернение Храма поданы у Малалы как равнозначные события, а всю антиеврейскую деятельность Антиоха в целом он называет, со ссылкой на Хронику Евсевия, «вторым Пленом»³⁷. Это говорит в пользу еврейского источника. Именно в таких источниках фигурируют несколько пленов, например, три: египетский, вавилонский и Антиохов³⁸. Бикерман высказывался поэтому в пользу местной, антиохийской еврейской традиции, отличной от Иерусалимской и связанной с почитанием захоронения.³⁹

Иоанн Малала подтверждает нахождение гробницы мучеников а) в Антиохии, б) в южной её части, в Кератейоне, в) рядом с синагогой и в её ведении⁴⁰. Несмотря на очевидную нелепость (Маккавей хоронит останки Маккавеев!), рассказ хрониста может всё же отражать какие-то действия по увековечению памяти героев Маккавей-

³⁵ BICKERMAN 1951: 66.

³⁶ ИОАНН МАЛАЛА, ХРОНОГРАФИЯ VIII Dindorf: 205–207 (PG 97, 321 et 324).

³⁷ См. BICKERMAN 1951: 65; ср. также DOWNEY 1961: 109; KRAELING 1932: 134; RAMPOLLA 1897 = 1899: 378).

³⁸ ТИ: Санхедрин 29с; Эйха Рабба 2. 9; ИОАНН ЗЛАТОУСТ, ПРОТИВ ИУДЕЕВ 5. 4: PG 48, 890, 5. 7: PG 48, 893; 6. 2: PG 48, 905, МИНОЛОГИЙ ВАСИЛИЯ, 1 августа: PG 117, 568. Ни в Маккавейских книгах, ни у Иосифа Флавия такого понимания гонений и такого выражения не встречается.

³⁹ BICKERMAN 1951: 81–83.

⁴⁰ ИОАНН МАЛАЛА, ХРОНОГРАФИЯ VIII Dindorf: 206.

ского восстания и восходить к источникам, близким ко времени жизни Иуды Маккавея⁴¹.

Малалу подкрепляет арабский «путеводитель» по Антиохии (Codex Vaticanus Arabicus 286), содержание которого заимствованно, видимо, из христианского источника, созданного не позже VI-го в. н.э⁴². Он подтверждает существование христианской церкви в западной части города, сообщает, что она именовалась иудеями «домом молитвы», т. е. была синагогой, возведена над пещерами, где покоится первосвященник Эзра (Элеазар? Значение имени близкое), Ашмунит и её семеро сыновей.⁴³

И наконец, иудео-арабская хроника Ниссима ибн Шахина (XI в.)⁴⁴, помимо сведений, которые могли быть позаимствованы из раввинистической литературы, включает такое сообщение: «И над ними была возведена синагога Шеминит (*qanîsat shemînîth*). Синагога Шеминит была первой синагогой, построенной после Второго Храма»⁴⁵.

Ниссим ибн Шахин не говорит о городе, где находится синагога. Оберманн, который первым исследовал этот памятник, был уверен, что речь идет о синагоге в Иерусалиме и что это сообщение не имеет никакого отношения к антиохийской традиции. Соотнесение по-

⁴¹ BICKERMAN 1951: 63–83.

⁴² RAMPOLLA 1897=1899: 390.

⁴³ «В этом городе есть величественное здание, которое жители после обретения христианской веры превратили в церковь в честь св. Ашмунит. Эту церковь евреи называли «дом молитвы»; она находилась на западе, у вершины горы. Казалось, она парит в воздухе; под нею находится как бы крипта с гробницами, куда можно спуститься. Эта церковь хранит могилу Эзры, первосвященника, и могилы Ашмунит и ее семерых сыновей, которых царь Агаптий (sic!) казнил за их веру; и они там похоронены в подземелье»; см. переводы: RAMPOLLA 1897=1899: 390, BICKERMAN 1951: 74, SCHATKIN 1974: 101; см. также публикацию и толкования: STINESPRING 1932; OBERMANN 1931: 252; KRAELING 1932: 140.

⁴⁴ Текст сохранился в единственной рукописи в собрании Еврейской теологической семинарии Нью-Йорка, её обнаружил и опубликовал Оберманн: текст OBERMANN 1933: 25–28; комментарий, см.: OBERMANN 1931: 255–259.

⁴⁵ Оберманн обращает внимание на то, что в некоторых раввинистических источниках казнь Маккавейских мучеников отнесена ко временам Адриана (Седек Элиаху Рабба 30 (151–3), Песикта Раббати 43 (180b), ср. GILBERT 1984: 318). Помимо того, что гонения при Адриане были ближе по времени, время мученичества могло быть приурочено ко времени возведения синагоги (OBERMANN 1931: 263 и примеч. 44). В устной традиции казнь и возведение синагоги синхронизировались либо по ранней границе Антиоховых гонений, либо по поздней – Адриановых.

стройки синагоги с разрушением Храма он также считал свидетельством в пользу иерусалимского контекста⁴⁶.

Однако связь с Антиохией имен, передающих еврейское имя Хашмонаит / Хасмонаит (ж. р. для Хашмонеи / Хасмонеи), Ш(а)муни – в Сирийском бревиарии, Ашмонит – в Codex Vaticanus 286 позволяют считать и Шеминит у ибн Шахина относящейся именно к Антиохии⁴⁷.

Определенные сомнения вызывало нахождение могилы, мёртвого тела, вблизи синагоги и в ней самой. Это могло нарушать требования обрядовой чистоты и было запрещено библейским принципом (Лев 21. 1–5; Числ 6. 6–9; 19. 11–13; Втор 18. 9–12; 26, 14), согласно которому труп является источником ритуальной скверны⁴⁸. Средневековые раввины следовали этому предписанию, и связь синагоги с могилой сделалась невозможной⁴⁹. Но синагога не место отправления культа, и на нее не распространяются запреты, касающиеся храма и богослужения. Истории известны синагоги, построенные на знаменитых могилах или поблизости от них. Строгость в соблюдении этого принципа в эллинистическую эпоху была, видимо, наименьшей⁵⁰. Простой деревянной разгородки или каких-либо иных разделительных приспособлений (например, кенотафа сверху) было достаточно для того, чтобы отделить место молитвы от места захоронения, места живых от мест мёртвых, и тем самым разрешить конфликт между сложившимся обычаем и требованиями Закона⁵¹. Почитание могил было распространённой практикой, о чём неод-

⁴⁶ OBERMANN 1931: 260-261.

⁴⁷ См. VAMMEL 1953: 122-3; SCHATKIN 1974: 102-3; WILLIAMS 1975: 251.

⁴⁸ Античное общество с таким же недоверием (и даже отвращением) относилось к культу мощей святых, как и раввинистическая традиция. Как отмечает Питер Браун, причина здесь в том, что в христианском культе святых, с точки зрения нехристианских цивилизаций, нарушалась неприкосновенная граница между миром живых и миром умерших, см.: БРАУН 2004: 13.

⁴⁹ OBERMANN 1931: 264, прим. 47 отмечает этот запрет как причину отсутствия каких-либо упоминаний синагоги Маккавеев в раввинистических источниках. Однако путешественники указывали на близость прославленных погребений и синагог в первом тысячелетии, см. источники: OBERMANN 1931: 265, SCHATKIN 1974: 104.

⁵⁰ BICKERMAN 1951: 74, JEREMIAS 1958: 124 сл.

⁵¹ ZIADÉ 2007: 61; BICKERMAN 1951: 74–75.

нократно упоминают и агада, и галахические мидраши⁵². Некоторые формы почитания особых могил *de facto* существовали в древности – Иосиф упоминает могилу Харана в халдейском Уре, которую знали и почитали в его время⁵³ – и существуют по сей день, и надежно засвидетельствованы – от почитания могилы Рахили и пещеры патриархов до распространенных в современном Израиле ежегодных паломничеств на могилы раби Шимона бар Йохая и раби Меира. Хадас указывает также на ежегодное поминовение дня смерти Гедалии, спасителя Иеремии⁵⁴, а РАШИ в КОММЕНТАРИИ НА В. УЕВ. 122а упоминает учеников, сидящих на могиле учителя в годовщину его смерти. Пинхас Бен Хама, приводил доводы в оправдание культа гробниц патриархов во Святой земле⁵⁵. Эллинизированная иудейская община могла перенять не упомянутый Танахом обычай ежегодного поминовения выдающихся людей у своих соседей. Хадас и Дюпон-Соммер определяли жанр 4 Макк как поминальную речь в годовщину мученичества, «произносимую у могилы»⁵⁶. При всем том останки мучеников -- условие возведения церкви и отправления культа, но для раввинистической религии они подобной роли не играли и играть не могли⁵⁷.

Интерпретация уникального случая всегда представляет большие сложности и, как правило, делается на основании представлений исследователя о широко распространенном, как раз не уникальном.

Лайтстоун, посвятивший специальное исследование переосмыслению погребения и могилы в иудаизме греко-римского мира, доказывает в своей книге, что и в иудаизме могила становится не спуском в преисподнюю, но скорее местом, откуда открывается путь к Богу⁵⁸. Случай с гробницей мучеников он рассматривает в этом контексте и считает, что в конце III или начале IV в. община синагоги в

⁵² OBERMANN 1931: 265; SIMON 1936: 412–413; ROTHKRUG 1981: 95–142.

⁵³ Иуд. древн. 1. 6. 5. 151.

⁵⁴ HADAS 1953: 106–107.

⁵⁵ См. об этом: БРАУН 2004: 13.

⁵⁶ HADAS 1953:103–105, DUPONT-SOMMER 1939: 67–73. О культе мучеников в иудаизме см. JEREMIAS 1958: 60 сл., 44–46, OBERMANN 1931: 265; KAUSER 1960; RORDORF 1993: 166–177.

⁵⁷ См. БРАУН 2004: 13, 21; WERNER 1980: 39–44, придерживается того же мнения.

⁵⁸ LIGHTSTONE 2006: 50, первое издание в 1984 г.

Кератее перенесла останки из могил на горе возле Антиохии и погребла их под полом синагоги⁵⁹.

В свою очередь Ратгерс отрицает существование у иудеев почитания мучеников и в поздней античности, и во времена Маккавейского восстания. С его точки зрения, все еврейские мученики стали таковыми в традиции ретроспективно, под влиянием христианского культа и христианского богословия. В 351 г. в Антиохию были доставлены мощи мученика, Антиохийского патриарха Вавилы, над ними возведен величественный храм. По всей ойкумене в это время отыскивались останки святых мучеников. А потому почитаемые христианами мощи Маккавейских мучеников он считает обретенными в середине IV в., и почитание их не старше этого времени.⁶⁰

Хотя свидетельством о практике почитания евреями могилы в Антиохии может служить только 4 Макк, датируемая все-таки не позже начала II в. н. э., трудно представить себе, чтобы христианский культ не имел к еврейскому почитанию никакого отношения. И если даже считать 4 Макк не свидетельством какой-либо практики, но чисто литературным произведением, то и тогда нужны чрезвычайно сильные аргументы, чтобы в отсутствие какой-либо традиции почитания Маккавейских мучеников, через полтысячелетия был учрежден христианский культ и праздник в честь умерших за Закон Моисея.

Кардинал Рамполла, впервые основательно занявшийся этим вопросом, считал, что синагога, как и весь квартал Кератейон, была построена при Селевке I Никаторе (304-281 до н. э.)⁶¹. Почитание погребения мучеников он возводил к эпохе первых Хасмонеев, а сама казнь, по его мнению, происходила в Антиохии⁶². Рамполла исходил из свидетельств 2 Макк 6. 8–9 и 1 Макк 1. 43; 5. 46–53, где говорится, что преследования осуществлялись по всей империи Селевкидов, а не только в Палестине. Упоминание эпитафии в честь мучеников (4 Макк 17. 8–10) также служило ему и другим ученым свидетельством особого культа, связанного с могилой⁶³. Если считать, что 4 Макк не обязательно

⁵⁹ LIGHTSTONE 2006: 84.

⁶⁰ RUTGERS 1998: 300-303.

⁶¹ RAMPOLLA 1897 = 1899: 384.

⁶² RAMPOLLA 1897 = 1899: 290–293. Его мнение поддержано Шаткин: SCHATKIN 1974: 99.

⁶³ См. DUPONT-SOMMER 1939: 67–68 и NODET 1986: 326, примеч. 11.

даже сочинена, но хотя бы произнесена в Антиохии, то 4 Макк окажется самым ранним свидетельством культа мучеников в этом месте.

М. Шаткин также возводит почитание могилы ко временам Антиоховых гонений⁶⁴, но считает при этом, что синагога у могилы мучеников была построена вскоре после разрушения Храма⁶⁵.

Если Рамполла и Шаткин считают, что останки мучеников были в самом деле помещены в некое священное для города место, то Оберманн предлагал перенести проблему могилы из области истории в область преданий о мучениках⁶⁶.

К самому раннему времени почитание могилы мучеников относят самые поздние источники. По Малале – это середина II в. до н.э., по Ниссиму ибн Шахину – I в. н. э., если слова «после Второго Храма» считать относящимися к его разрушению. Но если речь идет не о разрушении Храма римлянами в 70 г., а об осквернении Антиохом, то эта древняя синагога была возведена во второй половине II в. до н. э., еще при Деметрии I⁶⁷. Ниссим ибн Шахин при этом противоречит Малале, у которого синагога не была возведена на месте погребения, так как останки похоронили возле уже существовавшей синагоги.

Итак, одни доверяют сведениям о восходящей к I в. традиции еврейского культа Маккавейских мучеников в Антиохии⁶⁸; другие высказываются в пользу такой точки зрения с осторожностью⁶⁹, третьи считают эти сведения недостоверными⁷⁰. Но еще менее вероятно, чтобы антиохийские христиане изобрели такой культ в IV в., через пять столетий после событий, если бы некое почитание могил мучеников в Антиохии не существовало ко времени появления там христиан уже достаточно долго.

О характере почитания могилы мучеников евреями сведений немного, но, по крайней мере, в Антиохии в определенном месте в определенную календарную дату нечто происходило⁷¹. Место муче-

⁶⁴ SCHATKIN 1974: 99.

⁶⁵ См. SCHATKIN 1974: 103.

⁶⁶ OBERMANN 1931: 261.

⁶⁷ DOWNEY 1961: 111, примеч. 117.

⁶⁸ BAMMEL 1931, HADAS 1953: 10; HENGEL; SCHWEMER 1997: 188-189.

⁶⁹ HORBURY 1998: 452.

⁷⁰ KLAUCK 1989: 675-677.

⁷¹ DUPONT-SOMMER 1939: 75 и 81, примеч. 45 на основании 4 Макк 17. 8-10; ср. ZIADÉ 2007: 63, с подробной библиографией.

ников Маккавеев в раввинистическом иудаизме может объясняться обычаем их почитания в определённый день. Так полагает, например, Оберманн:

«Судя по тому глубокому чувству, с каким эта история снова и снова пересказывается в раввинистической литературе, она должна была считаться святой для каждой синагоги»⁷².

Высказывались в той или иной мере обоснованные косвенными свидетельствами предположения об иудейском празднике или дне поминовения Маккавейских мучеников.

Фрейденталь считал, что праздник мучеников Маккавеев отмечался на Ханукку, которая празднуется не позднее 25 декабря⁷³. Этот иудейский праздник в 1 Макк определяется как освящение жертвенника после очищения Храма, а в 2 Макк – как воспоминание о самом очищении Храма, совершённом Иудой Маккавеем 25 числа месяца Хаслева/Кислева (1 Макк 4. 50–59) Селевкидской эры (2 Макк 1. 18 и 10. 5–8). В 1 Макк он называется праздником Обновления (Освящения), в 2 Макк 1. 18 – праздником Очищения Храма, Кущей и Огня и, а у Иосифа – праздником Света (или Свечей)⁷⁴. Этот праздник мог ассоциироваться с мучениками Маккавеями, потому что воспоминание об Освящении жертвенника распространилось на всех участников еврейского сопротивления⁷⁵.

Восемь свечей хануккальной Меноры и восемь дней Ханукки осмысляются как символ числа мучеников – семь братьев и мать⁷⁶. Вероятно, эта традиция старше причисления Элеазара к числу Маккавейских мучеников. Впервые зажигание хануккальных свечей как за-

⁷² OBERMANN 1931: 250. О месте Маккавеев в этой литературе см.: LEVI 1907: 139; GUTMAN 1949: 30–32; DORAN 1980: 191–197; WERNER 1980: 52–55; YOUNG 1991: 67–81; STEMBERGER 1992: 193–203; SCHNEIDER 2000: 24–60.

⁷³ FREUDENTAL 1869: 106–107, п. 2.

⁷⁴ Иуд. ДРЕВН., 12. 7. 7. 325. См. наше примеч. к 1 Макк 4. 50 и 59, 2 Макк 1. 18, а также NODET 1986: 323, и подробнее NODET 2005: 20–27. Это последнее название, תאֵ פֶּתִיחַ («Свечи»; см. о происхождении названия KAUFMANN 1904: 224). Название этого праздника отзывается в ранневизантийской литургической традиции, где в IV в. Богоявление также именовалось תאֵ פֶּתִיחַ (см. MOSSAY 1965: 24–27). Это название предполагает аналогичную практику возжигания лампад, засвидетельствованную в Константинополе в XV веке (см. BOTTE 1932: 80).

⁷⁵ См. OBERMANN 1931: 251, п. 5 и WERNER 1980: 51.

⁷⁶ См. NODET 1986: 374. BOGAERT 1986: 33, считает, что книги Даниила и Иудифи также связаны с праздником Ханукки.

поведь праздника упомянуто в барайте из Вавилонского Талмуда⁷⁷, где упомянут спор о порядке зажигания свечей: школа Шама полает, что в первый день зажигают восемь свечей, а в последующие дни убавляют по свече (символ смерти мучеников одного за другим); школа Гиллеля, напротив, считает, что зажигать каждый день еще один светильник – напоминать о полноте славы мучеников и вознагражденной стойкости. Галахическая практика следует Гиллелю⁷⁸. По мнению Ноде, рассказ о мучениках был вставлен Эпитоматором в 2 Макк именно для того, чтобы включить праздник мучеников в праздник Очищения.

Дюпон-Соммер склонялся к гипотезе об отдельном празднике, посвящённом этим мученикам. Он считал, что содержание 4 Макк не имеет никакого отношения к торжеству восстановления богослужения, отмечавшемуся на Ханукку, и если бы мучеников прославляли на Ханукку, то память об этом событии должна была попасть в текст 4 Макк. Во Введении IV мы приводили возражения против этой точки зрения: одни хануккальные тексты могли восхвалять подвиги Маккавеев, другие – подвиги мучеников, третьи – не содержать ни первого, ни второго, как некоторые читаемые на Ханукку поныне.

Но само предположение о самостоятельном дне почитания памяти Маккавейских мучеников не лишено оснований. В раввинистическом календаре память о мучениках связана с памятным днем Тиша бе Ав, девятым днём месяца Ав, главным траурным днём в году. В этот день вспоминают о разрушении обоих Храмов, Первого и Второго, а также о падении крепости Бейтар, последней твердыни Бар Кохбы⁷⁹. Таким образом, есть следы почитания мучеников в день, противоположный Ханукке по своему настроению: вместо очищения и освящения поминается разрушение и гибель⁸⁰.

Вместе с тем дата Тиша бе Ав наводит на мысль о том, что особый день мучеников с ней и был связан, причем ранее свидетельств раввинистической традиции. В некоторых календарях Восточных церквей день Маккавейских мучеников – 8 августа, накануне дня Тиша бе Ав, Девятого Ава, который часто в самом деле выпадает на Девятое августа

⁷⁷ ТВ: Шабат 21b.

⁷⁸ КЕЭ 1999: 9, 621.

⁷⁹ См. OBERMANN 1931: 250, примеч. 2.

⁸⁰ См. NODET 1986: 371–372.

и со времен разрушения Второго Храма прочно с ним ассоциируется⁸¹. Этот день завершает собою девять дней покаяния, первый из которых как раз мог бы совпадать с кануном 1-го августа, а именно эта дата наиболее обычна для христианского праздника мучеников.

Зиаде обращает в этой связи внимание на Речь XV Григория Назианзина, который вкладывает в уста матери прославление ее детей-мучеников словами из Плача Иеремии (Плач 4. 7)⁸². Это может служить аргументом в поддержку мысли о преемстве христианского праздника мучеников и дня Тиша бе Ав⁸³, потому что Плач Иеремии читался в этот траурный день⁸⁴. Эта цитата, тем самым, может быть аллюзией к иудейскому богослужению, преемником которого стало в данном случае христианское.

Можно заметить, что всех своих мучеников иудаизм вспоминает не только Девятого Ава, но прежде всего в Йом-Киппур, День Очищения. В этот день исполняются особые песнопения, посвященные образцам стойкости и преданности отеческим законам, например «Асара харутей малхут (десять убиенных царством, т.е. – Римом)» и также в службе цитируется Плач. Кроме того, мистика Дня Искупления и Очищения, само сближение этих понятий, может вызывать ассоциации с Маккавейскими мучениками. Однако доказать эту гипотезу тоже очень трудно.

В более поздней еврейской традиции, где мученики были ранними образцами *киддуш-хашем*⁸⁵, истории, рассказанные в 2 Макк и 4 Макк, циркулировали в разных модификациях. Во Введении IV мы упоминали то продолжение, которое имел рассказ о Маккавейских мучениках в раввинистической и до некоторой степени средневековой традиции⁸⁶. Хотя 2 и 4 Макк в Средние века не читали в еврейской среде, и Йосипон тут исключение⁸⁷, память о мучениках всё-таки сохранялась. Так, Абрахам бен-Элиезер ха-Леви вспоминал их и прославлял их стойкость в связи с изгнанием евреев из Испании⁸⁸.

⁸¹ OBERMANN 1931: 250-251.

⁸² ГРИГОРИЙ НАЗИАНЗИН, Речь XV. На [ПРАЗДНИК] МАККАВЕЕВ: PG 35, 928.

⁸³ ZIADÉ 2007: 243-244, 290.

⁸⁴ См. YDIT 1971: 938.

⁸⁵ ФЛЮССЕР 1959.

⁸⁶ DORAN 1980, SPIEGEL 1967: 13–16; GUTMAN 1949, COHEN 1991.

⁸⁷ ФЛЮССЕР 1995, ЙОСИПОН 1978-1980: 1. 61-107.

⁸⁸ См. MOMIGLIANO 1975: 87.

Кульτ мучеников Маккавеев у христиан

Преемство иудейского почитания Маккавейских мучеников и христианского культа в Антиохии несомненно, неоспоримо и то, что почитание Маккавейских мучеников получило широчайшее распространение в христианском мире. В Антиохии, месте их почитания евреями, на склонах горы Сильпий над криптой, где покоились останки Эзры (Элеазара), семи братьев и их матери, св. Ш(а)мунит, находилась церковь свв. Маккавеев⁸⁹. Бикерман считал, что синагогу у евреев отобрали и превратили в церковь⁹⁰. Вопрос о том, была ли синагога превращена в базилику, или христиане возвели над криптой с мощами мучеников свою постройку, остается спорным⁹¹. Но культ определенно сменил «хозяев», а дата этих событий, хотя точно и не известна, находится в довольно узком интервале. Эти события едва ли могли иметь место до государственного принятия христианства, и скорее всего уже произошли к 362 г., когда их день включается в календарь, о котором шла речь выше («Сирийский бревиарий»). В этом же году Григорий Назианзин произносит свою речь о Маккавейских мучениках. Некоторым исследователям подходящим временем для этих событий представляется правление императора Констанция Галла (351-354 гг.), который в 352 г. жестоко подавил еврейское восстание⁹². К тому времени, когда Иоанн Златоуст произносит в Антиохии речи ПРОТИВ ИУДЕЕВ И НА [ПРАЗДНИК] СВВ. МАККАВЕЕВ, он уже считает культ «своим». Так, в одной из речей он задает риторические вопросы об иудеях: «Когда они держали пост на Пасху? Когда справляли с нами праздник мучеников? Когда к нам присоединялись в день Богоявления?»⁹³. Следует ли из этого, что евреи праздник мучеников уже в это время не отмечали? Не обязательно. Ясно только, что это были уже разные или отдельные праздники.

История знает свидетельства относительно мирного почитания общей святыни. В путеводителе Антония из Пьяченцы (ок. 570 г.) описана могила патриархов Авраама Исаака и Иакова в Мамвре, над которой

⁸⁹ ZI^o DÉ 2007: 60.

⁹⁰ BICKERMAN 1951: 73-80.

⁹¹ Экзотическое решение было предложено Винсоном, который поместил еврейскую синагогу памяти Маккавеев в Дафне, а христианскую в Кератее: VINSON 1984: 183.

⁹² ZI^o DÉ 2007: 134, см. литературу примеч. 125.

⁹³ ИОАНН ЗЛАТОУСТ, ПРОТИВ ИУДЕЕВ 4. 3: PG 48, 876, 6-7.

выстроена базилика. И христиане, и евреи могли подойти к могиле, каждые со своей стороны балюстрады⁹⁴. И поныне Махпела, Пещера патриархов в Хевроне, разделена на две части между евреями и мусульманами. Однако в данном случае мы не знаем никаких деталей. Тот же путеводитель сообщает, что в Антиохии рядом с христианскими святыми в девяти гробницах покоятся Маккавейские мученики, и каждую из гробниц венчает соответствующее орудие пытки⁹⁵.

Из Антиохии культ мучеников, видимо, был перенесен на Запад. Уже в IV в. в Галлии был создан и широко распространен латинский парафраз 4 Макк под названием *Passio SS. Macchabaeorum*⁹⁶. Почитание Маккавейских мучеников приобрело повсеместный характер в V в. После 551 г. мощи были доставлены в Константинополь. Часть мощей попала затем в Рим, из Константинополя при папе Пелагии I (556-561), или непосредственно из Антиохии при Пелагии II (579-590).

Останки хранились в римской церкви св. Петра-в-Веригах (*San Pietro in Vincoli*), престольный праздник которой приходится тоже на 1 августа. Археологические исследования, проведенные в 1876 г. при реконструкции церкви, обнаружили под алтарем саркофаг с семью вместилищами, разделенными мраморными плитами, в них лежали кости и пепел, завернутые в ткань. Саркофаг датируют IV-V вв. Кроме того, были найдены две латинские надписи на свинцовых пластинах, относящиеся к семерым братьям и датируемые IX в. (одна из них, по некоторым оценкам – IV в.). На более поздней написано: «В этих семи отделах покоятся кости и прах семерых святых братьев махавейских (*sic!*), и обоих их родителей, и несчетных других святых» (*in his septem loculis condita sunt ossa et cineres sanctorum*

⁹⁴ *Basilica aedificata in quadrisporticos, in medio atrio discopertus et per medio discurrit cancellos, ex una latere intrant Christiani, ex alio latere Iudaei, incensa facientes multa* («Базилика выстроена в виде четырёхугольных портиков, посреди двора – открытый портик, и посреди него проходит решётка. С одной стороны входят христиане, с другой стороны -- иудеи, возжигая множество благовоний»; *ITINERARIUM ANTONINI PLACENTINI*, 185 MILANI, ср. SIMON 1936: 413).

⁹⁵ *ITINERARIUM ANTONINI PLACENTINI*, 233 MILANI. Возможно, число «девять» складывается не из братьев + мать и Элеазар, а из упомянутых выше христианских святых и Маккавейских мучеников. Одна из редакций путеводителя говорит только о семерых братьях, см. ZIADÉ 2007: 116, примеч. 37.

⁹⁶ DÖRRIE 1938.

septem fratrum machabeorum et amborum parentum eorum ac innumerabilium aliorum sanctorum).⁹⁷

Останки мучеников были доставлены также в Милан и в Кёльним были посвящены церкви в Лионе и Венеции. Почитание Маккавеев в Риме было со временем заслонено праздником вериг ап. Петра⁹⁸.

«Маккавеи» в христианском богослужении

Необходимость иметь посвящённые Маккавейским мученикам богослужебные тексты привела к составлению лекционариев и пассионариев на Западе и синаксариев и прологов на Востоке⁹⁹.

Рукописи подтверждают, что в богослужебной практике использовались 2 и 4 Макк, при этом 2 Макк и реже 4 Мак свободно пересказывали¹⁰⁰.

В Византийской церкви 4 Макк занимала известное место в богослужебных рукописях, например, в весьма ценимом сборнике Ватопедского монастыря¹⁰¹. Пересказы страстей Маккавеев включены в несколько дометафрастовых Минологий на август¹⁰² и в другие собрания¹⁰³. У самого Симеона Метафраста они также есть в 10-м томе¹⁰⁴.

Помещение изложения в Минологию Метафраста привело к переписыванию и распространению и самих книг, что показывает большое количество сохранившихся рукописей 4 Макк¹⁰⁵.

В богослужебном контексте безымянные мученики обрели имена. Как писал Феодорит Кирский: «Философы и риторы преданы забвению; большинство даже не знает имён императоров и воена-

⁹⁷ Представление о Элеазаре как об отце братьев возникло, возможно, из неправильно понятых слов Григория Назианзина об Элеазаре как их духовном отце (Речь XV, 3: PG 35, 913, 6, 921, 9, 925, 12, 932).

⁹⁸ См. о средневековом культе мощей Маккавейских мучеников в Западной Европе JOSLYN-SIEMIATKOSKI 2009.

⁹⁹ Ср. SAXER 1980: 207; ZIADÉ 2007: 36-38.

¹⁰⁰ STARCKY 1986: 34-35.

¹⁰¹ Vatopédi, № 84 (старый № 79), IX–X вв, EHRHARD 1937-1939: I, 358–362; HALKIN 1964: 373-375.

¹⁰² EHRHARD 1937-1939: I, 674, 680, 682 и 693.

¹⁰³ EHRHARD 1937-1939: I, 432–437 (в качестве примера).

¹⁰⁴ EHRHARD 1937-1939: II, 615

¹⁰⁵ RAHLFS 1914: 387–390.

чальников; но каждый знает имена мучеников лучше, чем имена своих близких друзей»¹⁰⁶.

Поскольку под именами Маккавейских мучеников исторической почвы не было, в христианской и еврейской средневековых традициях мученики и мать получили вымышленные имена, частично пересекающиеся с именами сыновей Маттатии¹⁰⁷. Вместе с именами появляется и иконография. Так, афонское руководство для иконописцев по иконографии называет всех братьев по имени и даёт рекомендации по их изображению¹⁰⁸.

В раввинистической традиции мать мучеников иногда называют «Мириам, дочь Танхума (или Нахтума)», имя «Мария» встречается в различных мидрашах, а в константинопольском тексте Йосипона и нескольких мидрашах она названа «Ханой»¹⁰⁹. В сирийской и арабской транскрипции имя матери имеет несколько вариантов; в Маронитской Церкви у христиан Ирака – её имя Шмуне, Шмуни¹¹⁰. Его предлагали возводить к Ашмонит – производное от Ашмонайя, то есть "Хасмонеяская", что отвечает прилагательному Массабая («Маккавея») – латинскому имени матери семерых братьев. Одновременно с (А)Шменит, Шмунит, Шамони и др.

В тексте праздничной службы в православной церкви мать семерых носит имя Саломония (Соломонова) / Соломония / Саломонида. Из службы это имя, видимо, попало и в одну из рукописей 4 Макк (Parisinus gr. 1875).

Согласно Оберманну¹¹¹, сирийское имя Шамуни (Шмуни) из Сирийского breviaria Райта передаёт еврейское имя Хасмонит / Хашмонаит (женский род от Хасмонея / Хашмонаи, имени Маккавеев в еврейской традиции). Оно сохранилось у Ибн Шахина и в упомянутой выше арабской рукописи с описанием путешествия по Антиохии (Codex Vaticanus Arabicus 286). Кардинал Рамполла, который передает имя матери как Ашмунит, попытался классифици-

¹⁰⁶ ФЕОДОРИТ КИРСКИЙ, ИСЦЕЛЕНИЕ ГРЕЧЕСКИХ НЕДУГОВ, 8. 67: PG 83, 1033A; цит. по: БРАУН 2004: 63.

¹⁰⁷ См. ABEL 1949: 381. В православной традиции: Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Авим и Маркелл, мать их Соломония и учитель их Елеазар.

¹⁰⁸ DIDRON 1963: 328.

¹⁰⁹ См. HADAS 1953: 147, примеч. 7; 217, примеч. 12.

¹¹⁰ ZIADÉ 2007: 61, примеч. 135.

¹¹¹ OBERMANN 1931: 255–257.

ровать различные написания её имени, разделив их на две группы. С одной стороны, это группа Шмуни (сирийская), куда относится и греч. Самона; с другой – вторая группа – Саломона, Саломонида, Соломония и т. п., которая обнаруживается в синаксариях, в кодексе Parisinus gr. 1875 (4 Макк) и у Эразма¹¹². Соломония, естественно, отождествляется с Премудростью, а сыновья – со столпами её Храма; старец Элеазар сближается с Симеоном (из Лк 2. 25-35), а Иуда Маккавей не упоминается вовсе.

Хотя прочтение имени матери Шамуни и подобные как искаженное Хашмонаит выглядит убедительно, можно предположить и другое объяснение, разумеется, тоже учитывающее искажение. Возможно, Шамуни, Шмуни и т.д. представляют собой варианты прозвища Шменит (Восьмая). Слышится голос рассказчика: «умер седьмой брат, а восьмой (*шменит*) умерла и мать». Этот стиль прозвищ легко мог проникнуть в иудео-эллинистическую культуру из римской (Октавия), но также может быть укоренен в седой древности; младшую, лучшую дочь Карату из угаритского эпоса так и зовут – Восьмая (*shmnt*).

Мы не знаем, как закрепляется символическое имя за символическим персонажем, однако следует отметить, что все имена матери мучеников важны для разных традиций. Для классической раввинистической традиции важно имя Хана, связывающее ее с матерью Самуила. Для легендарного мидраша – имя Шменит (Восьмая), указывающее на сюжет, для квазиисторического повествования – Хашмонаит, напоминающее об исторических Маккавеях, для иудеоэллинистического или иудеохристианского – производные от Соломона, заставляющие видеть в матери – Премудрость, а в христианской традиции (как и – предположительно – в другой ветви иудеохристианства, оставившей след в мидрашах) все эти имена заслоняет имя Мария.

«Умерший за Бога умер за Христа»: интеграция Маккавейских мучеников в христианское богослужение и богословие.

С тем, что еврейский культ в Антиохии мог быть предшественником христианского культа Маккавейских мучеников, соглашались

¹¹² RAMPOLLA 304.

многие исследователи¹¹³. После II Ватиканского собора в 1965 г. в фундаментальном исследовании Френда появилась и завоевала сторонников мысль о том, что стойкость мучеников Маккавейских стала образцом для раннего культа святых и мучеников¹¹⁴. Я. ван Хентен сделал и следующий шаг: он предложил подробнейшее обоснование того, что христианский культ мучеников *в целом* имеет корни в иудейской традиции, в частности в прославлении мученичества братьев и их матери, а 2 и 4 Макк отнес к числу книг, оказавших непосредственное влияние на христианскую мартирологию, агиографию, и литургию¹¹⁵. Основные труды о еврейских корнях христианского культа мучеников и святых перечислены у Хорбери, чья книга начинается со времен Маккавеев, но охватывает более широкий круг свидетельств о почитании евреями своих святых.¹¹⁶

Таким образом, Маккавейские мученики оказались аргументом в исторической и богословской дискуссии. Имеет ли идея искупительной жертвы человека и соответственно богословие мученичества чисто христианское происхождение, или у него есть иудейские предшественники и в каком смысле? Выше во Введении IV мы касались этой проблемы в связи с отношением 4 Макк к ранней мартирологической литературе и упоминали в связи с этим позицию Боверсока, которой в том или ином смысле придерживались ученые христианского мира многие столетия. Стремление к взаимному размежеванию – у нас то, чего у вас нет, у вас то, чего нам не надо – привело к тому, что еврейская традиция не окружала своих мучеников обрядами памяти и поклонения и, держась библейских запретов, не признавала исторической реальности почитания могил. Не вступая в эту дискуссию по существу, мы остановимся на ее истоках в патристике. В самых первых проповедях на праздник Маккавеев, у Григория Назианзина и у Иоанна Златоуста, обнаруживаются различия, которые в совершенно ином жанре, но разделяют и современных исследователей.

¹¹³ BICKERMAN 1951: 77; DOWNEY 1961: 110-111, Bammel 1986: 79-85, Witakowski 1994: 153-168, Roth-Gerson 2001: 241-250.

¹¹⁴ Frend 1965; Horbury; McNeil 1981.

¹¹⁵ См. van Henten 1997.

¹¹⁶ Horbury 1998: 444-445.

Отцы Церкви видели в семерых братьях христианских мучеников до христианства и посвятили им множество проповедей. Братьев-мучеников вместе с Элеазаром как пример непоколебимой веры восхваляли в неразделенной Церкви на Востоке¹¹⁷ и на Западе¹¹⁸.

При этом проповедники обращались к текстам и 2, и 4 Макк. Так, Григорий Назианзин в XV гомилии **Ошибка! Закладка не определена.** определенно упоминает сочинение «О разуме», т. е. отсылает к 4 Макк¹¹⁹, а Лев Великий несколько раз цитирует 2 Макк¹²⁰. Поскольку отцы Церкви использовали в своих проповедях историю мученичества Элеазара, семерых братьев и их матери иногда именно «в редакции» 4 Макк, а не 2 Макк, влияние книги на первые века патристики не подлежит сомнению. Крупные христианские писатели ранней Церкви почитали 4 Макк как часть Библии и приняли Маккавейских мучеников вместе с христианскими первомучениками.

Проповеди в честь Маккавейских мучеников Григория Назианзина и Иоанна Златоуста произнесены на расстоянии почти полувека во второй половине IV в. в Сирии и Малой Азии.

Поскольку культ Маккавеев стал официальным во второй половине века и распространялся из Антиохии, по проповедям можно заметить, что он пользовался неодинаковой популярностью в Антиохии и в Константинополе, что, конечно, неудивительно. Иоанн произносил свои проповеди о Маккавеях, когда он служил в Анти-

¹¹⁷ ОРИГЕН, УВЕЩАНИЕ К МУЧЕНИЧЕСТВУ, 22–27: PG 11, 592–596; ГРИГОРИЙ НАЗИАНЗИН, Речь XV. НА [ПРАЗДНИК] МАККАВЕЕВ: PG 35, 911–934; ИОАННУ ЗЛАТОУСТУ принадлежат гомилии НА [ПРАЗДНИК] СВВ. МАККАВЕЕВ И МАТЕРИ ИХ: PG 50, 617–622, НА [ПРАЗДНИК] СВВ МАККАВЕЕВ: PG 50, 623–626 и НА [ПРАЗДНИК] ЭЛЕАЗАРА И ОТРОКОВ: PG 63, 523–530; еще одна гомилия корпуса сочинений ИОАННА ЗЛАТОУСТА НА [ПРАЗДНИК] СВВ МАККАВЕЕВ, третья, самая краткая, не считается ему принадлежащей: PG 50, 627–628, см. также ZI^o DÉ 2007: 345–350. Кроме того, дошел фрагмент о Маккавеях в составе сочинения ИОАННА ДАМАСКИНА (Об иконопочитании: PG 94, 1408 В).

¹¹⁸ АМВРОСИЙ МЕДИОЛАНСКИЙ, Об Иакове и блаженной жизни, II, 10–12: PL 14, 632–638; АВГУСТИН ГИППОНСКИЙ, Слово 300. НА ПРАЗДНИК МУЧЕНИКОВ МАККАВЕЙСКИХ I; Слово 301. НА ПРАЗДНИК МУЧЕНИКОВ МАККАВЕЙСКИХ II: PL 38, 1376–1385; ЛЕВ ВЕЛИКИЙ, Слово 19: PL 54, 517–520 и др. = Слово 97 DOLLE и др.

¹¹⁹ Из этой же книги, видимо, взята им локализация событий в Иерусалиме: ГРИГОРИЙ НАЗИАНЗИН, Речь XV. НА [ПРАЗДНИК] МАККАВЕЕВ, 5: PG 35, 920, 7: PG 35, 924, 8: PG 35, 925, 11: PG 35, 932.

¹²⁰ См. анализ и литературу ZI^o DÉ 2007: 37.

охии между 386 и 398 гг. Для его аудитории праздник Маккавеев – это большой церковный праздник, по своему значению превосходящий день какого-то одного мученика и предстающий как праздник всех мучеников. Но когда Иоанн произносит свою проповедь НА [ПРАЗДНИК] ЭЛЕАЗАРА И ОТРОКОВ в Константинополе (около 399 г.), то по самому её тексту можно сделать вывод, что для её аудитории упоминание еврейского происхождения Маккавейских мучеников нежелательно¹²¹. Отклик на подобные настроения слушающих можно заметить и в начале XV речи Григория Назианзина, и у Августина¹²². С вопросом об иудеях как христианских святых сталкивались и все последующие христианские авторы, прославлявшие «Маккавеев», а отвечали они на него по-разному.

Хваля Маккавеев, Григорий превозносит образ жизни евреев, их историю, он сочувственно изображает мотивы их подвига – уважение к отеческим установлениям. Этого достаточно, по его мнению, чтобы их пример был полезен для слушателей: братья предстают достойными наследниками славной истории избранного народа, в которой Бог многочисленными чудесами проявляет свою к этому народу благосклонность. В согласии с авторами 2 и 4 Макк Григорий изображает мученичество как жертву искупления и видит Элеазара священником, посвященным в божественные таинства и посвятившим в них братьев. Возможно, он знаком с иудейской литургией в память мучеников на Тиша бе Ав. Зиаде напоминает, что отец Григория до крещения был почитателем Бога Высочайшего, т. е. близким иудаизму. Григорий обращался к опыту еврейских мучеников не только ради размежевания. Конечно, Григорий не ограничивается историческим смыслом сочинений, но переходит и к типологии. В конце проповеди Григорий провозглашает равенство ветхозаветных историй мучеников, таких как Даниил и три отрока, и новых, христианских. «Маккавеи» достигли святости: всякий умерший за Бога умер за Христа.

¹²¹ См. упоминание «врагов Церкви», которые противятся почитанию Маккавейских мучеников: ИОАНН ЗЛАТОУСТ, НА [ПРАЗДНИК] ЭЛЕАЗАРА И ОТРОКОВ: PG 63, 525, 35–36.

¹²² АВГУСТИН ГИППОНСКИЙ, СЛОВО 300. НА ПРАЗДНИК МУЧЕНИКОВ МАККАВЕЙСКИХ I, 2: PL 38, 1377.

Своеобразие Речи Григория становится понятно при сопоставлении ее с проповедями Иоанна, произнесенными как в Антиохии, так и в Константинополе. При этом Антиохийская гомилия отличается полнейшим умалчиванием о еврейском происхождении мучеников. В Антиохийской он однажды вскользь говорит о том, что мать мучеников жила до Христа¹²³. Возможно, в Антиохии это обстоятельство слишком хорошо известно слушателям, поэтому все свое красноречие Иоанн направляет на типологическую экзегезу: эти мученики умерли за Христа точно так же, как христианские мученики.

Зиаде приходит к выводу, что ко времени произнесения проповедей Иоанна Антиохийская Церковь уже полностью христианизировала еврейский культ¹²⁴. Но, возможно, дело было деликатное и, сделавши из синагоги церковь, не нужно было вспоминать о синагоге, лучше утвердить оправданность такого превращения методом типологии. В Константинополе в день праздника и в церкви, посвященной «Маккавеям», перед Иоанном совершенно иная аудитория, в ней не надо умерять симпатии к иудаизму, что проповедник делал в восьми речах ПРОТИВ ИУДЕЕВ; скорее её надо убедить в том, что деяния, свершенные до Христа, значимы для христиан. Иоанн идет навстречу этой аудитории и находит при прославлении «Маккавеев» повод говорить о превосходстве Нового Завета над Ветхим и о слепоте евреев. «Маккавеи» оказываются на этом фоне благочестивым исключением, а подвиг смерти за Закон истолкован при помощи типологической экзегезы: Закон был дан Христом. Иоанн делает из этого логический вывод: они умерли за Христа, Законодателя Ветхого Завета.

Иоанн восхваляет мучеников, но уходит от принятого в рассказах о мученичестве описания орудий пыток и в целом не стремится рассказывать о героизме страдальцев и об их мужестве. На первом плане - могущество Христа, которое в них проявилось, и опора на надежду на вознаграждение, которое их ожидает. Подвиги мучеников теряют благодаря такому акценту тот исключительный масштаб, который им обычно придает панегирик. Когда слабая женщина,

¹²³ НА [ПРАЗДНИК] СВВ. МАККАВЕЕВ И МАТЕРИ ИХ: PG 50, 622, 45-51: «она сражалась, когда благодать ещё не сошла на землю, когда врата смерти, ещё были заперты, пламя греха не потушено, когда смерть еще не обороли».

¹²⁴ ZI^o DÉ 2007: 291.

дряхлая старуха, побеждает в ратоборстве тирана и дьявола – это чудо, происшедшее благодаря вмешательству Христа.

В проповеди НА [ПРАЗДНИК] ЭЛЕАЗАРА И ОТРОКОВ Иоанн почти сразу переходит к комментарию на Иеремию. Там, где Григорию довольно эпидейктической хвалы, Иоанн погружается в экзегезу. Частично это объясняется и обстоятельствами произнесения. Григорий берется за панегирик мученикам в их день, когда же Иоанн говорит не в самый праздник, а накануне (проповедь НА [ПРАЗДНИК] ЭЛЕАЗАРА И ОТРОКОВ), у него бОльшая тематическая свобода.

У Григория много отсылок к исторической реальности – имена Антиоха, Селевка, Симона - присутствует некий фон еврейской истории; Иоанну, напротив, исторические детали не важны и неинтересны. Здесь нет дат и возрастов, тиран безымянен, только в проповеди НА [ПРАЗДНИК] ЭЛЕАЗАРА И ОТРОКОВ упоминается отказ от свинины. Если Григорий **Ошибка! Закладка не определена.** обращается к историческим событиям, то Иоанн сосредоточен на нравственном облике и стремится поразить чудом подвига, а не описать его как событие во времени и пространстве.

Говоря о христианском празднике, якорь которого в иудаизме, Иоанн подчеркивает дистанцию, которая разделяет два Откровения, а Григорий, напротив, её скрадывает. Но в то же время Григорий сохраняет своеобразие еврейских мучеников, их отличие, а Иоанн стремится полностью их ассимилировать.

Уже в проповедях Григория и Иоанна иудео-эллинистическому материалу прививаются агиографические черты, и образы мучеников вступают во взаимодействие с другими образами, рождая новые¹²⁵.

¹²⁵ Мы уже говорили, что первоначально независимые рассказы об Элеазаре и матери с сыновьями стали в 4 Макк единой историей. Но если в 4 Макк мать занимает такое же положение, что и остальные герои, то у Григория и Иоанна она затмевает Элеазара. Григорий превозносит Элеазара, но длинные речи у него говорят мать и братья. Делая Элеазара духовным наставником детей, Григорий открывает путь к дальнейшему агиографическому и иконографическому развитию; священник становится со временем даже кровным родителем семейных (Zi DE 2007: 294). Иоанн не проявляет большого интереса ни к Элеазару, ни к описанию пыток, ни к выведению на сцену всех братьев. Он сосредоточивается на матери и седьмом, младшем, сыне. Как и в 4 Макк, только одна пытка привела к смерти матери и младшего сына – огонь, реальный в случае седьмого сына и метафорический в случае матери. Выше мы говорили о том, что Бландина и Понтик в ПИСЬМЕ ЛИОНСКИХ МУЧЕНИКОВ воспроизводят пару женщины и юного

Постепенно народное церковное сознание интегрировало этих героев еврейской истории не только в христианскую историю, но и в культуру своего времени, которая далеко выходит за пределы просто типологического прочтения библейского эпизода. Оно делает из братьев, матери и Элеазара предмет народного культа с его собственными ритуалами и особыми обычаями.

Одним из ранних свидетельств христианизации Маккавейских мучеников является резной реликварий из слоновой кости IV в., хранящийся в Италии в городском музее Брешии. В сложной иконографической программе ларца, понимаемой современными исследователями как последовательно типологическая, нашлось место и изображению семерых юношей в огне. Исследователи отождествили этих юношей как Маккавейских мучеников, а погружение их всех в огонь объяснили отождествлением их с тремя отроками в пещи огненной из книги Даниила¹²⁶. Иконография с двумя прочтениями находит себе соответствие в посвященных празднику Маккавеев проповедях Августина. В 13 проповедях и одном он письме он упоминает мучеников и только один вид пытки, которую они выдержали, – пытку огнем, а также сопоставляет их с тремя отроками из книги Даниила. Августин постоянно противопоставляет семерых погибших под пытками трём, которых огонь не коснулся. Почему Бог спас одних и не спас других?¹²⁷

мученика, которого она ободряет. Еще два мученичества опираются на Маккавейские книги для описания страданий матери, присутствующей при мученичестве своего сына (ACTA MONTANI ET LUCII 16, MUSURILLO 1972: 212 и ACTA MARIANI ET IACOBI 13, MUSURILLO 1972: 230). Мать мучеников, особенно, когда последующая традиция концентрируется на ее сострадании одному сыну, младшему, становится прототипическим образом Богоматери.

¹²⁶ Mc GRATH 1965: 47, 2: 257-261, TKACZ 2001: 2002: 150-170.

¹²⁷ АВГУСТИН ГИППОНСКИЙ, НА ПРАЗДНИК СВ. МАККАВЕЕВ, 301, 3. 2: PL 38, 1381: «Отчего те от огня избавлены, эти огнем погублены? Значит, тем Бог помогал, этих покидал? Не бывать тому: во глубине Он был рядом с теми и другими; с одними открыто, с другими тайно. Тех зримо привечал, этих незримо увенчал. Те от смерти избавлены, но среди искушений житейских оставлены: от огня спасенные, на беды обреченные» (Quare illi ab ignibus liberantur, isti ab ignibus consumuntur? Ergo illis Deus aderat, hos deseruerat? Absit: imo utrisque adfuit; illis in aperto, istis in occulto. Illos visibiliter liberabat: istos invisibiliter coronabat. Illi quidem de morte liberati sunt; sed in huius vitae tentatione manserunt: ab igne liberati, ad pericula reservati...).

Августин проповедует, что трое были спасены «на виду» (*aperte*), а семеро – спасены мистически, тайно, поэтому Навуходоносор обратился, а Антиох нет. Он повторяет эту мысль, многократно ее варьируя: «*Illos aperte liberavit, istos occulte coronavit*»¹²⁸.

Однако трое спасённых юношей получили не так уж и много – телесное спасение, даже Навуходоносор получил больше – обращение в истинную веру. А семеро спасены духовно, избавлены от всех искушений и обрели бессмертие. Говоря о мучениях братьев, Августин называет только огонь и пытки вообще. Огонь не только легко метафоризируется как пламень веры и как пламень богоявления, но и позволяет сопоставлять и противопоставлять отроков в печи и семерых братьев.

Таким образом, противоречивость и неотчетливость сведений о почитании мучеников Маккавейских в еврейской среде и в ранней христианской Церкви оставляют возможность разных трактовок:

1. Евреи почитали своих мучеников и их могилы (как и могилы праотцев и праведников), а христиане научились от них тому и другому.
2. Евреи чтит своих мучеников, но не их могилы, а христиане научились от них памяти, а от язычников – храмам рядом с захоронениями.
3. Язычники почитали могилы героев, полубогов и даже богов, а христиане стали строить церкви на могилах мучеников; от тех и других иудеи научились строить синагоги рядом с погребениями мучеников, праведников и учителей.

Так или иначе, история почитания мучеников Маккавейских вместе с представлением о жертвенном искуплении, как оно представлено уже в I в. н.э. в 4 Макк, соединяющей Песнь Раба из Исаяи с новозаветным пониманием смерти Иисуса, говорит о чрезвычайной близости осмысления их подвига иудеями и христианами¹²⁹.

Хронология некоторых свидетельств иудейского и христианского культа мучеников Маккавейских

235 г.	Ориген	Александрийский,	Увещание	к
	мученичеству, 22–27: PG 11, 592–596			

¹²⁸ АВГУСТИН ГИППОНСКИЙ, На Псалом 148, 11, 31–33 (CSEL 95/5, р. 262), см. подробный анализ этого топоса у Августина: ТКАСЗ 1995: 41, 59–78.

¹²⁹ Ср. 4 Макк 6. 27–29, 17. 21–22, с Ис 52.13–53.12 и Рим 3. 25, Евр 1. 3, 9. 11–15, 10. 4–10, 1 Петр 1. 19, 1 Ин 1. 7.

- 315-326 г. Евсевий Кесарийский, Церковная история, 3. 10. 6
IV в. «Страсти святых Маккавеев» (*Passio SS. Machabaeorum*) латинский парафраз 4 Макк (Dörrie 1938)
- 362 г. Греческий оригинал «Сирийского breviария» (*Breviarum syriacum*) (Wright 1865-1866)
- 363 г. Ефрем Сирин, Гимн о сыновьях Самоны
- Ок. 362 г. Григорий Назианзин, Речь XV. На [праздник] Маккавеев: PG 35, 911–934
- Ок. 380-390 гг. Амвросий Медиоланский, Об Иакове и блаженной жизни, II. 11-12: PL 14, 632-638
- 386 г. Иоанн Златоуст, На Рождество 1: PG 49, 351
- Ок. 390 г. Иоанн Златоуст, На [праздник] свв. Маккавеев и матери их: PG 50, 617–622; На [праздник] свв. Маккавеев: PG 50, 623–626
- 386-392 г. Иероним Стридонский, О еврейских именах (PL 23, 911)
- 410 г. (?) Августин Гиппонский, Слово 300. На праздник мучеников Маккавейских I (PL 38, 1376-1380)
- 417 г. Слово 301. На праздник мучеников Маккавейских II (PL 38, 1380-1385)
- 411–412 гг. «Сирийский breviарий» (*Breviarum syriacum*), сокращённое изложение греческого оригинала (Wright 1865-1866)
- Ок. 450 г. Лев Великий, Слово 19 (PL 54, 517-520 и др.) = Слово 97 Dolle
- Ок. 550 г. Иоанн Малала, Хронография, VIII Dindorf (PG 97, 321 и 324)
- VI в. (рук. Арабский «путеводитель» по Антиохии (Codex Vaticanus Arabicus 286) (STINESPRING 1932)
- Ок. 1040 г. Иудео-арабская хроника Ниссима ибн Шахина (OVERMANN 1933)
- Ок. 1168 г. Абрахам бен-Элиезер ха-Леви вспоминает Маккавеев и прославляет их стойкость в связи с изгнанием евреев из Испании
- XVI в. Гробница «Маккавеев» перенесена в Эммаус

Библиография

АВГУСТИН ГИППОНСКИЙ, СЛОВО 300. На праздник мучеников Маккавейских I; Слово 301. На праздник мучеников Маккавейских II, PL 38: Sermo 300. In solemnitatem martyrum Machabaeorum I; Sermo 301. In

solemnitate martyrum Machabaeorum II // Sancti Aurelii Augustini Hipponensis episcopi opera omnia ... – Parisiis, 1845. – Т. 5, ps. 1. – Col. 1376-1385. – (PL; t. 38)

АВГУСТИН ГИППОНСКИЙ, НА ПСАЛОМ 148: Sancti Augustini Opera / Enarrationes in Psalmos 101-150, pars 5, Enarrationes in Psalmos 141-150 / ed. Franco Gori adiuvante Iuliana Spaccia. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2005. – 304 p. (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 95/5) (245-269).

АМБРОСИЙ МЕДИОЛАНСКИЙ, ОБ ИАКОВЕ И БЛАЖЕННОЙ ЖИЗНИ ... PL 14: De Jacob et vita beata Libri duo // Sancti Ambrosii Mediolanensis episcopi opera omnia... – Parisiis, 1845. – Т. 1, ps. 1. – Col. 597-638. – (PL; t. 14).

БРАУН 2004: Культ святых: его становление и роль в латинском христианстве / П. Браун; [пер. с англ. В. В. Петрова]. – М.: РОССПЭН, 2004. – 207 с.

ГРИГОРИЙ НАЗИАНЗИН, Речь XV. НА [ПРАЗДНИК] МАККАБЕЕВ ... PG 35: Oratio XV // Sancti patris nostri Gregorii Theologi vulgo Nazianzeni, Archiepiscopi Constantinopolitani, opera quae exstant omnia... – Parisiis, 1885. – Т. 1. – Col. 911-934 (PG; t. 35).

ЕВСЕВИЙ КЕСАРИЙСКИЙ, ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ ... BARDY SC 31, 41: HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE / EUSÈBE DE CÉSARÉE; TEXTE GREC, TRAD. ET ANNOT. PAR GUSTAVE BARDY. – PARIS: LES ÉDITIONS DU CERF, 1952-1960. – [1]: LIVRES I-IV. – 1952. – VIII, 218 p.; [2]: LIVRES V-VII. – 1955. – VIII-239 p. – (SC; 31, 41).

ЕФРЕМ СИРИН: СЕМЬ СЫНОВ САМОНЫ / Ефрем Сирин (Афрем из Нисивита) // Многоценная жемчужина: лит. творчество сирийцев, коптов и ромеев в I тысячелетии н. э. / пер. с сирийс. и греч. яз., [сост., предисл. и коммент.] С. Аверинцева. – М.: Худож. лит.: НИЦ "Ладомир", 1994. – С. 211-220.

ИЕРОНИМ СТРИДОНСКИЙ, О еврейских именах ... PL 23: De nominibus Hebraicis // Sancti Eusebii Hieronymi Stridonensis Presbyteri Opera omnia ... – Parisiis, 1845. – Т. 3. – Col. 771-934. – (PL; t. 23.).

ИОАНН ДАМАСКИН, ОБ ИКОНОПОЧИТАНИИ... PG 94: Pro Sacris Imaginibus III // Sancti patris nostri Joannis Damasceni,... Opera omnia quae exstant... – Parisiis: J.-P. Migne, 1864. – Т. 1. – Col. 1318-1420. – (PG; t. 94).

ИОАНН ЗЛАТОУСТ, НА [ПРАЗДНИК] СВВ. МАККАБЕЕВ ... PG 50: In sanctos Maccabaeos // S. P. N. Joannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani Opera Omnia Quae Exstant... – Parisiis, 1862. – Т. 2, ps. 2. – Col. 623–626. – (PG; t. 50).

ИОАНН ЗЛАТОУСТ, НА [ПРАЗДНИК] СВВ. МАККАБЕЕВ И МАТЕРИ ИХ... PG 50: In sanctos Maccabaeos et in matrem eorum // Ibid. – Col. 617–622.

ИОАНН ЗЛАТОУСТ, НА [ПРАЗДНИК] ЭЛЕАЗАРА И ОТРОКОВ... PG 63: XI Homillia De Eleazaro et septem pueris // Ibid. – Т. 12. – Col. 523–530. – (PG; t. 63).

ИОАНН ЗЛАТОУСТ, НА РОЖДЕСТВО ... PG 49: In diem natalem Domini Nostri Jesu Christi // Ibid. – Т. 2, ps. 1. – Col. 347–360. – (PG; t. 49).

ИОАНН ЗЛАТОУСТ, О СВВ. МУЧЕНИКАХ... PG 50: ... De Sanctis Martyribus // Ibid. – Т. 2, ps. 2. – Col. 629–640. – (PG; t. 50).

Иоанн Златоуст, Против иудеев I–VIII ... PG 48: Adversus Ioudeos Orationes I–VIII // Ibid. – Т. 1, ps. 2. – Col. 843–942 – (PG; t. 48).

ИОАНН МАЛАЛА, ХРОНОГРАФИЯ... Dindorf: Ioannis Malalae Chronographia / ex rec. Ludovici Dindorfii; accedunt Chilmeadi Hodiique annotationes et Ric. Bentleii Epistola ad Io. Millium. – Bonnae : impensis E. Weberi, 1831. – LXXVIII, 799 p. – (Corpus scriptorum historiae Byzantinae; t. 15).

КЕЭ – Краткая еврейская энциклопедия / гл. ред. И. Орен (Надель), М. Занд. – Иерусалим, 1976–2005. – 11 т.

ЛЕВ ВЕЛИКИЙ, СЛОВО 19: Sermo XIX // Sancti Leonis Magni Romani pontificis opera omnia... – Parisiis, 1846. – Т. 1. – Col. 517–520. – (PL; t. 54).

ЛЕВ ВЕЛИКИЙ СЛОВО 97, Dolle: Sermon 97 // Sermons / Léon le Grand; trad., notes et index de dom René Dolle. – Paris: Éd. du Cerf, 1973. – Т. 4. – P. 286–293. – (SC; 200).

МАРТИРОЛОГИЙ ИЕРОНИМА: Martyrologium Hieronymianum // Acta sanctorum: Novembris / collecta digesta illustrata a Carolo de Smedt [et. al.]. – Bruxellis: apud socios Bollandianos: Societe belge de librairie, 1894. – Т. 2, ps. 1. – P. 1–156.

МИНОЛОГИЙ ВАСИЛИЯ ... PG 117: Menologium Graecorum Basilii // Leonis Diaconi Historia, Menologium Graecorum Basilii Porphyrogeneti Imperatoris Jussu editum, Hyppolitus Thebanus, Georgides Monachus, Ignatius Diaconus, Nilus, Christophus Protoascretis, Michael Hamartolus, Anonymus, Suidas scripta quae supersunt omnia. – Parisiis: J.-P. Migne, 1894 – Tomus unicus. – Col. 20–613. – (PG; t. 117).

ОРИГЕН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ, УВЕЩАНИЕ К МУЧЕНИЧЕСТВУ... PG 11: Exhortatio ad Martyrium // Ibid. – 1856. – Т. 1. – Col. 563–637 – (PG; t. 11).

ПСЕВДО-ИОАНН ЗЛАТОУСТ, НА [ПРАЗДНИК] СВВ. МАККАБЕЕВ ... PG 50: In sanctos Maccabaeos // // S. P. N. Joannis Chrysostomi Archiepis-

copi Constantinopolitani Opera Omnia Quae Exstant... – Parisiis, 1862. – Т. 2, ps. 2. – Col. 627–628. – (PG; t. 50).

РОТ-ГЕРШОМ 2001: Йехуде Сирья бирей хакетовот хайеванийот / Леа Рот-Гершом. – Йерушалайим: мерказ Залман Шазар летольдот Йисраэль. – 393 д. – На иврите. – Доп. тит л. анг.: The Jews of Syria as Reflected in the Greek Inscriptions / Lea Roth-Gerson.

ФЛЮССЕР 1959: Киддуш га-Шем бе-сефер Хашмонаим-бет / Д. Флюссер // Маханаим. – 1959. – К. 41. – Д. 53–56. – На иврите. – Пер.: Киддуш Хашем во 2 Макк.

ФЛЮССЕР 1995: Ѓа-ѓишкиах ам-Исраэль эт-ѓа-Хашмонаим бе-йемей га-бейнаим? / Д. Флюссер // Катедра 1995 (75). – Д. 36-54. – На иврите. – Пер.: Действительно ли забыл ли народ Израиля Хасмонеев в Средние века?

ABEL 1949: Les Livres des Maccabées / par F.-M. Abel. – Paris: Librairie Lecoffre, Gabalda, 1949. – 329 p. – (Études bibliques).

ACTA MARIANI ET IACOBI ... MUSURILLO: The Acts of the Christian martyrs / Intr., texts and transl. by Herbert Musurillo. – Oxford: Clarendon press, 1972. – P. 213-239. – (Oxford Early Christian texts).

ACTA MONTANI ET LUCII ... MUSURILLO: The Acts of the Christian martyrs / Intr., texts and transl. by Herbert Musurillo. – Oxford: Clarendon press, 1972. – P. 195-212. – (Oxford Early Christian texts).

BAMMEL 1953: Zum jüdischen Märtyrerkult / E. Bammel // Theologische Literaturzeitung. – 1953. – Jg. 78. – Sp. 119-126.

BAMMEL 1986: Judaica: kleine Schriften. 1 / von Ernst Bammel. – Tübingen: Mohr, 1986. – 331 s. – (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament; 37).

BICKERMAN 1951: Les Maccabées de Malalas / E. Bickerman // Byzantion. – 1951. – Vol. 21. – P. 63–83.

BOGAERT 1986: Les Livres des Maccabées et les livres pour les fêtes / P.-M. Bogaert // Le Monde de la Bible. – 1986. – T. 42. – P. 33-34.

BOTTE 1932: Les Origines de la Noël et de l'Épiphanie: étude historique / D. Bernard Botte. – Louvain: Abbaye du Mont César, 1932. – 108 p. – (Textes et études liturgiques / Abbaye du Mont César; 1).

BOWERSOCK 1995: Martyrdom and Rome / G. W. Bowersock. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995. – XII, 106 p. – (The Wiles lectures).

COHEN 1991: Hannah and Her Seven Sons in Hebrew Literature / Gerson D. Cohen // Studies in the Variety of Rabbinic Cultures / Gerson D. Cohen. – Philadelphia; New York: Jewish Publication Society, 1991. – P. 39–60.

DIDRON 1963: Manuel d'iconographie chrétienne grecque et latin / avec une introd. et des notes par N. Didron; traduit du manuscrit byzantine, Le guide de la peinture par Paul Durand. – New York: B. Franklin, [1963?]. – XLVIII, 483 p. – (Burt Franklin research & source works series; no. 45). – Repr. 1845.

DORAN 1980: The Martyr: A Synoptic View of the Mother and Her Seven Sons' / R. Doran // Ideal figures in ancient Judaism: profiles and paradigms. / John J. Collins and George W. E. Nickelsburg, ed. – Chico, Calif.: Scholars Press, 1980. – P. 189–221. – (Septuagint and cognate studies; vol. 12).

DÖRRIE 1938: Passio ss. machabaeorum: die antike lateinische Uebersetzung des IV. Makkabäerbuches / hrsg. von Heinrich Dörrie. – Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1938. – VIII, 147 s. – (Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse: 3te Folge; Nr. 22).

DOWNEY 1961: A History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arab conquest / by Glanville Downey. – Princeton (N. J.): Princeton University press, 1961. – XX, 752 p.

DUPONT-SOMMER 1939: Le quatrième Livre des Machabées / introd., trad. et notes par André Dupont-Sommer. – Paris, 1939. – (Paris, École des hautes études. Bibliothèque; fasc. 274).

EHRHARD 1937-1939: Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Erster teil, Die Überlieferung. / von Albert Ehrhard. – Leipzig, J. C. Hinrichs, 1937-39. – 3 Bd. – (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur; Bd. 50-51).

FREND 1965: Martyrdom and persecution in the early church: a study of a conflict from the Maccabees to Donatus / by W. H. C. Frend. – Oxford: Basil Blackwell, 1965. – XX, 625 p.

FREUDENTAHL 1869: Die Flavius Josephus beigelegte Schrift über die Herrschaft der Vernunft: IV Makkabäerbuch, eine Predigt aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert / untersucht von J. Freudenthal. – Breslau: [s.n.], 1869. – 173 s.

GOLDSTEIN II: GOLDSTEIN II: II Maccabees: a new translation with introduction and commentary / by Jonathan A. Goldstein. – Garden City, N.Y.: Doubleday, 1983. – XXIII, 595 p. – (The Anchor Bible; vol. 41 A).

GUTMAN 1949: The Mother and her seven sons in the Haggadah and 2 and 4 Macc. / J. Gutman // In memoriam Johannis Leury. – 1949. – P. 30–32.

HABICHT 1976: 2. Makkabäerbuch / [eingel., übers., komment. und hrsg. von] Christian Habicht. – Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1976. – S. 167–285. – (Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit; Bd. 1: Historische und legendarische Erzählungen, Lfg. 3).

HADAS 1953: The third and fourth books of Maccabees / ed. and transl. by Moses Hadas. – New York: Published for the Dropsie College for Hebrew and Cognate Learning by Harper, 1953. – XII, 248 p. – (Jewish apocryphal literature; vol. 3).

HALKIN 1964: Livres de l'Ancien et du Nouveau Testament insérés dans les manuscrits hagiographiques grecs / par François Halkin // L'homme devant Dieu: mélanges offerts au Père Henri de Lubac. – Paris: Aubier, 1964. – 1: Exégèse et patristique. – P. 373–375. – (Théologie / Faculté de théologie S. J. de Lyon-Fourvière; 56).

HORBURY 1998: The Cult of Christ and the Cult of the Saints. / William Horbury // New Testament Studies. – 1998. – Vol. 44. – P. 444–469.

HORBURY; MCNEIL 1981: Suffering and martyrdom in the New Testament: studies presented to G. M. Styler by the Cambridge New Testament seminar / ed. by William Horbury and Brian McNeil. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1981. – XXI, 217 p.

HENGEL; SCHWEMER 1997: Paul between Damascus and Antioch: the unknown years / Martin Hengel and Anna Maria Schwemer. – Louisville, Ky: Westminster John Knox Press, 1997. – XIV, 530 p.

ITINERARIUM ANTONINI PLACENTINI: Itinerarium Antonini Placentini: un viaggio in Terra Santa del 560–570 d. C. / Celestina Milani. – Milano: Vita e pensiero, 1977. – 324 p. – (Pubblicazioni della Università cattolica del Sacro Cuore. Scienze filologiche e letteratura; 7).

JEREMIAS 1937: Die Makkabäer-Kirche in Antiochia». / J. Jeremias // Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft. – 1937. – Bd. 36. – P. 283–286.

JEREMIAS 1958: Heiligengräber in Jesu Umwelt. Mt. [Matthäus] 23, 29; Lk [Lukas] 11, 47: eine Untersuchung zur Volksreligion der Zeit Jesu / von Joachim Jeremias. – Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1958. – 155 p.

KAUFMANN 1904: Hanukkah / Kaufmann, Kohler // The Jewish encyclopedia: a descriptive record of the history, religion, literature, and customs of the Jewish people from the earliest times to the present day / prepared under the direction of Cyrus Adler [et al.]; Isidore Singer managing editor. – New York, London: Funk & Wagnalls Company, 1904. – Vol. IV. – P. 223-226.

JOSLYN-SIEMIATKOSKI 2009: Christian memories of the Maccabean martyrs / Daniel Joslyn-Siemiatkoski. – New York: Palgrave Macmillan, 2009. – XII, 249 p.

KAUSER 1960: Christlicher Märtyrerkult, heidnischer Heroenkult und spätjüdische Heiligenverehrung: neue Einsichten und neue Probleme. / Theodor Kauser. – Köln-Opladen, 1960. – 38 s. – (Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Geisteswissenschaften; 91).

KLAUCK 1989: Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit. Bd. 3: Unterweisung in lehrhafter Form, Lfg. 6: 4. Makkabäerbuch / Hans-Josef Klauck. – Gütersloh: Mohn, 1989. – S. 645-763.

KRAELING 1932: The Jewish Community at Antioch. / Carl H. Kraeling // Journal of Biblical Literature. – 1932. – Vol. 51, № 2. – P. 130-160.

LEVI 1907: Le martyre des sept Maccabées dans la Pesikta Rabbati / I. Levi // Revue des Etudes juives. – 1907. – Vol. 54. – P. 138-141.

LIGHTSTONE 2006: The commerce of the sacred: mediation of the divine among Jews in the Greco-Roman world. / Jack N. Lightstone; with a foreword to the new edition by Willi Braun; and an updated bibliography by Herbert W. Bassler. – New ed. – New York: Columbia University Press, 2006. – XXIII, 171 p.

MC GRATH 1965: The Martyrdom of the Maccabees on the Brescia Casket. / Robert L. Mc Grath // The Art Bulletin. – 1965. – Vol. 47, № 2. – P. 257-261.

MOMIGLIANO 1975: The Second Book of Maccabees. / Arnaldo Momigliano // Classical Philology. – 1975. – Vol. 70, № 2. – P. 81-88.

MOSSAY 1965: Les Fêtes de Noël et d'Epiphanie d'après les sources littéraires cappadociennes du IV^e siècle / Justin Mossay; préf. par Dom Bernard Botte, ... – Louvain: Abbaye du Mont César, 1965. – 85 p. – (Textes et études liturgiques / Abbaye du Mont César; 3).

NODET 1986: La Dédicace, les Maccabees et le Messie. / E. Nodet // Revue Biblique. – 1986. – Vol. 93. – P. 321-375.

NODET 2005: La crise maccabéenne: historiographie juive et traditions bibliques. / Étienne Nodet; préface de Marie-Françoise Baslez. – Paris: les Éd. du Cerf, 2005. – X, 446 p. – (Josèphe et son temps; 6).

OBERMANN 1931: The Sepulchre of the Maccabean Martyrs. / J. Obermann // Journal of Biblical Literature. – 1931. – Vol. 50. – P. 250-265.

OBERMANN 1933: The Arabic original of Ibn Shâhîn's Book of comfort, known as the Hibbûr yaphê of R. Nissîm b. Yaaqobh / ed. from the unique manuscript by Julian Obermann. - New Haven: Yale University Press, 1933. – LIX, 183 p. – (Yale Oriental series; 17).

RAHLFS 1935: Septuaginta: id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes / edidit Alfred Rahlfs. – 7. ed. – Stuttgart: Privileg. Württembergische Bibelanstalt, 1935. – Vol. 1: [Leges et historiae]. – XLVIII, 1184 p.

RAMPOLLA 1897=1899: Del luogo del martirio e del sepolcro dei Maccabei / M. Rampolla // Bessarione. – 1897. – An. 1. – P. 655–662; 751–763; 853–866. Idem. in fr.: Martyre et sépulture des Maccabées // Revue de l'Art chrétien. - 1899. – P. 290–305, 379–392, 457–465.

RORDORF 1993: Wie steht es um den jüdischen Einfluss auf den christlichen Märtyrerkult? / Willy Rordorf // Lex orandi, lex credendi: gesammelte Aufsätze zum 60. Geburtstag / Willy Rordorf. – Freiburg, Schweiz: Univ.-Verl., 1993. – S. 166–177. – (Paradosis; Bd. 36).

ROSSI & DUCHESNE 1894: Breviarium syriacum. // Acta sanctorum: Novembris / Collecta digesta illustrata a Carolo de Smedt [et. al.]. – Bruxellis: apud socios bollandianos: Societe belge de librairie, 1894. – T. 2, ps. 1. Qua dies tertius partim et quartus continentur. Praemissum est Martyrologium Hieronymianum / edentibus Iohanne Baptista De Rossi et Ludovico Duchesne. – P. L–LXIX.

ROTHKRUG 1981: The «Odour of Sanctity» and the Hebrew Origins of Christian Relic Veneration. / Lionel Rothkrug // Historical Reflexions = Réflexions historiques. – 1981. – Vol. 8, № 2. – P. 95–142.

RUTGERS 1998: The importance of Scripture in the Conflict between Jews and Christians: The example of Antioch / Leonard V. Rutgers // The Use of Sacred Books in the Ancient World / L. V. Rutgers ... eds. – Leuven: Peeters, Bondgenotenlan, 1998. – P. 287-304. – (Contributions to biblical exegesis and theology; 22).

SAXER 1980: Morts, martyrs, reliques: en Afrique chrétienne aux premiers siècles: les témoignages de Tertullien, Cyprien et Augustin à la

lumière de l'archéologie africaine / par Victor Saxer. – Paris: Beauchesne, 1980. – 340 p. – (Théologie historique; 55).

SCHATKIN 1974: The Maccabean Martyrs. / Margaret Schatkin // *Vigiliae Christianae*. – 1974. – Vol. 28, № 2. – P. 97-113.

SCHNEIDER 2000: Jüdisches Erbe in christlicher Tradition: eine kanongeschichtliche Untersuchung zur Bedeutung und Rezeption der Makkabäerbücher in der alten Kirche des Ostens: Diss. ... / Ariane B. Schneider. – Heidelberg, 2000. – VI, 274, LV.

SIMON 1936: La polémique antijuive de saint Jean Chrysostome et le mouvement judaïsant d'Antioche. / M. Simon // *Annuaire de l'Institut de Philologie et d'histoires orientales et slaves*. – Bruxelles, 1936. – Vol. 36. – P. 403-421.

SIMON 1948: «Verus Israël»: étude sur les relations entre chrétiens et Juifs dans l'Empire romain, 135-425 / Marcel Simon. – Paris: E. de Boccard, 1948. – 475 p.

SPIEGEL 1967: Spiegel, S., *The Last Trial: On the Legends and Lore of the Command to Abraham to Offer Isaac as a Sacrifice: The Akedah*. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1967.

STARCKY 1986: Le martyre de sept frères. / J. Starcky // *Le Monde de la Bible*. – 1986. – № 42. – P. 34-35

STEMBERGER 1992: The Maccabees in Rabbinic Tradition. / G. Stemmerberger // *The scriptures and the scrolls: studies in honour of A.S. van der Woude on the occasion of his 65th birthday* / ed. by F. García Martínez, A. Hilhorst and C.J. Labuschagne. – Leiden: Brill, 1992. – P. 193–203. – (Supplements to *Vetus Testamentum*; 49).

STINESPRING 1932: The Description of Antioch in Codex Vaticanus Arabicus 286: Ph. D. diss. / W. F. Stinespring. – Yale University, 1932.

TKACZ 1995: The Seven Maccabees, the Three Hebrews and a Newly Discovered Sermon of St. Augustine (Mayence 50) / C. Brown Tkacz // *Revue des études augustinienes*. – 1995. – Vol. 41. – P. 59–78. TKACZ 2001: The key to the Brescia casket: typology and the Early Christian imagination. / Catherine Brown Tkacz. – Notre Dame, Ind.: Paris: University of Notre Dame Press; Institut d'Etudes Augustiniennes, 2002. – 273 p. – (Collection des études augustinienes; T. 165).

TROMP 1993: The Assumption of Moses: a Critical Edition with Commentary / by Johannes Tromp. – Leiden: Brill, 1993. – VIII, 324 p. – (*Studia in Veteris Testamenti pseudepigrapha*; 10).

VAN HENTEN 1997: The Maccabean martyrs as saviours of the Jewish people: a study of 2 and 4 Maccabees. / by Jan Willem van Henten. – Leiden; New York; Köln: Brill, 1997. – XI, 346 p. – (Supplements to the Journal for the study of Judaism; vol. 57).

VINSON 1984: Gregory Nazianzen's Homily and the Genesis of the Christian Cult of the Maccabean Martyrs / M. Vinson // Byzantion. – 1994. – Vol. 64. – P. 166-192.

WERNER 1980: Traces of Jewish Hagiolatry. / E. Werner // Hebrew Union College Annual. – 1980. – Vol. 51. – P. 39-60.

WILLIAMS 1975: Jesus' death as saving event: the background and origin of a concept. / by Sam K. Williams. – Missoula, Mont.: Scholars Press, 1975. – XI, 270 p.

WITAKOWSKI 1994: Mart(Y) Shmuni, the Mother of the Maccabean Martyrs, in Syriac Tradition / Witold Witakowski // Orientalia Christiana analecta. – 1994. – Vol. 247. – P. 153-68.

WRIGHT 1865-1866: An Ancient Syrian Martyrology / W. Wright // Journal of Sacred Literature. – 1865-1866. – Vol. 8. – P. 45-56, 423-432.

YDIT 1971: Av, Ninth of. / M. YDIT // Encyclopaedia Judaica. – Jerusalem; [New York]: Encyclopaedia Judaica; Macmillan, 1971. – Vol. 3. – Col. 938.

YOUNG 1991: The Woman with the Soul of Abraham. Traditions about the Mother of the Maccabean Martyrs. / R. D. Young // «Women like this»: new perspectives on Jewish women in the Greco-Roman world / ed. by Amy-Jill Levine. – Atlanta: Scholars Press, 1991. – P. 67-81. – (Early Judaism and its literature; 1).

ZIADÉ 2007: Les martyrs Maccabées: de l'histoire juive au culte chrétien: les homélies de Grégoire de Nazianze et de Jean Chrysostome / par Raphaëlle Ziadé – Leiden: Brill, 2007. – X, 392 p. – (Supplements to "Vigiliae Christianae"; vol. 80).

WISSENSCHAFT IN ANEKDOTEN

Dornseiff und die Oktoberrevolution

Franz Dornseiff, 1948 bis zu seinem Tod (1960) Ordinarius für Gräzistik an der Universität Leipzig, war an seiner Alma Mater ein einziges Mal Dekan. Er hat sich kaum dazu gedrängt: Verwaltungsdinge lagen ihm nicht. Wenn er als Dekan gelegentlich an Senatssitzungen teilnahm, belebte er die Debatte dort mit Beiträgen, die nicht nur durch ihre Kürze erquickten; davon hat der damalige Rektor Georg („Schorsch“) Mayer eine plastische Schilderung gegeben, als er Dornseiff zu seinem 70. Geburtstag in einer ebenso geistsprühenden wie warmherzigen Rede feierte. Als Dekan musste Dornseiff einmal eine Veranstaltung zum „Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution“ leiten. Universitätswürdenträger, Parteifunktionäre usw. saßen in einem großen Saal, in gespannter Erwartung, was der Herr Dekan – ein parteiloser ‚Bürgerlicher‘ – zu diesem für die DDR jahrzehntelang hochbedeutsamen Ereignis sagen würde. Dornseiff begann:

Also, wir begehen den Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution. Da wird sich mancher wundern, dass wir das im November tun. Mit dem Kalender ist das ja überhaupt so eine Sache. Irgendwann stimmt er nicht mehr, dann muss man einen neuen machen. Das war schon im Altertum so. Bereits Gaius Julius Caesar ...

Die Funktionäre schäumten. Aber da man Dornseiff nicht Staatsfeindlichkeit nachweisen konnte, trug man wohl nur Sorge dafür, dass er nie wieder Gelegenheit bekam, so zu ‚entgleisen‘. Man musste damals eben noch mit der ‚bürgerlichen Intelligenz‘ leben ...

Dornseiff und die DDR

Fellini schwärmt in seinen Memoiren von den USA: Amerika sei „das Land, in dem man Präsident werden kann, ohne Latein oder Griechisch zu können“. Die USA sind natürlich nicht der einzige Staat, in dem dies möglich ist bzw. war. In der DDR wäre es ebenfalls möglich gewesen; zumindest eine Empfehlung für höchste Würden waren Latein- und Griechischkenntnisse nicht, und schon gar nicht ein entsprechender Beruf. Als 1949 der Tischler Wilhelm Pieck erster DDR-Präsident wurde,

fragte mich Dornseiff: „Kann der Pieck das denn überhaupt?“ Dann, nach kurzem Nachdenken:

Ein Klassischer Philologe käme dafür jedenfalls nicht in Betracht. Wenn der ein solches Amt erhielte, und es käme heraus, was er von Beruf ist, würden die Leute sagen: „Äx, ein Altphilologe“, und der Mann wäre erledigt.

1950 gelangte das erste Exemplar der schweizerischen altertumswissenschaftlichen Zeitschrift „Museum Helveticum“ nach Leipzig. Dornseiff sprach im Kolleg davon, rühmte den Inhalt, aber auch das Outfit: das blütenweiße Papier usw., um dann fortzufahren:

Ein Land, das zum Sparen verurteilt ist, kann sich eine solche Zeitschrift nicht leisten.

Gleich nach der Vorlesung sagte er zu mir: „Vielleicht hätte ich das lieber nicht sagen sollen. Hoffentlich waren nur unsere Studenten da?“ Es waren nur unsere Studenten da, und unter ihnen war offenbar kein schwarzes Schaf.*

* Dornseiff (20. 03. 1888-22. 05. 1960) hat von Anfang an ein lebhaftes politisches Interesse, das im Lauf der Jahrzehnte an Profil gewinnt. In Aufsätzen wie „Entgiftung der Bildung“ (1932; schon der Titel ein Programm) bekämpft er Nationalismen in Sprach- und Literaturwissenschaft bzw. in Schulbüchern. 1933 äußert er im „Wortschatz“, konsequente Fremdwort-Eliminierung „würde die deutsche Sprache genauso zerstören wie eine Austreibung der nicht blond langschädelig blauäugig gerassten Menschen aus dem deutschen Staat die Bevölkerung beseitigen würde.“ Ein Naziblatt droht dem „Wortschatz“ mit Bücherverbrennung, dem Autor mit Prüfung seiner ‚Reinrassigkeit‘. Die so erpresserisch beanstandete Passage fehlt in den späteren Auflagen; der Verlag will es nicht auf ein Autodafé ankommen lassen, und der „Wortschatz“-Autor – Sohn einer ‚Halbjüdin‘ – lässt ausnahmsweise gleichfalls Vorsicht walten. Mehr zu Person, Werk und Nachwirken: Jürgen Werner, „Die Welt hat nicht mit den Griechen angefangen“. Franz Dornseiff (1888-1960) als Klassischer Philologe und als Germanist. Stuttgart, Leipzig 1999 (Abhandl. d. Sächs. Akad. d. Wiss., Philolog.-hist. Kl. 76/1; dazu s. R. Schmitt, Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 9, 1999, 295-299); J. W., Textkritisches zu Heinrich Heine und Franz Dornseiff, Sächs. Akad. d. Wiss., Arbeitsblätter 8, 1999, 19-27; Franz Dornseiff in memoriam, hrsg. v. Jürgen Werner. Amsterdam 1986; J. W.: Rez. zur 8. Aufl. von Dornseiff, Deutscher Wortschatz nach Sachgruppen, in: Muttersprache 115, 2005, 72ff. – In „Die Welt ...“ und „Franz Dornseiff in memoriam“ finden sich (hier aus Raumgründen nicht zitierte) Urteile unter anderem der Klassischen Philologen Burkert, Hadas, Holzberg, Jakov, J. Th. Kakridis, Latte, Lesky, Eduard Norden, E. G. Schmidt, Snell, Von der Mühl; Weinreich, M. West; des Indogermanisten Zgusta; der Romanisten E. R. Curtius und Leo Spitzer; der Schriftsteller Feuchtwanger, Hermann Kasack, Th. Mann, Erich-Maria Remarque, Peter Hacks. – Witz und politischen Mut gegenüber dem Dritten Reich zeigte

Rektorketten

Vor einiger Zeit war in der Zeitschrift „Universität Leipzig“ ein interessantes und amüsanter Interview mit Magnifizenz Häuser zum Thema Rektorketten zu lesen. Dazu sei auf folgende Anekdote hingewiesen: Als bei einer Konferenz des DDR-Hochschulministeriums die Rektoren für irgendein Versäumnis getadelt wurden, hat der legendäre Leipziger Rektor Georg („Schorsch“) Mayer (er war im allgemeinen staats-treu, löckte aber gelegentlich gegen den Stachel, und dann gewöhnlich witzig), die bekannte Formulierung vom Ende des „Kommunistischen Manifests“ abwandelnd, gekontert: „Wir Rektoren haben nichts zu verlieren als unsere Ketten“.

Kuczynski und das Westfernsehen

In Ostdeutschland war es, wie bekannt, lange Zeit unerwünscht, dass man das West-TV sah. (Zum Teil war es auch technisch unmöglich, so im Raum Dresden.) Verboten war es nicht, aber wenn man den Inhalt der Sendungen ‚verbreitete‘, konnte man wegen ‚Boykotthetze‘ gerichtlich belangt werden. Nach dem Mauerbau stürmten aufgeputschte FDJler die Dächer, um die Spezialantennen, die man für die Westsender brauchte (man bekam damit damals in der Regel nur ARD und allenfalls ZDF), abzubauen oder zu zerstören. Später, mit wachsendem Selbstbewusstsein der DDR-Führung, änderte sich das, ja, eines Tages sprach Honecker vom „Westfernsehen, das jeder DDR-Bürger nach Belieben an- und wieder abstellen kann“. Damit war es legitimiert, wenn auch nach wie vor nicht erwünscht. In jener Zeit gab der vielseitig – auch literarisch und literaturwissenschaftlich – interessierte, hochgebildete Wirtschaftswissenschaftler Jürgen Kuczynski im Ostfernsehen in einem Interview mit einer listig-eleganten Umschreibung zu verstehen, dass er regelmäßig die Tagesschau sah. Nach dem Geheimnis seiner immensen Produktivität befragt, antwortete er, er sorge einfach

auch der Gräzist Bruno Snell (Ich wie darauf schon in Eos LXXIX 1991, 101ff. hin.): Bald nach einer der üblichen nazistischen ‚Volksabstimmungen‘, deren ‚positives‘ Ergebnis auf Grund fragwürdiger ‚Wahl‘praktiken von vornherein feststand, erläuterte er im ‚Hermes‘, dass der Eselsschrei im Griechischen und im Lateinischen, bei Apuleius und Lukian, mit dem Wort für „nein“ identisch sei (non, οὐ), während die deutschen Esel kurioserweise immer nur „ja“ sagten (Hermes LXX 1935, 355f. = B. Snell, Gesammelte Schriften, 1966, 200f., hier mit dem zeitgenössischen Foto einer Litfaßsäule von 1934: „Ein ganzes Volk sagt am 19. August Ja“). Leider fehlen diese Zeugnisse in dem exquisiten Buch von Beat Näf (Hg.), Antike und Altertumswissenschaft in der Zeit von Faschismus und Nationalsozialismus, 2001; dazu: J. W., Anzeiger f. d. Altertumswissenschaft LVII 2004, Sp. 108-115.

dafür, dass er genug Schlaf habe. – “Ja, wann gehen Sie denn gewöhnlich schlafen?” – “Um acht. Oder sagen wir: viertel neun.” Und dazu lächelte er – ein Beispiel dafür, dass sich in der DDR auch öffentlich durchaus manches Inopportune sagen ließ, jedenfalls von Prominenten, in der von Lenin wie von Hans Magnus Enzensberger so genannten “Sklavensprache”. Mehr dazu in: Die Weltbühne 85, 1990, 60.

Kuczynskis Friedrich

Kuczynski bewahrte sich durchweg eine gewisse Selbständigkeit gegenüber dem offiziellen Sprachgebrauch. (Das war nicht immer so, s. Horst Haun, Kommunist und “Revisionist”. Die SED-Kampagne gegen Jürgen Kuczynski, Dresden 1999.) Als in Ostdeutschland noch “Friedrich II.” üblich war, druckte er “Friedrich der Große” (1981 in seiner “Geschichte des Alltags des deutschen Volkes”), und zwar gegen den Einwand eines linientreuen Militärhistorikers, dem er entgegnete: “Ich habe niemals Stalins Urteil über Clausewitz angenommen [...] und ich lasse mir auch Friedrich den Großen nicht rauben”. Engels habe den Preußenkönig “mit vollem Recht ein Genie genannt, und wenn man ein Genie ist [...], darf man als Herrscher auch den Beinamen ‚der Große‘ tragen.” Vergleiche meinen Essay: Friedrich II. – „der Große“ – und die DDR, in: Weimarer Beiträge 57, 2011, H.3, S. 454-465.

Ein Leckerbissen für Theologen

Begegnet der Name von Papst Benedikt, lat. Benedictus, in der Bibel? Als Name, also mit großem Anfangsbuchstaben, natürlich nicht. Aber klein geschrieben, als Partizip Perfekt Passiv zu *benedicere* „loben, grüßen, segnen“ – davon kommt ja der Name Benedikt – findet sich das Wort in der lateinischen Fassung der Heiligen Schrift.

Luther übersetzt den griechischen Text *Eulogēménos (éstō) ho erchómenos en onómati kyρίου* mit *Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn*.

In der lateinischen Fassung begrüßt die Menge Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem mit den Worten: Benedictus, qui venit in nomine Domini (Matth. 21,9).

Gut vorstellbar, dass der gegenwärtige Stellvertreter Christi auf Erden das als seiner Person angemessene Würdigung empfindet.

ОБ ЭТИМОЛОГИИ θεός
В ЛИТЕРАТУРНОЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ
V в. до н.э.

Я думаю, у всех, кто когда-либо учился у Азы Алибековны, сохранилось впечатление или даже твердое убеждение в некоей божественной природе ее личности. По крайней мере, все, кто слышал из ее уст стихи древнегреческой трагедии, явно ощущали, что этот голос нисходит с самых вершин Олимпа. И потому, мне кажется уместным принести в качестве подношения ей заметки, посвященные пониманию греками вообще, и афинскими трагиками в частности, самого этого слова — «бог».

* * *

В одном из ключевых мест диалога Платона «Кратил», по сути открывающем знаменитый этимологический экскурс Сократа, мы сталкиваемся с объяснением происхождения названия для «бога», θεός: «Мне кажется, что первые люди в Элладе тех только считали богами, кого и ныне считает большинство варваров, а именно солнце, луну, звезды и небо. И поскольку они всегда видели, как те *бегут* и несутся, по этой их природе и назвали их “богами”. А после, поразмыслив, и всех прочих стали называть тем же именем» (φαίνονταί μοι οἱ πρῶτοι τῶν ἀνθρώπων τῶν περὶ τὴν Ἑλλάδα τούτους μόνους [τοὺς θεοὺς] ἡγεῖσθαι οὕσπερ νῦν πολλοὶ τῶν βαρβάρων, ἥλιον καὶ σελήνην καὶ γῆν καὶ ἄστρον καὶ οὐρανόν· ἅτε οὖν αὐτὰ ὁρῶντες πάντα ἀεὶ ἰόντα δρόμῳ καὶ θέοντα, ἀπὸ ταύτης τῆς φύσεως τῆς τοῦ θεῖν “θεοὺς” αὐτοὺς ἐπονομάσαι· ὕστερον δὲ κατανοοῦντες τοὺς ἄλλους πάντας ἤδη τούτῳ τῷ ὀνόματι προσαγορεύειν – Кратил 397c8–d6). Как справедливо замечает в своей монографии, посвященной «Кратилу» Дэвид Сэдли¹, подобная интерпретация сразу, в самой начале этимологического раздела, указывает на идею «движения, потока», которая в его конце будет заявлена как важнейший семантический принцип, определяющий происхождение базовых имен и понятий. С другой стороны, этимология общего обозначения «богов» предваряет начинающийся

¹ Sedley 2003, 103.

вскоре последовательный разбор имен Гестии, Реи, Крона и т.д.². Такое внимание Сократа именно к божественным именам в последнее время нередко специально подчеркивается исследователями. Так, например, относительно недавно вышла в свет монография, специально посвященная именно объяснению божественных имен в «Кратиле» в сопоставлении с иными примерами аналогичных этимологий в различных текстах и прежде всего в Дервенийском папирусе³. Обнаружение этого загадочного произведения, содержащего несколько примеров аллегорических этимологий⁴ реанимировало интерес к существованию некоей «божественной экзегезы», в которой существенную роль могло играть истолкование божественных имен, тем более что представление об их внутренней силе и значимости очевидно присутствует в античной культуре, как и в любой культуре древности⁵. В этой связи в «Кратиле» вызывает дополнительный интерес фигура Эвтифрона, который упоминается неоднократно в качестве источника обуревающего Сократа этимологического «вдохновения» (поскольку Сократ встречался с ним утром перед разговором с Кратилом и Гермоденом, 396d), плоды которого, как надеется Сократ, удовлетворят «последователей Эвтифрона» (400a1, ср. также 407d8, 409d1-2). Эвтифрон известен нам исключительно по одноименному диалогу Платона, где он предстает собеседником Сократа относительно благочестия (εὐσεβεία), по части которого Эвтифрон может считаться экспертом, поскольку нередко в народном собрании говорит о божественных вещах и предсказывает будущее (3c1-2: ὅταν τι λέγω ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ περὶ τῶν θεῶν, προλέγων αὐτοῖς τὰ μέλλοντα). В связи с этим его традиционно считают жрецом или прорицателем⁶, в пользу чего говорит и постоянное соотнесение его «мудрости» с божественным вдохновением в «Кратиле» (396d6-8: κινδυνεύει οὖν ἐνθουσιῶν οὐ μόνον τὰ ᾧτά μου ἐμπλῆσαι τῆς δαιμονίας σοφίας, ἀλλὰ καὶ τῆς ψυχῆς ἐπειλῆφθαι; 428c7-8: εἴτε παρ' Εὐθύφρονος ἐπίπνους γενόμενος, εἴτε καὶ ἄλλη τις Μοῦσα πάλαι σε

² О соотношении этого пассажа с порядком дальнейшего рассмотрения этимологий см. Ademollo 2011, 182–184.

³ Anchiesi 2007.

⁴ См. об этом и о месте трактата в традиции аллегорезы в Obbink 2003, Betegh 2004, 185, 368.

⁵ См. Pulleyn 1994.

⁶ См. об этом McPherran 2005, 4-5.

ἐνοῦσα ἐλελήθει). С другой стороны, «вдохновение» у Платона частую предполагает ироническую окраску⁷ — характерно, что в «Эвтифроне» афиняне, по свидетельству самого протагониста, потешаются над ним, считая, что он не в своем уме (3c-d). Потому в принципе исторический Эвтифрон вовсе не обязательно должен был быть профессиональным «служителем культа»⁸: он вполне мог быть любителем порассуждать на «божественные» темы. Правда, не совсем понятно, какова могла быть роль этимологии в подобных рассуждениях: по крайней мере, в «Эвтифроне» главный герой никак не затрагивает языковые проблемы⁹. Можно, конечно, предположить, что большинство этимологий «Кратила» восходят к Эвтифрону¹⁰, однако такое отождествление вынуждено оставаться вполне голословным. Однако именно после публикации Дервенийского папируса стало очевидно, что этимология могла использоваться как инструмент в рассуждении о богах¹¹ и устройстве мироздания; не случайно, что Эвтифрон рассматривался в качестве возможного кандидата на авторство этого текста или, по крайней мере, в качестве

⁷ Так, по мнению Р. Барни (Barney 2001, 58), смысл этого мотива в «Кратиле» состоит в том, чтобы «дистанцировать фигуру Сократа от преподносимых таким способом идей». Однако инспирация в текстах Платона — мотив, скорее двойственный, нежели однозначно пейоративный (достаточно вспомнить его функцию в «Федре»).

⁸ Сократ в диалоге называет Эвтифрона «пророком», μάντις (3e2–3: εἰ δὲ σπουδάσονται, τοῦτ' ἤδη ὅπῃ ἀποβήσεται ἄδηλον πλὴν ὑμῖν τοῖς μάντεσιν — «если они подойдут к делу серьезно, чем все закончится, ясно может быть разве что вам, пророкам»), однако конкретное наполнение данного термина могло быть разным, в том числе учитывая специфическую манеру представления Сократом своих собеседников (см. Edwards 2000: 213–214). О фигуре Эвтифрона см. также Furley 1985.

⁹ Поэтому порой даже высказываются сомнения в идентичности Эвтифрона — персонажа одноименного диалога и этимологического «авторитета» из «Кратила». Впрочем, они вряд ли обоснованы: см. разбор проблемы в Baxter 1992, 108.

¹⁰ Как это делал в свое время П. Буайансэ (Boyancé 1941).

¹¹ Интересно, что например в «Вакханках» Еврипида жрец и прорицатель Тиресий также оказывается не лишенным интереса к этимологии. Так, он обыгрывает название собственного искусства, связывая μαντική с μανία (Вакханки 299) и, возможно, также этимологизирует имя Диониса в ст. 294. См. по этому поводу работу Roth 1984, 63–65, в которой Тиресий напрямую сопоставляется с историческим Эвтифроном.

представителя близкой этому тексту традиции¹². Впрочем, опять-таки это не более, чем гипотетическое построение. Остается, вслед за Дэвидом Сэдли, признать, что Эвтифрон, кто бы он ни был, вполне мог быть признанным авторитетом по части толкования слов (возможно, божественных имен, интерпретация которых занимает весьма значительное место в «Кратиле»), но реальный его вклад в эту область остается для нас неизвестным¹³.

Как бы то ни было, из сказанного выше явствует, что рассуждение о богах с этимологической точки зрения вполне могло представлять достаточно значимую традицию, на которую мог опираться Платон в «Кратиле», и этимологизация общего термина θεός здесь оказывается достаточно показательной. Характерно, что, как и многие другие платоновские этимологии, она вошла впоследствии в грамматическую и лексикографическую традицию. Среди прочих вариантов, ее фиксируют практически все поздние словари, см., например, Etymologicum Gudianum: «Бог, от бежать, т.е. стремиться и все опережать» (Θεός, διὰ τοῦ θέειν ἥγουν τρέχειν καὶ προφθάνειν τὰ πάντα). Что касается литературной традиции, то обыгрывание той же этимологии усматривают иногда в гомеровском гимне «К Пану», где Гермес именуется «быстрым гонцом богов» (θεοῖς θοὸς ἄγγελος – Гом. гимны 19, 28)¹⁴. Вероятно, она же прослеживается и в одном из фрагментов, атрибутируемом Филолаю, где говорится о том, что космос состоит из двух начал: «вечно бегущего, божественного, и вечно изменяющегося, возникшего» (фр. 21DK: τὸ δὲ ἐξ ἀμφοτέρων τούτων, τοῦ μὲν ἀεὶ θεόντος θείου τοῦ δὲ ἀεὶ μεταβάλλοντος γενατοῦ, κόσμος). Было бы очень соблазнительно видеть в Филолае возможный источник данной этимологии у Платона, однако этот фрагмент традиционно причисляется к spuria. Но в любом случае он показателен, доказывая актуальность такого соотнесения и в философском дискурсе.

Похоже, что обсуждение наименования «бога» было достаточно актуально в интеллектуальной традиции V в. до н. э. В частности, Д. Сансоне в своей статье, посвященной пересказу Ксенофонтом знаменитого рассуждения Продика «Выбор Геракла» (Воспоминания о Сократе II 1, 21–33), предположил, что внутри него обыгрыва-

¹² Kahn 1997.

¹³ Sedley 2003: 77–78.

¹⁴ Cp. Lingohr 1954, 189.

лось соотнесение слова «бог» (θεός) и глагола «устанавливать» (τίθημι): «мы рассмотрим в соответствии с истиной, как *боги* *распределили* сущее» (ἀλλ' ἤπερ οἱ θεοὶ διέθεσαν τὰ ὄντα διηγῆσθαι μετ' ἀληθείας, 27)¹⁵. Подтверждением бытования такой версии объяснения смысла θεός подтверждает прямое наличие ее у Геродота, который приписывал изобретение этого определения мифическим пеласгам: они «назвали богов «установителями» оттого, что они в совершенстве установили все вещи и владели всяческим распределением» (Θεοὺς δὲ προσωνόμασάν σφεας ἀπὸ τοῦ τοιούτου ὅτι κόσμῳ θέντες τὰ πάντα πρῆγματα καὶ πάσας νομὰς εἶχον — II 52, 1). Геродот, впрочем, не приводит в подтверждение данной истории никаких дополнительных авторитетов, и Ксенофонт остается единственным свидетельством в пользу использования аналогичной этимологии Продику — и для признания его надежным необходимо еще и признать (как это делает Сансоне), что Ксенофонов пересказ текстуально близок сочинению софиста¹⁶.

Впрочем, косвенным образом о возможности приписать подобную этимологию Продику может свидетельствовать и скрытое присутствие аналогичной интерпретации все в том же «Кратиле». Следует вспомнить, что Прodik, по словам Сократа, посвятивший целый курс лекций «правильности слов», наряду с Эвтифроном выступает в качестве одного из главных «авторитетов» в поиске истинного значения слов. И вот как Сократ обосновывает свой поиск «надежных» примеров: «Скорее всего нам удастся обнаружить правильно положенные имена тому, что вечно от природы. Вот здесь и стоит повнимательнее заняться *установлением* имен, поскольку вероятно, некоторые из них *установлены* скорее *божественной*, нежели человеческой, способностью» (εἰκὸς δὲ μάλιστα ἡμᾶς εὐρεῖν τὰ ὀρθῶς κείμενα περὶ τὰ ἀεὶ ὄντα καὶ πεφυκότα. ἐσπουδάσθαι γὰρ ἐνταῦθα μάλιστα πρέπει τὴν θέσιν τῶν ὀνομάτων· ἴσως δ' ἓν ἑνὶ αὐτῶν καὶ ὑπὸ θειοτέρας δυνάμεως ἢ τῆς τῶν ἀνθρώπων ἐτέθη — Кратил 397b7–c2). Как кажется, здесь вполне можно усмотреть обыгрывание того же соотношения слова θεός и глагола «устанавливать» (τίθημι), знакомого нам по Геродоту и Ксенофону. Более того, здесь оно до-

¹⁵ Sansone 2004.

¹⁶ Ср. заявление самого Ксенофонта о неточности его текста: «он говорил что-то в этом роде, насколько мне это помнится» (ὥδέ πως λέγων, ὅσα ἐγὼ μέμνημαι).

полнительно прояснено введением «промежуточного» отглагольного существительного $\theta\acute{\epsilon}\sigma\iota\varsigma$ «установление», в котором внутренняя форма $\theta\epsilon\acute{o}\varsigma$ угадывается куда нагляднее.

Если это наблюдение верно, то оно, помимо прочего, имеет определенную значимость в рамках общей структуры и замысла платоновского диалога. Ведь слово $\theta\acute{\epsilon}\sigma\iota\varsigma$ можно признать лексическим лейтмотивом «Кратила», поскольку оно, с одной стороны, определяет собственно его предмет — «установление имен», а с другой — один из вариантов сути этого процесса, который может происходить либо «по природе», либо по «установлению». Замечательно, что в рамках узкого контекста $\theta\epsilon\acute{o}\varsigma$ этимологизируется дважды: сперва (имплицитно) по «установлению» (связываясь с $\theta\acute{\epsilon}\sigma\iota\varsigma$), а затем (эксплицитно) «по природе» от «бежать» ($\alpha\pi\omicron\tau\omicron\upsilon\tau\eta\varsigma\ \tau\eta\varsigma\ \phi\acute{\upsilon}\sigma\epsilon\omega\varsigma\ \tau\eta\varsigma\ \tau\omicron\upsilon\ \theta\epsilon\acute{\iota}\nu\ \text{“}\theta\epsilon\omicron\upsilon\varsigma\text{”}\ \alpha\upsilon\tau\omicron\upsilon\varsigma\ \epsilon\pi\omicron\nu\omicron\mu\acute{\alpha}\sigma\alpha\iota$). Уже сам это факт: одно из наиболее значимых слов в длинном этимологическом ряду получает две интерпретации с двух точек зрения, заявленных в диалоге как антагонистические, — подкрепляет идею о взаимном пересечении и дополнении позиций «природы» и «закона» в диалоге¹⁷. Более того, соединение в слове «бог» принципов природы и установления находит в «Кратиле» показательную параллель в знаменитой и отчасти загадочной фигуре первого установителя имен, «законодателя», или номотета. О возможных истоках и смысле этого образа писалось не раз; при этом основной спор сосредоточен вокруг того, является ли идея об устанавливающем имена законодателе изобретением Платона (Fehling 1965, 220–221) или нет (Верлинский 2006, 181–182). Парадоксальность этой фигуры подчеркивается и очевидной словесной игрой. Законодатель устанавливает имена, сообразуясь с истинной «природой» ($\phi\acute{\upsilon}\sigma\iota\varsigma$, 389d4) и внутренней формой ($\epsilon\acute{\iota}\delta\omicron\varsigma$, 390a6) обозначаемого данным словом предмета. В то же время в самом имени «законодателя» объединены два варианта названия, второй, оппозиционной «природной», концепции языка — «закона» ($\nu\acute{o}\mu\omicron\varsigma$), или установления ($\theta\acute{\epsilon}\sigma\iota\varsigma$). Такое противоречие между самим словом «номотет» и его функцией — управлять «при-

¹⁷ В рамках данной статьи я, разумеется, не имею возможности подробно аргументировать общий взгляд на структуру и смысл платоновского диалога, который, впрочем, в свое время был мною достаточно развернуто изложен в работе Гринцер 1994.

родным» наименованием — некоторые исследователи считали нарочитым противоречием, доказывающим скептическое отношение Платона к самой возможности «узнавать сущее на основании слов»¹⁸. В то же время подобное совмещение в одном образе двух взглядов на язык опять-таки может говорить о необходимости их взаимного дополнения¹⁹, предвосхищая уже в начале диалога его конечный вывод: «Мне и самому нравится, чтобы имена по возможности были сходны с предметами, но [сказанное выше] убеждает нас в том, что в определении правильности слов необходимо еще пользоваться и чем-то более обыденным, т.е. договором (ἐμοὶ μὲν οὖν καὶ αὐτῷ ἀρέσκει μὲν κατὰ τὸ δυνατόν ὅμοια εἶναι τὰ ὀνόματα τοῖς πράγμασιν· ἀλλὰ ἀναγκαῖον δὲ ἢ καὶ τῷ φορτικῷ τούτῳ προσχρῆσθαι, τῇ συνθήκῃ, εἰς ὀνομάτων ὁρθότητα — Кратил 435c2–7).

Значимость самой лексической формы греч. νομοθέτης «законодатель», как кажется, подчеркивается и его прямым соположением с ὀνοματοργός²⁰ «создатель слов»: «Следовательно, не всякий человек способен давать имена, но некий создатель слов, а таковым, похоже, является законодатель» (Οὐκ ἄρα παντὸς ἀνδρός ... ὄνομα θέσθαι [ἐστὶν] ἀλλὰ τινος ὀνοματοργοῦ· οὗτος δ' ἐστίν, ὡς ἔοικεν, ὁ νομοθέτης... — Кратил 388e7–389a2, ср. также ὀνομάτων θέτης в 389d8). Здесь опять-таки присутствует явная словесная игра, соотносящая греч. νόμος «закон» и ὄνομα «слово». Более того, это соотношение тоже вполне можно воспринять и как этимологическое возведение ὄνομα через νόμος к глаголу νέμω с исходным значением «делить, распределять»²¹. Такое понимание подкрепляется и очень близким контекстом, в котором имя обозначается как «некое научающее орудие, разграничивающее сущее» (388b13–c1: ὄνομα ἄρα διδασκαλικόν τί ἐστὶν ὄργανον καὶ διακριτικὸν τῆς οὐσίας) и уподоб-

¹⁸ См., например, Demand 1975.

¹⁹ Ср. Fehling 1965, 222–223; Churchill 1983; Sedley 2003, 68ff.

²⁰ Показательно, что в рукописях «Кратила» и другого платоновского диалога «Хармид» мы имеем разночтения: либо νομοθέτης «законодатель», либо ὀνομοθέτης «создатель слов». См. об этом подробно Верлинский 1998.

²¹ Эта этимология опять-таки не выглядит абсурдной и с точки зрения современной лингвистики. См. об этом в нашей статье (Гринцер 1994, 191, 205). Именно как внутреннюю этимологию трактует данный контекст «Кратила» и Д. Сэдли (Sedley 2003, 70–71).

лением его в этом качестве ткацкому челноку, *распределяющему* нить (389 а–с).

Интересно, что подобное соотнесение ὄνομα и νέμω также закрепились в последующей грамматической традиции. Мы встречаем его, например, в схолиях к Дионисию Фракийскому 216, 25–26 Hilgard: εἴρηται τὸ ὄνομα παρὰ τὸ νέμω, τὸ μερίζω и Etymologicum Magnum: Ὀνομα: Παρὰ τὸ νέμω, τὸ μερίζω, νένομα, νόμα καὶ ὄνομα. Рассуждая об источнике этой этимологии у Платона, Д. Сэдли осторожно предполагает, что подобное сближение, влекущее за собой и представление о законодателе как «установителе» слов, «могло быть следствием интереса к этимологии, которая в пятом веке во многом, по-видимому, было прерогативой софистов» (Sedley 2003, 70). Опять-таки это не более чем гипотеза, но заметим, что легендарная, полубожественная фигура номотета так же соединяет в себе полюса «природы» и «закона», как и (в случае еще одной имплицитной этимологии) и одно из наиболее «вечных» имен – слово «бог». Надо сказать, что номотет, действительно, приобретает в диалоге некий квази-божественный статус: ведь «установление имен» не раз характеризуется в диалоге как «божественная мудрость» (δαίμωνι, θειοτέρα σοφία), в том числе, как мы старались показать и через имплицитное соотнесение θεός—τίθημι—θέσις. В то же время подобная «боговдохновенная» мудрость иронически соотносится с софистическим искусством, воплощенном в диалоге в фигуре Эвтифрона (например, 396d, 409d, 428c). Схожим образом «божественным» за свое умение тонко различать значения слов в других диалогах именуется и Продик (θεσπέσιος ἀνὴρ — Теэтет 151b6; θεῖος ἀνὴρ — Протагор 316a1). Если предположить, что и этимология самого слова θεός (как, возможно, и связь ὄνομα—νομοθέτης) была предложена кем-то из софистов, то подобная ирония приобретает дополнительный смысл.

Если, вслед за Сансоне, приписывать эту этимологию Продику, то такая атрибуция довольно удачно встраивается в то, что нам известно о его отношении к богам. Продика зачастую рисуют атеистом, что не совсем верно — по крайней мере, он не считался таковым среди своих современников²². Другое дело, что в позднейших источниках много говорится о том, что он стремился рационализировать представления о божественном. Согласно его теории, древ-

²² См. Henrichs 1976.

ние люди изначально обожествляли все что, приносит им пользу, как то солнце, луну, реки и источники, подобно тому, как египтяне считали божеством Нил (Πρόδικος δὲ ὁ Κεῖος ἥλιον, φησί, καὶ σελήνην καὶ ποταμούς καὶ κρήνας καὶ καθόλου πάντα τὰ ὠφελοῦντα τὸν βίον ἡμῶν οἱ παλαιοὶ θεοὺς ἐνόμισαν διὰ τὴν ἀπ' αὐτῶν ὠφέλειαν, καθάπερ Αἰγύπτιοι τὸν Νεῖλον'... – Секст Эмпирик. Против ученых IX 18=фр. B5, 12–14 DK). Впоследствии обожествлены были также и люди, которые открывали для людей разнообразные полезные вещи и умения (Филодем. О благочестии IX 7=B5, 4–5 DK)²³. Как кажется, рассуждение, сохраненное Секстом Эмпириком, весьма напоминает приведенные нами выше слова Сократа, предвещающие в «Кратиле» 397c–d этимологию слова «бог»: и там, и там речь идет о том, что древние обожествляли природные силы, в частности солнце и луну, и там и там в качестве доказательства ссылаются на обычаи варваров (у Секста Эмпирика — египтян). В этом контексте и легендарная фигура номотета может показаться сродни другим первооткрывателям полезных умений, о которых говорил Продик, согласно Филодему. С другой стороны, само соотнесение θεός с τίθημι и далее с θέσις как нельзя лучше соответствует самой концепции богов у Продика, которые очевидным образом являются плодом людского «установления» в память о полученных благах²⁴.

Похоже, что это соотношение довольно часто обыгрывалось и в литературной традиции. Истоки подобного соотнесения можно обнаружить уже у Гомера, где нередко словосочетание «боги устано-

²³ Об этих воззрениях Продика см. подробнее (Drozdek 2007: 113–115).

²⁴ Ср. у Секста Эмпирика: «и потому хлеб стал считаться Деметрой, вино — Дионисом, вода — Посейдоном, огонь — Гефестом и так каждое из приносящего пользу (καὶ διὰ τοῦτο τὸν μὲν ἄρτον Δήμητραν νομισθῆναι, τὸν δὲ οἶνον Διόνυσον, τὸ δὲ ὕδωρ Ποσειδῶνα, τὸ δὲ πῦρ Ἥφαιστον καὶ ἤδη τῶν εὐχρηστούντων ἕκαστον — B5, 14–16 DK), у Филодема: «сперва то, что приносит пищу и пользу, стало считаться и почитаться богами, а потом и те, кто дал пищу, кров и прочие умения» (τὰ περὶ <τοῦ> τὰ τρέφοντα καὶ ὠφελοῦντα θεοὺς νενομίσθαι καὶ τετελειῆσθαι πρῶτον ... μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς εὐρόντας ἢ τροφὰς ἢ σκέπας ἢ τὰς ἄλλας τέχνας ὡς Δήμητρα καὶ Διόνυσον ... — B5, 3–6 DK). Текстуальная близость двух пересказов позволяет предположить, что они близки словам самого Продика: в таком случае показательно в обоих случаях употребление глагола νομίζω, однокоренного νόμος «закону». Соблазнительно и здесь вспомнить о полубожественной фигуре «номотета» из платоновского «Кратила».

вили» θεοὶ (ἔ)θέσαν (см. Илиада I 290, IX 637, Одиссея XI 274, 555, XXIII 11). Однако здесь речь может идти скорее о звуковой игре, или том, что принято называть парономасией; никаких знаковых импликаций это соположение не несет, да и особых указаний на этимологизацию в гомеровском тексте нет. Скорее сознательную этимологизацию можно усмотреть в пассаже из гесиодовских «Трудов и дней» 761–764, где речь идет об одной из гесиодовских божественных персонификаций, Молве:

φήμη γάρ τε κακὴ πέλεται κούφη μὲν ἀεῖραι
ῥεῖα μάλ', ἀργαλέη δὲ φέρειν, χαλεπὴ δ' ἀποθέσθαι.
φήμη δ' οὐ τις πάνπαν ἀπόλλυται, ἥντινα πολλοὶ
λαοὶ φημίξουσιν· θεός νύ τις ἔστι καὶ αὐτή.

«Летит дурная молва, очень легка на подъем — тяжело ее сносить, трудно устранить, не гибнет молва вовсе, если она на устах у многих народов, так что и она некий бог»

Мартин Вест в своем комментарии справедливо обращает внимание на то, что Молва по сути обожествляется внутри гесиодовского текста²⁵. Фразу «не гибнет она вовсе» (φήμη δ' οὐ τις πάνπαν ἀπόλλυται) можно воспринять как парафразу эпитета ἀθάνατος, «бессмертный», и финальное умозаключение «и она в некотором роде бог» в таком случае становится своего рода выводом из предыдущего: «раз она бессмертна, то значит — бог». В таком контексте слово θεός в заключительной строке можно по тому же принципу соотнести с ἀπο-θέσθαι в 762: Молва — бог (θεός), поскольку трудно отменить ее устранить, буквально отменить ее «установление» (θέσθαι). Косвенным аргументом в пользу возможности подобной этимологии можно счесть и следующее обстоятельство. Многие исследователи обращали внимание на композиционную соотнесенность данного места «Трудов и дней» с началом поэмы, где речь идет о двух Эридах, разделение которых традиционно считается изобретением Гесиода²⁶. Похоже, что эта божественная новация также сопровождается этимологизацией. «Плохая» Эрида (аналог дурной молвы, имплицитно противопоставленной традиционной эпичес-

²⁵ «Новая богиня возникает из самого хода размышлений» (West 1996, 345).

²⁶ У. фон Виламовиц-Меллендорф на этом основании даже предлагал считать на этом основании 764 строку окончанием «Трудов и дней». См. подробнее о месте Молвы в общей идеологии и композиции поэмы в Clay 2003, 148.

кой «славе»²⁷) соотносится с «битвой, враждой», греч. δῆρις: ἡ μὲν γὰρ πόλεμόν τε κακὸν καὶ δῆριν ὀφέλλει «Одна из них способствует злой войне и битве» (Труды и дни 14)²⁸, вероятно по контрасту с обычной парой ἔρις — ἐρίζειν «спорить, состязаться»²⁹. В таком случае обе симметричные божественные персонификации дурных людских обычаев получают дополнительное этимологическое обоснование.

Конечно, в приведенном выше сообщении Геродота II 52, 1 о том, что пеласги «назвали богов «установителями» оттого, что они в совершенстве установили все вещи и владели всяческим распределением», этимология уже совершенно сознательна и очевидна. Учитывая рассуждения Платона и позднейшие свидетельства о мнении Продика, стоит отметить, что имя богам у Геродота устанавливают легендарные пеласги, то есть опять-таки «древнейшие люди»³⁰, о которых речь шла и в «Кратиле», и у Филодема с Секстом Эмпириком. Впрочем, свидетельство Геродота — это не столько художественный прием, сколько историческая констатация и/или отражение современных философско-лингвистических дискуссий. Место из «Суда Геракла» у Ксенофонта (см. выше) уже гораздо ближе к литературной игре, вне зависимости от того, является ли ее автором Ксенофонт или Сократ или Продик в своем оригинальном сочинении.

Греческая трагедия пятого века тоже дает нам примеры возможного обыгрывания этимологии θεός — τίθημι. В некоторых случаях

²⁷ См. Bakker 2002, 140–142.

²⁸ Это соотношение сохраняется и поздней грамматической традиции. Ср. δηρίττειν ἐρίζειν у Гесихия или Δῆρις: Ἡ μάχη καὶ ἡ ἔρις в Etymologicum Magnum.

²⁹ Показательно, что в описании «правильной Эриды», доминируют глаголы – синонимы ἐρίζειν. Ср. ζηλοῖ δέ τε γείτονα γείτων /εἰς ἄφενος σπεύδοντ· ἀγαθὴ δ' Ἔρις ἥδε βροτοῖσιν./ καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει καὶ τέκτονι τέκτων, καὶ πτωχὸς πτωχῷ φθονέει καὶ αἰδὸς αἰδῶ. «сосед *состязается* с соседом в гонке за богатством, и эта Эрида хороша для смертных. Горшечник *ревнует* к горшечнику, плотник к плотнику, нищий *завидует* нищему, а певец — певцу» (Труды и дни 24–26). Ср. в Etymologicum Magnum: Ἡ ἐκ τοῦ ἐρίζω, τὸ φιλονεικῶ, ἐρίσω, ἔρις.

³⁰ Как известно, представления Геродота о пеласах несколько противоречивы. С одной стороны, они связаны с Ионией и Атикой, с другой изначально говорили «на варварском наречии» (I 57, 3). См. Thomas 2002, 119–121. Показательно, что они тем самым соединяют в себе представления о «праотцах» и «варварах», чей обычай отражает древность, согласно мнению платоновского Сократа и Продика (по Сексту Эмпирику).

мы, вероятно, имеем дело с аллюзиями на традиционную формулу «боги установили». Похоже, например, что она прямо повторяется в «Персах» 283 ἔθεσαν θεοί (по чтению одной рукописи) или θεοὶ θέσαν (по реконструкции Г. Херманна и М. Уэста). В качестве варианта в качестве «установителя» может выступать некий один бог: так, Кассандра в «Алекサンドре» Еврипида говорит, что «бог поставил меня пророчествовать напрасно» (фр. 11,1: ἄκραντα γάρ μ' ἔθηκε θεσπίζειν θεός), а Ахилл в «Ифигении в Авлиде» восклицает: «Блаженным меня решил сделать кто-то из богов, если суждено мне с тобой сочетаться браком!» (1404–1405: μακάριόν μὲ τις θεῶν ἔμελλε θήσειν, εἰ τύχοιμι σῶν γάμων)³¹. В свою очередь, можно и, наоборот, сделать богов не субъектом, а объектом «установления». Τίθημι может естественным образом сопрягаться с θεός во фразах о том, что богу установили алтарь или сделали приношения (например, Эсхил. Персы 229), и здесь никакой словесной игры, скорее всего, видеть не нужно. Менее прозрачны случаи, когда бог выступает в качестве прямого, а не непрямого объекта, т.е. когда бога «делают, устанавливают» каким-то или в качестве кого-то. Вот характерный пример из «Филоктета» 992: «ссылаясь на богов, ты ставишь их лжецами» (θεοὺς προτείνων τοὺς θεοὺς ψευδεῖς τίθης). Главный герой трагедии бросает этот упрек Одиссею, который в трагедии явным образом персонифицирует идею людского «установления», противостоящего благородной «природе» Неоптолема³², и потому словесная игра в данном месте кажется вполне вероятной.

Но, пожалуй, наиболее показательным в контексте наших рассуждений является один из ключевых концептов трагедии — θεσμός (чаще во множественном числе — θεσμοί) «закон, (божественное) установление» (и соответствующее прилагательное θέσμιος, в субстантивированной форме тоже означающее «закон, установление, обряд»). В поздних словарях это слово главным образом этимологизировалось от τίθημι, что вполне правильно с историко-лингвистической точки зрения. Вот, например, как объясняет про-

³¹ Ср. также, например, «Рес» 583–584: σφίξει γὰρ αὐτὸν ὅστις εὐτυχῇ θεῶν τίθησιν.

³² Ср. многократные ссылки в трагедии на φύσις Неоптолема (79, 874, 1310). Развернутую интерпретацию «Филоктета» как отражения софистических дискуссий см. в Rose 1976.

исхождение слова Etymologicum Gudianum: Θεσμός, ὁ νόμος, ἀπὸ τῆς θέσεως. Однако и внутри чисто лексикографической традиции в некоторых случаях можно уловить и следы связи с θεός. Здесь показательно прежде всего свидетельство Гесихия: θεσμούς· νόμους θείου. ἢ τὰς συνθέσεις τῶν ξύλων. Как кажется, в двух вариантах семантики слова отражены и две этимологии: 1) «божественные законы» от θεῖος+νόμος, т.е. θεός и 2) «деревянные скрепы» от (συν)θέσεις, т.е. τίθημι.

В трагедии θεσμός, как правило, соотносится именно с божественным правом³³. Один из наиболее показательных контекстов — «Эвмениды» Эсхила, где хор Эриний говорит о «законе, судьбоносном, богоданном, совершенном» (391–393: ἐμοῦ κλύων θεσμόν, τὸν μοιρόκραντον, ἐκ θεῶν δοθέντα, τέλεον)³⁴. В данном контексте очевидно подчеркивается именно божественный (ἐκ θεῶν) характер установления (θεσμός)³⁵, суть которого – в расплате за совершенное. Аналогичным образом утверждается принцип «свершившему воздастся» и в финале первой трагедии трилогии, в «Агамемноне», где хор утверждает, что «пока на троне Зевс... таков [его] закон» (1563–1564: μῖμνει δὲ μῖνοντος ἐν θρόνῳ Διὸς παθεῖν τὸν ἔρξαντα θεσμόν γάρ). Но, разумеется, в «Эвменидах» мотив правильного/неправильного «установления/закона» становится и вовсе центральным, и при этом обыгрывается в том числе и оппозиция закона божественного и людского. В противовес «богоданному» закону Эриний Афина предлагает свое «установление»: суд ареопага, «судей в убийстве, блюдущих клятвенное установление, которое я устанавливаю на вечные времена» (483–484: φόνων δικαστὰς ὀρκίων αἰδουμένους θεσμόν, τὸν εἰς ἅπαντ' ἐγὼ θήσω χρόνον). Этот порядок вновь устанавливает бог, Афина, но он лежит уже не в божественной сфере, но в мире людей, и нарочитая *figura etymologica* θεσμόν θήσω «устанавливаю установление» актуализирует уже иную этимологическую трактовку θεσμός, отчасти «десакрализующую»

³³ Разумеется, не только в трагедии: ср. οἱ τῶν θεῶν θεσμοί — Ксенофонт. Киропедия I 6, 6, θεσμός τε Ἀδραστείας — Платон. Федр 248c2 и др.

³⁴ Ср. также, например, Софокл. Аякс 711-12: θεῶν δ' αὖ πάνθ' ὑπακούων θεσμοῖς ἐξήνυσ' εὐνομίᾳ σέβων μεγίστα «он выполнил полужертвенные заповеди богов, почтя их в великом благозаконии»

³⁵ О святости и древности как отличительных характеристиках θεσμός говорит в комментарии к данному месту и А. Соммерстейн (Sommerstein 1999, 150).

это понятие. Это немедленно подхватывают Эвмениды, вопиющие о «перевороте новых установлений» (490–491: καταστροφὰὶ νέων θεσμίων): по их мнению, Афина устанавливая наново (θήσω, 484) извращает (καταστρέφω, 490) саму природу божественного (ἐκ θεῶν – 392) θεσμός.

Кстати, такая лексико-этимологическая перекличка, как кажется, подкрепляет позиции тех, кто стремится сохранить в данном месте рукописное чтение νέων θεσμίων в противовес распространенной конъектуре Х. Аренса νόμων θεσμίων³⁶. Эриниям важно подчеркнуть именно противопоставление старых и новых «установлений», извращение самой сути этого понятия. Характерно, что и в дальнейшем Афина постоянно подчеркивает связь своих «установлений» именно с миром людей, с городом, городским советом: «в собирающемся этом совете следует всему городу молча выучить эти мои установления на вечные времена» (570–572: πληρουμένου γὰρ τοῦδε βουλευτηρίου σιγᾶν ἀρῇγει καὶ μαθεῖν θεσμούς ἐμούς πόλιν τε πᾶσαν εἰς τὸν αἰανῇ χρόνον; ср. 681: «слушай мой закон, народ афинский», κλύοιτ' ἄν ἤδη θεσμόν, Ἀττικὸς Λεώς). Более того, Аполлон в своей речи прямо уравнивает людской суд и «установление» богини: «Я буду говорить с вами, великое установление Афины, по справедливости...» (614–615: λέξω πρὸς ὑμᾶς, τόνδ' Ἀθηναίας μέγαν θεσμόν, δικαίως...). Таким образом, θεσμός зримо переходит из мира богов в мир людей, и его преобразование из «закона» божественного воздаяния в людское «установление» суда во многом определяет разрешение конфликта в финале трилогии.

Точно так же, как в противопоставлении естественной и конвенциональной теории языка платоновского «Кратила» принято усматривать общефилософскую дихотомию «природы» и «установления», «Эвмениды» можно считать одной из наиболее ярких литературных иллюстраций все той же оппозиции. Кровная связь матери и детей становится воплощением «природы», которую отстаивают Эринии, а узы, связывающие мужа с женой, — реализацией людского «установления» брака, санкционированного союзом Зевса и Геры (Эвмениды 212–215). Θεσμός Афины становится разрешением

³⁶ Рукописное чтение сохраняет в своем издании М. Уэст (West 1990: 370): конъектуру отстаивает, например, А. Соммерстейн (Sommerstein 1999: 59, 172–173).

этого противоречия: он связывает мир богов и людей, объединяя в себе идею божественного (природного, извечного) и человеческого (преходящего, институционального) закона.

Еще одной трагедией, в основу которой положена все та же оппозиция «природы» и «установления» – это, разумеется, «Антигона» Софокла. Нет нужды подробно разбирать персонификацию данной антиномии в образах Антигоны и Креонта, каждый из которых настаивает на верховенстве своего «закона»: кровного родства, освященного подземными богами (в случае Антигоны), или установлений города и его правителя, подкрепленного авторитетом Зевса (Креонт). В этом контексте опять-таки показательное употребление в трагедии интересующего нас термина. Он возникает по сути в центральном месте драмы: в «оде Эроту», которую хор поет сразу после решительного спора Креонта и Гемона и непосредственно перед появлением ведомой на казнь Антигоны. Θεσμός употребляется в контексте, вызывающем у исследователей серьезные сомнения. О желании (ἔμερος³⁷) говорится, что оно пребывает «спутником во власти великих установлений, ибо непобедима в своей игре богиня Афродита» (τῶν μεγάλων πάρεδρος ἐν ἀρχαῖς θεσμῶν· ἄμαχος γὰρ ἐμπαίζει θεὸς Ἀφροδίτα – Антигона 797–800). Наиболее известным комментаторам «Антигоны» Р. Джеббу и М. Гриффиту эта фраза казалась подозрительной как из-за необычной метрической схемы³⁸, так и собственно из-за несколько странного смысла. По логике, страстное желание (в данном случае подразумевающее любовь Гемона к Антигоне), олицетворяемое Эротом и Афродитой, традиционно рисуется, напротив, «нарушителем», противником всяческих законов и установлений³⁹, под которыми здесь кажется нужным понимать

³⁷ В соответствующем пассаже немало дополнительных интерпретационных проблем: понимать ли «желание» здесь абстрактно или персонифицировано (Гимер – один из спутников Эрота и Афродиты) и как трактовать цепь родительных падежей в «желании зрачков прекрасной девы» (νικᾷ δ' ἐναργῆς βλεφάρων ἔμερος εὐλέκτρον νύμφας – 795–797), – но они не имеют прямого отношения к нашим задачам. .

³⁸ См. также Willink 2001, 76–78. Впрочем, М. Гриффит приводит возможные метрические параллели.

³⁹ В качестве наиболее яркого примера можно привести первый стасим еврипидовского «Ипполита», рисующий губительную (πέρθοντα – 541) силу Эрота. Этот пример тем более показателен, что начало песни хора в

верность отцу и отчизне (Р. Джебб). Такую, более привычную, картину подкрепляет, казалось бы, и упоминание о «непобедимой» Афродите, и, что еще более важно, следующая фраза корифея: «А я уже теперь и сам рвусь за пределы законов, видя это» (Νῦν δ' ἤδη γὰρ καὐτὸς θεσμῶν ἔξω φέρομαι τάδ' ὅρῶν, 801–802), согласно которой он (подобно Гемону) при виде несчастной девушки готов пренебречь θεσμός. В результате комментаторы констатируют непоследовательность и необычность текста, предлагая с большей или меньшей решительностью различные конъектуры.

В контексте наших рассуждений кажется возможным и в этом пассаже усмотреть некоторую этимологическую игру. Если предположить обыгрывание соотношения θεσμός—θεός в разбираемом месте (τῶν μεγάλων πάρεδρος ἐν ἀρχαῖς θεσμῶν ἄμαχος γὰρ ἐμπαίζει θεὸς Ἀφροδίτα), то в таком случае «великие установления» попадают в сферу исконных, божественных установлений, на святости которых в трагедии настаивает Антигона. Надо заметить, что третий стасим «Антигоны» в целом вызывал у специалистов по Софоклу вопросы, поскольку любовь к Гемону вовсе не является главной движущей силой поведения героини (если вообще является таковой), да и сам Гемон в предшествующем диалоге с Креонтом пытается убедить отца вполне рациональными доводами, говоря, что исходит из желания помочь отцу, а не любимой. В свое время различные точки зрения на этот пассаж были аргументированно разобраны Р. Уиннингтон-Ингрэмом, который постарался показать, что любовная тема достаточно значима для «Антигоны», являясь одним из ее структурообразующих мотивов⁴⁰. Начиная со своего циничного ответа на вопрос Исмены: «Неужто ты убьешь невесту своего ребенка?» — «Вспахать он сможет и другие пашни» (Антигона 568–569), — Креонт, среди прочего, восстает против одной из главных сил мироздания, которая движет и его сыном – по крайней мере, по мнению хора, которое, впрочем, дальнейшие действия Гемона подтверждают (когда в горестном отчаянии он над трупом Антигоны обнажает меч против отца). Если говорить о любви, которой движима сама главная героиня, то это прежде всего любовь к мертвому

«Ипполите», по всей видимости, прямо отсылает именно к интересующему нас месту из «Антигоны».

⁴⁰ Winnington-Ingram 1998: 92–98.

брату Полинику. Эта любовь, конечно, прямо не квалифицируется в трагедии как ἔρως. Однако в рамках главной оппозиции трагедии: «свой–чужой; родной–враждебный; друг–враг» (греч. φίλος–ἐχθρός), заявленной уже в открывающем трагедию диалоге Антигоны и Исмены⁴¹) это чувство становится предельным проявлением φιλία – именно эта идея стоит за финальной фразой Антигоны в споре с Креонтом: «Я рождена чтобы вместе с ними любить, а не ненавидеть», – и ответ царя подчеркивает, что именно любовь к мертвым является отличительным свойством Антигоны: «Ну что же, теперь отправляйся под землю и, если должно тебе любить, люби тамошних» (Οὗτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν. Κάτω νυν ἐλθοῦς', εἰ φιλητέον, φίλει κείνους — Ант. 523–525).

Учитывая это, можно предположить, что в третьем стасиме речь идет именно о принадлежности любви к изначальным установлениям бытия, поборницей которых выступает Антигона. Соотнесение θεσμοί — θεός Ἀφροδίτα подчеркивает божественность законов, которыми руководствуется героиня. В непосредственно же следующей за этим пассажем фразе корифея: «А я уже теперь и сам рвусь за пределы законов, видя это» (Νῦν δ' ἤδη 'γὼ καὐτὸς θεσμῶν ἔξω φέρομαι τὰδ' ὀρώων, 801–802) – как кажется, подразумевается уже второй возможный смысл θεσμός как установление человеческого, в этом случае закона, изданного Креонтом. При таком понимании, двоякое упоминание θεσμός в этом месте трагедии (центральном с точки зрения ее композиции) не столько порождает двусмысленность, сколько делает это слово средостением конфликта двух «прав» Антигоны и Креонта: права «божественного» (θεός) и права, установленного (θέσις) человеком. Механизм по сути тот же, что в «Эвменидах» – но с противоположным смыслом и итогом.

Замечательной параллелью к только что рассмотренному месту «Антигоны» может послужить фрагмент из неизвестной трагедии Аристарха, где речь тоже характерным образом идет об Эроте:

Ἔρωτος ὅστις μὴ πεπεῖραται βροτῶν,
οὐκ οἶδ' ἀνάγκης θεσμόν...
οὗτος γὰρ ὁ θεὸς καὶ τὸν ἀσθενῆ σθένειν
τίθησι καὶ τὸν ἄπορον εὐρίσκειν πόρον (фр. 2, 1–5 Snell)

⁴¹ Об этой оппозиции как центральном мотиве «Антигоны» и в целом греческой трагедии см., например, (Belfiore 2000, passim, особ. 20, 142–144).

«Тот смертный, кто не испытал силы Эроса, не знает *установления* необходимости... Ибо этот бог *постановляет*, чтобы бессильный обрел силу, а беспомощный – помощь».

Как кажется, здесь в неизбежном «установлении» (θεσμός) прямо совмещены его «божественность» (θεός) и способность «(пере)устанавливать» (τίθημι) состояние человека и мира. В данном случае словесная игра кажется просто несомненной: на «этимологичность» пассажа недвусмысленно указывают нарочитые этимологические фигуры (τὸν ἀσθενῆ σθένειν, τὸν ἄπορον εὐρίσκειν πόρον). Было бы соблазнительно считать, что эта этимологическая игра у Аристарха Тегейского, современника Еврипида, могла бы непосредственно отсылать к знаменитому месту из «Антигоны», но неясность контекста, из которого взят этот фрагмент Аристарха, не позволяет проверить эту гипотезу. Однако в любом случае данный пассаж подтверждает саму возможность обыгрывания в трагедии соотношения θεός — θέσις — θεσμός, в том числе и применительно к богу любви.

Таким образом, кажется, что в рамках одной из ключевых оппозиций греческой драмы: противопоставления «природа—закон», – понятие θεσμός занимает своего рода промежуточное положение, вбирая в себя оба полюса этой оппозиции: и божественную (θεός) природу, и человеческое установление (θέσις). Показательно, что двойственность это понятия обыгрывается, как мы постарались показать, в трагедиях, где данная оппозиция является центральной для драматического конфликта: в частности, в «Эвменидах» и «Антигоне». В соответствующих контекстах можно уловить следы языкового обыгрывания такой двусмысленности, напоминающего об этимологии, напрямую связывавшей θεός с τίθημι. Существование такой этимологии подтверждает свидетельство Геродота, и, как было продемонстрировано выше, есть основания связать ее с именем Продика. Однако, если учесть даты постановки «Орестеи» и «Антигоны» (соответственно, 458 и 441 гг.), вряд ли можно считать конкретно Продика или вообще софистов источником этимологической игры в этих трагедиях. Скорее наоборот, можно предположить, что Продик (если это был он), так же как и Протагор, мог черпать свои лингвистические наблюдения из анализа художественных текстов. В случае с возможной этимологией θεός таким источником для него в равной мере могла оказаться и трагедия, и гомеровская поэзия с ее

формулой θεοὶ (ἔ)θέσαν. В трагедии связь богов с «установлением» реализовалась, в частности, в двояком представлении о божественных/человеческих θεσμοί, для софиста эта этимологическая связь могла послужить основой для рассуждений о социальной природе возникновения «божественного». Так или иначе, подобные параллели могут свидетельствовать, что этимология θεός активно использовалась в интеллектуальных дискуссиях V в. – вне зависимости от того, литературе или софистической риторике отдавать приоритет в ее «изобретении».

Литература

- Верлинский А. Л. 1998 — νομοθέτης или ὀνοματοθέτης (Plat. Charm. 175b, Crat. 389d8 // Индоевропейское языкознание и классическая филология Материалы чтений памяти И.М. Тронского. СПб. С. 11–14.
- Верлинский А. Л. 2006. *Античные учения о возникновении языка*. СПб.
- Гринцер Н. П. 1994 – Структура и смысл диалога Платона «Кратил» // *Знаки Балкан*. Т.1. М. С. 184–211.
- Ademollo F. 2011 — *The Cratylus of Plato. A Commentary*. Cambridge.
- Anchiesi B. 2007 – *Die Götternamen im Platons Kratylus*. Frankfurt am Main.
- Bakker E. 2002 — Polyphemos // *Colby Quarterly*. V. 38. P. 135–150.
- Barney R.. 2001 — *Names and Nature in Plato's Cratylus*. London.
- Baxter T. 1992 — *The Cratylus: Plato's Critique of Naming*. Leiden.
- Belfiore E.S. 2000 — *Murder among Friends. Violation of Philia in Greek Tragedy*. Oxford.
- Betegh G. 2004 — *The Derveni Papyrus: Cosmology, Theology and Interpretation*. Cambridge.
- Boyancè, P. 1941. La "Doctrine d'Euthyphron" dans le Cratyle // *Revue des Etudes Grecques*. V. 54. P. 141–175.
- Churchill, S. L. 1983 — Nancy Demand on the nomothetes of the Cratylus // *Apeiron*. V. 17. P. 92–93.
- Clay J.S. 2003 — *Hesiod's Cosmos*. Cambridge.
- Demand N. 1975 — The Nomothetes of the Cratylus // *Phronesis*. V. 20. P. 106–128.
- Drozdek A. 2007 — *Greek Philosophers as Theologians: the Divine Arche*. Burlington.
- Edwards M. 2000 — In Defense of Euthyphro // *The American Journal of Philology*. V. 121. P. 213–224.
- Fehling D. 1965 — Zwei Untersuchungen zur griechischen Sprachphilosophie // *Rheinisches Museum*. Bd. 108. S. 212–229.
- Furley W. D. 1985 — The Figure of Euthyphro in Plato's "Dialogue" // *Phronesis*. V. 30. P. 201–208.
- Henrichs A. 1976 — The Atheism of Prodicus // *Cronache Ercolanesi*. V. 6. P. 15–21.

- Kahn C. 1997 — Was Euthyphro the Author of the Derveni Papyrus? // *Studies on the Derveni Papyrus*. Oxford.
- Lingohr H.-J. 1954 — *Die Bedeutung der etymologischen Namensklärung in den Gedichten Homers und Hesiods und in den homerischen Hymnen*. Berlin.
- McPherran M.L. 2005 — Justice and Pollution in the *Euthyphro*. // *Plato's Euthyphro, Apology, and Crito: Critical Essays*. Lanham.
- Obbink D. 2003 — Allegory and Exegesis in the Derveni papyrus: the Origin of Greek Scholarship // *Metaphor, Allegory and the Classical Tradition: Ancient Thought and Modern Revisions*. Oxford.
- Pulley S. 1994 — The Power of Names in Classical Greek Religion // *The Classical Quarterly*. Vol. 44. P. 17–25.
- Rose P.W. 1976 — Sophocles' *Philoctetes* and the Teachings of the Sophists // *Harvard Studies in Classical Philology*. V. 80. P. 49–105.
- Roth P. 1984 — Teiresias as Mantis and Intellectual // *Transactions of the American Philological Association*. V. 114. P. 59–69.
- Sansone D. 2004 — Heracles at the Y // *The Journal of Hellenic Studies*. Vol. 124. P. 125–142.
- Sedley D. 2003 — *Plato's Cratylus*. Cambridge.
- Sommerstein A. (ed., comm.) 1999 — *Aeschylus. Eumenides*. Cambridge.
- Thomas R. 2002 — *Herodotus in Context: Ethnography, Science and the Art of Persuasion*. Cambridge.
- West M. (ed.) 1990 — *Aeschylus*. Stuttgart.
- West M. (ed., comm.) 1996 — *Hesiod. Works and Days*. Oxford.
- Willink C.W. 2001 — Critical Studies in the Cantica of Sophocles: I. *Antigone* // *The Classical Quarterly*. V. 51. P. 65–89.
- Winnington-Ingram R. 1998 — *Sophocles. An Interpretation*. Cambridge.

ГОРОД ТРЕВОЖНО НАЧАВШЕЙСЯ ЮНОСТИ

Семья Тахо-Годи и А. Ф. Лосев вошли в мою жизнь благодаря Владикавказу. Там, на улице Осетинская, недалеко от того места, где жила наша семья, стоял дом известного кавказоведа, профессора Л. П. Семёнова (1886–1959), родного дяди Азы Алибековны. «Наш родовой дом» – как-то сказала Аза Алибековна в одном из интервью. В этом доме жили её мать Нина Петровна Тахо-Годи (в девичестве Семёнова) и сестра Мина Алибековна со своей дочкой Еленой, ставшей сейчас блистательным филологом и поэтом. В казачьей семье Семёновых (терские казаки, уроженцы станицы Слепцовская) воспитывался сирота–мальчик, сын обедневшего даргинского узденя Алибек Тахо-Годи (1892–1937), впоследствии ставший видным советским государственным деятелем и учёным-этнографом. В юности он дружил с молодым Леонидом Семёновым и стал женихом, а потом мужем, его сестры, Нины Семёновой. Полагаю, что юность Алибека, будущего отца Азы и Мины, тоже проходила в этом доме на Осетинской 4. Когда в 37-ом году заместитель заведующего отделом школ и учебных заведений ЦК ВКП(б), директор Центрального НИИ национальностей, профессор Алибек Алибекович Тахо-Год был арестован и расстрелян, а жена отправлена в ссылку, их дети Аза и Мина нашли приют в доме профессора Семёнова на Осетинской улице. Я хорошо помню Леонида Петровича Семёнова. Мои родители, преподаватели русского языка, были ещё до войны его студентами. Когда мы, мама, папа и я с сестрой выходили на семейные прогулки и издалека видели его, уже пенсионера, сидящего на табуреточке перед величественной каштановой дверью парадного (торжественность владикавказских парадных невозможно передать словами, их нужно увидеть), то непременно подходили, чтобы поприветствовать высоко почитаемого в городе профессора. И так делали не только мы, но и всё население нашей округи. Всем своим видом: аккуратные седые усы и борода, светлый костюм, массивная трость, он представлял классическую модель старорежимного интеллигента, каких обычно показывали в советском кино. И ещё у него был необычно добрый, умный взгляд, внимательный к себе-

седнику, плавная, ласковая речь. В общем, человек из иного пространства и времени.

Аза Алибековна после окончания во Владикавказе школы уехала уже навсегда в Москву. Конечно, она приезжала и не раз в свой владикавказский дом. В 1954 году она побывала там вместе с Алексеем Фёдоровичем Лосевым. А её сестра Мина Алибековна надолго осталась жить там вместе с мамой и дочкой Леной. Всё на этой же Осетинской улице была школа № 15, в которой после окончания Владикавказского пединститута начала преподавать русский язык моя мама Нина Леонидовна Колесникова, и Мина была в то время её ученицей. Мама рассказывала, что когда она по своей неопытности сомневалась в правописании какого-нибудь слова, то тут же вызывала Миночку, лучшую ученицу в классе, а та знала всё. В конце 60-х Мина Алибековна (официально Муминат) была моим преподавателем в Северо-Осетинском университете. Она так просто, глубоко и увлекательно читала зарубежку, что её лекции слушались на одном дыхании и запоминались на всю жизнь.

Об уникальном доме Семёновых и Тахо-Годи хочется рассказать немного подробнее. Это был небольшой особнячок с большими окнами и черепичной крышей (после нередких во Владикавказе неистовых фёнов и проливных дождей черепица расходилась, и мы лазили с Миной на чердак её поправлять). Кажется, в доме было всего 4 комнаты, летняя веранда, двор (к сожалению, ставший общим и наполненный неясными личностями), удивительный, миниатюрный, можно сказать, итальянского стиля сад, окружённый стенами, увитыми диким виноградом. Так что, солнечный свет почти не проникал туда. Но благоухали розы, вечерами на душистый табак слетались бражники и единственное дерево, старая алыча, так обильно плодоносила, что ароматного алычёвого варенья для гостей хватало на всю зиму. Мина регулярно посылала его с оказией Азе Алибековне в Москву. С банкой алычёвого варенья однажды появился и я на Арбате, впервые представ перед Азой Алибековной и Алексеем Фёдоровичем. Так началась наша долгая дружба. В комнатах владикавказского дома, конечно, были картины и семейные фотографии, и тёмнокрасного дерева шкафы, наполненные новыми и старинными книгами на разных языках, но главное, в комнатах витал какой-то дух далёкого, прекрасного, безвозвратно ушедшего времени. В доме

всегда был идеальный порядок, и все вещи обязательно находились на своих местах. Красивым и изысканно-простым было всё, что подавалось к столу: и блюда, и старинная посуда. Замечательная хозяйка хлопотала в доме, Нина Петровна Тахо-Годи (1896–1982). Рассказывали, что была она настоящей красавицей. Я же видел её уже в довольно преклонном возрасте. Невысокая, седенькая, худенькая, сторбленная старушка с горящими всепонимающими глазами, в которых отчётливо угадывались железная воля, ум и сила. Удивительным было то, что она успевала великолепно вести хозяйство и в то же самое время совершенствовать свой духовный мир. Нина Петровна хорошо разбиралась в искусстве, интересовалась зарубежным интеллектуальным кино, неплохо была знакома с мировой литературой, внимательно следила за событиями в мире, читала самые прецедентные журналы того времени: «Иностранку» и «Новый мир», высоко ценила Фолкнера и Солженицына и недолюбливала весьма популярного в то время в СССР Хэмингуэя. Ко мне Нина Петровна относилась с каким-то особо тёплым вниманием. Советовала мне заняться романом А. Фурнье «Большой Моль» для будущей кандидатской. И много рассказывала о реальной российской жизни начала XX века. Нам вкручивали в голову идею непримиримой классовой борьбы красных и белых, а от Нины Петровны я слышал вот такую замечательную историю. 1919 год. Во Владикавказ входит армия генерала Деникина. Красные спешно покидают город. Деникинцы ещё не успели войти, а белый казачий офицер врывается на коне в город и несётся во весь опор к Осетинской улице. Подскакав к дому Тахо-Годи, колотит нагайкой в дверь, кричит: «Нина! Скорее! Скорее! Нина, где Алибек? (напомним, что Алибек Тахо-Годи был красным комиссаром). «Не беспокойся. Ушёл Алибек» – говорит Нина Петровна, выйдя к своему казачьему родственнику. «Ну, слава Богу! А я так волновался» – сказал деникинский офицер. Рассказывала Нина Петровна, как нелегко было выйти замуж за Алибека. Православные священники отказывались обвенчать её с мусульманином. Тогда она приняла лютеранство, и во владикавказской кирке они стали мужем и женой. Нежно трогательным был рассказ о том, как нефтяной король, миллионер Мухтаров, сватавшийся к прекрасной осетинской княжне Тугановой, построил в её честь непревзойдённую по красоте мечеть, но революция перечерк-

нула все надежды на счастье. Он исчез за границей, а она была обречена на нищету в Советской России. Как-то услышал я и трагическую историю её младшего сына Махачика, необыкновенно одарённого мальчика, погибшего в детском доме, в то время, когда она была в ссылке. Это была кровоточащая, незаживающая всю жизнь рана в её сердце. О многом рассказывала Нина Петровна. Более всего меня интересовали её рассказы о старом Владикавказе: как весёлыми компаниями ездили на линейках с самоварами к подножью Казбека на Девдоракский ледник, как солдаты Тенгинского и Апшеронского полков по инициативе командира Ерофеева основали во Владикавказе один из лучших в стране парков с большим прудом, летним театром, купальней и великолепными велосипедными дорожками, поэтому даже в советское время он продолжал называться треком. Больно было слушать о том, как уничтожался старый Владикавказ. Был взорван Кафедральный собор Архангела Михаила, возвышавшийся над всем городом. Был уничтожен самый старый владикавказский собор, Спассо-Преображенский, вместе с кладбищем, на котором покоились герои Кавказской войны, в том числе и декабристы. Из 24 православных храмов к 60-м годам осталось только два: известный, как старая осетинская церковь, храм Рождества Пресвятой Богородицы, превращённый те времена в музей (там в Пантеоне могила Л. П. Семёнова), и небольшая единственно действующая в Орджоникидзе (советское название Владикавказа) Ильинская церковь на Мещанском кладбище на западной окраине города. Не повезло Владикавказу. Весьма энергичными оказались его городские власти по части разрушения старого мира. Старались изо всех сил угодить красной Москве. Особенно жалела Нина Петровна памятник солдату Тенгинского полка Архипу Осипову (1802–1840). Только два таких памятника было на всю Россию: в Севастополе памятник матросу Кошкину, сделанный на деньги, собранные матросами, и созданный на солдатские деньги памятник Архипу Осипову во Владикавказе. Памятник был снесён в 1926 г. как символ колонизации Кавказа. Но всё-таки как ни старалось партийно-городское начальство истребить великую русскую колониальную культуру, её следы то и дело проявлялись и дух её был неистребим. Почти не тронутым остался архитектурный ансамбль центра города в стиле русского губернского модерна, во многом сохранился классический репертуар

драматического театра, в художественной галерее экспонировались картины известных русских художников. Старая владикавказская интеллигенция отчасти ещё сохраняла свои идеалы минувшего века.

И вот в этой владикавказской атмосфере, где одна за другой налетали волны массовых репрессий и яростно рушились храмы, но вместе с тем существовал и мир высокой культуры, неожиданно оказалась в 37-ом году московская школьница Аза, ставшая дочерью «врага народа». Что мог дать ей Владикавказ? Город, необыкновенный во многих отношениях, центр колониальной русской культуры на Кавказе, благодаря которой он объединял разные народы и национальности. На юге Владикавказа была Осетинская слободка, где преимущественно жили осетины. На востоке, на Шалдоне, селились ингуши. На Западе – русские, приверженцы молоканской веры, греки и грузины. На севере, на Курской слободке – русские и украинцы. А в центре города – интернациональная интеллигенция. Бывали, безусловно, межнациональные трения, но в основном жили очень дружно, и всякие обращения к толерантности были бы в то время во Владикавказе неуместны и нелепы. Удивителен был город и всем своим обликом: черепичные крыши, отсвечивающие тёмным багрянцем в минуты пылающих закатов; кирпично-булыжниковые, толстенные стены-заборы; ухоженная центральная часть с бульварами, цветниками, трамваем, прекрасной мостовой, что ни дом, то архитектурный памятник; и окрестные улицы, горки, заросшие аптечной ромашкой; пьянящий запах акации и многих других неведомых цветов и деревьев; рокочущие и безумно несущиеся волны Терека, разделяющего город на две половины. И наконец, главная достопримечательность – панорама гор. Вначале зелёная цепь Лесистого хребта, затем синеющие отроги Скалистого и наконец, ледово-снежные вершины Казбека, Адайхох и других великанов.

Когда девочка Аза выходила из дома на Осетинскую улицу, её взгляду направо открывался вид на причудливую громаду Столовой горы, напоминающей, по словам владикавказцев, профиль лежащей королевы Виктории. А прямо, на противоположной стороне улицы стоял загадочный дом нефтяного магната Черноева с роскошным внутренним интерьером. После бегства магната там стали жить энкэвэдэшниковские начальники, а в 60-е годы был детский

сад, куда я водил Леночку Тахо-Годи на Ёлку. Налево за оградой на вершине горе стоял дворец Наказного Атамана Терского казачьего войска (в советское время госпиталь) и спускался по горе дивный парк, наполненный самыми редкими растениями, особенно много было магнолий. Потом направо начинался Пушкинский сквер с малоприметным бюстом поэта, разбитый на месте старого Владикавказского собора. И сразу же за сквером на улице, поднимающейся в гору, стояла самая лучшая во Владикавказе школа № 5 (бывшая мужская классическая гимназия). Это школа Азы. В ней блестяще учился её отец. Её закончила Лена Тахо-Годи. В ней работали мой дедушка Леонид Митрофанович Колесников и отец Николай Семёнович Жданов. Аза Алибековна не раз вспоминала, как мой дедушка, преподаватель черчения и рисования, сокрушался, рассматривая её неумелые чертежи: «Ах! Девочка! Как же хорошо мог чертить твой папа!». И что за знак судьбы? В 5-ой школе наряду со многими знаменитостями учился и режиссёр Е. Вахтангов, а Аза Алибековна с Алексеем Фёдоровичем потом стали жить напротив театра Вахтангова.

Царящий в 5-ой школе дух глубокого, истинного просвещения; и богатство национальных традиций вместе с межнациональным единством культуры настоящих владикавказцев; и филологическая атмосфера, окружающая профессора Семёнова; и таинственно-монументальная природа Кавказа; и дома, улицы, парки; и сами по себе люди, гордые и весёлые владикавказцы; и, наконец, мама во Владикавказе, как самая главная притягательная сила, связывающая Азу Алибековну с этим городом, – все эти факторы в чём-то помогли стать Азе Албековне Тахо-Годи такой, какая она есть и такой, какую мы очень любим. И ещё мне кажется, что сконцентрированное во Владикавказе духовное богатство мира людей и богатство мира природы непременно пробуждает в тонких и нежных душах (а именно такая душа у нашей Азы Алибековны) не только импульсы романтического вдохновения, но и непреодолимое стремление к вечному постижению смысла и красоты мира.



Л. П. Семенов, А. А. Тахо-Годи и А. Ф. Лосев.
Лето 1954 г. Владикавказ.



Соборная мечеть во Владикавказе



Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Владикавказа

РЕЦЕПЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ СЮЖЕТОСЛОЖЕНИЯ ДРЕВНЕЙ КОМЕДИИ

Сюжет – начало начал литературного произведения; даже имеющая право на бессюжетность лирика то и дело обнаруживает тяготение к сюжету. Свобода в выстраивании сюжета – одно из ключевых слагаемых понятия авторства. Но у классических авторов отношения с сюжетом – особые: мифориторический¹ характер античной литературы предполагал авторскую оригинальность не в придумывании нового сюжета, а в интерпретации уже готового. На этом строились и эпос, и трагедия, а вольность Еврипида в обращении с мифом обозначила первые шаги к сюжету в современном понимании, т.е. событийному ряду и системе персонажей, придуманным автором. Однако трагедия и в Новой Европе сохраняла готовый, классический, сюжет как одну из характеристик жанра. В комедии – и это очень показательно – литературность формы последовала из сюжетной упорядоченности: как утверждает Аристотель, литературные формы – *σχήματα* – аттической комедии придал Кратет посредством добавления сюжета: он «первый ... стал сочинять речи и сказания общего значения» (1449 а 37 καθόλου ποιεῖν λόγους καὶ μύθους). Фрагментарность дошедшего до нас комедийного наследия не позволяет точно охарактеризовать пути преобразования шествия комоса в литературный жанр в его целостности – но позволяет эти пути наметить.

Исходное ритуальное начало Древней Комедии определило две ключевых характеристики жанра – инвективу и актуальность. Как ни странно, очевидные для сущности комедийного жанра в Новое время бытовизм и близость к реальной жизни не сразу стали сильной стороной комедийного жанра. Этот путь станет основным на следующем этапе развития комедийного жанра, в комедии Новой, а в Древней быт проявляется лишь в системе персонажей («этосов») – все рабы да простые граждане, ни тебе героя, ни царя (а если и есть, то в негероическом и нецарском виде), да в обязательной пирушке

¹ Михайлов А. В. Античность как идеал и культурная реальность XVIII – XIX вв. В: Античность как тип культуры. М., Наука, 1988. С. 310-312

(при этом генетически связанной с ритуалом). Главный путь проникновения жизненных реалий в Древнюю комедию – не сюжет, а проблематика (хотя надо признать и то, что политическая и социальная сатира, традиционно считающаяся чуть ли не обязательным элементом в жанровой характеристике Древней комедии, присутствовала в ней не всегда: что политического, к примеру, в «Бутылке» Кратина?). И фантастика, свойственная Древней Комедии – оборотная сторона все того же бытовизма: дело даже не в навозном жуке, пусть даже раскормленном до нереальности, а в том, что «женская вольница» «Лисистраты» и «Экклесиазус» была для афинских зрителей явлением того же, фантастического, порядка, что и строительство города между небом и землей или женитьба на богине мира.

И это особенно интересно: возникшая как жанр новый, отличный от прочих, и опирающаяся на новых, неизвестных доселе сцене и литературе персонажей, комедия давала своим авторам уникальную возможность – свободу и новизну в развитии сюжета. Однако комедиографы (прежде всего Аристофан, конечно, но свидетельства о сюжетах комедий других авторов тоже позволяют сделать некоторые выводы), пользуясь этой свободой, зачастую и отказываются от нее, предпочитая отталкиваться от уже известных сюжетных линий и литературных форм.

Хотя в переводчики Аристотелевой «Поэтики» стараются избегать перевода *μῦθος* как «миф», особенно в выше приведенном пассаже, комедия обнаруживает именно здесь точку схождения значений «миф» и «сюжет-сказание». Миф (возможно, по смежности с жанром трагедии), вернее, травестия мифа, не раз становился основой комедийной сюжетной структуры. Так, например, на мифе о суде Париса строился «Дионисалександрос» Кратина. В дошедших до нас комедиях Аристофана непосредственно мифологических сюжетов не обнаруживается, но из тех, что не дошли, к мифологическим можно отнести как минимум восемь: «Амфиарай», «Дедал», «Данаиды», «Анагир», «Женщины с Лемноса», «Финикиянки», «Геритады», «Полиид», «Аеолосикон».

Другим вариантом опоры для комедийного развития действия стали литературные жанры (и по смежности, и генетически, так как этот путь включал в себя и заимствование приемов, и их высмеивание): эпос, лирика и «старшая сестра» трагедия. Аристофан цити-

рует около 30 комедий Еврипида², а также Эсхила, Софокла и гораздо менее известных Меланфия и Ксенокла («Мир» 1013), а с ними и Гомера с Архилохом («Мир» 1097-1098, «Осы»).

Принципом вовлечения этих заимствованных элементов традиционно называется пародия. Пародийные элементы у Аристофана описаны, и не раз, остается только не решенным вопрос о том, что мы называем «пародией в комедиях Аристофана». Две равно имеющих право на существование точки зрения основаны на античном и современном понимании «пародии» как термина: современное понимание пародии как «сатирического разоблачения» расходится с пониманием, идущим от александрийских ученых схолиастов и предполагающим в пародии «перенесение слова из трагедии в комедию» (схолий к 8 стр. «Ахарнян», словарь Суда) вне зависимости от собственно комической окраски. Античное понимание «пародии» ближе к «подражанию», чем к «пародии» в современном смысле³. При этом собственно комическое наполнение пародии в античности оказывается вторичным, как результат несовместимости двух противоположных планов⁴. Но поскольку в комедии сниженный план изначален, «древнее» понимание пародии превращает ее в чисто механический прием, несколько выхолощенный. Разрешение противоречию, как кажется – в рассмотрении пародии как формы рецепции. Рецепция рассматривается нами как мифориторический принцип обращения к «чужому слову» на все уровнях организации произведения: собственно «словесном», лексическом и синтаксическом, образном, сюжетном и т.д. Неоднозначность функций объясняется тогда разнообразием задач, свойственным любому литературному приему. Обычно рецепция считается явлением межкультурным, т.е. рассматривается как интерпретация литературного мотива–сюжета–жанра, представленного в одной литературе, литературой более поздней. Но нам хотелось рассмотреть более редкий – но тем и интересный – случай рецепции внутрикультурной, которую мы видим во взаимоотношениях комедии и трагедии.

² Ярхо В. Н. Аристофан – великий художник-утопист. В: Аристофан. Комедии. Фрагменты. М., 2000, С. 933

³ Margaret Rose. A Parody: ancient, Modern, post-modern. Cambridge, 1993. P. 7.

⁴ Макаревич Е. В. Пародия в комедиях Аристофана. Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. филол. наук. М. 1990, С. 7.

Примеры обращения комедии к «чужому слову» рассматривались неоднократно. К ним относятся и лексические заимствования, и цитирование стихов и полустихий, любовно отмеченные схолиастами, и воспроизведение синтаксических конструкций. То, что «чужим» (заимствованным, «перенесенным») выступает в первую очередь именно «слово», очень важно. Возможно, в этой исходной «цитатности» как основе жанра Древней комедии и заключается одна из причин его скорого упадка: если плохо известен оригинал, то и его «гибристический двойник» становится неинтересен.

Однако объектом «переноса» из трагедии в комедию было не только слово, но и целые эпизоды. Они реже привлекают внимание исследователей, как нам кажется, потому, что их появление в комедии лишено оценочного значения (либо оно не так заметно) и они относятся не к критике еврипидовских идей или стиля, а к имитации драматургических приемов вне сатирического контекста.

О травестии мифа мы сказали выше. Однако, сюжет некоторых комедий соотносится с трагическим, представляя собой уже не травестию мифа, а травестию его драматической интерпретации. Так, «Птицы» (414 г. до н.э.) соотносятся с «Прометеем Огненосцем» Эсхила⁵ и с «Тереем» Софокла⁶ (в сюжете «Ос» (422 г.) видится аналогия с «Эвменидами»⁷, а коллизия «Мира» (421 г.) очевидно навеяна Еврипидовым «Беллерофонтом». И если в первых двух случаях предполагается заимствование элементов сюжетной схемы, то для «Мира» не менее важным, чем сюжет о путешествии на небо, становится способ осуществления замысла этого самого путешествия, то есть его сценического воплощения и применения театрального механизма. Возможно, что сама идея с жуком появилась у Аристофана в связи с недостаточно умелой с точки зрения театрального воплощения «трагической» имитацией полета крылатого коня в драме Еврипида.

⁵ Bakhuyzen van de Sande. De Parodia in comoediis Aristophanis. Utrecht , 1877: VII, 89-97.

⁶ Gregory W. Dobrov. Figures of play: Greek drama and metafictional poetics. Oxford 2001. P. 91, 105-132.

⁷ Макаревич. Op. cit. 8-10.

Кроме упомянутого «полета» из «Беллерофонта», объектами пародии-«переноса» стали сцены из «Телефа», «Паламеда», «Елены» и «Андромеды» Еврипида.

К «Телефу» Еврипида возводят две сцены «Фесмофориазус»: «выступив» в «роли» Телефа в защитительной речи, Мнесилох «остается в образе», и после раскрытия его «женской» маскировки воспроизводит следующую еврипидовскую сцену, гикесию, где подражает Телефу, а «роль» младенца Ореста «исполняет» мех с вином. Изображение группы «фигура на алтаре с младенцем на руках» стала визуальным воплощением именно еврипидовской интерпретации мифа о Телефе⁸: в данной сцене Аристофану даже не нужно упоминать трагедию Еврипида, сходство в сценическом воплощении эпизода оказывается достаточным. Здесь имеет место еще и самопародия – отсылка к аналогичной сцене (с корзинкой – «заложником») из более ранних «Ахарнян» (331-335).

Когда перипетии «Телефа» оказываются исчерпанными, Аристофан пользуется как средством развития комического сюжета сценами из других трагедий Еврипида. Так, сцена из «Паламеда» (770-783) становится для Мнесилоха подсказкой способа спасения: он разбрасывает таблички, как герой драмы Еврипида (что, впрочем, не помогает, и комедийный Еврипид не приходит на помощь по предложенной сюжетной схеме, так как «стыдится “Паламеда” он – сырая вещь», пер. А. Пиотровского τὸν Παλαμίδῃ ψυχρὸν ὄντ' αἰσχύνεται 848). Заметим, что в этом эпизоде внешнее следование еврипидовской сцене оказывается более важным, чем смысловое – ничего особенного на своих табличках Мнесилох не пишет, он лишь следует логике сюжета «трагедии интриги» – «новшества» афинской сцены⁹.

Следующая за этим сцена из «Елены» вызвана визуальными сценическими ассоциациями: алтарь-жертвенник, который был убежищем для Мнесилоха-«Телефа», теперь становится могилой Протея, возле которой разворачивается действие «Елены», а сам Мнесилох, соответственно, оказывается заглавной героиней. Здесь мы имеем дело не только с паратрагической интерпретацией конкретной сцены, но и с высмеиванием архаической драматургиче-

⁸ John Gould. *Myth, Ritual, Memory, and Exchange: Essays in Greek Literature and Culture*. Oxford, 2001. P. 72-74

⁹ C. F. Russo. *Aristophanes. An author for the stage*. Routledge, 1994. P. 192

ской техники, когда в роли гробницы мог выступать алтарь в центре оркестры¹⁰. Далее (902-910) следует воспроизведение еще одной сцены из «Елены» – узнавание «героини» и «Менелая», в роли которого выступает сам Еврипид.

После того, как безрезультатно исчерпаны сюжетные и сценические возможности «Елены», герои Аристофана вспоминают об «Андромеде». Схолиаст (ad loc.) объясняет переход к «Андромеде» тем, что она ставилась вместе с «Еленой». В самом тексте Аристофана тоже есть косвенное объяснение – «Андромеда» ставилась ἐν τῷδε ταῦτῳ χωρίῳ, «на том же месте» (1060), год назад. Показательно, что это объяснению вообще понадобилось, ведь сюжетная коллизия «Фесмофориазус» – спасение «пленницы» – в целом сходна с Еврипидовой трагедией. Нам бы хотелось обратить внимание на тот факт, что указание и на сюжетное сходство, и на близость постановки по времени появляются уже после того, как Мнесилох объявляет себя Андромедой: δεῖ με γίγνεσθ' Ἀνδρομέδαν. Πάντως δέ μοι / τὰ δέσμι' ὑπάρχει «мне нужно сделаться Андромедой, раз я весь в оковах» (1012-13). Таким образом, исходной посылкой к ассоциациям с «Андромедой» выступает сходство сценической обстановки, конкретнее – поза героя / героини. Заметим, что похожая ассоциативная цепочка выстраивается и в более ранних «Ахарнянах»: Дикееполь сначала воспроизводит мизансцену из «Телефа», угрожая хору убийством «заложника» - корзины с углем (331-335), а уже затем называет саму трагедию и отправляется к Еврипиду за костюмом Телефа. Только после того, как обыграна поза, Аристофан пародирует и другие характерные черты Еврипидовой драматургии, проявившиеся в «Андромеде»: лирическую монодию героини и лирическую переключку-коммос с нимфой Эхо.

«Фесмофориазусы» становятся художественным экспериментом, и не только потому, что в них Еврипид выступает одновременно субъектом и объектом, а его в общем-то частная проблема – недовольство афинских женщин его драмами – центральной проблемой пьесы, столь же важной, как прежде – вопросы войны и мира, воспитания, политического устройства Афин¹¹. В «Фесмофориазусах» пародируются не только отдельные цитаты или трагический стиль в

¹⁰ Oliver Taplin. The Stagecraft of Aeschylus. Oxford, 1977. P. 117

¹¹ Russo. Op.cit.

целом, но и последовательно воспроизводятся элементы трагической драматургии. Непосредственное следование одной постановки за другой позволило Аристофану апеллировать не к тексту (примеров этому немало и в других комедиях), а именно к элементам сценического воплощения драмы. Пародирование сюжетное переплетается с визуально-сценическим, этот принцип можно было бы назвать «драматургическим»: толчком к появлению пародийной сцены в комедии становится не текст, а «картинка», сходство эпизодов в сценографии, а уже потом – в сюжете. Необходимо еще раз подчеркнуть, что собственно пародийный в современном понимании термина, комический и тем более сатирический эффект подобных сцен не всегда ощущается (а возможно, и не предполагается). Современник Аристофана, Кратин, называл драматическую манеру Аристофана *εὐριπίδαριστοφανίζων* (fr. 304), «евристофанничая»¹² и подчеркивал тем самым, что Аристофан не только пародировал трагика, но и следовал ему. Сам Аристофан в «Фесмофориязусах» характеризует этот принцип привлечения трагедийных элементов как «подражание» (*τὴν καὶνὴν Ἑλένην μιμήσομαι* «я буду подражать недавней “Елене”»). Лишенный комедийной окраски, этот прием становится одним из принципов комедийного сюжетосложения.

Нам хотелось бы попытаться описать сюжетосложение комедии в той форме, которая была предложена для трагедии М. Л. Гаспаровым¹³. Внешние структурные звенья остаются неизменными: ЛХ (песнь хора), ЛД (лирическая переключка полухориев или хора и персонажа), ЛМ (монодия), ДМ (драматический монолог), ДД (драматический диалог), ЭМ (эпический монолог вестника), ЭД («информационная стихомифия»). Однако, границы между элементами более размыты, за исключением особой разновидности ДД – агона, отчетливо выделяющегося в особый прием (как, впрочем, и в трагедии).

Рассмотрение структуры комедии с точки зрения функциональных единиц было предложено уже Ф. Ф. Зелинским¹⁴. Здесь в качестве структурных единиц рассмотрены агон, парод, парабаса и

¹² Гусейнов Г. Ч. Аристофан. М.: Искусство, 1988. С. 57

¹³ Гаспаров М.Л. Сюжетосложение греческой трагедии // Избранные труды. Т.1. О поэтах. М., 1997. С. 449-482.

¹⁴ Zielinski T. Die Gliederung der altattischen Komoedie. Leipzig 1887.

эпизодии; здесь же мы обнаруживаем и объяснение отмеченной выше размытости: «эпиррематическая» композиция комедии, в отличие от «эпизодической» композиции трагедии, предполагает не разделение сцен хоровыми песнями, а, напротив, объединение в эпизодии мелоса и речи, что приводит к проницаемости границ между блоками¹⁵. С учетом этой «эпиррематической» теории и тех структурных элементов, которые были рассмотрены М. Л. Гаспаровым, мы попытались проанализировать сюжетосложение комедии.

«Ахарняне» одноходовая (с раздвоением патоса Дикеополя) двухчастная
 Экспозиция ДМ, ДД, (Дикеополь, Амфитей, Глашатай, Посол, Феор) ЛХ (парод)
 Нагнетание? ДД (фаллическая процессия), ЛД (Дикеополь с хором, агон?, «заложник»), ДД (Дикеополь - Еврипид, центоны), ДМ, ДД (Ламах), ЛХ (Парабаса), ДД (Мегарец), ЛХ, ДД (Беотиец, Никарх – контраст?) ДД, ЛХ (малая парабаса), ЛД (подготовка к пирушке)
 Контраст ДД (Ламах вызван на битву), ЛХ
 Эксод ЛД (Дикеополь – Ламах, контраст)

«Всадники» одноходовая одночастная
 Экспозиция ДД (Никий, Демосфен, колбасник, Клеон), ЛХ (парод)
 Механема ДД, агон1 – ЛД, ДД,
 Нагнетание? ЛХ (парабаса, «проходная» песнь – за это время колбасника выбирают главой Совета), ЭМ (Колбасник), ДД
 Агон 2 ЛХ, ЛД, ДД, ЛХ, ДД (пророчества), ЛХ, ДД (кормежка), ЛХ (малая парабаса)
 Эксод ДД (омоложение).

«Облака» одноходовая (патос Стрепсиада с раздвоением от недовольства к побоям) двухчастная
 Экспозиция ДД (Стрепсиад, Фидиппид, слуга, ученик, Сократ), ЛХ (парод), ДД (Сократ – Стрепсиад), ЛХ (парабаса – литературная тематика), ДД (Сократ, Стрепсиад, Фидиппид),
 Агон ЛД (Правда – Кривда), ДД, ЛХ,
 Контраст? ДД (драка, патос?)
 Эксод ДД

«Осы» одноходовая двухчастная
 Экспозиция ДД (Сосий, Ксанфий, Клеонослав, Мстиклеон – мотивы «Одиссеи» или «Киклопа»), ЛХ (парод), ДД, ЛД,

¹⁵ Ibidem. P. 5.

Нагнетание – ДД (драка), Агон ЛД, ДД, ЛХ.

Контраст ДД (суд),

ЛХ (парабаса), ДД (пирушка, дебош), малая парабаса

ЭксоД ДД

«Мир» одноходовая двухчастная

Экспозиция ДД (рабы, Тригей, дочь; Гермес, Раздор, Ужас) ЛД парод

Нагнетание ДД (освобождение Мира), ЛХ, ДД (дележ жен), ЛХ (парабаса), ДД (пирушка),

Контраст ДД (Иерокл), ЛХ (малая парабаса), ДД (высмеивание воинских профессий, центыны из Гомера и Архилоха)

ЭксоД ЛД

«Птицы» одноходовая (с раздвоением патоса) двухчастная

Экспозиция ДД (Эвельпид, Писфетер, служка, Терей-Удод), ЛМ, ЛД, ЛХ (парод), ДД (драка), агон (не состязание, а убеждение. Пародия на трагич. хоры), ДД, парабаса (пародия на космогонию), ДД (обустройство города, пародия на Пиндара и пророчества), ЛХ (малая парабаса)

Контраст? ДД (угроза богов, люди просят в город), ЛХ

Интрига ДД (Прометей), ЛХ, ДД (Геракл)

ЭксоД ЭМ, ЛД (свадьба)

«Лисистрата» двухходовая (патос женщин и патос мужчин) двухчастная

Экспозиция Механема ДД (Лисистрата, Клеоника, Миррина, пародия на клятву – «заклание» меха с вином), ЛХ (парод: хор стариков / хор женщин), ДД (спор – драка)

Нагнетание Парабаса-агон

Контраст ДД (женщины пытаются сбежать), ДД (любовная сцена) ЛХ, ДД, ЛХ.

ЭксоД ЛД (пирушка)

«Фесмофоризусы» двухходовая (патос Еврипида и патос Мнесилоха) трехчастная

Экспозиция Механема ДД (Мнесилох, Еврипид, Агафон (экиклема), переодевание) ЛХ (парод)

Нагнетание ДД (агон в трагической манере),

Контраст ДМ (Клифен с предупреждением), ДД, ЛХ, ДД (гикесия), ДМ (таблички), ЛХ (Парабаса) ДД («узнание»), ЛХ, ДД, ЛМ («монодия»), ДД («Эхо»), ЛХ

ЭксоД Контраст ДД («малая» интрига)

«Лягушки» двухходовая (патос Диониса и патос Еврипида) двухчастная

Экспозиция ДД (Ксанфий, Дионис, Геракл, Харон), ЛХ (лягушки), Парод ЛХ (хор мистов), ДД (переодевание, «узнание»), ЭД (Эак), ДД (Эсхил,

	Еврипид, Дионис)
Агон	ЛХ, ДД, ЛД, ДД, ЛД, ДД, ЛМ
Контраст	ДД (принятие решения и отказ)
Эксод	ЛД

«**Экклесиазусы**» одноходовая одночастная

Экспозиция	Механема ДМ, ДД (Праксагора, соседки, переодевание) ЛХ (парод – хор уходит)
Нагнетание	ЭД (Блепир, сосед), ЛХ
Агон	ЛД (Праксагора и Блепир), ДД, ЛХ, ДД (старуха, юноша)
Эксод	ДД (пирушка)

«**Плутос**» одноходовая трехчастная

Экспозиция	ДМ, ДД (Карион, Хремил, Богатство) ЛД (парод), ДД (Хремил, Блепсидем)
Контраст	ДД (Бедность, Хремил, Блепсидем)
Агон	ЛД (Хремил – Бедность)
Нагнетание	ЭД (жена Хремил), ЭМ (Карион), ДД (Карион, справедливый человек, доносчик), ЭД (Старуха, Хремил)
Контраст	ЭД (Гермес – угроза богов)
Эксод	ДД (Жрец, Хремил, старуха)

На различие в трагедии и комедии двух основных элементов структуры сюжета – этоса и патоса – было указано М. Л. Гаспаровым: «В трагедии заранее заданным является патос, и на фоне его драматург позволяет себе вариации неполностью заданного этоса лиц и ситуаций...; в комедии, наоборот, заранее заданным является этос... и из этих элементов драматург конструирует неполностью заданный комический “патос”»¹⁶. Следует также добавить, что 1) в комедии отсутствует как жанровая особенность контраст между этими элементами, обязательный для трагедии и 2) что комический патос, как правило, раздваивается и является скорее концентрацией в одном или нескольких персонажах некоего общественного недовольства, иногда переходящим в «страдание» конкретного персонажа с конкретным этосом. С первой разновидностью комического «патоса» теснее, чем в трагедии, связана интрига-механема, которая направлена на преодоление «патоса» и часто оказывается перемещенной в экспозицию, намного более растянутую, чем в трагедии (в трагедии сходную функцию выполняет *hamartema*). Основным приемом развертывания комического па-

¹⁶ Гаспаров М. Л. Op.cit. С. 480.

тоса является нагнетание. Контраст, в свою очередь, связан с интригой и представляет собой либо угрозу ее неисполнения, либо, напротив, добавочный патос противников героя после исполнения интриги, оттеняющий благополучный конец – большинство комедий, таким образом, оказалось двухчастными. Пример трехчастной комедии – поздний «Плутос» и, что очень показательно, «Фесмофориазусы», сюжетосложение которых, как мы старались продемонстрировать выше, более чем у других ориентировано на «трагическую» схему.

Понятие «одноходовой» / «двухходовой» драмы из-за расширения понятия патоса становится трудноприменимым.

В целом, сюжетосложение комедии оказывается более однотипным, чем описанное М. Л. Гаспаровым сюжетосложение трагедии. Как кажется, объясняется это тем, что драматически ценным является не элемент как таковой, а факт его «переноса» из другого жанра. То есть одним из принципов комедийного сюжетосложения становится последовательное воспроизведение элементов трагической драматургии.

Сходство дискурса (соединение текстового бытования со сценическим) позволяет комедии максимально заимствовать трагедийные приемы. Заимствование элементов происходит на разных уровнях: лексическом (цитаты), визуальном («журавль», внешний облик героев («Телеф» в «Ахарнянах»), позы (тот же «Телеф» и «Андромеда» в «Фесмофориазусах»), сюжетном (из элементов трагического (назовем его здесь «драматическим») сюжетосложения мы видим интригу-механему, гикесию (осложненную), узнание, перипетию-перелом). Важно, повторяюсь, что заимствуется не элемент как таковой, а его уже существующее трагическое воплощение, конкретизированное в определенной драме. Функции же заимствованных элементов разнятся: в одном случае заимствованный элемент служит развитию сюжета (полет на жуке, гикесия в «Ахарнянах»), в другом – нет (большинство сцен «Фесмофориазус»); это наглядно демонстрирует отличие пародии (последнее) от рецепции вообще. Неожиданно схожей для обоих жанров в плане развития действия оказывается драматическая функция механемы: интрига и в трагедии, и в комедии удаётся «положительным» (пользующимся сочувствием) героям против «отрицательных»¹⁷,

¹⁷ Гаспаров М.Л. Опр. Cit. С. 477.

поэтому механема с переодеванием не удастся в начале «Фесмофориазус» и удастся в конце, после примирения. Любопытным оказывается сопоставление «Ахарнян» и «Мира» – в них одна и та же фабула (т.е. проблематика, этос и патос), но сюжетосложение основано на разных трагедиях, «Телефе» и «Беллерофонте» соответственно.

Рецепция в комедии формируется в нескольких направлениях: заимствование может иметь, в том числе, и пародийные функции, однако не менее важной оказывается роль рецепции в драматическом моделировании действия. При этом перенесение трагического сюжета в комедию наглядно демонстрирует превосходство последней в плане развития действия: как Тригею удастся то, что не удалось Беллерофону, так и Мнесилох, не найдя спасения в «трагических» уловках, освобождается благодаря комедийной сценке (вернее, даже больше похожей на сценку из мима) с танцовщицей, отвлекающей стража-скифа.

Конечно, этот «добавочный» принцип сюжетосложения не является для комедии ни единственным, ни обязательным. Его даже не совсем верно назвать частым, но, с другой стороны, говорить о частоте его применения можно с известной оговоркой: не имея образцов всех трагедийных сцен, мы не можем идентифицировать и их комедийные двойники, и отсутствие указаний на подобные заимствования у схолиастов не может быть аргументом, так как их очевидно интересовали прежде всего «словесные» элементы рецепции.

Мы предложили бы рассматривать прием «драматургической» рецепции как частный случай общего принципа взаимоотношений комедии и трагедии как жанра нового и жанра более древнего. Нельзя забывать и о другом античном по происхождению термине, отражающем эти взаимоотношения – «паратрагедия», но он, с одной стороны, предполагает имитацию в комедии трагического стиля (*sermo tragicus*) и является частным случаем пародии¹⁸; точно так же трудным для практического применения, хотя и удачным для характеристики приема, является «жанровый карнавал»¹⁹. «Рецеп-

¹⁸ Margaret Rose. A Parody: ancient, Modern, post-modern. Cambridge, 1993. P. 18

¹⁹ Charles Platter Aristophanes and the carnival of genres. The Johnes Hopkins University Press. Baltimore, Maryland. 2007. P. 6.

ция» как термин здесь более удачна, особенно в тех случаях, когда заимствованные элементы имеют *организующее произведение* значение. Рецепция стала одним из принципов формирования литературной формы комедийного жанра: именно посредством «чужого слова» и заимствованной формы комедия завоевывает себе место в литературной традиции. Возможно, именно принцип литературной рецепции отличал Аристофана от других комедиографов и способствовал большей сохранности текстов.

Путь этот оказался практически тупиковым для жанра и весьма перспективным для приема. Первый тезис подтверждается существенным преобразованием жанра комедии от Древней к Новой (римская комедия возобновила этот принцип, но лишь отчасти, в практике контаминаций, но все же в рамках античной литературы он оказался практически исчерпанным, и по сию пору мы встречаем его крайне редко). Второй тезис подтверждается богатством форм рецепции античных сюжетов и жанров, которые мы наблюдаем на протяжении многих веков существования литературы.

КИРЕНСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО КАССАНДРЫ У ЛИКОФРОНА

Одним из известнейших поэтов александрийской школы, язык произведений которого, как известно, уже в древности считался самым загадочным и непонятным, является *Ликофрон*. Его поэма «Александра», полная тёмных намеков, по языку, мифологическим аллюзиям и ассоциациям одно из самых таинственных и сложных произведений античной литературы, и для современного читателя и интерпретатора требует подробного и глубокого комментария¹.

В «Александре» Ликофрона, как пишет С. С. Аверинцев², «архаическая замысловатость оракула становится предметом сознательной, последовательной и притязательной стилизации», где «слова двоятся, просвечивают друг сквозь друга, отражаются друг в друге».

В данном случае из всех пророчеств Кассандры мы останавливаемся на том, которое касается *основания Кирены*. Это пророчество не самое загадочное в поэме и о нём нет споров в науке подобно итальяским предсказаниям, вызывающим сомнения в авторстве поэмы³. Мифическая история одной из богатейших и влиятельнейших колоний греков на побережье Африки была хорошо известна в древности. Легенды и мифы об основании Кирены дошли до нас в передаче Геродота (Her.4, 164-179), Пиндара (Pind. Pyth.4, 12-57), Страбона (Strab. XV11, 837), об этом же пишут современники Ли-

¹ Уже Стаций называл Ликофрона «тёмным» (Стаций. *Сильвы* V 3, 157), Лукиан считает его поэму «злополучной по языку» (Лукиан. *Лексифан*, или *Краснобай* 25), для Климента Александрийского «Александра» Ликофрона, равно как стихи Каллимаха и Евфориона — «атлетическое упражнение в экзегезе» для грамматиков» (Климент Александрийский. *Строматы*. V, 50,2). М. Л. Гаспаров полагал, что даже учёный язык Каллимаха покажется простым и ясным по сравнению с Ликофроном (История всемирной литературы. т. 1. М., 1983. С. 417).

² Аверинцев С.С. *Поэтика ранневизантийской литературы*. М.1997. С. 137.

³ Итальяские пророчества или римскую часть пророчеств А. В. Мосолкин называет «самой провокационной частью», расшифровка имён и образов которой возможны лишь гипотетически, благодаря «иным более внятным источникам и внешней схожести сюжета». А. В. Мосолкин *Несколько слов к русскому переводу «Александры» Ликофрона*.// *Ликофрон. Александра*. пер. и коммент. И. Е. Сурикова. ВДИ, 2011, №1. С. 218.

кофрона – Каллимах (Callim. h. Apoll. 72-95) и Аполлоний Родосский (Apoll. Rhod. 1Υ. 1548 - 1561).

Кассандра Ликофрона предсказывает губительную судьбу почти всем участникам Троянской войны, включая тех, кого будут «оплакивать... пески земли Тавхирской», т.е. тех, кто окажется в Ливии. Пророчества могут быть пространными и подробными (например, Кассандра долго, со всеми предшествующими и последующими событиями, вплоть до смерти, предсказывает судьбу Одиссея и его спутников, которым суждено оказаться близко «к Сирту и к ливийским пажитям» (Lycoph. 648-819)), достаточно краткими и беглыми (например, пророчество Менелаю, который в поисках «супруги злополучной, похищенной» всё претерпит ради «эгийской псицы той», «трёхмужней и рождавшей дочерей одних» (Lycoph. 821-876)).

Среди ливийских пророчеств по ассоциации Кассандра вспомнит о предшественниках троянских героев, других мифологических скитальцах – *аргонавтах*, которые именно в этих местах похоронили Мопса и над могилой его воздвигли поломанное весло. Воспоминание об аргонавтах в свою очередь наведёт её на историю основания *Кирены* – она начиналась с них и здесь.

Через такой тройной ассоциативный ряд выстраивается следующая история у Ликофрона. Аргонавты, попавшие в Ливии в район озера Тритониды, потеряли обратный путь. Чтобы его найти и выбраться к морю «колхидянка» (Медея) дала Тритону «щедрый дар» – «кратер, из золота кованный» за то, чтобы он «путь указал меж рифами» и этим путём Тифид «провёл корабль в сохранности» (Lycoph. 877-890). Во время общения с аргонавтами «бог двубразный, моря сын» (Тритон) предскажет, что настанет час:

Взять грекам эти земли во владение,
Когда народ ливийский, дикий эллину
Дар возвратит и из родной земли уйдёт
Страшась его желанья, всё имущество
Асбисты скроют в самой глубине земли.
(Lycoph. 890-896)⁴.

Γραικοὺς δὲ χώρας τουτάκις λαβεῖν κράτη

⁴ Перевод поэмы «Александра» Ликофрона здесь и дал ее приводится по: Ликофрон. Александра. Перевод с древнегреческого и комментариев И. Е. Сурикова. вступ. статья А. В. Мосолкина // ВДИ, 2011, №1. С. 216-233; №2. С. 234-267.

Θαλασσόπαις δίμορφος αὐδάζει θεός
ὅταν παλίμπουν δῶρον ἄγραυλος λεώς⁵
Ἑλλήν' ὀρέξῃ νοσφίσας πάτρας Λίβυς
Εὐχὰς δὲ δειμαίνοντες Ἀσβύσται κτέαρ
κρύψουσ' ἄφαντον ἐν χθονὸς νειροῖς μουχοῖς⁵

Предсказание кратко и конкретно, никакой нарративной линии нет, по сути – это набор неких «ключевых слов», которые, в свою очередь, являются аллюзиями на мифы, по счастливой случайности сохранные в текстах других авторов.

Как хорошо известно, греки, выходцы с острова Фера, в VII в. до н. э. (631 г. до н. э.) действительно «взяли эти земли во владение», основали колонию и город Кирену. Но обстоятельства основания Кирены у разных авторов передаются по-разному.

У Геродота Ясон и его спутники получают пророчество Тритона, подарив ему *треножник*, но ещё до их плавания в Колхиду, поэтому Медея у Геродота не упоминается (Her. IV, 179). Из Геродота становятся понятными слова Ликофрона о том, чего боялись асбисты и что они спрятали в земле. О предсказании Тритона Геродот пишет: «Восседая на этом *треножнике*, Тритон изрекал предсказания о будущем Иасону и его спутникам: если один из потомков, плывших с ним на «Арго» героев, привезет домой этот треножник, тогда непременно вокруг озера Тритониды возникнет *сто эллинских городов*. Услышав это предсказание, местные ливийцы спрятали *треножник*» (Her. IV, 179).⁶

До греков и при греках в Киренаике жили многочисленные кочевые племена, из которых чаще других упоминаются адирмахиды, гилигамы, *асбисты*, авсхисы, насамоны, псиллы, гараманты, маки, гинданы, лотофаги, махлии, авсеи и др. (Her. IV. 168–180). По Геродоту, *асбисты* живут южнее Кирены, их область не доходит до моря, т.к. «побережьем владеют киренцы» (Her. IV. 170). Но сначала там жили гилигамы и асбисты, они не пускали греков на побережье и, как пишет Геродот, первоначально греки вынуждены были заселить

⁵ Греческий текст «Александры» Ликофрона здесь и далее дается по изданию: Mooney G.W. The Alexandra of Lycophronis: With English Translation and Explanatory Notes. L. 1921.

⁶ перевод Геродота здесь и далее приводится по изданию: Геродот. История. Перевод и примечания Г. А. Стратановского. Л., 1972.

остров *Платею*, а затем уже на материке в местности *Азирида* основали свой город (Her. IV. 169).

У Пиндара пророчество произносит *Медея*, «мощная духом» (Pind. Pyth. 4. 12-57)⁷. Пророчество касается острова *Феры*: «Быть Фере матерью больших городов». (Pind. Pyth. 4. 20). Как залог исполнения пророчества «одиноким богом», явившись перед аргонавтами в образе смертного человека и назвавшись *Еврипилом*, вручил *Евфаму*, сходявшему с корабля, ком пахотной земли, чтобы «четвёртое колено кровных его» «наложило да-найскую руку на просторы материка». Но «канул тот подарок... увлечённый в вечерний час влажною солью моря» (Pind. Pyth. 4. 36-37), и «забвение было в их душах» (Pind. Pyth. 4. 41). Поэтому потребовалось новое пророчество «из чертогов, обильных золотом» *Феба*, когда пришёл муж (*Батт*) в *нифийский храм* (Pind. Pyth. 4. 52-55).

У Аполлония Родосского заблудившиеся в *Тритониде* аргонавты по приказу *Орфея* посвящают местным богам *треножник* Аполлона (Apoll. Rhod. 1V.1548)⁸. Пророчество произносит *Тритон*, приняв облик юноши, и дарит аргонавтам *ком земли*. (Apoll. Rhod. 1V. 1551-1561). *Евфем* охотно принимает «*глыбу земли*», но забывает о ней и вспоминает лишь после приснившегося пророческого сна – сам *Эзонид* помогает его истолковать: «В море брошенный ком превратят бессмертные в *остров*», чтобы потомки *Евфема* поселились на нём. А затем они должны вернуться в *Ливийскую землю*, ведь «сам *Тритон* вложил земли *Ливийской частицы*» (Apoll. Rhod. 1V.1749-1754).

У *Каллимаха* киренское пророчество произносит сам *Феб*, именно он земли *отчизны* моей для *Батта* назначил:

Он и народ предводил, вступавший в *Ливию*, *враном*
Справа явившись вождю, и клялся город и стены
Роду наших владык даровать; и клятвы сдержал он
(Call. 11, 65-69)⁹.

Каллимах помнит и о том, что греки не сразу основали *Кирену*, а
В оное время *дорийцы* ещё не черпали влаги

⁷ Перевод Пиндара здесь и далее приводится по изданию: Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. Издание подготовил М. Л. Гаспаров. М. 1980.

⁸ Перевод Аполлония Родосского здесь и далее приводится по изданию: Аполлоний Родосский. Аргонавтика. Перевод Г. Церетели // Александрийская поэзия М., 1972.

⁹ Перевод гимна Каллимаха «К Аполлону» здесь и далее приводится по изданию: Каллимах. Гимны. Перевод С. С. Аверинцева // Александрийская поэзия. М. 1972.

Из Кирейской струи, но жили в долинах Азилы
(Call. 11, 88-89).

Учитывая все эти детали и подробности, связанные с основанием Кирены, и передаваемые разными авторами, можно предположить, что в древности бытовали несколько вариантов мифа, что со временем происходила контаминация отдельных мотивов, образов, разных версий и ко времени Ликофрона, Каллимаха и Аполлония Родосского это была уже почтенная традиция с многочисленными нарративными линиями. Поэтому александрийцы, прекрасно знакомые с этой традицией, имели возможность актуализировать из неё те сюжетные линии, образы и мотивы, которые отвечали их творческим замыслам и стилистически обрабатывали их в соответствии со своими поэтическими задачами.

Суммируя всё, пророчество об основании Кирены у Ликофрона, на наш взгляд, можно понять так. После того как *колхидянка* (Медея) *отпрыску Нерееву Тритону* дала *щедрый дар* – *золотой кратер*, Тритон, не меняя своего *двуобразного облика* (полурыбы, получеловека) произносит пророчество об основании Кирены: *греки возьмут землю Тавхирскую* (Ливийскую) во владение, когда ливийский народ, *асбисты уйдут из родной земли, страшась*, чтобы греки не основали сто своих городов в отместку за *спрятанный в земле золотой кратер и вторично* (первый раз это был ком земли, подаренный Тритоном) *подарят* им свои земли.

Но в данном случае нас интересует не сам миф и его разные версии и линии, а то, как этот миф и его детали передаются у разных авторов. Стилистически более близкими, судя даже по небольшим анализируемым фрагментам, были, конечно, Ликофрон и Каллимах.

При всей гипотетичности наших сведений о жизни и творчестве Ликофрона и Каллимаха, считается, что к тому времени, когда Каллимах был привлечён Птолемеем II к работе в александрийской библиотеке (это, скорее всего, начало восьмидесятых годов III в. до н.э.), там уже несколько лет трудились Зенодот, Александр Этолийский и Ликофрон. Называя эти имена в связи с работой в библиотеке, И. Цец замечает: *ὁ Καλλιμαχος νεανίσκος ὧν τῆς αὐτῆς ὑστέρως* («Каллимах, будучи моложе, позже появляется при дворе»). При всех разногласиях в понимании в данном контексте слова

«νεανίσκος» это замечание Цеца¹⁰, скорее всего, можно понимать так, что Каллимах, позже появившийся при дворе Птолемея II, относился к более молодому поколению сотрудников. Ликофрон был старше его и по возрасту, и по стажу работы в библиотеке. И его поэма «Александра», если принять предполагаемую дату написания – 309 г. до н.э., была написана задолго до создания гимнов Каллимаха.

Конечно, Каллимах, будучи киренцем по рождению и считая себя потомком далёкого предка – основателя Кирены Батта, к мифу об основании Кирены относится особенно внимательно и тепло: всё это для него родное, «отцовское» (Call. 11. 71). Кирене, её покровителю Аполлону, он посвящает самый лирический из всех гимнов – второй гимн. Но самая легенда об основании Кирены у него воспроизводится лишь с момента второго пророчества – пророчества дельфийского Феба.

Почему Каллимах опускает первое пророчество, данное Тритонем аргонавтам, столь выигрышное во всех отношениях и важное для него в данном киренском контексте?

Среди разных возможных точек зрения на этот счёт позволим высказать следующее суждение. Нам уже приходилось писать о том, что александрийцы, скорее всего, внимательно и ревниво следили за творчеством друг друга, и в случае совпадения тем, сюжетов, мотивов, образов старались избегать повторов¹¹. Приведу лишь один пример. Мифология Аполлона – важнейшая тема и для Каллимаха, и для Аполлония Родосского: Каллимах посвящает Аполлону два гимна из шести, у Аполлония Родосского мифология Аполлона пронизывает всю поэму. Но при всей близости аполлоновских сюжетных линий, у того и другого весьма заметна такая закономерность: версии мифа достаточно полно изложенные у Каллимаха – едва упоминаются у Аполлония, и наоборот: там, где Каллимах даёт лишь намёк на какую-либо мифологическую ситуацию, упоминает лишь имя, у Аполлония – полное и развёрнутое описание. Известно, например, насколько Каллимаху важно всё, что связано с Киреной, как подробно во 11 гимне он описывает храм и алтарь Аполло-

¹⁰ Подробный комментарий данного контекста И. Цеца см.: Claude Mellier. Calimaque et son temps. Recherches sur la carrière et la condition d'un écrivain à l'époque des premiers Lagides. Lille, 1979. P. 13-14.

¹¹ В. П. Завьялова Каллимах и его гимны. М. 2009. С. 71-74.

на, пышные Карнейские торжества, хоровод ливиек, историю возникновения этого культа и т.д. Умолчит только об одном – о любовной истории Аполлона и нимфы Кирены (а ведь она дала имя его родному городу!), вскользь лишь упомянув, что Кирена – подруга Аполлона (Call. 11, 94-95). Зато Аполлоний во II песни «Аргонавтики» подробнейшим образом расскажет о похищении Аполлоном Кирены, об укрытии её в Ливии, о рождении у неё сына Аристея, а также и всю дальнейшую историю Аристея (Apoll. Rhod. II, 500-527).

С другой стороны, Аполлоний, перечисляя все известные храмы Аполлона, удивительным образом обойдёт молчанием храм на Делосе, лишь кратко упомянув несколько раз сам остров (Apoll. Rhod. I, 308, 419, 537; IV, 1705). Не потому ли, что Каллимах посвящает Делосу целый гимн и подробнейшим образом излагает не только историю рождения Аполлона и Артемиды на нём, но и устройство знаменитого рогового алтаря, храма, храмовые торжества в честь Аполлона и т. д.

К подобным контекстным «несовпадениям» можно отнести, на наш взгляд, и обращение к истории основания Кирены у Ликофрона и Каллимаха: Ликофрон при всей краткости и загадочности изложения всё-таки упоминает историю с аргонавтами, Каллимах её обходит совсем.

Приведённые примеры убедительны, на наш взгляд, для доказательства того, что дихотомия «автор - читатель», столь часто употребляемая в современной рецептивной эстетике, по сути, была актуальна и в эпоху александрийской учёности. И не только. Поэма Ликофрона ярче всего, на наш взгляд, иллюстрируют те изменения в художественном творчестве, ту историческую динамику, которые произошли в поэзии при переходе от классики к эллинизму.

Ликофрон, Каллимах и их современники были свидетелями и участниками тех существенных изменений в социо-культурной стратификации городского населения, культурной идеологии и практике художественной жизни в Александрии в начале III в. до н. э., которые определили новое положение и новое восприятие поэзии и литературного творчества. Это привело, как известно, к принципиальной смене литературно-эстетических парадигм и кардинальному изменению отношения поэта к поэтике и творчеству. Александрийская поэзия по сравнению с классикой представляет со-

бой совершенно новый *эстетический феномен*, новый этап эстетической и поэтической культуры. Александрийская поэзия впервые становится чётко выраженной *урбанистической поэзией*. Александрийский поэт – это прежде всего учёный, грамматик и эрудит, библиотекарь и приверженец сугубо книжного знания. И александрийская поэзия, в целом, как хорошо известно, отражает прежде всего смену ценностных ориентиров: поэт обращается теперь не к коллективу свободных граждан полиса, как это было в период высокой греческой классики, а к *отдельной, частной личности*. Это обусловлено целым рядом политических, исторических, социально-экономических и т.д. причин; в данном случае подчеркнём лишь отдельные, наиболее важные в нашем контексте.

В Александрии в эпоху первых Птолемеев возникает целый ряд новых форм труда, труда принципиально городского, книжного, и как следствие появляется новый слой образованных горожан, *городской интеллигенции*, для которых умственный труд становится профессиональным.¹² Распространение письменности, развитие книжного дела, высокий статус людей интеллигентных профессий среди свободного населения не могли не сказаться на уровне и положении образования в Александрии. Образование в эпоху эллинизма становится не просто массовым, но, по выражению А.И. Марру¹³, «краеугольным камнем», «религией эллинистической культуры». Высокий уровень риторского образования, широкое распространение книжного ремесла, книжной торговли впервые подготовили *массового читателя* не только читающего книги для себя, но и выбирающего книги для своей домашней библиотеки.

В это же время, как пишут А. Л. Доброхотов и А. Т. Калинин¹⁴, «...вырастает роль культуры, как пространства коммуникации, ощущается потребность в рациональном осознании (в рефлексии) законов культуры».

Когда Ликофрон в пророчестве вместо «Медая» скажет «колхидянка» (Κολχίς) (Lycoph. 887), вместо «Тритон» – «бог двуобразный,

¹² Подробнее: Т. В. Блаватская. Из истории греческой интеллигенции эллинистического времени. М., 1983.

¹³ Подробнее: И. А. Марру. История воспитания в античности (Греция). М., 1998. С. 140.

¹⁴ А. Л. Доброхотов, А. Т. Калинин. Культурология. М., 2010. С.203.

сын моря» (θαλασσόπαις δίμορφος ... θεός) (Lycoph. 892), вместо «Елена» – «супруга злополучная, похищенная» (αἰνόμετρον ἄρπαγεῖσάν) (Lycoph. 820) и т.д., он, конечно, рассчитывает на то, что его читатели эти иносказания вполне поймут.

Для александрийских поэтов широкое использование *иносказания* на самых разных уровнях - излюбленная манера, их стиль. Впервые «поэтическое выражение, – пишет Н. П. Гринцер¹⁵, – наделяется способностью выражать больше, чем заключено непосредственно в словах, и это становится отличием поэтического слова от обыденной речи, особенностью, требующей специальной процедуры истолкования». И, как следствие, «формальный уровень произведения, его словесная структура всё больше выходит на первый план».¹⁶

Поэтическая усложнённость, порой «закодированность» касается не только отдельных словоупотреблений, редких глосс и именованных. Текст Ликофрона современному читателю часто приходится отгадывать как своеобразный ребус. Александрийцы впервые широко используют *литературный подтекст*, требующий текстуальной и интертекстуальной «расшифровки». Когда о смерти Одиссея Ликофрон напишет:

Умрёт, как ворон, дряхлый, при оружье он
В лесах неритских, больше уж не друг морям.
Сразит его, вонзившись в бок, губящая
Та пика, что несёт сардонской рыбы шип.
И назовётся сын отца убийцею.

(Lycoph. 793-797),

то здесь читатель должен не только «угадать», что Одиссея убьёт его сын от Кирки Телегон, но также знать, что Одиссей доживёт до глубокой старости (символ старости – ворон) и сразит его пика с ядовитым шипом рыбы, пойманной у Сардинии. (Аналогичная ситуация в большинстве случаев возникает и при чтении гимнов Каллимаха).

Подобные замысловатые слова и загадки у Ликофрона идут на протяжении всей поэмы (1474 стиха), подтверждая задуманную автором стилизацию пророчества. И если для греческой классики «темная поэтика оракулов» не характерна как явление культуры, то

¹⁵ Н. П. Гринцер. Античная поэтика // Европейская поэтика. От античности до эпохи Просвещения. Энциклопедический путеводитель. М., 2010. С. 84.

¹⁶ Н. П. Гринцер. Там же. С.83.

в эпоху эллинизма эстетика загадки берет, по выражению С. С. Аверинцева¹⁷, «настоящий реванш».

При всей неизбежной гипотетичности нашей реконструкции авторского замысла почти любого александрийского поэта с уверенностью можно констатировать лишь одно: автор надеялся на читательское соавторство, на его знание и понимание. Когда Каллимах пропускает первое пророчество Тритона или ничего не пишет о любовной истории Аполлона и нимфы Кирены, он, скорее всего, как и Ликофрон, рассчитывает на такого читателя, для которого не надо повторять известные мифы, который хорошо знает и литературную традицию и творчество своих современников, с которыми автор вступает в *поэтический диалог*.

Современная рецептивная эстетика (Г. Р. Яусс и его последователи) художественное произведение понимает как цельное эстетическое выражение, наделённое образным содержанием, способным побуждать к жизни множество смыслов и ассоциаций. Исходная идея Г. Р. Яусса та, что литературное произведение «реализуется» только в процессе контакта с читателем (реципиентом), который благодаря «обратной связи», в свою очередь, определяет конкретно-исторический характер восприятия произведения. Критерием оценки произведения, по Г. Р. Яуссу, становится общественная практика, социальная действенность произведения искусства в той мере, в какой она проявляется в реакции читателя. Насколько и как «выстраивает» смысл произведения читатель, насколько и как он проникает в замысел автора – такова проблема бытия (или небытия) произведения как результата коммуникации между автором и читателем. Отсюда знаменитый центральный тезис рецептивной эстетики, согласно которому «эстетическая ценность, эстетическое воздействие и литературно-историческое воздействие произведения основаны на том различии, которое существует между горизонтом ожидания произведения и горизонтом ожидания читателя, реализующимся в виде имеющегося у него эстетического и жизненно-практического опыта»¹⁸. И судя по тому, что поэма Ликофрона дошла до нас целиком и не просто целиком, а в 150 рукописях, т. е.

¹⁷ С. С. Аверинцев. Ук. соч. С.137.

¹⁸ А. В. Дранов. Рецептивная эстетика. Западное литературоведение XX века. М., 2004. С.351

она читалась и переписывалась на протяжении многих столетий – эстетическое и литературно-историческое воздействие её на читателей в прошлом были много больше, чем в настоящее время.

К проблеме авторского текста впервые тоже, как известно, подошли александрийцы. От сформулированной ими литературной нормы и их образованности, как пишет учитель Г. Р. Яусса по Гейдельбергу – Ганс-Георг Гадамер¹⁹ «...тянется, как живая, традиция образования, последовательность сохранения «классиков», и эта традиция не просто консервирует имеющееся, но признаёт её эталоном и передаёт в качестве образца».

Александрийцы, комментируя Гомера и трагиков, классическую лирику и комедиографов (чем, кстати сказать, профессионально занимался Ликофрон в александрийской библиотеке), закладывают основы филологической культуры отношения к тексту и литературной традиции. Толкование литературных, философских, исторических текстов, создание первых герменевтических методик, разработка чисто текстологических проблем – всё это, как известно, заслуга александрийских грамматиков. И если воспользоваться словами Г. Г. Гадамера²⁰, толкование текстов Гомера, как и любого другого классика, – это «процесс сближения, слияния горизонтов автора текста и интерпретатора». По Гадамеру *понимание* – основной модус существования культуры и её ключевого механизма – *традиции*. Это, как пишет Гадамер, «действительно-историческое сознание», которое актуализирует любое произведение как звено в цепи интерпретаций, причём таким образом, что оно становится источником бесконечного диалога.

Можно только надеяться, что теперь, с появлением впервые поэтического перевода Ликофрона на русский язык, его поэма станет более открытой для читателей и интерпретаторов к такому бесконечному диалогу.

¹⁹ Г. Г. Гадамер. Истина и метод. Перевод с нем.; общая ред. Б. И. Бессонова. М., 1988. С.211.

²⁰ Г. Г. Гадамер. Там же. С. 340

**АННЕНСКИЙ И ЧЕХОВ, или
ФИЛОЛОГ-КЛАССИК ПРОТИВ «ЧЕЛОВЕКА В ФУТЛЯРЕ»
(из записок переводчика)**

А. П. Чехов и И. Ф. Анненский, а точнее, Чехов в восприятии Анненского – это, с одной стороны, тема очевидная и потому имеющая достаточно обширную библиографию [Цифровой архив И. Ф. Анненского. А. П. Чехов], а с другой, на наш взгляд, перманентно открытая и неисчерпаемая в силу универсальности А. П. Чехова и специфической, практически компьютерной, гипертекстуальности И. Ф. Анненского, стремившегося «сберечь в себе, сделав собою» [Анненский: 1979, 5] все значимое пространство античной, русской, да и вообще всей мировой культуры.

Анненский на 5 лет старше Чехова. Вопрос о соотношении дат поставлен нами прежде всего для того, чтобы уточнить то обстоятельство, что оба автора принадлежат к одному поколению деятелей русской литературы, к тому поколению, которое главной своей задачей сделало исследование средствами художественного текста «человеческих существований» (термин И. Ф. Анненского), выразившееся у Анненского в реализованном им методе «психологического символизма». И именно «психологические процессы», изображенные Чеховым в его произведениях, стали главным мотивом того интереса, который был проявлен к нему И. Ф. Анненским. [Гинзбург: 1997, 294].

«Чеховская тема» у Анненского – это поэтические аллюзии, переклички, рецензии, критические отклики и размышления в «Книге отражений», программном прозаическом произведении поэта и критика Анненского и, наконец, его письма. Мы ограничимся критической прозой и письмами.

Свои рассуждения о «чеховской теме» в критической прозе и письмах Анненского мы намерены представить в виде схемы, имеющей следующий набор основных параметров:

1). Задача.

В рамках чеховской темы мы ограничимся одним аспектом – ответом на вопрос, почему «приятие» Анненским Чехова оказалось

«перечеркнутым»¹ [Журинский: 1972:106-117], а главное – имело ли это предполагаемое «приятие» место вообще или имело ли оно место в той мере, чтобы его можно было перечеркнуть.

2). Материал.

В качестве опорных произведений, из которых мы черпаем основу для своей аргументации, мы остановимся на нескольких статьях из «Книг отражений», расположив их в хронологическом порядке относительно «смыслового центра», известного всем специалистам по творчеству как Анненского, так и Чехова, письма И. Ф. Анненского к Е. М. Мухиной, которое было написано в июне 1905 года и стало главным поводом для рассуждений о том, что Анненский «пересмотрел» свое отношение к Чехову.

3). Метод.

И. Ф. Анненский относится к тем авторам, которые, понимая, что «чтение поэта есть уже творчество», т.е. прежде всего вдохновенная интеллектуально-эстетическая деятельность, а не «пассивное и безразличное отражение» [Анненский: 1979, 5], как правило, еще в самом начале любого из своих произведений, будь то поэтический сборник, сборник критических статей или перевод трагедии Еврипида, стремится вооружить своего собственного читателя методологией совместной деятельности, определив позицию, с которой нужно начать движение, точку зрения, в рамках которой следует рассматривать проблему. Ср., например, заданный псевдонимом Ник. Т-о («Утис». Одиссей. Тема возвращения «к себе».) подход к восприятию сборника «Тихие песни». И «возвращение к себе», осмысленное как боговдохновенное творчество. См. заглавное стихотворение «Поэзия», в котором находит отражение библейский сюжет о неопалимой купине, и обозначенная в самом названии сборника аллюзия на поэтические строки Лермонтова о летящем и поющем ангеле.

В предисловии, которое предваряет первую «Книгу отражений», сборник критической прозы, Анненский пишет: «Эта книга состоит из десяти очерков. Я назвал их *отражениями*. И вот почему. Критик стоит обыкновенно вне произведения: он его разбирает и оценивает. Он не только вне его, но где-то над ним. Я же писал здесь только о том, что *мною владело*, за чем я *следовал*, чему я *отдавался*, что я хотел

¹ См. «перечеркнутое приятие» в статье А. Н. Журинского «Семантические наблюдения над «Трилистниками» Ин. Анненского».

сберечь в себе, сделав собою». [Анненский: 1979, 5]. Что значит – «сделать собою»? – Перевыразить по-своему. Вербальное перевыражение – перевод. Перевод – это главный технологический прием Анненского. К творчеству И. Ф. Анненского, – тонкого и чуткого лингвиста, поэта, драматурга, педагога, культуролога, критика и переводчика, человека, для которого Слово было главным «концептом» жизни во всех ее проявлениях, а поэзия, перевод поэзии, литературная критика, педагогическая деятельность и все пространство культуры существовали как главная экспериментальная база, где это Слово самовыражалось, выверялось, измерялось, претворялось в жизнь и интерпретировалось, – в максимальной степени обращены слова Р. О. Jakobsona о том, что все способы интерпретации вербального знака суть перевод. [Jakobson: 1998, 361-363]. О переводе как процессе «синтетическом», процессе «вживания» в переводимого автора, рассуждает Анненский в своей рецензии на переводы Д. С. Мережковского. «Синтетический перевод» упоминается Анненским как необходимое условие совершенного поэтического перевода². Чужое, в его понимании, только тогда может быть понято, когда оно будет «переведено». Эту позицию отражает используемая им герменевтико-синтетическая модель перевода, которая в большей степени, чем какая-либо из существующих переводческих моделей, соответствует всему совокупному пространству творчества Иннокентия Федоровича³.

Итак, методологически и Чехова, и других авторов, «отраженных» в критической прозе, Анненский прежде всего пытается сделать собою, вербально перевыразить, перевести.

4. Условия

В предисловии к «Книгам отражений» Анненский уточняет, что его интересовали не произведения как таковые и их герои, «не столько объекты и не самые фантоши, сколько творцы и хозяева

² См. Филологическое обозрение, Т. IV. Отд. II, а также В. Е. Гитин. Иннокентий Федорович Анненский и его лекции по античной драме/ Иннокентий Анненский. История античной драмы – СПб, Гиперион, 2003.

³ О герменевтико-синтетической модели перевода в творчестве И. Ф. Анненского см. Иванова О. Ю. Иннокентий Анненский – парадигма творчества и модель перевода. / La traduction: philosophie, linguistique et didactique. Collection UL3. Ed. Tatiana Miliaressi. Travaux et recherches. – Universite Charles-de-Gaulle-Lille 3. France – 2009. PP. 109-112.

этих фантошей» [Анненский: 1979, 5]. В нашем случае – не творчество Чехова, а сам Чехов, которого Анненский стремится понять.

С точки зрения И. Ф. Анненского, автора текста о Чехове, представленном в «Книгах отражений», Антон Павлович имеет перед русской литературой две безусловные заслуги: он «создал новый русский театр» [Анненский: 1979, 322] и он же, единственный, восприняв от Достоевского свойство «колоритности» мысли и речи, его (это свойство – прим. наше. О. Иванова) «даже перенес на сцену, сделав, таким образом, шаг вперед в искусстве» [Анненский: 1979, 183].

Однако в критических статьях 1908-1909 гг., написанных накануне подачи прошения об отставке и определенным образом суммирующих новые взгляды Анненского, мы встречаем достаточно пренебрежительное определение всего того, что составляет, по его мнению, внешнюю особенность творчества Антона Павловича – «чеховщина». [Анненский: 1979, 322]. «Чеховщина» выражается в том, что для «Чехова жизнь в самых уродливых, самых кошмарных своих проявлениях претворялась в нечто не только красиво-элегическое, но и левитановски-успокоительное. Оттого-то Чехов так любил и с таким смаком отделял ее детали и смаковал словечки.... Чехов ничему в своей любовной работе не давал ни слишком ярко блеснуть, ни бесследно пропадать». Анненский согласен с тем, что в отношении жизни Чехов – скептик, но, по его словам, «нет, в сущности, человека, покладистее скептика. Для художника-скептика, в сущности, ведь один только человек и есть на свете, а именно он. В других он только разнообразно любит себя собою же, т. е. своим я, единственным, что для него несомненно... Не правда ли, что Чехов кажется иногда удивительно круглым?». Чеховские герои, по мнению Анненского, при всем его, Анненского, неприятии чеховской манеры, «нам ...близки. – ведь это же все мы, все я.» [Анненский: 1979, 322].

В статье «Юмор Лермонтова» Анненский дает дополнительные штрихи к своему определению «чеховщины»: «Чехов соблазнился перспективой овладеть жизнью на почве своей изоощренной чувствительности. Он задумал наполнить эту жизнь собою, населить ее своими настроениями, призраками, все маленькими Чеховыми. И, господи, как безмерно пуста должна была, вероятно, подчас казаться Чехову его душа, столь легкомысленно и бесплодно размыканная по желтым ухабам Москвы, по триповым диванам, пятнам скатертей, ошиб-

кам телеграфистов и лысинам архиереев! Чехов был сластолюбив, и жизнь, защекодав и заласкав его, ушла от него осиленная и неразгаданная, ушла, оставив между его сбитых подушек только свои нежные и раздушенные перчатки. И вот, смутно сознавая, что это что-то да не то, Чехов сжимает в теплой и влажной руке чахоточного эти перчатки, но ему только тоскливо и страшно». [Анненский: 1979, 138].

Обратим внимание на то, что само определение понятия «чеховщина», этой последней у Анненского характеристики Чехова, как и попытка дать интерпретацию чеховской рефлексии отсылают исключительно к внешним, «изобразительным» ассоциациям, представлены исключительно через описание внешних проявлений, предполагают зрительную (как в описании аффектов у Гомера) рецепцию: «левитановски-успокоительный», Чехов кажется удивительно круглым, маленькие Чеховы как призраки, душа, размыканная по желтым ухабам Москвы, нежные и раздушенные перчатки жизни. Взгляд Анненского как будто бы движется по поверхности феномена под названием «Чехов». Ему удастся его описать, но даже при уверении, что Чехов – это «все мы, все я», Анненскому так и не удастся его «перевести».

Почему? Потому что Чехов так и остался для него закрытым. Предпринятая в 1905 году попытка «отразить» Чехова, понять его, сделать «собой», проникнуть в него глубже, чем это позволяет уровень его «фантошей», не увенчалась успехом. Между статьей под названием «Драма настроений», посвященной чеховским «Трем сестрам» и знаменитым письмом к Мухиной, в котором Анненский собирает сжечь эту статью, не произошло ничего кроме самой смерти Чехова, которая и самим своим фактом, и своей «растиражированностью» Чехова как писателя окончательно убедила Анненского в том, что Чехова он не «откроет» никогда, а, следовательно, «приятя» не было и не будет.

Очерк, имеющий название «Драма настроения», написанный и соответственно опубликованный до июня 1905 г., И. И. Подольская в своей работе «И. Анненский – критик» называет «субъективнейшей из статей» Анненского [Анненский: 1979, 529] и считает, что эта статья воспринимается как реквием современной Анненскому интеллигенции, а последующее отрицательное мнение о ней, высказанное Анненским в письме к Мухиной, связано с тем, «что эта статья не выявила в полной мере его «нелюбви» к Чехову, не вскрыла причин этой нелюбви» [Анненский: 1979, 530]. А вот оценка П. П. Громова:

«Для Анненского герои чеховских «Трех сестер» — лирическое воплощение разрыва между мечтаниями современного человека о высоком будущем и его реальными возможностями. Статья о «Трех сестрах» написана в стиле лирической прозы, в сущности это тонкий и умный рассказ на чеховскую тему, как ее понимает Анненский». [Громов: 1986, 81]. Что же сам Анненский? Он-то как раз и признает, что его попытка понять Чехова не увенчалась успехом. Он попытался «примерить» одежду его героев» на свой манер, «как он это понимает», чтобы стать ими и Чеховым, но попытка не удалась. Уже в самом начале статьи, которое не предваряет тему, а подводит итог раздумьям Анненского, Иннокентий Федорович дает объяснение того, почему статья не удалась с точки зрения заданной цели — он не смог понять и представить автора, ему оказались доступны лишь его «фантоши»: «Что это такое? Сцена это или литература? Малеванная декорация или художественная школа? <...> Или здесь все уже дано художником, и актерам остается только показывать с наиболее выгодной стороны свой талант? Я думал над этим вопросом, но, по совести, не сумел на него ответить. Я лично могу искать в словах драмы только самого художника, хотя отнюдь и не уверен при этом, что *объясню* вам его концепцию и даже, что точно передам драму Чехова как бы его же словами. Но задача моя, видите ли, облегчается тем, что Чехов более, чем какой-нибудь другой русский писатель, показывает мне и *вас*, и *меня*, — а *себя* открывает при этом лишь в той мере, в какой каждый из нас может проверить его личным опытом [Анненский: 1979, 82]. В этой статье Анненский еще пытался найти и понять «Чехова самого», но уже через месяц в письме Е. М. Мухиной, после кампании «расти-ражирования» Чехова он понимает, что предпринятая попытка была пустой затеей. Он готов уничтожить статью, но не потому, что она противоречит его новой позиции, а потому, что она окончательно убеждает его в бессмысленности затеи. Она не могла быть другой. Попытка понять Чехова как такового не могла увенчаться успехом. Для Анненского он слишком внешний, он слишком «для всех». — «Газеты полны теперь воспоминаниями о Чехове и его оценкой или, точнее, переоценкой. Даже «Мир божий»⁶, уж на что, кажется, Иван Непомнящий из пересыльной тюрьмы, и тот вспоминает... Любите ли Вы Чехова?.. О, конечно любите... Его нельзя не любить, но что сказать о времени, которое готово назвать Чехова чуть-что не великим? Я пере-

чел опять Чехова... И неужто же, точно, русской литературе надо было вязнуть в болотах Достоевского и рубить с Толстым вековые деревья, чтобы стать обладательницей этого палисадника... Ах, цветочки! Ну да, цветочки... А небо? Небо?! Будто Чехов его выдумал. Деткам-то как хорошо играть... песочек, раковинки, ручеечек, бюстик... Сядешь на скамейку – а ведь, действительно, недурно... Что это там вдали?.. Гроза!.. Ах, как это красиво... Что за артист!.. Какая душа!.. Тс... только не душа... души нет... выморочная, бедная душа, ошипанная маргаритка вместо души... Я чувствую, что больше никогда не примусь за Чехова. Это сухой ум, и он хотел убить в нас Достоевского – я не люблю Чехова и статью о «Трех сестрах», вернее всего, сожгу». [Анненский: 2007, 400]. Тот, кто принадлежит всем – не принадлежит никому, даже самому себе. Чехов при всей своей растиражированности и внешней очевидности, так и остался для Анненского не «своим», т.е. не переведенным, не идентифицированным как самость. В нем все – «литература». А где он сам? «Литературность» Чехова – это своеобразная вариация на тему чеховской же футлярности. В письме к Мухиной Анненский выразил свое раздражение по поводу того, что Чехов так и остался для него своеобразным «человеком в футляре». «Накрахмаленный» (определение К. И. Чуковского) латинист Анненский так и не смог «перевыразить» «человека в футляре» Чехова. Это ли не парадокс?!

Литература

1. Анненский И. Ф. Книги отражений. – М.: Наука, 1979.
2. Анненский И. История античной драмы – СПб, Гиперион, 2003.
3. Анненский И. Ф. Письма. Составление и комментарии А. И. Червякова. Т.1. – СПб.: Изд. дом «Галина скрипсит», 2007.
4. Гинзбург Л. О лирике. – М.: Интрада, 1997.
5. Громов П. П. А. Блок, его предшественники и современники. Изд. 2-е, доп. – Л., «Советский писатель», 1986.
6. Журиный А. Н. Семантические наблюдения над «Трилистниками» Ин. Анненского // Историко-типологические и синхронно-типологические исследования: На материале языков различных систем. М., 1972. С. 106–117.
7. Цифровой архив И. Ф. Анненского. Сайт М. А. Выграненко. А. П. Чехов – www.annensky.lib.ru
8. Якобсон Р. О. О лингвистических аспектах перевода / Р. Якобсон Избранные работы по лингвистике. – Благовещенск, 1998. С. 361-368.

МОЯ ОДИССЕЯ

Рассеян по миру, по морю рассеян
мой путанный призрачный след.
И длится, и длится моя Одиссея
уж многое множество лет.

Ну что, Одиссей, поплывём на Итаку –
на север, на запад, на юг?
Мой друг, нам с тобою не в новость – не так ли? –
за кругом наматывать круг

и загодя знать, что по волнам рассеян
наш жизненный путанный путь...
Слукавил поэт – и домой Одиссея
уже никогда не вернуть.

*На развалинах Трои лежу, недвижим,
в ожиданье последней ахейской атаки*
Ю. Левитанский

На развалинах Трои лежу в ожиданье последней атаки.
Закурю папироску. Опять за душой ни гроша.
Боже правый, как тихо. И только завyli собаки
да газетный листок на просохшем ветру прошуршал.
Может – «Таймс», может – «Правда». Уже разбирать неохота.
На развалинах Трои лежу. Ожиданье. Пехота.
Где-то там Пенелопа. А может, Кассандра... А может...
Может, кто-нибудь мудрый однажды за нас подытожит,
всё запишет, поймёт – и потреплет меня по плечу.
А пока я плачу. За себя. За атаку на Трою.
За потомков моих – тех, что Трою когда-то отстроят,
и за тех, что опять её с грязью смешают, и тех,
что возьмут на себя этот страшный, чудовищный грех –

и пошлют умирать – нас. И вас... Как курёнка – на вертел.

А пока я лежу... Только воют собаки и ветер.

И молюсь – я не знаю кому – о конце этих бредней.

Чтоб атака однажды, действительно, стала последней.

Ахейские затихли голоса,

Но те же речи повторятся снова,

Опять твердим банальное: «Не ново:

Аптека. Ночь – и света полоса».

Всё так же беззаботен почтальон,

Способствуя обману и обмену.

И снова уведут твою Елену.

Не за моря – в другой микрорайон.

Всё так же веселит Мадам Клико

И ось трясут периоды исходов.

Меняются модели пароходов,

А до Итаки так же далеко.

И снова мы бредём по пустырям,

Ослепшие – до одури – Гомеры,

Всё те же ритмы, рифмы и размеры

Гоняя по неведомым морям...

Мы сотни лет бредём по пустырям.

ВТОРОЙ КОВЧЕГ

По паре – каждой твари. А мою,

мою-то пару – да к другому Ною

погнали на ковчег. И я здесь ною,

визжу, да вою, да крылами бью...

Ведь как же так?! Смотрите – всех по паре,
милуются вокруг другие твари,
а я гляжу – нелепо, как в кошмаре –
на пристани, у пирса, на краю
стоит она. Одна. И пароход
штурмует разномастнейший народ –
вокруг толпятся звери, птицы, люди.
...Мы верили, что выживем, что будем
бродить в лугах, не знающих косы,
гулять у моря, что родится сын...
Но вот, меня – сюда, её – туда.
Потоп. Спасайтесь, звери, – кто как может.
Вода. Кругом вода. И сушу гложет
с ума сошедший ливень. Мы – орда,
бегущая, дрожащая и злая.
Я ничего не слышу из-за лая,
мычанья, рёва, ора, стоны, воя...
Я вижу обезумевшего Ноя –
он рвёт швартовы: прочь, скорее прочь!
Второй ковчег заглатывает ночь,
и выживем ли, встретимся когда-то?
Я ей кричу – но жуткие раскаты
чудовищного грома глушат звук.
Она не слышит. Я её зову –
не слышит. Я зову – она не слышит!
А воды поднимаются всё выше...
Надежды голос тонок. Слишком тонок.
И волны почерневшие со стоном
накрыли и Олимп, и Геликон...

На палубе, свернувшись, как котёнок,
дрожит дракон. Потерянный дракон.

РУКОПИСНЫЕ РОССИЙСКИЕ РИТОРИКИ XVIII ВЕКА НА ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ О ХВАЛЕБНЫХ РЕЧАХ

Российское риторическое образование строилось на классическом латинском фундаменте. В XVIII веке, несмотря на стремительное развитие красноречия в России и существование теоретических руководств по риторике на русском языке, преподавание риторики в учебных заведениях велось преимущественно на латыни.

Сохранилось большое количество латинских рукописных риторических руководств, которые готовились учителями риторики, часто не указывавшими своего имени. Хотя каждая из рукописных риторик отличается определённым тематическим и методическим своеобразием, все они опираются на сочинения своих предшественников и излагают некую общую доктрину. Латинские рукописные риторики российских авторов XVIII века могут служить важным источником изучения истории науки о красноречии в России.

Как правило, риторическая теория подразумевала деление на риторику общую (*in communi*) и частную (*in particulari*). Если изложение общей риторики обычно опиралось на классический античный канон, то содержание частных риторик у разных авторов имело довольно существенные различия. Так, выбор достойных изучения видов (или жанров) красноречия отличается определённой субъективностью.

В нижегородской риторике 1766 года называются три вида красноречия, известные со времён античности (*demonstrativum, deliberativum et iudiciale*), но подчёркивается, что теперь эти виды нужны лишь для лучшего понимания и разбора речей древних авторов: «Non alium fere hodie superesse usum, nisi ut antiquorum orationes melius intelliguntur ac dividuntur» [Rhetorica 1766: 58 (об)]. Автор руководства называет также новый, по его мнению, вид красноречия, который можно назвать школьным, схоластическим или академическим, замечая, что школьное красноречие не относится ни к одному из известных со времён античности видов: «Quandoquidem autem postea in scholis tantum supererant reliquiae eloquentiae latinae, declamationes vero illae umbraticae ad nullum trium generum pertinebant: novum orationum genus invenere doctores, quod... didascalicum appel-

laverunt» («Поскольку позднее только в школах сохранились остатки латинского красноречия, но эти кабинетные декламации не относились ни к одному из трёх родов, учёные изобрели новый вид речей и назвали его школьным») [Rhetorica 1766: 58]. К школьному красноречию отнесены такие жанры, как лекция (*lectio*), декламация (*declamatio*), торжественная речь (*oratio solennis*), программная речь (*programma*), обсуждение (*disputatio*) и вступление (*prolusio*), непосредственно связанные с академической деятельностью. Рассуждая о современном красноречии, автор нижегородской риторики приходит к выводу, что оно имеет четыре сферы применения и может быть школьным, политическим, церковным или общим («*usus vel scholasticus, vel politicus, vel ecclesiasticus, vel communis*») [Rhetorica 1766: 58 (об)].

Автор руководства, составленного в 1744-1745 гг. в Московской духовной академии [Emporium 1744], в зависимости от сферы употребления речей делит красноречие на схоластическое (*eloquentiam scholasticam*), официальное, или любезное (*eloquentiam officiosam*), и духовное (*eloquentiam sacram*).

Схоластическое (школьное) красноречие в данной риторике понимается своеобразно. К схоластическому красноречию, по мнению московского ритора, относятся шесть жанров: *elogium* (элогий), *epitomium* (энкомий), *panegyrici* (панегирики), *praefationes* (предисловия), *dedicationes* (посвящения), , *inscriptiones* (надписи). Большинство из них по содержанию можно отнести к хвалебным. Отдельная группа – *eloquentia officiosa* – включает приветственные, прощальные, поздравительные, свадебные, благодарственные, просительные речи, которые также так или иначе выражают похвалу.

Некоторые авторы рукописных риторик вообще обходятся без какой-либо классификации речей, рассматривая лишь отдельные, особенно важные, с их точки зрения, виды. Так, Мануил Базилевич, составитель риторики из Смоленской коллегии [Basilevicz 1756], включает в своё руководство те же жанры (кроме надписей), что и московский ритор, однако не употребляет термин «*eloquentia scholastica*», рассматривая элогий, панегирик, посвящение и предисловие как отдельные жанры, противостоящие таким видам красноречия, как «*eloquentia officiosa*» и «*eloquentia sacra*».

В вологодском руководстве [Наставления 1764] выделяются *orationes officiosae* и не входящие в эту группу панегирик, хрия, исто-

рия, письмо. Примечательно, что все руководства уделяют внимание любезным (официальным) речам, а также панегирику, правда, только в одной из риторик – московской – он рассматривается как вид схоластического красноречия.

Составитель московской риторики осознаёт сходство между разными видами хвалебного красноречия, несмотря на то, что относит их к разным группам: «*in modum encomii insignitur etiam scribunt orationes officiosae et potissimum latinae salutatoriae, gratulatoriae, panegyrici*» (по образцу энкомия составляются любезные речи, в особенности приветственные, поздравительные, панегирики) [Emporium 1744: 128]. Хотя по классификации, приведённой в руководстве, элогий, энкомий и панегирик отнесены к схоластическому красноречию, а так называемые «любезные речи» (*orationes officiosae*) выделены в отдельную группу, сходство их содержания очевидно. Все эти виды речей являются по своей сути хвалебными. Ритор считает этот тип речей наиболее распространённым: «*Imo hoc saeculum non alium, sed hunc vel maxime requirit modum*» (Поистине нашему веку более всего требуется этот, а не какой-нибудь другой тип речей) [Emporium 1744: 128].

Составлению панегирика как центрального жанра красноречия XVIII века в московском руководстве уделяется особенно много внимания. Перечислены возможные источники риторического изобретения, подробно рассмотрены обстоятельства, которые необходимо использовать при сочинении речи: «*si a fortitudine aliquem heroem laudares, occurrent tibi circumstantiae fortitudinis, vg. in perturbata animi constantia, in superandis difficultatibus dexteritus sanguis effusus, vulnera recepta, spolia, trophea etc.*» (когда ты хвалишь какого-либо героя за храбрость, тебе понадобятся обстоятельства храбрости – постоянство духа в смятении, пролитая праведная кровь при преодолении трудностей, полученные раны, добыча, трофеи и т.д.) [Emporium 1744: 129].

Ритор советует избегать при похвале чрезмерной прямолинейности: «*illa quae sunt per se laudabilia non debet orator elevare*» (то, что само по себе достойно похвалы, оратор не должен превозносить) [Emporium 1744: 130 (об)]. В панегирике не следует, по мнению автора руководства, использовать отрицательные конструкции: «*Laus aut negativa vg. non egisti malum, non occidisti quemque... aliquo*

modo patitur vituperium, simpliciter locum non habet in panegyrico» (отрицательная похвала (ты не сделал зла, никого не убил)... некоторым образом указывает на порицание и просто недопустима в панегирике) [Emporium 1744: 130 (об)].

Панегирик, по мнению автора московской риторики, существует в тройном понимании (*in triplici acceptione*): в самом широком понимании (*latissime*) это слово обозначает любое сочинение похвального характера – элогий, энкомий, другую речь, в более строгом понимании (*strictius*) термин следует употреблять применительно к стихотворному либо прозаическому сочинению похвального характера в высоком стиле, и, наконец, в строжайшем понимании панегирик – это речь во хвалу герою, всю его жизнь и деяния излагающая величественным и возвышенным стилем (*strictissime sumitur pro oratione in laudem herois totam ejus vitam vel facta explicante stilo magnifico et sublimi*) [Emporium 1744: 128 (об)]. Иначе говоря, наиболее значимой чертой панегирика называется *laus* (похвала), во всех определениях панегирик трактуется как сочинение похвального характера. Стремясь провести границу между панегириком и смежными жанрами, ритор добавляет такие требования, как высокий стиль и достойный предмет. В отличие, в частности, от энкомия, допускавшего похвалу и по отношению к малозначительным предметам, панегирик следовало посвящать только герою. Кроме того, ритор настаивает, что панегирик в строжайшем смысле – это именно речь (*oratio*), хотя панегирическим характером могут обладать и другие сочинения (например, элогий, ода).

В смоленской риторике приводится более краткая, но аналогичная трактовка панегирика, начиная с определения, также включающего три возможных понимания (в широком, более строгом и строжайшем смысле), хотя и без буквального совпадения. В вологодской риторике используется другое определение: «Panegyricus est oratio solemnis in laudem alicuius viri sancti et illustris, stilo magnifico elaborata et in splendido auditorum congressu habita» («панегирик есть торжественная речь во славу какого-либо святого или знаменитого мужа, выполненная возвышенным стилем и произнесённая в блестящем собрании слушателей») [Наставления 1764: 91 (об)]. Примеры панегириков в московской и смоленской риториках не приводятся, а в вологодской риторике упоминаются речи Исо-

крата, Цицерона, Плиния, а из новых – Эразма Роттердамского, Феофана Прокоповича, Стефана Яворского.

Элогий в московском руководстве характеризуется как вид красноречия, «известный уже древним, но и в наш век весьма рекомендуемый» (*ut priscis vix cognitum, ita praesenti saeculo vel maxime commendatum*) [Emporium 1744: 119]. Это своеобразное сочинение панегирического содержания, состоящее из коротких строчек разной длины. Ритор даёт ему следующее определение: «*ex vi nominis idem significat quod laus seu encomium, quo ad rem vero est discursus quidam brevis, nervosus, argutus et sententiosus in laudem vel vituperium alicuius confectus sine numero metrico*» (по смыслу названия означает похвалу или энкомий, по сути же – текст краткий, нервный, остроумный, содержащий сентенции, составленный для похвалы или хулы без метрического размера) [Emporium 1744: 119]. Обратим внимание на стремление автора риторики к строгому слоупотреблению: так, элогий, который в античности считался разновидностью эпиграммы, хоть и рассматривается как вид схоластического красноречия, речью не называется, а определяется обобщённым термином *discursus*. Двумя важнейшими свойствами элогия провозглашаются краткость и остроумие.

Хотя автор риторики замечает, что элогии можно разделить на панегирические и исторические, критерием такого деления является не содержание (оно всегда содержит похвалу или – реже – хулу), а развёртывание во времени. Панегирический элогий посвящён одному событию, высказыванию, подвигу (в качестве примера приведены элогии об увенчании терновым венцом Спасителя и о муках святого Варфоломея), а исторический изображает всю жизнь героя или события, продолжавшиеся достаточно долго (элогии Иоанну Златоусту, Антонию Печерскому, Григорию Чудотворцу).

Лаконичность элогия подчёркивается отсутствием в нём характерных для ораторской речи вступлений и заключений: «*Neque itaque exordium, neque propositionem aut epilogum requirit, sed incipit ab ipsa re et concludit sola cessatione narrationis rerum*» (он не требует вступления, тезиса и эпилога, но начинается с самого предмета и завершается простым прекращением повествования) [Emporium 1744: 119 (об)].

Ритор предписывает начать составление элогия с разделения всей жизни хвалимой персоны на отдельные пункты (*patriam, parentes, or-*

tum, locum, tempus, nativitatem, infantiam, pueritiam, virilitatem, senectutem, gesta, dicta, virtutes, passionēs, honores, artes, scientias etc.) [Emporium 1744: 119 (об)], а затем последовательно сочинять, стараясь придерживаться естественной последовательности событий.

Следующий этап – размышление о том, как изложить каждый из пунктов уместно, кратко, остроумно, эмоционально, в чём должны помочь источники ораторского изобретения (*habendam esse reflexionem, quomodo singula apte, breviter, acute, nervosa efferri possint ad quod juvabunt fontes argutiae oratoriae*) [Emporium 1744: 119 (об)].

Наряду с советами остерегаться слишком очевидных остроумий (*acumina, non quaevis obvia, adhibenda esse*), избегать избыточных эпитетов и частых перифраз (*vitanda vero epitheta superflua, periphrases frequentes*), использовать строчки разной длины (*mensura versiculorum non sit eadem perpetuo*), ритор выдвигает требование риторической изощрённости в каждой строчке (*nullum ponendum esse versum, in quo non sit aliqua argutia absoluta aut saltem inchoata*) [Emporium 1744: 119 (об)]. Слово *argutia* весьма часто употребляется в данной риторике в значении «остроумие, глубина мысли». Представление о том, что каждая строчка должна заключать в себе какую-либо отточенную мысль, отразилось в приведённых примерах элогиев, которые энигматичны и во многих местах трудны для понимания. Это относится прежде всего к пространным элогиям, посвящённым Григорию Чудотворцу и Антонию Печерскому. Подчёркнутая декоративность и риторическая изощрённость видна, в частности, в элогии о жизни Иоанна Златоуста, который начинается изящным парадоксом:

Joannes eloquentia aureus tolerantia ferreus

Praetiosior forte quod ferreus quam quod aureus...

(Иоанн, золотой красноречием, железный терпением,

Ценнее, возможно, что железный, чем золотой...)

Приём парадоксального противопоставления последовательно применяется на протяжении всего элогия:

Bonas artes cum disceret docuit meliores...

(Изучая прекрасные искусства, обучал ещё лучшим...)

Sylvescere metuens secessit in sylvas...

(Боясь одичать, удалился в леса...)

Alienis clarus in oculis obscurus in suis...

(Другим ясный, в своих глазах тёмный...)

Urbes dum fugeret urbes ad aeremum attraxit...

(Бежав из городов, города привлёк в пустыню...)

Nullius aurum appetens omnium animos acquisivit...

(Не прося ни у кого золота, снискал души всех...)

Veram patriam invenit, cum in exilium properaret...

(Настоящую родину обрёл, когда отправлялся в изгнание...)

Vir in omnibus aureus,

Nisi quod avaris placere non potuit.

(Муж во всём золотой,

Вот только алчным не мог понравиться) [Emporium 1744: 120-120 (об)].

Этот же элогий приведён и в смоленской риторике Мануила Базилевича [Basilevicz 1756: 90-91], что, очевидно, позволяет отнести этот текст к хрестоматийным школьным образцам.

Трактовка жанра элогия в смоленской риторике имеет некоторые отличия. Так, элогий определяется как «*carmen aliquod rem per symbolum expressam explicans*» (стихотворение, выражающее что-либо с помощью символа) [Basilevicz 1756: 88 (об)]. Ритор ощущает жанровую неопределённость элогия, относя его и к поэтическим (*carmen*), и к ораторским (*oratio*) жанрам: «*Elogii nomine non debet intelligi laus quaecunque sed laus conciso et acuto orationis genere conscripta seu referta acutissimo laconismo oratio, quae potest dici libera poesis seu epigramma...*» (под словом «элогий» не следует понимать любую похвалу, но похвалу, написанную в сжатом и отточенном роде, или речь, изложенную красноречивейшими лаконизмами. Это может быть свободное стихотворение или эпиграмма...) [Basilevicz 1756: 88 (об)]. Далее, рекомендуя способы расположения элогия, смоленский ритор вновь отождествляет его с эпиграммой: «*disponitur instar carminum poeticorum, cum sit elogium epigramma solutum continuum*» («элогий располагают, как стихотворение, ведь он является пространной эпиграммой без поэтического метра») [Basilevicz 1756: 89]. Как и автор московского руководства, М. Базилевич важным признаком элогия считает неослабевающую риторическую изощрённость (*oratio perpetuis argutiis constans*), выраженную в сжатом и кратком стиле (*stylo conciso et brevi*) [Basilevicz 1756: 89]. Действительно, приведённые в риторике примеры элогиев отличаются

лаконичностью в отличие от более распространенных образцов московского руководства. Так, элогий Григорию Назианзину составляет всего семнадцать коротких строчек:

Gregorium Nazianzenum
Parentum pietas caelo promeruit,
Dei beneficia dedit.
Ita natus est,
Ut denegare si vellet,
Malus esse non posset.
Ita vixit,
Ut imitari qui vellet,
Peccare nequiret.
Inter optimos educatus ad optima
Se pessimum reputans,
Quoties non faciet meliorem,
Adultam virtutem antequam polliceretur exhibuit.
Bonarum artium avidus,
Malorum incapax,
Ut Minervam raperet
Athenas profectus.

Григория Назианзина
Родительское благочестие удостоило неба,
Дало благодаяния Господа.
Он таким был рождён,
Что даже если бы захотел отречься,
Не смог бы стать плохим.
Он так прожил жизнь,
Что если бы кто-то захотел подражать ему,
Не смог бы грешить.
Среди лучших обученный лучшему,
Себя считал худшим
Каждый раз, когда не делал кого-то лучше,
Раньше ожидаемого проявил зрелую добродетель.
Алчущий прекрасных искусств,
Безразличный к дурному,
Чтобы похитить Минерву,
Отправился в Афины [Basilevicz 1756: 89 (об)].

Также в риторике М. Базилевича приводится, кроме уже упомянутого элогия Иоанну Златоусту, помещённого и в московской риторике, своеобразный элогий земле, построенный на определениях (*formatum per definitiones*) [Basilevich 1756: 89 (об)-90]. Его необычность заключается в отклонении от обычной житийной тематики, что сближает его с другим жанром схоластического красноречия – энкомием, который в данной риторике не рассматривается.

Энкомий, по определению составителя московской риторики, есть «*laus alicuius personae stylo floridiore experta*» (похвала какой-либо персоне, выраженная цветистым стилем) [Emporium 1744: 127]. Ритор сразу пытается подчеркнуть отличие энкомия от таких подобных видов красноречия, как элогий и панегирик. По его утверждению, энкомий «*differt ab elogio, quia non scribitur versiculis inaequalibus ut elogium, ne requirit aequum stylum acutum. A panegyri vero differt gravitate materiae, quam exposcitur panegyris*» (отличается от элогия тем, что не пишется стихами разной длины и не требует ровного высокого стиля. От панегирика же отличается тем, что последний требует серьёзности (весомости) содержания) [Emporium 1744: 127 (об)]. Примером энкомия, предмет которого, на первый взгляд, не является возвышенным, служит краткая похвала глазу («*laus oculi paucis deducta*»). Стилистически энкомий близок к рассмотренному выше элогию, несмотря на формальные отличия. Он начинается с предельно обобщённого обращения к смертным и выраженного яркой антитезой указания на предмет похвалы: «*Maximum naturae decus in minima corporis porcione videte mortales*» (Вы видите, смертные, величайшее достоинство природы в наименьшей части тела) [Emporium 1744: 127 (об)]. Приём антитезы в сочетании с гиперболой многократно используется на протяжении энкомия: «*vastissimum totius universi compagem unius pupillae comprehendunt angustiae*» (обширнейшее пространство мироздания вмещается в одном узком зрачке), «*nihil tam altum natura prodidit, quod oculus non attingat, nihil tam sublime, quod iste non delibet*» (ничего столь высокого не создала природа, до чего бы не дотянулся глаз, ничего столь малого, чего бы он не коснулся), «*complecti omnia manibus nec Briareus valet tenere oculo vel luscus potest, sic tamen ut aliis non exsippiat*» (даже

Бриарей не охватит столько руками, сколько кривой охватит одним глазом, причём не отнимая у других) [Emporium 1744: 127 (об)].

К схоластическому красноречию в московской риторике отнесены также предисловия и посвящения. Предисловия рассматриваются как жанр устной речи; они могут произноситься профессорами в академиях перед началом занятий («in academiis solent dici a professoribus altiorum scholarum in renovatione studiorum»), перед публичными философскими дискуссиями («ante disputationes philosophicas publicas»), перед публичной защитой теологических положений («ante defensiones thesium theologicarum publicas») [Emporium 1744: 131]. Материалом для предисловий наряду с положениями, которые будут защищаться, и искусствами вообще признаётся похвала: «materiam huius modi praefationum esse artes, laudem, seu thesium quas quis defensurus est» [Emporium 1744: 131]. Посвящения в трактовке московского ритора почти не отличаются от предисловий, единственное подчёркнутое отличие – в их письменной форме.

М. Базилевичем жанр *praefatio* (предисловие) понимается как «*oratio illa, quae ante disputationem alicuius dici solet scientiae et haec ex occasione sententiae solet esse alicuius, quae habetur propugnanda*» («речь, которая обыкновенно произносится перед обсуждением какого-либо учения и содержит высказывание, которое должно быть защищено») [Basilevicz 1756: 86]. И в этом жанре похвала играет центральную роль, что подчёркнуто в смоленской риторике: «*praefatio est laus scientiae vel sententiae ejus, quam defensurus es*» («предисловие – это похвала того знания или высказывания, которое ты будешь защищать») [Basilevicz 1756: 86 (об)].

Dedicatio (посвящение) также, по мнению смоленского автора, обязательно содержит похвалу: «*exprimi debet laus vel sancti vel maecenatis, cui dedicas, per combinationem cum laude libri vel scientiae, cuius dedicas theses*» («должна быть выражена похвала святому или меценату, которому адресовано посвящение, в сочетании с похвалой книге или науке, которой ты посвящаешь труды») [Basilevicz 1756: 87].

Похвала является важной составляющей и особой группы речей, которая в рукописных риториках XVIII века определяется как *eloquentia officiosa*. Согласно определению, приведённому в вологодской риторике, «любезная речь есть та речь, в которой мы проявляем любезность по отношению к покровителям, выдающимся людям, друзьям и

другим» («*Oratio officiosa est, qua officium in patronos, viros illustres, amicos et alios implemus*») (Наставления 1764: 95 (об)). Жанровое разнообразие, чрезвычайная распространённость этого типа речей, большое внимание, которое уделяется им авторами риторик, объясняют необходимость их отдельного рассмотрения. Сейчас достаточно заметить, что во всех этих речах (поздравительных, благодарственных, просительных и др.) похвала занимает значительное место.

Таким образом, можно согласиться с автором московской рукописной риторики XVIII века в том, что хвалебные речи более всего соответствовали требованиям времени. Эпидейктическое красноречие играло доминирующую роль в русской риторике этого периода, хотя следует отметить стремление авторов рукописных руководств отступить от классических античных дефиниций и предложить новые классификации видов красноречия.

Источники

Basilevicz 1756: Basilevicz, Manuel. *Opus artis oratoriae...* Смоленская коллегия. 1756 // РГБ. – Ф. 733 (Смолен.), № 21. – 154 л.

Emporium 1744: *Emporium totius facultatis rhetoricae selectionibus eloquentiae fundamentis ad elegantiam stili et vulgarem in omni dicendi genere modum magis conducentibus nec non rebus ac ideis ad instruendum tum sacrum tum civilem oratorem et pluribus ad artem rhetoricam spectantibus refertissimum ad usum et imitationem rhetoribus expositum in Moscoviensi sacratissimae imperatoriae majestatis academia anno 1744 septembri die 21-ma in annum 1745* (Собрание всего, к риторике касающегося, с приведением всех оснований, выбранных для изысканного и повседневногo стиля из всех видов беседы, всех вещей и мыслей к научению ораторов как церковных, так гражданских, и многогo другого к риторике относящегося, для употребления и подражания собранное в Московской священной имп. Академии в 1744-1745 гг.). – РГБ. – Ф. 173.1. – № 356. – 178 л.

Rhetorica 1766: *Rhetorica, sive manuductionum ad eloquentiam libellus*. Курс лекций по риторике, читанный в Нижегородской семинарии. – 1766 // РГБ. – Ф. 312. – № 78. – 95 л.

Наставления 1764: Наставления по риторике на примерах из латинских авторов... Вологодская семинария. 1764 // РГБ, Великоустюжское собрание. – Ф. 122, № 14.

ДЕМЕТРА-ВЕЯТЕЛЬНИЦА (об одном гомеровском сравнении)

Азе Алибековне Тахо-Годи
с трепетом и любовью

Понимание и истолкование образности развернутых сравнений у Гомера во многом зависит от нашего общего представления о сущности и функции этих сравнений в гомеровском эпосе. *«Пояснить менее понятное чем-нибудь более понятным»* – таково основное назначение развернутого сравнения в простой и внятной формулировке А. Ф. Лосева¹.

«Менее понятными» были, конечно, детали героической жизни, а вот жизнь природы или хозяйственная жизнь должна была быть знакома слушателю намного лучше. Картины хозяйственной или природной жизни, преобладающие в «сравнивающей» части², и призваны были, по мысли исследователей, приблизить к слушателям неведомую для них жизнь героев Троянской войны.

Такое представление о назначении развернутых сравнений укоренилось в науке настолько глубоко, что, даже переводя разговор о гомеровском сравнении в иную плоскость и рассматривая, например, когнитивные процессы, порождаемые в сознании гомеровской аудитории, исследователь не может избежать следующих соображений: *«Сравнение, чтобы быть эффективным, должно быть связано с опытом аудитории... Поэтому Гомер умышленно использует ограниченный материал, к которому каждый из его слушателей может иметь то или иное отношение. Производя такой отбор, он не просто ставит перед собой задачу изобразить жизнь мирную и созидательную – он ис-*

¹ А. Ф. Лосев. Античная литература. Под редакцией проф. А. А. Тахо-Годи. М., Че-Ро, 2005 (издание седьмое), III. 6 (Поэтическая техника эпоса)

² Lee D. J. N. The Similes of the Iliad and the Odyssey Compared. Melbourne, 1964

пользует сравнения как объяснительные модели, чтобы мы могли судить о неведомых нам сторонах военной жизни...»³.

Эти соображения, высказанные в работе 2001 г., по существу не отличаются от тех, что высказывались исследователями предшествующих поколений⁴, только формулировка более обтекаема и менее простодушна.

Главный вопрос, как мне представляется, состоит в том, какое именно отношение имел «каждый из слушателей» к тому «ограниченному материалу», который Гомер использовал в сравнениях, и что представлял собой этот «материал»? Должны ли мы думать, что сравнение было ориентировано на непосредственный, чувственный опыт знакомства слушателя с картиной, развернутой в сравнении?⁵ Или релевантен опыт иного рода, предполагающий знакомство с этой картиной в уже опосредованном, «художественном» виде? У этого вопроса есть другая сторона: является ли картина, создаваемая в сравнении, непосредственной поэтической зарисовкой эпического певца?⁶ Или она уже сформирована – если не в плане выражения, то, по крайней мере, в плане содержания – в контексте иной словесной традиции?

В последние десятилетия исследователи усматривают в языке сравнений не поздний страт языка, как это представлялось раньше⁷, а другой его регистр. Для него характерно более «интимное» звучание, непосредственное обращение эпического певца к слуша-

³ E. Minchin. Similes in Homer// Speaking volumes: orality and literacy in the Greek and Roman world/Janet Watson. BRILL, 2001, p. 42-43

⁴ А. Ф. Лосев, там же

H. Fränkel. Essence and Nature of Homeric Similes//Homer: German scholarship in tradition//Ed. P. V. Jones. 1997, p. 103

A. J. Podlecki. Some Odyssean Similes// Greece & Rome, Second Series, Vol. 18, No. 1 (Apr., 1971), p. 90 Cf. C. M. Bowra, Tradition and Design in the Iliad . Oxford, 1930, p. 122, 127

⁵ Это подразумевает, в частности, подход Элизабет Минчин: характеризуя процесс восприятия сравнения, она придает особое значение визуализации (Minchin, p. 41), а это означает, что гомеровское сравнение ориентировано не просто на опыт слушателя, но на его непосредственный чувственный опыт, память о котором и пробуждают создаваемые поэтом картины.

⁶ Podlecki, p. 81-90. Cf. Bowra, ibidem

⁷ См., например: G. P. Shipp. Studies in the Language of Homer. Cambridge University Press, 2007

телю⁸. Это может объясняться тем, что картина, использованная в «сравнивающей» части, сложилась в иной, *неэпической* поэтической традиции. Наблюдения над языком сравнений позволяют предполагать, что не только лексика, но и сама образность некоторых гомеровских сравнений инкорпорирована в эпический текст из неэпической традиции, а именно, из лирической поэзии⁹.

Что же касается восприятия аудитории, то картины природной или хозяйственной жизни совсем не являются показателем ориентированности сравнения на непосредственный, чувственный опыт этой аудитории. Образы падающего дерева, лесного пожара или мух, вьющихся над подойником создают лишь иллюзию живости и непосредственности, потому что именно такая образность в силу своей универсальности может быть сколь угодно древней и, главное, традиционной, т. е. укорененной в устной поэтической традиции¹⁰.

Особый интерес представляют знаменитые «львиные» сравнения. Обилие «львиных» образов в иконографии микенской эпохи и геометрического периода как будто бы свидетельствует в пользу того, что этих животных знали на Пелопоннесе. Вместе с тем, надежных сведений, подтверждающих это, у нас нет. Источники помещают ареал львов далеко к северу от Пелопоннеса. Геродот сообщает (7. 126): «Границей обитания львов служит река Нест, текущая через область Адбер, и река Ахелой, пересекающая Акарнанию. Ведь к востоку от Неста во всей передней части Европы не увидишь льва, точно так же как и к западу от Ахелоя на остальном материке. Львы встречаются только между этими упомянутыми реками»¹¹. Это достаточно большой ареал: Акарнания – западная окраина Централь-

⁸ E. J. Bakker. *Similes, Augment and the Language of Immediacy*//Speaking volumes: orality and literacy in the Greek and Roman world//Janet Watson. BRILL, 2001

⁹ R. Martin. *Similes and Performance*// Written voices, spoken signs: tradition, performance, and the epic text/Egbert J. Bakker, Ahuvia Kahane. Harvard University Press, 1997

О восприятии развернутого сравнения как «субжанра» эпоса «со своим языком и тематическими механизмами» см.: J. L. Ready. *Character, Narrator, and Simile in the Iliad*. Cambridge University Press, 2011, p. 93; cp. Martin 1997, p. 153

¹⁰ W. Scott. *The Oral Nature of the Homeric Simile*. Leiden, Brill, 1974, p. 10

J. A. Notopoulos. *Homeric Similes in the Light of Oral Poetry*//CJ 52, 1957, pp. 323-328

¹¹ Ср. Аристотель. *История животных*. 6. 178; 8.165 – здесь ареалом львом также названы области между Ахелоем и Нестом.

ной Греции, а Абдеры – ее северо-восточная граница. Ксенофонт пишет («О псовой охоте», 11. 1): «Львы, леопарды, рыси, пантеры, медведи и прочие подобные звери ловятся в чужих странах, около горы Пангейон, около Киссы, что за Македонией, на Олимпе в Мисии, на Пинде, на Ниссе, что за Сирией и в прочих горах, где могут кормиться такие животные». Павсаний помещает историю о борьбе атлета Полидаманта со львом в область горы Олимп¹².

Таким образом, греческие источники помещают ареал львов как можно дальше от Пелопоннеса. А вот в Междуречье и Анатолии эти животные действительно водились, так что их место в литературе и, в том числе, в сравнениях совершенно органично¹³. Кроме того, образ льва, в частности, нападающего, был очень популярен в изобразительном искусстве и Междуречья, и Анатолии¹⁴. При этом очень важно, что «львиные» сцены существовали не только в фундаментальных, но и в мобильных версиях – на печатях, а значит, такие изображения мигрировали и могли легко проникнуть в Эгейский мир. Нельзя исключить, что «львиные» изобразительные сюжеты в микенской традиции появились не в результате знакомства с этим животным, а именно через иконографию. Выразительность этих изображений способна дать хорошую пищу поэтическому воображению, так что первоначальным источником «львиной» образности в греческой поэзии могла, как я предполагаю, стать не словесная, а изобразительная традиция, импортированная в греческий мир и усвоенная им.

¹² Павсаний. Описание Эллады VI. 5

¹³ M. West. The East Face of Helicon. Oxford University Press, 1999, p. 246
S. N. Kramer. Sumerian Similes: A Panoramic View of Some of Man's Oldest Literary Images//Journal of the American Oriental Society, Vol. 89, No. 1 (Jan. - Mar., 1969), pp. 1-10

¹⁴ Междуречье: рельеф нач. III тыс. до н. э. (Киш) – лев, нападающий на оленя; скульптура нач. II тыс. до н. э. (Тель-Хармаль) – грозный лев, охраняющий храм; рельеф 9 в. до н.э. (Нимруд) – грозный лев-стражник; рельеф 8 в. до н. э. (Арслан-Таш) – грозный лев-стражник; рельеф 7 в. до н. э. (Ниневия) – охота на льва; другой рельеф того же времени из Ниневии изображает охоту на нескольких львов; цилиндрическая печать нач. I тыс. до н. э. – лев, нападающий на быка.

Анатолия: деталь Львиных ворот 14-13 вв. до н. э. (Богазгёй) – грозный лев-стражник; тот же сюжет – Львиные ворота 10-9 вв. до н. э. (Арслантепе); рельеф на воротах крепости 8 в. до н. э. (Сакцагёзу) изображает охоту на львов, а рельеф нач. 8 в. до н. э. (Анкара) – рычащего льва.

Любопытно, что исследователи и комментаторы указывают на некоторую расплывчатость «львиных» образов у Гомера, выдающую не слишком точное представление о повадках этого животного. Например, в «львиных» гомеровских сравнениях никогда не описывается львиный рык, так что сведения о львах, считают исследователи, попали в эпос «из вторых рук»¹⁵. Следовательно, «львиная» образность в сравнениях имеет художественную природу, и ориентировано такое сравнение должно быть не на непосредственный, чувственный опыт слушателя, а на иной – художественный, на его знакомство с «львиной» образностью в поэзии и(ли) в иконографии.

О том, что образность гомеровских сравнений могла приходить с Востока и усваиваться греческой традиций, изобразительной и словесной, свидетельствует и любопытное сравнение Менелая с мухой в 17-й песни «Илиады».

Илиада 17. 569-573

*Крепость ему в рамена и в колена богиня послала,
Сердце ж наполнила смелостью мухи, которая, мужем
Сколько бы крат ни была, дерзновенная, согнана с тела,
Мечется вновь уязвить, человеческой жадная крови,-
Смелость такая Атриду наполнила мрачное сердце*¹⁶.

Спиридон Маринатос полагал, что понять это сравнение можно лишь с учетом египетского контекста, где муха считалась образцом храбрости и мужества, так что золотым изображением мухи фараоны награждали героических воинов. «Только в свете этого представления мы можем понять, что поэт не высмеивает Менелая в этом сравнении. Так было бы в современной Греции, где «мухой» называют человека трусливого и мелкого»¹⁷.

Таким образом, анализируя развернутое сравнение, разумно учитывать, что его образность могла быть сформирована за преде-

¹⁵ T. J. Dunbabin. The Greeks and their Eastern Neighbors. London, 1957, p. 46
The Iliad 1-4, p. 269

¹⁶ Пер. Н. Гнедича

¹⁷ S. Marinatos. «Διογενεῖς Βασιλῆες»//Studies presented to David Moore Robinson on his 70-th birthday. Vol. 1. St Louis, 1951, pp. 126-134

лами эпического контекста и усвоена эпосом из иной поэтической или даже, шире, фольклорной традиции.

Теперь обратимся к одному проблематичному, с моей точки зрения, сравнению.

Илиада, 5. 499-503:

ὥς δ' ἄνεμος ἄχνας φορέει ἱεράς κατ' ἄλωας
ἀνδρῶν λικμώντων, ὅτε τε ξανθὴ Δημήτηρ
κρίνη ἐπειγομένων ἀνέμων καρπὸν τε καὶ ἄχνας,
αἱ δ' ὑπολευκαίνονται ἀχυρμιαί· ὥς τότε Ἀχαιοὶ
λευκοὶ ὑπερθε γένοντο κονισάλω...

*Как ветер носит мякину по священным токам
Мужей веющих, когда русая Деметра
Отделяет зерно от мякины под напором ветров,
И мякинны кучи белеют, так ахейцы тогда
Становились белыми, покрываясь пылью...*

Это одно из трех сравнений в «Илиаде», образность которых связана с важнейшими видами сельскохозяйственных работ – обмоломом и веянием.

13. 588-591:

ὥς δ' ὅτ' ἀπὸ πλατέος πτυόφιν μεγάλην κατ' ἄλωην
θρώσκωσιν κύαμοι μελανόχροες ἢ ἐρέβινθοι
πνοῖῃ ὑπο λιγυρῇ καὶ λικμητῆρος ἐρωῇ,
ὥς ἀπὸ θώρηκος Μενελάου...

*Подобно тому, как от широкой веялки на большом токе
Отскакивают бобы с черной шкуркой или горох
От звучного дуновения и напора вейтеля,
Так от щита Менелая...*

20. 495-499:

ὥς δ' ὅτε τις ζεύξῃ βόας ἄρσενας εὐρυμετώπους
τριβέμεναι κοῖ λευκὸν ἐϋκτιμένην ἐν ἄλωῃ
ρίμφα τε λέπτ' ἐγένοντο βοῶν ὑπὸ πόσσ' ἐριμύκων,
ὥς ὑπ' Ἀχιλλῆος μεγαθύμου μώνυχες ἵπποι
στεῖβον ὁμοῦ νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας...

*Подобно тому, когда запрягают быков широколобых,
Чтобы молотить белый ячмень на ловко устроенном токе,*

*И быстро он измельчается под ногами мычащих быков,
Так Ахиллеса, великого духом, однокопытные кони
Топтали и трупы, и щиты.*

Сцена веяния в 13. 588-591 технически точна. Судить об этом позволяет традиционность определенных сельскохозяйственных работ. Πτύον – это веятельная лопата, которую использовали для веяния больших объемов зерна или, как в данном случае, бобовых. Она отлична от веяла, которое имеет форму корзины и именуется λίκνον¹⁸. Эта картина, считают исследователи и комментаторы, дает слушателю возможность не просто понять, как именно отскакивали стрелы от щита Менелая, но и представить это в зрительных и даже звуковых образах¹⁹.

Такой трактовке поддается и сцена обмолота в 20. 495-499. Она полностью соответствует реалиям: обмолот зерна на токе с помощью животных – древнейший, традиционный способ, распространенный не только в Греции, но и в Древнем Египте²⁰. Как и сцена веяния, сцена обмолота провоцирует усмотреть в ней расчет на опыт аудитории, позволявший слушателю легко представить, как крушились кости и щиты врагов под ногами ахилловых коней.

Картина в 5. 499-503 уже не поддается такому толкованию. Особенность ее состоит в том, что Деметра здесь участница работ, она сама веет хлеб, отделяя зерно от мякины. Мог ли образ богини, веющей зерно на токе, относиться к сфере знакомого и понятного для слушателей – даже более знакомого и понятного, чем образ воинов, покрывающихся пылью из-под лошадиных копыт?

Образность этого сравнения находится за пределами чувственного – в данном случае, визуального опыта аудитории. Вместе с тем, она должна быть хорошо ей знакома. Следовательно, источник этой образности нужно искать в той сфере человеческого опыта, где уверенность в присутствии богини, покровительницы и по-

18 Harrison, Prolegomena p. 528-529

S. Isager, J. E. Skydsgeard. Ancient Greek agriculture: an introduction, 1995

19 E. Minchin. Similes in Homer//Speaking volumes, p. 34

The Iliad. A Commentary/Ed. G. Kirk. Vol. V. Books 17-20/Ed. M. Edwards. Cambridge University Press, 1991, p. 51

20 Ancient Egyptian materials and technology/ Ed. P. T. Nicholson, I. Shaw. Cambridge University Press, 2000, p. 524-525

мощницы, создается особым, нечувственным путем. Такой сферой являются аграрные верования и связанные с ними обряды и праздники. Я предполагаю, что образ Деметры, веющей вместе с людьми, возник и существовал в обряде и получил словесное воплощение в обрядовом тексте, например, в песне, которая и обращена к божеству как актуально присутствующему. О связи этого образа с обрядовым контекстом может, на мой взгляд, свидетельствовать и сам эпитет токов: только в этом единственном случае они названы у Гомера «священными».

Таким образом, картину, созданную в развернутом сравнении, не следует рассматривать как созданную *ad hoc*, отражающую некий непосредственный опыт эпического певца и ориентированную на непосредственный чувственный опыт аудитории. Гораздо более вероятно, что используемая поэтом образность складывается за пределами эпоса и вовлекается в него из более общего и традиционного культурного арсенала. В случае с образом Деметры-веятелицы мы можем предполагать влияние обрядовой поэзии, где богиня мыслилась и ощущалась непосредственной помощницей и соучастницей человеческого труда.

КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА А. А. ТАХО-ГОДИ (1969 / 70 уч. г.): ЖИВАЯ НИТЬ

Научные интересы Азы Алибековны Тахо-Годи в первую очередь обычно связывают с античной литературой и мифологией, с изучением отдельных жанров и стилей, рецепции античности в русской литературе, а также с осмыслением и пропагандой наследия Алексея Федоровича Лосева. На филологическом факультете МГУ она многие годы читала курсы античной литературы, античной мифологии для филологов классического отделения, вела на этом отделении занятия по курсу «Греческий язык и авторы». Но мало кто знает, что в 60-е годы Аза Алибековна читала лекции по истории древнегреческого языка. После нее этот курс читали Олег Сергеевич Широков, Марина Николаевна Славягинская, Ольга Михайловна Савельева.

Наша группа, которой посчастливилось слушать эти лекции, была небольшой – пять человек: Марина Афанасьева, Люба Грацианская, Тамара Дудникова, Люда Шустер и я. И только мы с Любой специализировались в лингвистическом направлении. Но Аза Алибековна умела заинтересовать всех, потому что читала эти лекции так, как не всегда удается преподавателям-лингвистам. Абсолютно свободно владея огромным материалом, четко, спокойно, обстоятельно, со вниманием и доброжелательностью как к нам, еще зеленым новичкам, так и к излагаемым ею авторам. И еще: увлеченно и с любовью к греческому слову, с проникновением в каждую обсуждаемую форму в контексте всей греческой культуры.

Аза Алибековна прошла прекрасную лингвистическую школу. И хотя среди ее научных трудов нет исследований, касающихся специфически лингвистических проблем, прочная языковая база всегда подспудно присутствует в ее изысканиях.

В своих воспоминаниях она пишет о лекциях по введению в языкознание М. Н. Петерсона, «выдающегося специалиста по сравнительному индоевропейскому языкознанию, санскритологии и русскому языку»¹, который был учеником и продолжателем дела

¹ Тахо-Годи А. А. Жизнь и судьба: Воспоминания. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 242.

Ф. Ф. Фортунатова. Эти лекции Аза Алибековна слушала в студенческие годы в Московском пединституте им. К. Либкнехта, позднее соединенном с Московским госпединститутом им. В.И. Ленина. Там же она изучала у М.Н. Петерсона древнегреческий язык, благодаря чему успешно сдала вступительный экзамен по древнегреческому языку в аспирантуру Алексею Федоровичу Лосеву, своему будущему руководителю в изучении греческой словесности². Впоследствии М.Н. Петерсон выступил оппонентом на защите ее кандидатской диссертации, «хвалил статистику и наблюдения над мифологическим субстратом поэтического языка»³.

В МГПИИ Аза Алибековна занималась старославянским языком у профессора И. Г. Голанова, предмет которого она «полюбила на всю жизнь»⁴: «Семинар Ивана Григорьевича очень мне помог, с удовольствием потом изучала разные учебники старославянского – и новые, и те, по которым когда-то учился Алексей Федорович Лосев»⁵.

Сам А. Ф. Лосев прекрасно ориентировался в историко-лингвистической проблематике: он был учеником М. М. Покровского⁶, который в свою очередь учился у Ф. Ф. Фортунатова и Ф. Е. Корша⁷ и в 1889 году за сочинение «Склонение имен в латинском языке сравнительно со склонением их в языках древнеиндийском, греческом и староцерковнославянском» был награжден золотой медалью, а в 1899 году защитил докторскую диссертацию «Материалы для исторической грамматики латинского языка». Лингвистические труды М. М. Покровского были высоко оценены А. Мейе, М. Нидерманом и Ф. Сольмсенем.

² Там же. С. 323.

³ Там же. С. 453–455.

⁴ Там же. С. 281.

⁵ Там же. С. 316–317.

⁶ Лосев А. Ф. Curriculum vitae // Бюллетень Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева». Вып. 3. М.: Водолей Publishers, 2006. С. 53.

⁷ См. Предисловие автора к книге: Покровский М. М. Семасиологические исследования в области древних языков. Серия «Школа классической филологии» Изд. 2, М., 2006. Ср. также: Полонская К. П. Михаил Михайлович Покровский – лингвист-романист и филолог-классик (из воспоминаний). Доклад на заседании секции Российского методического объединения по классическому образованию 24 января 1995 г. (опубликован в сборнике: Двойной портрет (филологи-классики о филологах-классиках): Сб. статей / Сост. М. Н. Славягинская. М.: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2011. С. 107–112).

Пройдя такую школу, А. Ф. Лосев всегда естественно и свободно применял свои историко-лингвистические знания и в течение долгих лет читал курс сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков для аспирантов кафедр общего языкознания и русского языка МГПИ им. В. И. Ленина⁸. На лекциях использовались подготовленные Лосевым обширные таблицы по отдельным вопросам фонетики и морфологии, по ходу занятий давался анализ ряда трудов по сравнительному языкознанию индоевропейских языков как отечественных, так и зарубежных исследователей.

По поводу этих занятий Алексея Федоровича Аза Алибековна вспоминает: «Заниматься с аспирантами он любил и свои занятия вел артистически, живо, весело, сообщая столько и такие сведения, которые аспиранты ни от кого не могли получить. Он разработал курс сравнительной грамматики индоевропейских языков, куда входили санскрит, греческий, латинский, старославянский. Вот когда пригодились давние курсы, изданные профессором Поржезинским. Но мы следили за наукой и выписывали из-за границы новые пособия, учебники, исследования, чтобы быть во всеоружии. Понимая, что часы ограничены, Алексей Федорович соорудил интересные и полезные таблицы, где вся система склонений была продумана до мелочей, постепенно дополняясь, исправляясь и уточняясь. Таких таблиц накопилось много, так как надо было раздавать ученикам и все время их обновлять. Они принимали все более громоздкий характер, так что в каждой клетке можно было найти ответ на все вопросы. Исправление и переписка таблиц происходили до последних дней Алексея Федоровича»⁹. И добавляет: «Но все-таки для Лосева это была детская игра, не для его размаха»¹⁰.

В аспирантские годы для сдачи кандидатского минимума латинских авторов Аза Алибековна изучала под руководством Марии Евгеньевны Грабарь-Пассек, с которой любила «читать подряд всего

⁸ После кончины Алексея Федоровича заведующий кафедрой общего языкознания И. Г. Добродомов поручил мне этот курс и предложил воспользоваться хранившейся среди кафедральной документации программой: Лосев А. Ф. Сравнительная грамматика индоевропейских языков для аспирантов кафедр общего языкознания и русского языка (30 часов).

⁹ Тахо-Годи А. А. Лосев. М.: Молодая гвардия, 2007. С. 342.

¹⁰ Там же. С. 343.

Горация» и которая для филологов была «живым воплощением науки»¹¹. Историю латинского языка в МГПИ читал Н.Ф. Дератани.

В дальнейшем, работая уже под руководством Алексея Федоровича, Аза Алибековна вникала в тонкости греческих диалектов, в первую очередь гомеровского. В предисловии к книге А. Ф. Лосева «Гомер», вспоминая о большом годовом спецкурсе Лосева по Гомеру на классическом отделении МГПИ им. В.И. Ленина, она пишет: «Все мы, студенты и аспиранты, с огромным воодушевлением и даже восторгом слушали этот трудный, но в изложении Лосева абсолютно ясный курс», из которого впоследствии выросли такие известные ученые, как Л. А. Гиндин, Ю. М. Каган, П. А. Руднев, О. С. Широков¹².

На основе этих занятий сформировался интерес Азы Алибековны к языку Гомера. Алексей Федорович предложил ей и тему диссертации: «изучить поэтические тропы поэм Гомера и постараться объяснить их мифологические корни... Работа очень конкретная, вся основанная на внимательном изучении текста, но вместе с тем и на изучении трудной теории поэтического языка – этого *Kunstsprache*, и огромной об этом литературы»¹³.

С Лосевым Аза Алибековна занималась и древнегреческой лирикой: «метрикой древних греков, остановились на Архилохе, Алкеевых стихах и Сапфо, на хоровой лирике Вакхилида и небольших одах Пиндара. Разучивали, разбирали, пели, репетировали самозабвенно»¹⁴. Когда я читала эти строки из книги Азы Алибековны, вспоминалось ее интервью корреспонденту греческого радио в конце 60-х годов. Это было еще в старом здании МГУ на Моховой, в 20-й аудитории, где располагалась тогда кафедра классической филологии. Аза Алибековна декламировала нараспев Вакхилида, а мы, студенты, с восхищением внимали этим удивительным и еще таинственным для нас строкам.

Один учебный год (1948/49) Аза Алибековна проработала на кафедре классической филологии Киевского университета, которой руководил Андрей Александрович Белецкий, преподавала древнегреческий язык на классическом отделении, вела научный кружок

¹¹ Тахо-Годи А. А. Жизнь и судьба: Воспоминания. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 326–332.

¹² Тахо-Годи А. А. Гомер, или Чудо как реальный факт // Лосев А. Ф. Гомер. М.: Молодая гвардия, 1996. С. 7–8.

¹³ Тахо-Годи А. А. Лосев. М.: Молодая гвардия, 2007. С. 269.

¹⁴ Там же. С. 239.

по гомеровскому эпосу и занятия по латыни на романо-германском отделении. В это время она могла пользоваться богатейшей библиотекой Белецких, в которой была представлена лингвистическая литература «на всех европейских и восточных языках, вплоть до арабского, санскрита и японского»¹⁵. Помогала А. А. Белецкому, переводя новогреческую грамматику с французского языка, освоила машинку с греческим шрифтом, интересовалась греческой эпиграфикой и палеографией¹⁶.

Получив основательную лингвистическую подготовку, Аза Алибековна в годы руководства кафедрой классической филологии МГУ обеспечивала студентам классического отделения возможность специализироваться по истории латинского и древнегреческого языков, а также по сравнительно-историческому языкознанию. Мы слушали спецкурсы по латинской эпиграфике у Е. В. Федоровой, по греческой палеографии (кодикологии) у Б. Л. Фонкича, а по греческой эпиграфике и диалектологии – у О. С. Широкова. Он же читал студентам-классикам курс индоевропейской фонетики и морфологии.

Вообще сотрудничество кафедры классической филологии и кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания филологического факультета МГУ всегда было весьма тесным и плодотворным. Недаром М. М. Покровский, преподававший в МГУ с 1894 до 1930 года, считал, что в любой языковой области (и в фонетике, и в морфологии, и в семасиологии и синтаксисе) сравнительный метод исследования приводит к более полноценным результатам. В мои университетские годы студенты классического отделения, специализировавшиеся в области лингвистики, обычно посещали занятия, предлагавшиеся на кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания: по санскриту и введению в индологию (у ученицы М. М. Петерсона В. А. Кочергиной), по литовскому языку (у Ю. С. Степанова или М. Г. Нецецкой), по хеттскому языку (у В. В. Шеворошкина), слушали лекции по ностратике (у А. Б. Долгопольского). Запомнился курс лекций Н. И. Толстого по введению в славяноведение для сербской группы на славянском отделении.

Новогреческий язык в те годы преподавала Катина Зорбала, для которой он был родным. В середине 70-х, когда она вернулась в Гре-

¹⁵ Тахо-Годи А. А. Жизнь и судьба: Воспоминания. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 437.

¹⁶ Там же. С. 438, 446.

цию, ее сменили другие преподаватели. Позднее для ведения спецсеминара «Восточногреческий диалект "койне"» был приглашен Андрей Чеславович Козаржевский. Аза Алибековна всегда поддерживала историко-лингвистические интересы своих студентов, добивалась рекомендации в аспирантуру по сравнительно-историческому языкознанию выпускников классического отделения, привлекала их в качестве рецензентов и оппонентов научных работ на своей кафедре.

У меня сохранились две обычные общие тетради (по 8 копеек) за 4-й курс, на обложках которых надписано: «История греческого языка». В первой тетради записаны лекции с 1 по 9, во второй – с 10 по 25. Первая лекция была прочитана 2 сентября 1969 года, а последняя – 12 мая 1970 года. Тут же поместились: конспект статьи Н. С. Гринбаума «Крито-микенские тексты и древнегреческие диалекты» и выписки из словаря Свида.

Конечно, в задачи предлагаемой статьи не входит подробное изложение содержания этих тетрадей. Здесь важнее осветить структуру курса и привести примеры способов подачи материала на разных лекциях. Думаю, что другим слушателям Азы Алибековны могли запомниться другие примеры, другие аспекты этого курса для них были актуальны. Иначе они опирались на полученные знания в своей дальнейшей практике. Естественно, что ниже предлагается (при всем стремлении к объективности) осмысление курса лекций Азы Алибековны на основе моего личного опыта.

Первая лекция была целиком посвящена обзору имеющейся научной литературы общего характера (7 наименований) и словарей (13 наименований) с комментариями. При этом на русском языке в то время была доступна только «Историческая морфология греческого языка» П. Шантрена в переводе Я. М. Боровского. Все остальное предлагалось на немецком, английском, французском и латинском языках. Особенно Аза Алибековна, по ее собственному признанию, ценила трехтомную греческую грамматику Э. Швицера. Добавим, что, кроме литературы общего характера, впоследствии на каждой лекции приводилась научная литература по конкретным проблемам истории языка.

Лекции 2 и 3 характеризовали своеобразие греческого языка как индоевропейского языка группы кентум и как единого целого в диалектном многообразии. Признаки, характерные для единого грече-

ского языка, рассматривались на фонетическом, морфологическом и лексическом уровнях.

В лекции 4 Аза Алибековна анализировала свидетельства древних о древнегреческих диалектах и их носителях, подводя изложение к классификациям диалектов греческого языка (лекция 5), появившимся в новое время, и конкретным характеристикам каждого диалекта (лекции 5–9). Далее она остановилась на соотношении диалектов и литературных жанров, в том числе и на гомеровском *Kunstsprache* (лекция 10). В лекциях 11–12 речь шла о зарождении народного аттического языка, формировании койне.

И только после такого обстоятельного освещения основных проблем истории древнегреческого языка в целом Аза Алибековна перешла к конкретным фактам исторической фонетики (лекции 13–17), прослеживая историю отдельных гласных, дифтонгов, согласных и их сочетаний, фонетических явлений, затрагивающих целый слог. Лекции 18–25 были посвящены исторической морфологии разных частей речи. При этом (несмотря на несовершенство моих студенческих записей) становится очевидным, что лектор не только свободно оперирует данными греческого, латинского и других итальянских языков, но постоянно привлекает в нужный момент индоевропейские реконструкции и подтверждающие их санскритские, старославянские, германские, авестийские примеры и аналогии.

На протяжении всего курса Аза Алибековна немало внимания уделяла лексике древнегреческого языка, в частности, лексике догреческого происхождения (названия городов, мифологические имена) и ее словообразовательным особенностям (например, суффиксы *-vθos*, *-σtos*, *-αμος*), приводила примеры заимствований в древнегреческом языке, ссылаясь на существующие исследования по этой теме. Среди рассматриваемых заимствований были названия растений, металлов, к которым я впоследствии обращалась при анализе гомеровских цветообозначений¹⁷. По свидетельству Нины Владимировны Брагинской, слушавшей этот курс годом позже, Аза Алибековна

¹⁷ См. статьи Н. К. Малинаускене (Садыковой): Цветообозначения, связанные с названиями цветов, у Гомера // Языковая практика и теория языка. Вып. 1. Изд. МГУ, 1974, С. 18–35; «Золотой» и «светловолосый»/«златокудрый» у Гомера // Вестник Литературного института им. А. М. Горького. № 1, 2012. К 60-летию А. М. Камчатнова. С. 86–93.

при обсуждении данной тематики выделила ее однокурснице Галине Келлерман время для выступления по хеттским заимствованиям.

Особенно запомнились лекции, посвященные микенскому диалекту и его взаимоотношениям с другими диалектами древнегреческого языка. Мы узнавали об ученых, работавших над дешифровкой линейного письма Б, о публикации результатов этой дешифровки, общих принципах слоговых систем письменности и особенностях данной конкретной разновидности, учились передавать в этой системе известные нам греческие слова и распознавать их в латинской транслитерации слогового письма.

Гомеровские материалы проходили через весь курс лекций Азы Алибековны. А это было для меня очень важно, поскольку я в то время уже писала курсовую работу у Марины Николаевны Славянской об обозначениях ахроматических цветов в поэмах Гомера. Читать Гомера мы начинали с Александром Николаевичем Поповым. С ним мы обсуждали разные переводы, учили наизусть отрывки из поэм. Марина Николаевна продолжила это чтение, много занималась изучением тематических групп лексики, среди которых меня привлекли цветообозначения. И вот теперь на это богатство мы смотрели с Азой Алибековной в контексте самых разноплановых связей в истории языка.

При обсуждении проблемы взаимодействия греческого и догреческого населения Балкан, столкновения греческой и пеласгической культуры широко привлекались свидетельства гомеровского эпоса о пеласах и других племенах этого региона. Прежде всего это перечисление троянских сил и их союзников, в котором пеласги упоминаются наряду с фракийцами, киконами, пеонийцами, пафлагонцами, гализонами, мизийцами, фригийцами, меонийцами, карийцами, ликийцами:

Вел за собой Гиппофой племена копьеборцев пеласгов,
Тех, что в Ларисе живут с плодородной землей комковатой,
Их за собою вели Гиппофой и воинственный Пилей,
Оба сыны Тевтамида, царя пеласгийского Лефа.

(Ил. II 840–844, пер. В. В. Вересаева)

В «Илиаде» дружины пеласгов упоминаются еще раз также среди карийцев, пеонийцев, лелегов, кавконов, ликийцев, мизийцев,

фригийцев, меонийцев, фракийцев (X 429). В «Одиссее» в описании Крита перечисляются населявшие его племена:

Есть такая страна посреди винно-цветного моря,
Крит прекрасный, богатый, волнами отовсюду омытый.
В нем городов – девяносто, а людям, так нету и счета.
Разных смесь языков. Обитает там племя ахейцев,
Этеокритов отважных, кидонских мужей; разделенных
На три колена дорийцев; пеласгов божественных племя.
Кнос – между всех городов величайший на Крите. Царил в нем
Девятилетиями мудрый Минос, собеседник Зевеса.

(Од. XIX 172–179, пер. В.В. Вересаева)

Приводились также упоминания о догреческих племенах у Геродота, Алкея, Страбона.

Говоря о соотношении диалектов и литературных жанров, Аза Алибековна всегда отмечала сильные гомеровские традиции: у элегиков (в элегиях едва ли 30 дистихов содержат негомеровские формы), в хоровой лирике (поэт иногда берет гомеровское слово, а не дорийское, хотя по размеру они одинаковы), в языке трагедии, прозы (древние ионийцы – *Homēricōtatoi*).

В лекциях о формировании койне речь шла о том, что многие языковые явления этого периода возникли не внезапно, подготавливались тенденциями ранней истории языка, были известны у Гомера (переход глаголов II спряжения в I или параллельное их употребление как синонимов, симбиоз окончаний имперфекта и аориста).

Все языковые особенности, изменения разных периодов древнегреческого языка в лекциях Азы Алибековны четко классифицировались, сопровождались рядами примеров, выстраивались в стройную систему. Поэтому на следующий год, когда в курсе «Греческий язык и авторы» мы читали с Азой Алибековной Эсхила, Еврипида, Менандра, Платона, новые языковые факты легко вписывались в эту систему и лучше усваивались. При чтении авторов больше внимания уделялось метрике, особенностям индивидуального стиля (словообразование, излюбленные идиомы, терминологические значения).

В курсе Азы Алибековны были освещены как вопросы исторической грамматики древнегреческого языка, так и общие проблемы истории литературного языка. В дальнейшем при чтении текстов конкретизировались, детализировались, уточнялись и те и другие.

Можно говорить о многоаспектности, комплексности этого теоретического курса. После знакомства с авторами разных периодов, которых мы читали и с Азой Алибековной, и с Валентиной Иосифовной Мирошенковой, Александром Николаевичем Поповым, Мариной Николаевной Славятинской, к концу обучения на классическом отделении у нас уже складывалось цельное представление об истории древнегреческого литературного языка. Специально курса истории литературного языка, принятого у филологов-русистов, на классическом отделении не предусматривалось. Однако именно этот аспект привлекал моих однокурсниц-литературоведов, которых гораздо меньше интересовали изменения в фонетике и морфологии греческих форм. До сих пор они помнят то общее впечатление, которое осталось от разнообразия и богатства языковых возможностей, предлагаемых греческим языком, даже, можно сказать, многоликости этого удивительного явления. И, видимо, именно такая концепция курса оказалась для нас оптимальной.

Обычно же этот курс читали в чисто лингвистическом аспекте. Должно быть, он представлял собой то, что называют исторической грамматикой того или иного языка. По воспоминаниям Н. А. Федорова, в конце 40-х годов историю греческого языка читал Борис Александрович Серебренников, «чистый лингвист», владевший «умопомрачительным числом языков еще в университете»: «Занятий языком он не вел – только теоретические курсы. Довольно скоро совсем ушел из университета в Академию наук. Это фигура, безусловно, огромного масштаба»¹⁸.

По свидетельству М. Н. Славятинской, «к середине 50-х годов обнаружилось, что на кафедре некому читать курс истории греческого языка, который до тех пор вела Жюстина Севериновна Покровская», и А. Н. Попов поручил его В. И. Мирошенковой. «Научной литературы по этой теме было мало, – отмечает Марина Николаевна, – и Валентина Иосифовна, в основном, пересказывала нашей группе (мы были ее первыми студентами!) «Историческую морфологию греческого языка» П. Шантрена, перевод которой вышел в 1953 г.». И знала ее, видимо, «от корки до корки»¹⁹.

¹⁸ «Научить читать, то есть понимать...»: Интервью с Н. А. Федоровым // *Discipuli Magistro: К 80-летию Н. А. Федорова*. М.: РГГУ, 2008. С. 567.

¹⁹ Двойной портрет (филологи-классики о филологах-классиках): Сб. статей / Сост. М. Н. Славятинская. М.: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2011. С. 92.

Естественно, что и на занятиях как греческим, так и латынью, Валентина Иосифовна не могла не использовать эти знания. С. А. Степанцов, учившийся у Валентины Иосифовны в начале 90-гг., с благодарностью вспоминает занятия греческим языком с ней на младших курсах: «Про деление языков на «кентум» и «сатэм», про архаичные черты литовского языка, про основную схему индоевропейского аблаута (конечно, на уровне младограмматики, без учета ларингальной теории; впрочем, и она упоминалась), про тематические гласные, про большинство фонетических процессов и законов (метатезу, заместительное удлинение, закон Грассмана и т.п.), как и про многое другое, мы впервые услышали именно во время занятий греческим, а не где-нибудь еще. Это было очень кстати: на семинарах по введению в языкознание для таких подробностей мало времени, а до курса собственно исторической грамматики греческого языка ждать было еще два года»²⁰. И не случайно здесь говорится именно об исторической грамматике.

Лекции Азы Алибековны в студенческие годы для меня были первым погружением в историю древнегреческого языка. Безусловно, воспринимать их было уже легче после занятий с приучавшей нас к историческому взгляду на язык Валентиной Иосифовной Мирошниковой и после курса истории латинского языка, прочитанного нам ранее Людмилой Павловной Поняевой. В аспирантские годы я слушала лекции Олега Сергеевича Широкова для студентов-классиков одного из следующих за нами курсов. У Олега Сергеевича был сугубо лингвистический подход к языковому материалу, отраженный в его книге «История греческого языка»²¹: с особым вниманием прежде всего к исторической фонетике, а также морфологии и привлечением широкого индоевропейского контекста. Думаю, что студентам, не склонным к чисто лингвистической проблематике, подобный курс давался нелегко. А для меня он оказался полезным продолжением и закреплением проблематики, намеченной в лекциях Азы Алибековны, и неоднократно помогал мне в моей дальнейшей работе.

Первый же свой курс лекций по истории греческого языка я читала в традиции Азы Алибековны, а именно – в контексте античной культуры. Это было в МОПИ им. Н. К. Крупской в 1985 году в груп-

²⁰ Там же. С. 98.

²¹ Широков О. С. История греческого языка. М.: МГУ, 1983.

пе будущих учителей новогреческого языка, которых готовили для преподавания в школах СССР в местах компактного проживания греков²². Каких-либо других дисциплин античного цикла в их программе не предусматривалось. Поэтому было необходимо давать им и сведения из античной мифологии, истории, литературы. Тогда я увидела, как воспринимают этот материал люди, для которых греческий язык является родным языком, а античная культура – не только основа европейской цивилизации, как для многих, а – своя. Когда я предложила желающим повысить экзаменационную оценку дополнительно подготовить реферат по одной из предложенных тем, то рефераты написали все! Наверное, среди студентов с фамилиями Параскевиди или Элефтериади, с именами Электра или Пелагея, иначе и не могло быть. В результате в группе из 14 человек были только отличные и хорошие оценки. И темы они выбирали самые разные, например: «Значение греческого языка как языка античной культуры», «Диалекты древнегреческого языка», «Язык философской прозы», «Эллинистическое койне». Грамматический же материал они усваивали с легкостью: он для них был некоторым усложнением и объяснением фактов родного новогреческого языка.

Позднее, на факультете теоретической и прикладной лингвистики в РГГУ, в дополнение к базовому курсу древнегреческого языка я читала лекции по исторической грамматике древнегреческого языка, актуальной именно для лингвистов, и спецкурс «Древнегреческий язык. Диалекты и литературные жанры». Темы рефератов студенты этого факультета выбирали с конкретной лингвистической направленностью, например: «Вопрос диалектной принадлежности языка крито-микенских надписей», «Позиция акцента в древнегреческом языке», «Судьба индоевропейского тематического склонения в греческом, латинском, древнеиндийском и славянском языках», «Фонемный состав греческих заимствований в русском языке».

В это время мы уже могли опираться на составленную на кафедре классической филологии МГУ программу дисциплины «История

²² Так сложились обстоятельства, что мне довелось читать этот курс, замещая О. М. Савельеву.

древнегреческого языка»²³, а также учебные пособия М. Н. Славятинской, стремящейся рассматривать языковые факты с точки зрения современного языкознания с применением соответствующей терминологии. Появилась также возможность использовать изданные в последней четверти XX века научные труды И. М. Тронского, И. А. Перельмутера, Н. С. Гринбаума, Л. А. Гиндина, В. П. Нерознака, Н. Н. Казанского, В. Л. Цымбурского. Сейчас список этой литературы значительно пополнился. Книги, бывшие для нас библиографической редкостью, в последние годы выходят в свет в разных издательствах, в том числе в серии «Школа классической филологии». И все новые сведения по истории древнегреческого языка у меня всегда ложатся на базу, полученную в студенческие годы у Азы Алибековны.

²³ Славятинская М. Н., Широков О. С., Савельева О. М. Программа дисциплины «История древнегреческого языка» // Программы дисциплин по типовому учебному плану. Специальность 02. 21. 01. Классическая филология. М.: МГУ, 1992.

«И ЗАПОВЕДАННОЙ ОГРАДЫ КАСАЯСЬ ЖГУЧИМ КОЛЕСОМ» (К оценке перевода А. С. Пушкина из Горация *Carm. I, 1*)

Ученые читатели Пушкина, оценивая его переводы с латинского языка, отмечают его поверхностную образованность, использование французского подстрочника, но одновременно и исключительное «чувство древности», позволяющее ему находить точные и неожиданные эквиваленты классического претекста. Г. С. Кнабе, автор обзорной статьи «Античная литература» в материалах к разделу «Пушкин и мировая литература» для «Пушкинской энциклопедии», пишет, что «особенно ясно» сказалось «чувство древности» Пушкина в его переводах из античных авторов» и далее приводит примеры из позднейших обращений Пушкина к Горацию (*Carm. I, 1*), эпитафии Гедилы, Овидию (*Trist. IV, IX, 19*), в которых «чувство древности» обостряется до такой степени, «... что проявляется в формах, не находящих себе рационально-логического объяснения»¹. Иногда, однако, специалисты по древним языкам высказывали и иные мнения о классической эрудиции Пушкина. Так, еще в 1968-1971 годах А. А. Тахо-Годи, тогда молодой доктор наук и профессор, обоснованно и доказательно писала о подчинении конкретных задач перевода общим творческим целям поэта в статьях «Эстетическо-жизненный смысл античной символики Пушкина»² и «Жанрово-стилевые типы пушкинской античности»³ об углублении традиционных символов до мифа, о новых мифологических сюжетах и антиномиях в трактовке мифов и образов. В эти же 1970-е годы такой знаток латинской античности, как Я. М. Боровский, справедливо оспаривал сниженную самооценку Пушкиным своих познаний в латинской словесности: «с тех пор, как вышел из Лицея, я не рас-

¹ Кнабе Г. С. Античная литература // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XVIII – XIX. Пушкин и мировая литература. Материалы к «Пушкинской энциклопедии». СПб.: Наука, 2004. С. 29.

² Тахо-Годи А. А. Эстетическо-жизненный смысл античной символики Пушкина // Писатель и жизнь: Сб. историко-литературных и критических ст. М., 1968. Вып. 5. С. 102-120.

³ Тахо-Годи А. А. Жанрово-стилевые типы пушкинской античности // Писатель и жизнь. М., 1971. Вып. 6. С. 180-200.

крывал латинской книги и совершенно забыл латинский язык» (XI, 149-150)⁴. Автор статьи «Необъясненные латинские тексты у Пушкина», опубликованной в специальном журнале⁵, устанавливал, что такая оценка «не соответствует действительности» и приводил примеры толкования латинских эпиграфов к сатирическому тексту «Торжество дружбы или Александр Анфимович Орлов», в рукописи стихотворения «Клеветникам России», «*Vox et praeterea nihil*» и «*Ingrata patria...*» – в стихотворении «Наполеон». «Как эти примеры, так и другие, – пишет далее исследователь, – говорят не только о широкой начитанности Пушкина в латинских текстах, несомненно выходящей за круг школьных авторов, включенных в лицейскую программу (достаточно упомянуть хотя бы цитату из Аврелия Виктора в «Египетских ночах»), но и об известной степени владения латинской фразеологией – таков непритязательный, но вполне корректный в грамматическом отношении медицинский текст в «Путешествии в Арзрум». Это дает основание рассматривать изящную латинскую фразу в речи Самозванца («Борис Годунов», сцена «Краков. Дом Вишневецкого») не как почерпнутую откуда-либо цитату, а как авторский текст Пушкина: «*Musa gloriam coronat, gloriaque musam*» (VII, 54)... Заслуживает быть отмеченным метонимическое употребление слов *Musa* и *gloria*, встречающее параллель и в русском словоупотреблении Пушкина»⁶.

⁴ Здесь и далее цитаты из «Полного собрания сочинений» А. С. Пушкина приводятся по изданию: «Воскресенье», 1994-1997, с указанием в тексте тома римской цифрой и страницы – арабской.

⁵ Боровский Я. М. Необъясненные латинские тексты у Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. 1972. Л.: Наука, 1974. С. 117-119. Републикацию см. в кн.: Боровский Я. М. Opera philologica. Санкт-Петербург, 2009. С. 338-340. Заслуживает внимания стремление автора объяснить сниженную оценку Пушкиным своего знания латыни его подобным высказыванием о своем французском языке и творчестве в письме к Е. М. Хитрово от 20 июня 1831 г. (подл. по-французски): «... что за мысль явилась у Вас заставлять меня переводить русские стихи французской прозой, меня, не знающего даже орфографии. Кроме того и стихи посредственные. Я написал на ту же тему другие, не лучше этих и перешлю их Вам, как только представится случай» (XIV, 429).

⁶ Замечательно стремление Я. М. Боровского объяснить язык Пушкина из языка Пушкина. В данном случае дается ссылка на словарь, на метонимическое

Кажется, в разноречивой оценке творческих обращений Пушкина к латинскому языку играет роль неправомерное сближение их с переводами филологов-классиков советской эпохи. При всей профессиональной выучке и эквиметрической точности воспроизведения подлинника, им, как правило, не удавалось добиться его живого звучания, его вхождения в русскую поэзию, тогда как у Пушкина это получалось само собой. Тут очевидны и значение гениального дарования поэта и его желание создать совершенное произведение – презойти свой образец. Поэтому современные исследователи все чаще говорят теперь об одушевляющем Пушкина *aemulatio* – чувстве состязания с подлинником и с соперниками в самом *imitatio* древнего претекста⁷. Что касается общего освещения подражания Пушкина античному материалу, то здесь доминирует уже начатое в упомянутых статьях А. А. Тахо-Годи стремление соотнести греческие и латинские реминисценции в поздних произведениях поэта с христианской культурой автора.

Надо иметь в виду и убеждение Пушкина в бесконечной вариативности поэтических мыслей в литературе: «разум неистощим в *соображении* понятий, как язык неистощим в *соединении* слов <...> Мысль отдельно никогда ничего нового не представляет; мысли же могут быть разнообразны до бесконечности» (XII, 100). Это давало поэту смелость обращаться к античным писателям, чтобы повторить, продолжить в русском слове их поэтические находки и передать «предбудущим векам» классическую мудрость и гармонию слов. В следовании традиции знаменательно выделение Пушкиным творческих «подражаний» двух видов – общего заимствования темы с «надеждой на свои собственные силы, надеждой открыть новые

употребление слова *красота*: Словарь языка Пушкина. Т. 2. М., 1957. С. 396 (s. v. красота, 3).

⁷ Смирнов И. П. *Aemulatio* в лирике Пушкина // Kovács. A. – Nagy I. (ред.). Пушкин и Пастернак. Материалы второго пушкинского colloquiuma. Будапешт, 1989. С. 17-42; Войтехович Р. С. Тема «*Exegi monumentum...*» в русской литературе 18-19 веков // Русский текст (19 век) и античность. Russian Text (19 Century) and Antiquity. Ed. K. Kroo and P. Torop. Budapest – Tartu, 2008. С. 65-102; Geza Cocsis. Поэтическое бессмертие Горация и Пушкина как часть литературной традиции. 30 ода III книги од Горация и стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» // Русский текст (19 век) и античность... С. 103-127.

миры, стремясь по следам гения» и частного- обращения к отдельному произведению с «желанием изучить свой образец и дать ему вторичную жизнь» (XII, 82). Последний вид смелого, обновляющего перевода классического памятника хорошо объясняет В. Беньямин в статье «Задача переводчика»: «История великих произведений искусства несет в себе знание источников, в которых они берут свое начало, формы их реализации в эпоху автора и, наконец, их потенциально вечной жизни в последующих поколениях. Там, где обнаруживает себя этот последний момент, он именуется славой. Переводы, являющие собой нечто большее, чем передачу содержания, возникают на свет именно тогда, когда произведение достигает периода славы. Вопреки утверждениям плохих переводчиков, такие переводы не находятся в услужении у произведения, а скорее обязаны ему своим существованием. Жизнь оригинала каждый раз достигает в них еще более полного расцвета»⁸. Поэт-переводчик, сохраняя и претворяя источник в другом языке, освобождает его от одежды места и времени, как бы очищая и возвышая его и таким образом обеспечивая его жизнь в новом культурном круге с перспективой вечности и всемирности. Такое преобразование темы и мотивов Горация (Carm. III, 30) Пушкин осуществляет в своем стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», акцентируя духовно-нравственное содержание своей поэзии и вечную ее жизнь, «доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит» (III, 424). Известны, однако, и поэтические отклики Пушкина на классические мысли о бессмертии поэзии и в ранних произведениях Пушкина, где автор раскрывает читателю свой внутренний мир, его мечты и надежды:

Как знать, и мне, быть может,
Печать свою наложит
Небесный Аполлон;
Сияя горним светом,
Бестрепетным полетом

⁸ Беньямин В. Задача переводчика. Предисловие к переводу «Парижских картин» Бодлера / Пер. с нем. Е. Павлова // Klinamen. Сетевой аналитический журнал. Раздел «Инфра_Философия». Дата обновления: 23.10.2009. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://photounion.by/klinamen/fila10.html> (дата обращения: 3.02.2010).

Взлечу на Геликон.
Не весь я предан тленью,
С моей, быть может, тенью
Полунощной порой
Сын Феба молодой,
Мой правнук просвещенный
Беседовать придет
И мною вдохновенный
На лире вздохнет. (I, 78)

В лицейском стихотворении «Городок» (1815 г.) Пушкин цитирует «Памятник» Горация в собственном переводе: «Не весь я предан тленью» – «Non omnis moriar» (Carm. III, 30, 6)⁹. А первый стих этой же оды Горация был помещен Пушкиным в черновом варианте XL строфы второй главы «Евгения Онегина» (декабрь 1823) в переводе и в оригинале:

И этот юный стих небрежный
Переживет мой век мятежный.
Могу ль воскликнуть, <о друзья>,
Воздвигнул памятник <и> я
Exegi monumentum я. (6, 300)

Академик М. П. Алексеев в специальной монографии, в целом отзываясь небрежно о латинской эрудиции Пушкина, отмечал в этой цитате акцентологическую ошибку¹⁰. Но это неверно. Начало гораціанской оды перенесено из асклепидова стиха в ямбический контекст и акцентировано правильно по прозаическому ударению. Надо сказать, что в первоначальной редакции строф XL – XLa рядом с латинской цитатой была еще и адаптация топоса латинской словесности – шуточных посылок книги в посланиях Горация (Epist. I, 20, 10-13, II, 1, 266-270)¹¹:

⁹ Стихотворения Горация цитируются по: Q. Horati Flacci. Opera. Ed. S. Borzsák. Lipsiae: In Aedibus B. G. Teubneri, 1984.

¹⁰ Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг...». Проблемы его изучения. Л.: Наука, 1967. С. 88-89.

¹¹ Приведем эти места в переводе Н. С. Гинцбурга по кн.: Квинт Гораций Флакк. Собрание сочинений. СПб., 1993. С. 324, 333:

Но может быть – и это даже
Правдоподобнее сто раз,
Изорванный в пыли и в саже
Мой [напечатанный] рассказ,
Служанкой изгнан из уборной,
В передней кончит век позорный
Как Инвалид иль Календарь
Или затасканный букварь.
Но что ж: в гостиной иль в передней
Равно читатель <черны>.
Над книгой их права равны.
Не я первой, не я последний
Их суд услышу над собой,
Ревнивый, строгий и тупой. (6, 301)

Затем Пушкин отбросил эти строфы литературного происхождения вместе с латинской цитатой и оставил в окончательном тексте стихи биографического характера с мечтами о бессмертной славе.

Неоднократное отражение у Пушкина горацянских претекстов можно заметить и на его реминисценции пародийной концовки «Послания к Пизонам». Известный теоретический трактат «Ars poetica» заканчивался карикатурой неистового декламатора собственных стихов, который разгоняет всех, «неученого и ученого, а кого схватит, держит и зачитывает насмерть» – «indoctum doctumque fugat recitator acerbus; quem vero arripuit, tenet, occiditque legendo...» (Ars poet., 474-475). В 1825 г. Пушкин пишет шутовское стихотворе-

Будешь ты Риму мила, пока не пройдет твоя младость;
После ж, руками толпы захватана, станешь ты грязной,
Непросвещенную моль молчаливо кормить будешь, или
Скроешься в Утику ты или, сковав, тебя вышлют в Илерду.

Я не хочу и в стихах красоваться, коряво сплетенных,
Чтоб не пришлось мне краснеть за подарок бездарный и после,
Вместе с поэтом моим в закрытом ларце распростершись,
Быть отнесенным в квартал, продающий духи и куренья,
Перец и все, чему служат негодные книги оберткой.

ние, в котором мы подозреваем подражание картине Горация. Не опубликованное при жизни автора, оно вошло в Большое и малые академические издания как необработанный отрывок:

Что с тобой, скажи мне, братец?
Бледен <ты> как святотатец,
Волоса стоят горой!
или с девой молодой
Пойман был [ты у забора],
И приняв тебя за вора,
Сторож гнался за тобой?
Иль смущен ты провиденьем,
Иль за тяжкие грехи,
Мучась диким вдохновеньем,
Сочиняешь ты стихи. (II, 395)

Второй текст, спровоцированный карикатурой Горация, попал в 35 строфу четвертой главы «Евгения Онегина», что в свое время было отмечено В. Набоковым¹². Пушкин варьирует здесь с долей самоиронии, применяя к себе Горациев образ увлеченного рецитатора:

Да после скучного обеда
Ко мне забредшего соседа,
Поймав нежданно за полу,
Душу трагедией в углу. (6, 88)

Любопытно, что вскоре за этим в XXXVI строфе следует другая пародия, сохранившаяся в черновой рукописи и удержанная в исправленном виде при первой публикации 4 и 5 глав в 1828 году. Источник шуточного перепева узнается в первой оде Горация «К Меценату». Известный Пушкину французский переводчик так передает ее содержание: «... все люди имеют свои страсти, его собственное желание – заслужить место среди лирических поэтов, особенно если

¹² Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Вступ. статья, примеч. В. П. Старка. СПб., 1998. С. 372.

он заслужит одобрение его знаменитого друга»¹³. Пушкин начинает прямо с главной мысли и, не доводя изложение до личного мотива, заканчивает антиномическим выводом:

У всякого своя охота,
Своя любимая забота –
Кто целит в уток из ружья,
Кто бредит рифмами, как я,
Кто бьет хлопушкой мух нахальных,
Кто правит в замыслах толпой,
Кто забавляется войной,
Кто в чувствах нежится печальных,
Кто занимается вином –
И благо смешано со злом. (6, 597-598)

Как это не раз бывало со строфами литературного происхождения, Пушкин исключил XXXVI строфу четвертой главы при публикации полного текста «Евгения Онегина» в 1833 и в 1837 годах. А в 1833 году поэт обратился к переводу – более точному подражанию первой оды Горация к Мecenату, «переложение» свое поэт не закончил и остановился на 8 стихе из 36. Начало пушкинского перевода, а в некоторой степени и весь текст оды Горация «К Мecenату» (Carm. I, 1), С. А. Кибальник в 1979 году предложил считать источником стихотворения Пушкина «Из Пиндемонти»¹⁴. Темы сравниваемых стихотворений очень различны: в оде Горация речь идет о различных пристрастиях людей, которые определяют их жизнь, страсть самого автора – поэзия, а в стихотворении «Из Пиндемонти» говорится о политических правах выбора правительствующих лиц или свободы печати в контексте чаяний и борьбы современной европейской культуры, от этих прав, охарактеризованных иронически, автор отказывается в пользу другой свободы личности и других прав: «По прихоти своей скитаться здесь и там, Дивясь Божественным

¹³ Traduction des oeuvres d' Horace par M. René Binet. 4-ème ed., revue par M. Jannet. Paris, 1816. Т. 2. Перевод вместе с латинским текстом en regard был в библиотеке Пушкина (Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина. Библиографическое описание. СПб., 1910, № 1002).

¹⁴ Кибальник С. А. О стихотворении «Из Пиндемонти» (Пушкин и Гораций) // Временник пушкинской комиссии. 1979. Л.: Наука, 1982. С. 147-155.

природы красотам, И пред созданьями искусств и вдохновенья Трепеща радостно в восторгах умиленья»; при этом характеристика умиленного восприятия произведений искусства и красот Божественной природы показывает, что оценка действительности дается здесь с христианской точки зрения. Сходство разных текстов улавливается исследователем в общем принципе «исчерпывающего деления», который однако не заявлен в композиционном построении ни в том, ни в другом стихотворении. Отсюда осторожный вывод: «Поверить в то, что он – «из Горация», было бы трудно, хотя *отчасти* это действительно так. Впрочем, *скорее всего Пушкин и сам этого не сознавал*»¹⁵. Субъективный характер толкования С. А. Кибальника (скрытая цель исследователя, думается, состояла в том, чтобы вопреки Н. В. Измайлову затушевать, отрицать христианские истоки этого стихотворения, принадлежащего к Каменноостровскому циклу¹⁶, приписав импульс его Горацию) не был замечен Л. М. Аринштейном, который полностью принял его в разделе статьи «Незавершенные стихотворения Пушкина: Текстологические проблемы»¹⁷ и истолковал его с особенной грубостью. «Поэтический смысл» переведенного Пушкиным отрывка из оды Горация (Carm. 1, 1), состоит, по Аринштейну, «в противопоставлении истинных и ложных ценностей, поведения нравственного и безнравственного... если бы Пушкин не прервал перевод, он перешел к утверждению каких-то связанных с деятельностью Мecenата положительных ценностей, противостоящих тем, что избрали для себя «иные» и «другие». Но перевод завершен не был. Пушкин лишь назвал того, кому, судя по замыслу, должно было быть приписано достойное поведение, и успел перечислить ряд ложных ценностей: неоправданное ухарство («иные колесницу мчат в ристалище»), непомерно завышенную самооценку («мнят быть равны с божеством»), погоню за славой («победной ждут себе награды»), за титулами («на свою главу

¹⁵ Цит. ст. С. 155. Курсив мой. – Т. М.

¹⁶ Измайлов Н. В. Стихотворений Пушкина «Мирская власть» (Вновь найденный автограф) // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка, 1954. Т. XIII. Вып. 6. С. 553-555; Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л.: Наука, 1975. Глава «Лирические циклы в поэзии Пушкина конца 20-30-х годов».

¹⁷ Аринштейн Л. М. Незавершенные стихотворения Пушкина (Текстологические проблемы) // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XIII. Л.: Наука, 1989. С. 299-301.

собирают титла знамениты”), за скоротечной известностью (“непостоянные квириды им придают молву”)¹⁸.

Нельзя отделаться от впечатления, что толкователь не имеет в виду пушкинского слова. Собираясь переводить первую оду к Меценату (Carm. I, 1), Пушкин следовал тексту с его темой *varia hominum studia* и не собирался обличать ложные ценности. Даже шутовское ее предложение в XXXVI строфе четвертой главы «Евгения Онегина» начиналось нейтральной фразой «У всякого своя охота, Своя любимая забота» (6, 370), открывающей ряд иронических примеров. Менее всего он был склонен обличать участие в Олимпийских состязаниях, которое интерпретатор называет «неоправданным ухарством». Напротив, чувство состязания было ему близко, что показывают его «анфологические» эпиграммы на статуи атлетов и состязательные метафоры, применяемые для характеристики отношения к жизни его и его друга Дельвига:

Мы рождены, мой брат названный,
Под одинаковой звездой.
[Киприда, Феб и Вакх румяный]
Играли нашею судьбой,
Явились мы рано оба
На ипподром, а не на торг,
Вблизи Державинского гроба,
И шумный встретил нас восторг. (3, 249)

Отметим здесь знание Пушкиным первоначального импульса античных состязаний – после гробовой тризны.

В конце 1832 или в начале 1833 года Пушкин вновь обращается к оде Горация к Меценату (Carm. I, 1) («перевод предположительно датируется началом января 1833 г.» по Н. В. Измайлову в БАИ, переиздание в издательстве «Воскресенье», 3, 1242), уже договорившись с А. Ф. Смирдиным об издании полного «Евгения Онегина» в 1833 году и подвергнув редакторской правке текст, исключив среди других и шутивно-литературную XXXVI строфу из четвертой главы. Уже это одно свидетельствует о серьезном стремлении автора дать точный перевод текста, чтобы обеспечить ему жизнь в русском слове

¹⁸ Цит. ст. С. 300-301.

в состязании с иными перелагателями. До Пушкина известны 8 переводов оды Горация – М. Н. Муравьева, И. Чернявского, С. А. Тучкова, В. В. Капниста, А. Котельницкого, Д. Самсонова, С. К. Васильковского¹⁹, В. Орлова. За исключением последнего, воскрешающего асклеиадов стих подлинника, все переводчики используют 4Я или чередующиеся 6Я и 4Я и значительно распространяют 36 строк латинского текста. Что касается манеры перевыражения подлинника, то менее всего можно было бы ожидать от Пушкина контаминации строк старых переводов. Напротив, надо думать, автор вчитывался в латинский текст и напряженно искал его эквиваленты для русского читателя.

До нас дошел черновой автограф перевода 8 начальных строк текста с правкой Пушкина. Перевод автора не эквиметричен и не эквилинеарен. Пушкин переводит асклеиадов стих Горация традиционным 4Я и поскольку асклеиадов стих (—' — —' U U —' // —' U U —' U Ū') включает в себя 12 слогов, а 4Я только 8, излагает содержание 8 стихов подлинника в 12 стихах перевода. Тем не менее очевидно стремление автора к лаконизму – уложить обращение к адресату в 2 строки оригинала. Первоначальный вариант перевода был ближе к латинскому тексту:

Maecenas atavis edite regibus,
o et praesidium et dulce decus meum
[Меценат, выдающийся потомок царей,
Ты и защита и милое мое украшение...]
Царей потомок Меценат,
О ты, мой вождь и покровитель...

В новом варианте перевода Пушкину удалось найти емкое и точной определение своего высокого друга. К 23 году – году издания 3 книг его од с начальной одой к Меценату и заключительной к Мельпомене (Ехегі monumentum, Carm. III, 30) исполнилось 15 лет

¹⁹ См.: Свиясов Е. В. Античная поэзия в русских переводах XVIII-XX вв. Библиографический указатель. СПб., 1998. С. 274 (7453-7458); Рассмотрение предшествующих переводов см. в статье В. М. Смирин «Пушкинский набросок перевода оды Горация к Меценату (Carm. 1, 1) // Вестник древней истории. М.: Наука, 1968. № 1. С. 129-135. Ссылки см. в цит. статьях С. А. Кибальника (С. 150-151) и Л. М. Аринштейна (С. 299, 300).

со времени знакомства и дружеского общения с Меценатом с 38 г. «Мой покровитель стародавний» включает в себя значение защиты и значение гордости:

Царей потомок Меценат,
Мой покровитель стародавний...

Следующие 6 стихов развивают дифференцированную характеристику различных страстей человеческого рода в картинах победы в Олимпийских состязаниях или во время выборов в Риме на высшие должности:

Sunt, quos curriculo pulverem Olympicum
collegisse iuvat metuque fervidis
evitata rotis palmaque nobilis
terrarum dominos evehit ad deos;
hunc si mobilium turba Quiritium
certat tergemini tollere honoribus...
[есть такие, которым нравится собирать на колеснице
Олимпийскую пыль, и мета, избегнутая
жаркими колесами, и благородная пальма
возносит их до богов, властителей мира,
этому [нравится], если толпа непостоянных квиритов
борется возвысить его тройными почестями...]

В синтаксисе оды Горация была некоторая сложность для легкого восприятия перевода, а именно пассивные конструкции, в которых излагаются пристрастия людей. Пушкин оставил эту трудность без воспроизведения, используя глаголы в активной форме и таким образом достигая большей живости изложения. Примером может послужить пушкинский перевод 7 и 8 строк:

Другие на свою главу
Сбирают титла знамениты,
Непостоянные квириты
Им предадут молву.

«Титла знамениты» имеют в виду три почетные должности – эдила, претора и консула, на которые избирали через определенные сроки, таким образом Гораций дает суммарную картину, а Пушкин ее усиливает, давая множественное число «другие» вместо единственного «hunc»: «непостоянные квириды» должны сохранить доброе мнение о кандидатах и передать другим избирателям (добрую? а если нет? – тут источник драматизма) свою «молву».

Самая живая и яркая картина, переданная Пушкиным в своем переводе – это изображение победы на Олимпийских ристаниях. Кстати, Пушкин опустил в своем переложении определение олимпийский, может быть, потому, что считал его метафорическим обозначением римского цирка, или потому, что относил его к знаменитому гомеровскому топосу. В 1830 году он читал «Илиаду» Гомера в переводе Н. И. Гнедича, где в XXIII песне изображались погребальные игры по Патрокле и Нестор давал советы Антилоху, как обогнуть мету:

Левый же конь твой пускай подле самой меты обогнется
Так, чтоб, казалось, поверхность ее колесо очертило
Ступицей жаркою. Но берегись, не ударься о камень...²⁰

ἐν νύσση δέ τοι ἵππος ἀριστερὸς ἐγχαίψθῃτω,
ὥς ἂν τοι πλήμνη γε δοάσsetαι ἄκρον ἰκέσθαι
κύκλου ποιητοῖο· λίθου δ' ἀλέασθαι ἐπαυρεῖν. (Ψ 338-340)²¹

Комментаторы объясняют: «ἄκρον – край, поверхность меты; возница обогнет ее так близко, чтобы показалось, что ступица колеса касается поверхности камня»²².

Эпитет «жаркий» добавлен Гнедичем, чтобы показать разогретые бегом колеса²³. Первоначально слово «жарким» определяло колесо и у Пушкина:

²⁰ Гомер. Илиада. Изд. подготовил А. И. Зайцев. Л.: Наука, 1990.

²¹ Цитируется по изданию: Homers Ilias. Für den Schulgebrauch erklärt von K. Fr. Ameis. Bearbeitet von Dr. C. Hentze. Leipzig: Verlag von B. G. Teubner, 1884.

²² Op. cit. P. 58.

²³ См. комментарий А. И. Зайцева к стиху Ψ 340. Цит. изд. С. 528.

И заповеданной ограды касаясь жарким колесом.

Если действительно Пушкин помнил это место, возможно определение Мецената «стародавний» было следом гомеровского дикции:

Царей потомок Меценат,
Мой покровитель стародавний,
Иные колесницу мчат
В ристалище под пылью славной
И заповеданной ограды
Касаясь жарким колесом...

Но потом вдруг он нашел редкое, единственное во всей практике предложения этого стихотворения, только два раза употребленное и у самого Пушкина, причастное определение «жгучим» в значении: очень горячим, обжигающим и закончил работу над переводом:

И заповеданной ограды
Касаясь жгучим колесом,
Победной ждут себе награды
[И] [мнят быть] [равны] [с божеством]

Отметим субъективный оттенок последнего стиха, что смягчает подлинник, где сказано «и возносит их к богам, владыкам мира». Жаль, что этот смелый перевод не был закончен и остался среди незавершенных отрывков пушкинской поэзии.

Обращаясь к воссозданию оды Горация к Меценату, Пушкин, в порядке состязания с подлинником и другими его преложателями, использовал русскую метрическую и ритмическую традицию, трансформировал синтаксис, перестроил картины и создал таким образом яркий опыт перевыражения Горация в русском слове, показав, кстати, и свое уникальное «чувство древности». Вот как комментирует этот пушкинский талант современный филолог-классик: «Особенно ярко сказывается «чувство древности» Пушкина в его переводах из античных авторов. Так в наброске перевода оды Горация I, 1 («Царей потомок, Меценат», 1833) в строках 5-6 «И заповеданной

ограды Касаясь жгучим колесом» слово «ограда» может означать только длинную низкую каменную стенку, шедшую по продольной оси римской арены, а вносящий сакральный оттенок эпитет «заповеданная» имеет единственное, кажется, объяснение в том, что под оконечностями этой стенки находились маленькие подземные святилища бога Конса, покровителя урожаев и конских ристаний. Обе детали отсутствуют в подлиннике... но из неустановленного источника в сознании поэта возникает отчетливая картина римского цирка, что, накладываясь на предельно сжатое описание Горация, она дополняет, расцвечивает и даже уточняет его»²⁴. Этим признанием высшей верности пушкинского перевода со стороны специалиста нам бы и хотелось закончить предпринятый нами анализ в честь А. А. Тахо-Годи, моей всегдашней собеседницы по всем научным и учебным вопросам, «стародавнего» и вечного Учителя.

²⁴ См.: Кнабе Г. С. Античная литература // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XVIII-XIX: Пушкин и мировая литература. материалы к «Пушкинской энциклопедии». СПб.: Наука, 2004. С. 28-29.

ОСОБЕННОСТИ РОЛИ И ФУНКЦИИ ПРЕДМЕТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЖ. Р. Р. ТОЛКИЕНА

Мир, окружающий человека на протяжении всей его истории, состоит из различных по характеру явлений — стихий, природных объектов, живых существ, предметов. Каждая составляющая по-своему определяет жизнь человека, с каждой он вступает в особые отношения. Предмет среди этих явлений имеет особый статус, так как в отличие ото всех остальных аспектов существования, предмет последует человеку, зависит от него, им обуславливается. Это двусторонние отношения: человек зависит от окружающих его предметов (их наличия или отсутствия), но в первую очередь предмет зависит от человека.

С появления орудий, инструментов человечество отсчитывает свою историю. Предмет утверждает достоинство человека, его божественный статус в окружающем мире: человек — творец предмета, его начало и причина, и через предмет человек изменяет сам мир.

С другой стороны, предмет становится частью этого мира, от которого человек по-прежнему отделен; становясь связью человека и мира, предмет в не меньшей мере удаляет человека от общности мира.

По этим причинам роль предмета всегда была значительна, хотя не менее значительно менялась с ходом истории. В отдельных культурах представления о предмете и его месте в мире могут быть почти противоположными: от утверждения абсолютной ценности творений человеческих рук до видения в земных благах главного зла.

Следует оговорить, что, поскольку предметом исследования выступило произведение Дж. Р. Р. Толкиена, профессора Оксфордского университета, человека, глубоко приверженного классическим европейским ценностям, мы будем опираться при рассмотрении особенностей предмета в его творчестве на европейскую культуру, и укоренившиеся в ней представления о вещах. Такие же культурные схемы, как основанное на учении о реинкарнации представление о единстве живой и неживой природы, человека, животного и вещи, органики и неорганики, остаются за рамками данного исследования.

Европейская культура многослойна, на протяжении веков она впитала и объединила многочисленные, порой противоречащие друг другу принципы. Так, для ранних культур Европы, как и для любого другого родо-племенного сообщества, предмет ценен, а потому наделяется божественными и сверхъестественными чертами. Для культурного расцвета Древней Греции важны практические функции предмета, а не его магическая составляющая. Христианство приносит презрение к вещам; языческое наследие требует выделять особые предметы, предполагающие почтительное отношение.

Однако даже на протяжении Средневековья предмет оставался близким, понятным, родным для человека. Он был частью мира, а мир был пусть ужасающ и зол, но знаком. Место предмета в сознании человека начинает меняться с периода Возрождения. Сперва он видится необходимым инструментом в изменении мира. Но накапливающиеся открытия и появляющиеся предметы становятся все более сложными, менее понятными, и, наконец, уже не вполне подвластными человеку.

Все эти процессы находят отражение в литературе каждой из соответствующих эпох. В двадцатом веке после длительного периода затухания роли предмета, обусловленного христианской догматикой, предмет врывается в литературное произведение, отвоевывая себе первый план. Писатели-экзистенциалисты пытаются отразить ощущение ужаса перед лицом мира вещей и мира природы, которые к этому моменту оказались равно оторваны от человека. Между вещью и человеком встает непроницаемая стена, и из философских размышлений Э. Канта эта недостижимость превратилась в личный опыт целых поколений. Сартр писал «Лишь вещи есть, они целиком вовне, сознание же делается...»¹, Роб-Грийе несколько позже: «Вокруг нас присутствуют вещи»².

То, что было органически связано как причина и результат, оказалось отрезано друг от друга. Человек лишается возможности понимать вещи, их смысл. Предмет отделен от человека за счет принципиальной разницы сторон: человек — это сознание; вещь сознания лишена, а значит, человек лишен возможности познать предмет изнутри при помощи общения.

¹ Ж. П. Сартр «Тошнота»

² А. Роб-Грийе «В лабиринте»

Произведения Дж. Р. Р. Толкиена представляют собой особенно интересный материал для изучения, поскольку, будучи созданными в XX веке, они уже отражают описанную выше проблематику, автору известно и понятно такое восприятие мира, что не могло не отразиться на образах; с другой стороны, автор намеренно выстраивает свое произведение по архаичным образцам, эффективно воспроизводя сознание человека не нашей эпохи.

Кроме того, именно предмет занимает центральное место в эпосе «Властелин Колец». Это может равно вытекать как из мифологического, древнего взгляда на предмет, так и из ощущения современного человека, что вещи властвуют над ним (заметим, тема власти постоянно присутствует в образе Единого и других Колец).

Итак, каковым же предстает предмет под этим особым взглядом — из прошлого и из настоящего одновременно? На что больше похоже Единое Кольцо — на щит Ахилла или на атомную бомбу? Постараемся наметить основные черты.

Объектом рассмотрения является кольцо, предмет, появляющийся в цикле произведений Дж. Р. Р. Толкиена — «Сильмариллион» (1977), «Хоббит, или туда и обратно. Повесть» (1937), «Властелин Колец» (1954-55). «Хоббит, или туда и обратно» — одно из малых фантастических произведений Дж.Р.Р. Толкиена. Кольцо Всевластия выступает центральным сюжетообразующим элементом книги «Властелин Колец», но впервые возникает в «Хоббите...».

Итак, Кольцо, по намеченной логике, должно обладать чертами предмета волшебного, наследуя фольклорно-мифологической традиции; отражать опыт человечества, связанный с новыми предметами — страх перед их потенциальной опасностью, предельную материальность, отдельность предмета от мира людей.

«Властелин Колец» описывает эпическую коллизию глобальной войны. Это произведение перенимает многие особенности древних эпосов. Кольцо, ключевой предмет в развитии военной ситуации, имеет традиционный для предмета в эпосе статус особо значимого, кроме того, аналогично щиту Ахилла или золоту клада Вельсунгов, данному Локи в качестве виры за смерть отца Регина, оно имеет божественное происхождение. Однако функции и значение Кольца отличаются от роли предметов такового рода. Предмет в эпосах древности связан с владельцем, его ценность состоит в том, какую

службу он сослужит своему хозяину. Его роль второстепенна — предмет или помощник героя, или то, что приносит ему смерть. Кольцо из клада Нибелунгов могло принести проклятие и погубить героя; но оно не могло заставить его взять себя или клад, если тот не желал этого. Кольцо в древнем эпосе, будучи особым и необычным предметом, оставалось предметом. Все “особенности” проистекали из действий людей (или богов), вложивших в него определенные, выражаясь современным языком, “программы действий”. Однако сам по себе предмет не значим: он не может изменяться или начать играть не отведенную ему первоначально роль (клад Нибелунгов приносит зло всем, а не действует выборочно).

Кольцо Темного Властелина, напротив, может как приносить вред владельцу, так и спасти его или его друзей, что неоднократно случается с Бильбо и Фродо Бэггинсами, но не с Голлумом или Исиддуром. Кроме того, ключевое отличие Кольца от предметов в древних эпопеях состоит в его постоянной центральной роли в произведении. Оно самозначимо, его судьба влияет на всех, населяющих описываемый мир. Эта черта скорее сближает его с представлением о предметах человека из XX столетия, чувствующего в определенных вещах угрозу для своего существования мира. В «Эддах» же мы не найдем вещи, которая послужила бы причиной конца мира, хотя таковой описан.

Образ Кольца возникает в книге «Хоббит, или Туда и обратно», являющейся волшебной повестью. Кольцо занимает в ее сюжете достаточно незначительное место, однако приобретает черты предмета, свойственные магическим предметам в волшебных сказках. Оно возникает как предмет без прошлого, который просто «находится» (причем дважды: сперва «приходит» к Голлуму, потом попадает под руку Бильбо). Оно оказывается полезным инструментом в приключениях — колечко делает невидимым, позволяя избегать опасности. Аналогия с многочисленными волшебными предметами-невидимками очевидна.

Лишь во «Властелине Колец» полностью проявляются магические силы Кольца.

Основная характеристика предметов в сказках — их «волшебность». Однако стоит отметить еще одну черту — узкую «специальность» заложенной в такие предметы магии: они даже оказываются

взаимозаменяемы. Причем сама функция вполне «естественна»: накормить героя, привезти его или указать дорогу. Характерная черта волшебного предмета состоит в его соотносимости с определенной функцией — указывать дорогу, кормить, довезти героя до места. Всюду в сказках предмет выступает как помощник главному персонажу³, является способом добраться к цели, символом определенного знания, которое позволяет получить другой желаемый объект. Кольцо Врага у Толкиена, во-первых, как раз таки опасно и может приносить герою вред. Во-вторых, его характерная особенность состоит в том, что Кольцо несводимо к какой-либо одной функции или роли в повествовании: оно не помощник, не оружие, даже не только инструмент уничтожения Врага. Его смысл нельзя обозначить какой-либо задачей или целью. Его цель в замыслах его создателя Гортхаура никому не известна. Мы не знаем, была ли у Кольца какая-то единственная «функция», но знаем, что заложенная в него сила огромна, и способна расти, ведь каждый, пользующийся Кольцом, получит от него «сообразно своим силам⁴», но и оно от владельца может получить силы иные, чем в него были заложены: «And over me the Ring would gain a power still greater and more deadly.»⁵ Даже в руках Братства оно не превращается лишь в оружие против Врага, поскольку не в силах Братства умалить его природу. Кольцо — враг для Братства (оно постоянно притягивает к ним слуг Темного Владыки, имеющих только одну цель — убить их); оно враг для Фродо, приводящий его на край гибели, навеки лишаящий покоя и возможности исцеления. Но оно же — защитник, спасающий Фродо и хоббитов из рук Умертвий, заставляющий Сэма собраться с духом,

³ «Легко заметить, что эти предметы представляют собой лишь частный случай помощника. Помощники, живые существа и волшебные предметы, принципиально функционируют совершенно одинаково. Так, конь переносит героя за тридевять земель, но то же достигается при помощи ковра-самолета или сапог-самоходов. Конь побивает рать, но и дубина сама бьет врагов и даже берет их в плен и т. д. Конечно, есть специфические помощники и специфические предметы, которые не могут быть взаимозаменяемы. Но эти отдельные случаи не нарушают принципа морфологического родства их.». В. Я. Пропп, «Исторические корни волшебной сказки»

⁴ «The ring had given him power according to his stature.” Fellowship, Book I, Ch. 2, “Кольцо дало ему силысообразно его облику”.

⁵ “И через меня Кольцо обретет силу еще более великую и смертоносную”. Fellowship, Book I, Ch. 2

когда тот полагает своего друга и мастера погибшим, и не дающий провалиться их миссии.

Таким образом, вариативность магии Кольца – основное отличие данного магического предмета от волшебных предметов в сказках или аналогичных им предметов-функций в других “волшебных мирах”, например, от артефактов в компьютерных играх. Разнообразие, различное поведение в зависимости от ситуации оказывается наиболее существенной стороной образа Единого Кольца, и оно проявляется на разных уровнях, в том числе и в сфере волшебства. Это свидетельствует о том, что Кольцо ни в коей мере не является “функцией” в канве событий, способной лишь выполнить какую-либо одну задачу. Напротив, оно способно решать различные задачи.

Так каково же Кольцо само по себе, если рассмотреть его не только как сумму черт предмета из разных литературных родов?

Итак, Кольцо:

- Кольцо во «Властелине Колец» – не вспомогательный элемент сюжета, а его первопричина. Это первостепенный по значению элемент истории. Именно из-за возможности владеть Кольцом разворачиваются военные действия. Оно:

- может причинять вред, например, сводить с ума (Голлума, Боромира)

- может защищать, спасать, помогать (Бильбо, Фродо, Сэму)

- обладает волей (а также сознанием)

- способно этой воле подчинять (править остальными Кольцами и их владельцами)

- воспринимается персонажами как живое существо, которое может погибнуть, которое нужно спасти или, напротив, его можно ранить

- с этим существом можно общаться

- это существо (воля) может заставить другого держать свое слово, но может и исказить смысл данного слова

- способно обманывать и предавать

- способно различно вести себя по отношению к разным персонажам

Любое кольцо — предмет, имеющий чрезвычайно малый даже для предмета круг возможных действий. Однако Единое Кольцо всячески пытается преодолеть границы присущих этому предмету действий. Так, Кольцо «само может о себе сказать»; его перемещения в пространстве постоянно описываются повествователем, как

имеющие внутреннюю мотивацию: мы говорим мячик (кольцо) укатился / лошадь (кошка) ушла, так как у животных это действие обосновано их желанием. В книге же регулярно встречаются сочетания «кольцо пришло, кольцо ушло». Толкиен использует при описании Кольца огромный спектр предикатов. Имеется целый ряд предикатов, описывающих действия, нетипичные для предмета, то есть подразумевающих действующее лицо, антропоморфного агенса. Такие предикаты употребляются в прямой и несобственно-прямой речи персонажей, осведомленных о природе Кольца. Так, Гэндальф, разъясняя Фродо свойства Кольца, неоднократно использует предикаты, указывающие на наличие у Кольца воли, желаний, наконец, воспринимающего сознания. В целом эту группу можно назвать ментальными предикатами. Всё перечисленное, если и не относится в традиционном представлении исключительно к человеку, то по крайней мере никак не может относиться к предмету, то есть заведомо бездушному, вещи. Гэндальф подчеркивает сразу два свойства Кольца: действовать по-разному в зависимости от того, к кому оно применяет это действие, и собственно способность Кольца менять свои решения, определять свои действия. Это мы и называем поведением⁶, а поведение свойственно разумным существам.

Именно во влиянии на сюжет мы наблюдаем отличие Единого от других, даже значимых для сюжетообразования, предметов в литературе: Кольцо влияет на него не только опосредованно, в пределах возможного для предметов в реальном мире, но и напрямую. Развитие событий зависит не только от того, в чьих, добрых или злых (и даже в чьих именно добрых) руках оно находится, но и от того, каковы отношения Кольца и данного персонажа. Однако его влияние на развитие событий — не авторская прихоть, не принцип *deus ex machina*; мы видим сознательное, мотивированное, направленное на определенную (и весьма постоянную цель) воздействие самого предмета в согласии с законами мира, которому этот предмет принадлежит. А подобное отношение к развитию сюжета в абсолютном

⁶ Поведение — способность ... изменять свои действия под влиянием внутренних и внешних факторов. Определение дано по Биологический энциклопедический словарь / под. ред. М.С. Гилярова — второе, исправленное. — Москва: Советская энциклопедия, 1989. — С. 483.

большинстве литературных произведений — прерогатива персонажей.

Кольцо – предмет.

Данное утверждение, казалось бы, излишне, настолько оно самоочевидно. Тем не менее, уже предварительное исследование образа, и детальное рассмотрение полного списка номинаций и предикатов Кольца в эпосе подтверждают правомерность постановки вопроса: Предмет ли Кольцо Всевластия?

Все контексты можно разделить на три группы, в зависимости от того, выступает ли в них Кольцо как предмет или - нет.

Первую группу составляют те случаи, когда Кольцо представлено как нормальный предмет (= обычное кольцо), то есть и глагол, и номинация описывают предмет и характерное для него действие. Естественно, что невозможно избежать описания Кольца как предмета, если все же необходимо, чтобы читатель опознавал его как кольцо, то есть без полной трансформации его в какой-то другой объект. Это база создания образа, включающая его в физический мир произведения. К этой группе относятся ситуации типа: Кольцо было выковано. Я его выбросил.

Как можно заметить уже по этим примерам, контексты такого типа сконцентрированы в тех ситуациях, когда Кольцо выступает как объект действия какого-либо персонажа. Оно находится в позиции объектного падежа: пассив в индо-европейских языках предполагает совершения действия над предметом. Конструкций, в которых Кольцо было бы субъектом действия, но при этом описывалось как предмет, значительно меньше. Среди них: *His burden was less heavy on him. If it were a thing that gave advantage in battle. That Thing's on him*⁷.

К этой группе было бы логично отнести предикаты, описывающие вес Кольца, ведь обычное кольцо обладает весом, однако, как показало исследование I тома, предикаты, описывающие вес и размер Кольца, настолько тесно связаны с ментальной сферой персонажа, владеющего Кольцом, что отнесение этих предикатов к описывающим Кольцо как обычный предмет, очевидно неправомерно. Их скорее можно отнести к группе смешанных ситуаций, где пред-

⁷ «Его ноша стала немного легче», «Если это была вещь, дающая преимущество в битве», «Эта вещь на нем». Перевод здесь и далее мой.

кат описывает предмет, а номинация активное действующее лицо, или наоборот, как в ситуации *this Thing, the Thing that drove your brother mad with desire*⁸. *Drive mad* – сводить с ума, очень выразительный, яркий глагол, семантика которого тесно связана с ментальной и духовной деятельностью человека. Этот пример представляет достаточно обширный класс контекстов, которые нельзя отнести ни к описывающим Кольцо как предмет, ни к наделяющим его самостоятельным персонажным статусом. Отметим, все эти контексты весьма близки по семантике: Сводить с ума, соблазнять / искушать, пытаться (*drive mad, lure, tempt*). Все перечисленные глаголы описывают активное действие, предполагающие деятеля-человека. Однако в европейской культуре настолько глубоко укрепилось психологическое явление зависимости от вещей, что мы не воспринимаем как необычные, метафорические, фразы вроде «Это платье сводит меня с ума», «Его соблазнили технические параметры этой машины». Однако очевидно, что в основе их всех лежит перенос, структура которого вполне прозрачна для христианской культуры: соблазняет Дьявол, он же владеет всем вещным в мире = соблазняют вещи, но за ними лежит, возможно, самый активный деятель из возможных. Фактически Толкиен как бы реализует некоторые метафоры. Стоит отметить, что образ Кольца представляет собой явление совершенно иное, чем аллегория / персонификация. Аллегии предполагают другую исходную установку читателя и другое положение предмета в мире произведения. Колобок – не предмет с самого начала: он может говорить и воспринимается как персонаж с самого начала. Его функциональная нагрузка в системе сказки – аллегорически представить ребенка. И, что самое важное, именно ребенка в нем видят Бабка и Дедка. Точно таким же образом в другой сказке ребенок может превратиться в козленочка: животное в данном случае не перестанет восприниматься как персонаж. Кольцо не превращается в аллегию: читатель не опознает в нем персонажа. Задача аллегии – быть прозрачной, иначе она теряет смысл.

Из материала произведения вытекает необходимость рассматривать контексты «Кольцо ушло/пришло/спаслось» не как случаи стершейся языковой метафоры, переносного употребления к пред-

⁸ «Эта вещь, вещь, которая заставила твоего брата обезуметь от жажды {обладать им}.»

мету глаголов, требующих активного агенса, а как вписанные в общую структуру образа элементы, наравне с другими случаями поддерживающие описание Кольца как персонажа.

Третья группа – контексты, в которых предикат, употребленный с данным предметом, с языковой (и внеязыковой фактической) точки зрения не совместим с предметом в роли агенса. Именно эта группа и представляет собой те «параллельные места», те точки несоответствия, которые текст систематически предоставляет. Эта группа собрана по семантическому критерию, к ней отнесены и те случаи, когда предикат выражен простой глагольной конструкцией, и случаи с предикатом, выраженным субстантивной группой (составное именное сказуемое), как во фразе *Precious is their master* («Прелесть их владыка.»).

К этой группе относятся в том числе:

- One Ring to rule them all. (Повествователь / Саурон)
- It may twist your words. (Фродо)
- Sméagol will save it.
- But the Precious holds the promise. (Фродо)
- Precious will be angry. (Фродо)
- We'll promise to It. (Голлум)
- He knew that the Ring would only betray him (Сэм)
- It would have overthrown you. (Гэндальф)
- In that time the Ring might aid him. (Повествователь)
- Already the Ring tempted him, gnawing at his will and reason. (Пов.)
- He musn't hurt Preciouss. (Голлум)
- Gollum's shrivelled mind and body, enslaved to that Ring⁹. (Сэм)

Представляется весьма маловероятным, что абсолютно все, при том столь очевидные случаи использования глаголов, требующих антропоморфного агенса, можно списать на метафоричность языка автора и аллегоричность данного предмета. Напротив, именно обилие подобных контекстов во всех трех книгах эпопеи и в повести «Хоббит, или туда и обратно» подтверждает, что это один из спосо-

⁹ Одно Кольцо, чтобы править ими всеми. Оно может исказить твои слова. Смеагорл спасет его. Но Прелесть держит обещание. Прелесть разозлится. Мы обещаем Ему. Он знал, что Кольцо лишь предаст его. Оно бы тебя свергло. В этот момент Кольцо могло оказать ему помощь. Кольцо уже мучило его, терзая его волю и разум. Он не должен ранить Прелесть. Иссохшие душа и тело Голлума были в рабстве у этого Кольца.

бов создания образа, его внутренняя природа. Все эти системные, разноуровневые (мы наблюдаем «персонажность» Кольца в плане выражения, на уровне восприятия его другими персонажами и на уровне его собственных действий в плане выражения — на уровне текста произведения) факты свидетельствуют о том, что произведение организуется посредством концептуальной метафоры «Кольцо — это личность».

Как уже отмечалось, особенно значимым аргументом в пользу персонажного статуса Кольца, а также наиболее интересным для раскрытия содержательной стороны произведения является тот факт, что Кольцо различно для разных персонажей. Заметна дистрибуция предикатов Кольца по признаку «предметность / персонажность» по точкам зрения различных персонажей. Кольцо осмысливается как предмет теми персонажами, которые а) относятся к нему негативно (Сэм, Фарамир), б) относятся с пренебрежением к его опасности, видя в нем в первую очередь оружие, способ уничтожить Саурона (Дэнетор, Боромир). Таким образом наблюдается сближение семантического поля «плохое» («неважное», «опасное») с описанием Кольца в терминах предмета.

Напротив, Кольцо представлено как объект (субъект?), обладающий собственной волей преимущественно в речи тех, кто а) знает его значительно лучше других (Гэндальф, Голлум), б) в речи повествователя (Фродо?).

Это отличает Кольцо от «магических» предметов, якобы наделенных волей или собственной жизнью, но по сути являющихся переносом каких-либо черт или свойств персонажа-человека на некий предмет-накопитель (так, «волю» к убийствам отеля в «Сиянии» С. Кинга можно объяснить переносом концентрированной негативной эмоциональной составляющей людей, в этом отеле погибших, на само место). Здесь же наблюдается влияние взаимное, кроме того, Кольцо действует абсолютно выборочно — все меняются при контакте с ним по-разному. По сути дела, Кольцо выявляет внутренний потенциал персонажа: так, Саруман был «соблазнен Кольцом» и лишился своего величия без какого бы то ни было контакта с самим Кольцом.

Особенно сложны отношения Кольца с его Хранителем, то есть по сути с тем, кто и уничтожит Кольцо — Фродо Бэггинсом. Фродо

чувствует то, что чувствует Кольцо; Кольцо зачастую принимает некие решения, которые определяют действия Хранителя. В определенном роде они начинают представлять собой единое существо, объединенное ментально и эмоционально, но разделенное границами физических объектов, что прослеживается на уровне языка произведения¹⁰.

Единое Кольцо «Властелина Колец» Дж. Р. Р. Толкиена показывает возможность перехода предмета в персонаж при сохранении им чисто предметной природы, что на данный момент видится уникальным явлением в литературе. Распространенные в современном фэнтези «магические артефакты» имеют ярко выраженную тенденцию возвращения к более элементарной «магичности»: слияние персонажного и предметного в них стремится вновь распасться. Такие артефакты обладают строго определенным «набором магических функций», что возвращает их к истокам – магическому предмету в фольклорной сказке. В противном случае предмет трансформируется в (фольклорного же) персонажа-волшебного помощника, так же обладающего ограниченной сферой действия. Таковы Единорог, помогающий королевскому роду Амбера («Хроники Амбера» Р. Желязны), Пантера Гвинивера из «Забытых Королевств» Р. Сальваторэ, драконы, дающие подсказки на просторах многих магических миров (например, в «Волшебнике Земноморья» и других произведениях цикла о Земноморье У. ЛеГуин) и другие волшебные существа. Особенно интересен случай из «Забытых королевств»: главный герой находит статуэтку пантеры, которая может вызывать духа в облике этого животного. Пантера – «типичный джинн»: она обязана подчиняться тому, кто владеет статуэткой. Однако в результате дружбы с главным героем пантера (которая на всем протяжении произведения выступает как персонаж) оказывается способна преодолеть связь со статуэткой, а также помогать только данному персонажу (уже по собственной воле), то есть она окончательно пре-

¹⁰ Причем, как мы заметим далее, это объединение проводится в обе стороны: как Кольцо объединяется с Фродо, так и Фродо, будучи единым целым с Кольцом, может «заменяться» в речи персонажей номинацией Кольца: *If the Ring is to set out, it must go soon. But those who go with it must not count on their errand being aided by war or force.* («Братство Кольца», Совет Элронда). «Если Кольцо должно отправиться в путь, оно должно уйти скоро. Но те, кто отправится с ним, не должны рассчитывать на помощь их миссии военными силами.

вращается в полноценного персонажа, потеряв свою предметную природу (в одной из книг статуэтка оказывается уничтожена, разорвав эту связь).

Хотя данный обзор представляет собой лишь краткое изложение темы, он позволяет поставить определенные вопросы, например — является ли предметом рассмотренный литературный образ? Как показало исследование, мы имеем дело с совершенно особым предметом, к которому слова «вещь», «предмет» применимы лишь относительно, за неимением более точных. Фактически же мы имеем дело с «живым предметом», то есть объектом, наделенным собственным сознанием, волей, желаниями, даже пристрастиями. Этот образ нарушает четкое существующее деление на антропоморфные и неантропоморфные объекты мира, так как по сути представляет собой промежуточную ситуацию: это действительно предмет, ограниченный действиями, физически доступными обыкновенному кольцу. Однако это касается лишь предметной, материальной его составляющей. В отличие от обычного кольца, Единое Кольцо обладает собственным духовным (психологическим) миром, разумом. Эта его сторона куда существеннее, а потому она оказывает влияние и на особенности его поведения как материального объекта (появление намерения в глаголах перемещения), и на отношения к нему антропоморфного окружения, персонажей. Для мира реалистического произведения подобное невозможно, однако мы имеем дело с фантастическим произведением, то есть с совершенно иными законами. В данном случае свойства Кольца напрямую соотносятся со свойствами мира, в котором оно существует, что опять же непредставимо в произведении другого типа.

ЛАТИНИСТИКА И ЭТРУСКОЛОГИЯ. INEDITUM: ПИСЬМО ЯКОПО ФАЧЧОЛАТИ А. Ф. ГОРИ

Ниже впервые публикуется курьезное письмо¹ Я. Фаччолати² (далее Ф.) – одного из лучших мастеров латинской прозы 18 века, известного впоследствии больше по общей идее и конкретным лексикографическим наблюдениям, сделавшим возможным осуществление эпохального словаря своего ученика Э. Форчеллини³: *Totius Latinitatis Lexicon consilio et cura Jacobi Facciolati, opera et studio Aegidii Forcellini ... lucubratum* (первое издание Падуя 1771, 4 тома)⁴.

Письмо, написанное на итальянском языке в Падуе 24 апреля 1741, адресовано известному этрускологу и археологу А. Ф. Гори⁵. Языком более, как Ф. сам признавался, соответствующим его «гению»⁶, т. е. склонностям, был латинский; но Ф. был и признанным законодателем нормативной итальянской литературной прозы, орфографии и грамматики⁷ и выбирал, следуя *τὸ πρέπον*, для своих

¹ Оригинал приобретен мною в флорентийском аукционном доме и антиквариате Gonelli.

² Jacopo Facciolati 1682 – 1769.

³ Egidio Forcellini 1688 – 1768.

⁴ Это первое издание очень редко встречается в продаже. Даже библиотека Комиссии по изданию *Thesaurus linguae latinae* в Мюнхене (Баварская академия) до сих пор не имеет экземпляра этого издания. Об этом сожалел прежний директор Комиссии Дитфрид Кремер. Когда нашелся, наконец, в продаже подходящий экземпляр, Кремер ушел на пенсию и вскоре скончался. Приобретения при новом руководстве не произошло. Между тем, первое издание сегодня для лексикографа актуальнее всех последующих. Например, в издании Фурланетто-Коррадини-Перин (1864 – 1926, аппендиксы 1940) неясно, что написано Форчеллини, а что последующими его издателями, и как результат: оригинальная структура и логика словарных статей – именно это прежде всего интересно современному лексикографу – размыта, а дополнительный материал, собранный позднейшими издателями, исчерпывающим все равно не является, во многом устарел и при помощи современных лексикографических средств собирается надежнее.

⁵ Anton Francesco Gori 1691 – 1757.

⁶ „Il mio genio ... mi portava a scrivere in Latino“ *Il giovane cittadino ... da Jacopo Facciolati ... Padova 1748*, p. 1.

⁷ Ср. прим. 14.

сочинений то латинский то итальянский. Из писем Ф., прижизненно публиковались лишь латинские⁸. Наше письмо, написанное надежному другу Гори в явно (ср. яростные росчерки в факсимиле) раздраженном настроении из-за злости на местного издателя и епископа (*questo vescovo*), относится к *privatissima*.

Содержание письма следующее: Ф. благодарит Гори за полученное письмо и за приложенную публикацию. Через Гварначчи Ф. передает свое сочинение «Юный гражданин». Сообщает, что «Этрусский музей» Гори произвел на него очень хорошее впечатление и он хотел бы приобрести еще несколько экземпляров. Ф. возмущается, что падуанских возможностей для авторской скидки и книгообмена нет, поэтому предлагает обмен через некоего друга, у которого богатый выбор книг и рукописей. Советует никогда не издавать книги за свой счет. Передает приветы от Поллени, Понтендера и Валлисньери.

В транскрипции я верен оригиналу, следуя современной итальянской орфографии лишь в акцентах над гласными и различая „и“ и „v“⁹.

Ill.mo S.^e P.d.ne Col.mo¹⁰

Padova 24 Ap.le¹¹ 1741.

Dal foglio di V. S. Ill.ma¹² e dalla stampa inserta¹³ rilevo un nuovo atto della sua buona amicizia verso di me, e la ringrazio divotam.^{te} ¹⁴.

⁸ Jacobi Facciolati ... *Epistolae latinae*. Patavii 1765, еще 8 лат. писем было напечатано там же в 1808 г.

⁹ За ценные советы приношу благодарность Томмазо Франческо Борри.

¹⁰ = Illustrissimo Signore Padrone Colendissimo.

¹¹ = Aprile.

¹² = Vostra Signoria Illustrissima.

¹³ Sic, не “inserta”.

¹⁴ = divotamente. Ф. в своем словаре *Ortografia moderna italiana ... per uso del seminario di Padova* (Padova ⁸1741), s. v. допускает и форму “devotamente”.

Al S.^e K.^r ¹⁵ Guarnacci¹⁶ consegno le due copie del *Giovine*¹⁷ *Cittadino*¹⁸, che non si ristamperà sì presto per la ristampa fatta in Napoli¹⁹. Io già comprai un Museo Etrusco²⁰ per me in Ven.^a ²¹, ed uno per questa libreria del Sem.^o ²². Con tuttociò²³ l'opera è tanto buona, che molto volentieri farei che questa Stamperia applicasse al cambio, se io con questo Vescovo²⁴ avessi gli arbitri²⁵ soliti. Le cose sono ridotte ad un sistema curioso: ed io stesso se voglio uno de' miei libri, lo pago all'ultimo rigore. Servo questa Casa per carità e per puro amor di Dio, senza autorità, senza corrispondenza, e senza speranza alcuna. Mi dispiace di dover fare a Lei questa confidenza, ma la fo a persona savia. Tuttavolta²⁶ tenterò i ministri subalterni. Intanto giacché V. S. Ill.ma applica al cambio, prenderà un Museo e qualche copia degli altri²⁷ un mio Amico; e le darà, se le piace, libri antichi di lingua, di duello²⁸, di storia, di poesia; de' quali

¹⁵ = Signore Cavalier. Ф. в своем словаре (см. прим.) пропускает букву "К". Н. Томмазео (*Dizionario della lingua italiana* nuovamente compilato dai signori Niccolò Tommaseo e cav. Bernardo Bellini ... Torino 1865, s.v. „K“) остроумно замечает: "Con l'abbreviatura 'K' denotavasi il cavaliere, forse per dire che è cosa poco italiana".

¹⁶ Mario Guarnacci (1701 - 1785), литератор, историк и этрусколог, был в переписке с Гори и др., ср. Antonio Lombardi, *Storia dell'letteratura italiana nel secolo XVIII* ... Venezia 1832, t. 6, p. 77.

¹⁷ Sic.

¹⁸ *Il giovane cittadino istruito nella scienza civile e nelle leggi dell'amicizia* da Jacopo Facciolati ... Padova ¹1740. Книга пользовалась большим успехом не только Италии. В 1752 в Кракове вышел польский перевод (*Młody Kawaler* ...).

¹⁹ *Il giovane cittadino istruito nella scienza civile, e nelle leggi dell'amicizia*. Opera del signor abate d. Iacopo Facciolati. Aggiunte in questa nuova edizione tre sue nuove Acroasi. In Napoli – nella stamperia Muziana, 1740.

²⁰ *Museum Etruscum exhibens insignia veterum Etruscorum monumenta* ... (Флоренция 1736 – 1743, 3 т.) – монументальный труд Гори. Первые два тома вышли в 1737 г.

²¹ Наверное, „Venezia“.

²² = Seminario.

²³ Написано вместе.

²⁴ Giovanni Minotto Ottoboni (1675 – 1742), падуанский епископ в 1730 – 1742 гг., призвавший Ф. «снова принять заботу о Падуанском семинарии» *Vita di Jacopo Facciolati scritta da Giuseppe Gennari* ... Padova 1818, p. 9.

²⁵ Т. е. "arbitrio" во мн. ч.

²⁶ В значении *tuttavia*, *cionnondimeno*.

²⁷ Подразумеваются "libri".

²⁸ Интересное упоминание светских книг о правилах дуэли.

posso mandar l'Indice. Possede²⁹ egli anche molti manoscritti antichi di belle Lettere: ma questi bisognerebbe vederli.

Peraltro la consiglio da buon amico, a non far mai stampe per suo conto. Io per conto mio non ho mai stampate³⁰ se non picciole³¹ cose da regalo.³²

Tornerò a prender le novelle di Firenze, e starò in attenzione di mandarle qualche Letteraria notizia. Poleni, Pontedera, e Vallisnieri³³ la ringraziano e riveriscono: ed io sono con [u]mile e vero rispetto

di V. S. Ill.ma

dev.^{mo} oblig.^{mo} ser.^e vero³⁴

Iacopo³⁵ Facciolati³⁶

²⁹ Sic, не "Possiede".

³⁰ Sic, не "stampato".

³¹ Sic, не "piccole". Ф. в своей «Орфографии» (см. прим. 14) допускает обе формы.

³² Ф. нарушит это мудрое правило, издав за свой счет *De Gymnasio Patavino Syntagmata XII ... Patavii 1752* (своего рода продром к знаменитым *Fasti Gymnasii Patavini*, Patavii 1757): „edidit sumptu suo duodecim erudita syntagmata, unde totius historiae (sc. *Gymnasii Patavini*) caperet quasi omen“ *Vitae virorum illustrium seminarii Patavini ... auctore Jo. Baptista Ferrari ... Patavii 1815*, p. 125.

³³ Упоминаются Giovanni Poléni (1683 – 1761), физик, математик и археолог и его зять, известный ботаник Giulio Pontedèra (1688 – 1757), а также Antonio Vallisnièri (1708 – 1777), проф. медицины в Падуе, сын знаменитого одноименного ученого натуралиста.

³⁴ = devotissimo obligatissimo servitore vero.

³⁵ Не похоже на "J-".

³⁶ Ф., до 1712 г., н-ер, в своих письмах к Камилло Сильвестри, подписывался Facciolato и лишь позднее Facciolati, при этом до 1715 г., обычно Giacomo. В. 1715 – 1718 гг.: то Giacomo, то Jacopo, см. Girolamo Can. Silvestri in: *Lettere erudite del ... Jacopo Facciolati ... Libro I ...* in: *Raccolta Ferrarese di opuscoli scientifici e letterarj ... in Vinegia 1780*, t. 5, p. 99. Георг Вальх (G. Walch), друг Ф., пишет, в письме к Маффеи от 24 дек. 1718 г., видимо по старой привычке, Facciolato („Vi prego dirmi se il Facciolato abbia terminato il suo nuovo Calepino“ S. Maffei, *Epistolario*, a cura di C. Garibotto, I, Milano 1955, p. 278).

Padova 24 Aprile 1741.

Sal foglio d. M. Mussato e dalla stampa in
 carta n. 10 un nuovo atto della sua Bu-
 ra amica verso di me, e la ringrazio
 di tanto.

Al P. R. Sordani consegnò le due copie
 del Sonetto Claudio, che non si ristam-
 però di più & la ristampa fatta in
 Napoli. Pagia comprò un libro di
 8 me in libro, ed uno di questa li-
 breria del Sen. con trascritto l'opera e
 sono buoni, che nella volontà farò che
 questa stampa si applicasse al cambio
 se io con questo libro avessi gli altri
 17 lib. Le cose sono ridotte ad un
 sistema unico: ed io stesso se voglio
 uno de' miei libri, lo pago all'ultimo ri-
 gate. Senno questa cosa è carità e &
 più amara di lei, senza autorità, senza
 corrispondenza, e senza perorazione alcuna.
 Mi d'ogni modo di aver fare a lei questo con

fidencos, ma la fo a persanas sanias.
Quandoo senteu' i minusai re falter
ni. Intanto giaccho' lo J. M. M. ap
plico al cambio, prendeu' un luvra
e qualche copia degli alar un mio
amico, e le dara', se le piace, libri
antichi d. lingua, d. duello, d. sto
ria, d. poezia, de' quali potto man
dar l'Indice. Posse de' egli anche mte
manoscritti antichi d. bello luvra:
ma questi bisognerebbe vederli.
Pualtro la consiglio da buon amico,
a non far mai stanzie d. duocanti.
Lo J. M. M. non ho mai stampate
senon piccole cose da regalare.
Tornu' a prender les nouvelles d. Ri
vance, e stau' in attenzione d. mandare
le qualche luvraia notizia. Poten
Pantedras, e l'altissimi la ingrazian
e m'invian: et io daro con mte e caso
vostre
A. J. M. M.
Bueno luvraia.

ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΝΑ, ИЛИ О ПОЭТИКЕ ЭПИХАРМА

В течение V в. до н. э. одновременно в Афинах и Сицилии интенсивно развивается риторика. В Афинах после радикальных реформ Эфиальта 462 г. до н. э., в Сицилии после охватившего целый ряд городов демократического переворота были созданы условия, при которых роль и значение языка в обществе осознавалась по-новому. Первые занятия риторикой традиционно связываются с именем предполагаемого учителя Горгия философа Эмпедокла, что можно, впрочем, объяснить привычкой древних греков для каждой вещи искать первооткрывателя¹. Основателями теории красноречия, согласно античной традиции, считаются таинственные сицилийцы Коракс и его ученик Тисий (возможно, речь идёт об одном и том же человеке), создавшие первый учебник риторики.

Примерно на это же время, на первую половину V в. до н. э., приходится активная деятельность сицилийского комедиографа Эпихарма, от которого сохранились 47 или 48 названий комедий и 239 фрагментов. Комедия, жанр рефлектирующий и паразитирующий, нуждающийся в материале, чтобы подвергнуть его жестокой экзекуции, немедленно отреагировала на становление риторики. Спустя несколько десятилетий в Афинах Аристофан будет вести жесткий и критичный диалог с софистами. По отдельным сохранившимся фрагментам трудно судить, насколько активной была полемика комедии и риторики, однако из нескольких фрагментов Эпихарма отчётливо следует, что интеллектуальные изыскания, лингвистические новации и достижения риторических штудий находились в поле зрения сицилийского комедиографа.

Фрагмент 145 (PCG) из неизвестной драмы, представляющий собой очевидную провокацию риторических приёмов ораторов вполне можно представить себе как высказывание некоего парасита:

τόκα μὲν ἐν τήνων ἐγὼν ἦν, τόκα δὲ παρὰ τήνοις ἐγώ
я бывал то в домах этих, то у этих

¹ Подробнее о возникновении и развитии жанра риторики см. Zimmermann 2011, 425-426.

Высказывание содержит в себе пародию на анафору, антитезу, гомеотелевтон. Аристотель в третьей книге *Риторики*, разбирая положение колонов в периоде, говорит, что антитезы бывают ложные (εἰσὶν δὲ καὶ ψευδεῖς ἀντιθέσεις), и приводит в качестве примера данный фрагмент Эпихарма (Arist. *Rhet.* 1410b 3-5). Этот же стих в подобном контексте, обусловленном сильным влиянием аристотелевской *Риторики*, упоминается в первом после Аристотеля полностью сохранившемся трактате о стиле, автором которого условно считается некий Деметрий (дата написания оспаривается, но распространённое мнение последних десятилетий сходится приблизительно на II в. до н. э.). В рассуждении о периодах, содержащих противостоящие колоны, разбираются антитезы содержательные и/или формальные (ἤτοι τοῖς πράγμασιν, ἢ ἀμφοτέροισ, τῇ τελέξει καὶ τοῖς πράγμασιν), после чего автор цитирует стих Эпихарма как пример колона, не содержащего, по сути никакой антитезы, но предполагающего противопоставление, ибо написан он формой антитезы (μὴ ἀντικείμενα ἐμφαίνει τινὰ ἀντίθεσιν διὰ τὸ τῷ σχήματι ἀντιθέτως γεγράφθαι). По всей видимости, Псевдо-Деметрий цитирует Эпихарма из Аристотеля, но останавливается на фрагменте и разбирает его подробнее. Стих назван шутивым (πεπαιγμένον), и интерпретирует его автор следующим образом: говорится в обеих частях стиха то же самое, противопоставления нет, способ же выражения, подражающий антитезе, походит на намерение ввести в заблуждение. Впрочем, возможно, Эпихарм, говорит автор, применил антитезу, чтобы вызвать смех и вместе с тем поглумиться над ораторами (ἀλλ' οὗτος μὲν ἴσως γελωτοποιῶν οὕτως ἀντέθηκεν καὶ ἅμα σκώπτων τοὺς ῥήτορας, *Eloc.* 22-24). Оба термина, обозначающие вышучивание (γελωτοποιῶν и σκώπτων, второй при этом значительно сильнее и выразительнее первого), в данном контексте значимы: ясно, что уже эллинистическая филология отмечает интерактивный диалог риторики и комедии.

Другую риторическую фигуру, климакс, Эпихарм пародирует во фрагменте 146 (PCG):

ἐκ μὲν θυσίας θεῶνα,
ἐκ δὲ θεῶνας πόσις ἐγένετο. В. χαρίεν, ὥς γ' ἐμοὶ ~
А. ἐκ δὲ πόσιος κῶμος, ἐκ κώμου δ' ἐγένεθ' ὑανία,
ἐκ δ' ὑανίας δίκαιа □ καταδίκαιа□,

ἐκ δὲ καταδίκας πέδαι τε καὶ σφαλὸς καὶ ζαμία.

Из жертвоприношения образовался ужин,
а из ужина попойка. (Б) Очень мило, как, по крайней мере, мне [кажется].

(А) Из попойки пьяная процессия, из процессии свинское поведение,
из свинского поведения суд, ... приговор,
из приговора оковы, колодки и штраф.

Этот текст впервые приводит Афиней во второй книге *Пирующих софистов*, где он рассуждает о свойствах вина (Ath. 2, 36c-d). Фрагмент представляет собой самый ранний пример климакса в литературе. Аристотель называет эту фигуру «надстройкой» (ἐποικοδόμησις) и ссылается на Эпихарма в трактате *О возникновении животных* (Arist. Gen. ap. 724a). Рассуждая о природе и функции семени, Аристотель выводит модель нарастания: из семени возникают естественно составленные тела, одно многообразно возникает из другого, либо во временном контексте одно вслед за другим, либо с образованием целого из содержимого в нём с изменением формы, либо же противоположное от противоположного. Эпихарм же делает «надстройку» (ποιεῖ τὴν ἐποικοδόμησιν), говорит Аристотель, из клеветы у него возникает оскорбление (ἐκ τῆς διαβολῆς ἡλοιδορία), из оскорбления побоище (ἐκ δὲ ταύτης ἡ μάχη)². «Надстройка» состоит в том, что последний член предыдущего колона повторяется как первый член последующего, при этом каждая последующая часть интенсивнее и выразительнее предыдущей. Эту же фигуру в отношении Эпихарма Аристотель упоминает и в первой книге *Риторики*, где говорится о полезности разъединения целого на части. Тот же эффект, говорит Аристотель, достигается и обратным образом, через соединение и «надстройку» (τὸ συντιθέναι δὲ καὶ

² В начале четвёртой книги *Метафизики* Аристотель вновь приводит подобный пример, рассуждая о том, что есть ἀρχή («начало»). Это то, с чего впервые начинается естественным образом движение или изменение, как ребёнок происходит от отца и матери или как побоище от оскорбления (ὅθεν πρῶτον ἡ κίνησις πέφυκεν ἀρχεσθαι καὶ ἡ μεταβολή, οἷον τὸ τέκνον ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς καὶ ἡ μάχη ἐκ τῆς λοιδορίας, Arist. Met. 1013a 8-10).

ἐποικοδομεῖν), как у Эпихарма (Arist. *Rhet.* 1365a 16)³. «Надстройка», видимо, пародируется у Эпихарма как приём (имеющий, возможно, и другое название), которому обучали юных ораторов. Комедиограф описывает прямой путь от славного жертвоприношения к позорному наказанию в колодках. Аристофан, не прибегая к фигуре климакс, пользуется подобной аргументацией в *Осах*, вкладывая её в уста Филоклеона:

κακὸν τὸ πίνειν· ἀπὸ γὰρ οἴνου γίγνεται
καὶ θυροκοπῆσαι καὶ πατάξαι καὶ βαλεῖν,
κ᾿ἀπειτ' ἀποτίνειν ἀργύριον ἐκ κραιπάλης (Ar. *Vesp.* 1254-1256)
*пить плохо: от вина случается
выбивать двери, драться, бросаться камнями,
а потом в похмелье выплачивать деньги*

Речь здесь не идёт, конечно, о непременном заимствовании Аристофаном из Эпихарма: аргументация кажется буднично расхожей, а кроме того она имела истоки в симпотической литературе⁴.

Даже по этим скудно сохранившимся фрагментам ясно, что риторика занимает особое место в комедии Эпихарма. Критика риторики отчётливо видна и во фрагменте 144 (PCG), хотя здесь трудно понять, какая часть текста принадлежала собственно Эпихарму. Этот фрагмент цитирует Аристотель в *Метафизике* (Arist. *Metaph.* 1086a 16-18): χαλεπὸν δ' ἐκ μὴ καλῶς ἐχόντων λέγειν καλῶς, κατ' Ἐπίχαρμον· ἀρτίως τε γὰρ λέλεκται, καὶ εὐθέως φαίνεται οὐ καλῶς ἔχον (трудно говорить подобающим образом о неподобающих вещах, согласно Эпихарму, ибо едва лишь сказано, сразу же и понятно, что это не подобает). Здесь уместно вспомнить сицилийского ритора Горгия, утверждающего, что сила в убеждении словом, что оно «великий владыка» и способно на многое (λόγος δυνάστης μέγας ἐστίν), и что слово, убедившее душу, заставит подчиниться сказанному⁵.

Этой полемикой с силой *логоса* в сицилийской риторике, возможно, объясняется и название комедии Λόγος καὶ Λογίνα (трудно

³ См. подробнее Berk 1964, 50-51, Kennedy 1991, 73. Этот термин редко, но устойчиво встречается в риторическом контексте. Ср. Также *Rhet. Alex.* 1426b 3-5, Ps.-Long. *Subl.* 39, 3, Eust. В 101, Υ 214. См., 118 и, 884-885.

⁴ См. подробнее, 149. Об этой и других параллелях Аристофана и Эпихарма см. также Cassio 1985, 42.

⁵ Ср. Gorg. Fr. B11, 8-15 DK.

перевести: *Господин и госпожа Слово* или *Он-Слово и Она-Слово*). Название указывает на некий металингвистический дискурс, хотя в комедии присутствует и мифологическое содержание⁶. Возможно, в этом названии обыгрываются аллегории (как и в названии другой комедии Γᾱ καὶ Θ[άλασσα]). Сразу приходящая в голову параллель с агонем логосов в *Облаках* Аристофана не имеет в сохранившемся тексте Эпихарма никаких подтверждений. Название содержит антитезу мужского и женского начала (не обязательно с эротическими коннотациями, речь может идти и об отце и дочери, и в этом случае к гендерной оппозиции добавляется оппозиция возрастная)⁷, возможно, мужской и женской аргументации, и, главное, имеет в эпицентре тематизированное «слово», λόγος, который впоследствии станет визитной карточкой Горгия. Комичность названия усиливается гапаксом женского рода к слову λόγος⁸. Сохранившийся текст даёт подтверждение гипотезе, что Эпихарм работает с метаязыком в риторическом и поэтическом контексте. Первый фрагмент комедии (фр. 76 PCG) обыгрывает оживлённый диалог с акустической недомолвкой, напоминающий риторическое упражнение на мифологическую тему:

Α. ὁ Ζεὺς μ' ἐκάλεσε, Πέλοπί γ' ἔρᾱνον ἰστίων.

Β. ἡ παμπόνηρον ὄψον, ὦ 'τᾱν, ὁ γέρανος.

Α. ἀλλ' οὐ τι γέρανον, ἀλλ' ἔρανόν <γά> τοι λέγω.

Α. *Зевс пригласил меня, когда давал Пелопу праздничный обед.*

Β. *какое это отвратительное, друг, блюдо – журавль.*

Α. *да я говорю не журавль, а обед.*

Такого рода игра слов с омофонией была типичным приёмом комедии, применяемым и вне риторико-поэтического контекста. У Эпихарма этот также один из излюбленных приёмов: комические словообразования, паронимасии, этимологизации – все эти варианты игры слов активно используются Эпихармом⁹. Данный фрагмент

⁶ См. Zimmermann 2011, 667, Pickard-Cambridge 1962, 272.

⁷ Альбио Кассио отмечает, что суффикс -ίνα в греческом чаще засвидетельствован именно в такой форме (ср. *Il.* 5, 412, Hes. *Theog.* 364), см. Cassio 2002, 69-70.

⁸ Cassio 2002, 70. Подробнее об италийском влиянии распространения суффикса -ίνος в Сицилии см. Willi 2008, 146.

⁹ Андреас Вилли перечисляет парадигматические формы игры слов у Эпихарма, см. Willi 2008, 156. Ср. похожий пример во фрагменте из неизвестной коме-

имеет, скорее, мифологическое содержание, однако угадывается здесь и аллюзия на первую олимпийскую оду Пиндара (ср. Pind. Ol. 1, 36-42), а значит, имеет место пародия высокой хоровой лирики¹⁰. Эпихарм выстраивает игру слов вокруг редкого слова ἔρᾱνος («совместное пиршество»), одного из излюбленных у Пиндара¹¹. Заинтересованность Эпихарма в стилистике других жанров засвидетельствована в одном схолии к Эсхилу, который сообщает, что Эпихарм высмеивал трагика за частое использование глагола τιμαλφεῖν («почитать»)¹².

В другом фрагменте (фр. 77 PCG) из комедии *Он-Слово и Она-Слово* Эпихарм также развивает метапоэтические коннотации и, возможно, обсуждает метрику:

οἱ τοὺς ἰάμβους καὶ τὸν ῥᾳστών τρόπον,

ὃν πρᾶτος εἰσαγῆσαθ' Ὠριστόξενος.

*Те же пользуются ямбами и тнаилучшим способом,
который первым ввёл Аристоксен.*

Об Аристоксене (из Селинунта) известно ничего, кроме того, что Эпихарм сообщает здесь, а цитирует этот фрагмент александрийский грамматик Гефестион. Этой же информацией пользовались и позднейшие комментаторы, когда пытались датировать его время или же определить жанр. Непонятно, в каком смысле следует понимать ямб: возможно, Аристоксен был комедиографом, который первым ввёл ямбический метр в сицилийскую комедию, возможно также, что это был поэт-ямбограф, который, по мнению Эпихарма,

дии Страттида, где также представлено недоразумение с последующим разъяснением шутки, см. Stratt. Fr. 63 (PCG) и Orth 2009 *adloc.*

¹⁰ См. подробный анализ обоих пассажей у Arnson Svarlien 1990, 106-108.

¹¹ См. Pind. Ol. 1, 38; Pyth. 5, 77; 12, 14.

¹² Фр. 221 (PCG): τιμαλφούμενον] συνεχὲς τὸ ὄνομα παρ' Αἰσχύλῳ· διὸ σκώπτει αὐτὸν Ἐπίχαρμος, из схолия М к *Эвменидам* Эсхила. Ср. Эсх. Ag. 922, *Эвм.* 15, 626, 807, фр. 56 R. Сохранившееся название другой комедии Эпихарма, «Персы», даёт возможность предположить литературную пародию на одноимённую трагедию Эсхила. См. подробнее Willi 2008, 166-167. Обращение Эпихарма к Эсхилу позволяет, с одной стороны, допустить близкое знакомство публики с трагедиями Эсхила, с другой стороны – интерес и автора, и публики к стилистике трагедии.

первый начал писать ямбом в Сицилии¹³. Так или иначе, вышеперечисленные фрагменты Эпихарма позволяют делать выводы, с одной стороны, о высокоразвитом чувстве языковой нормы у сицилийской публики, способной оценить такого рода критику, с другой стороны, об определённом литературном стандарте некой, пусть даже не-большой, части этой публики, умеющей услышать аллюзию на Пиндара или Эсхила и знакомой с именем Аристоксена.

Слово-логос играет ключевую роль в ещё одной комедии Эпихарма. Из его неизвестной драмы сохранился фрагмент 136 (PCG), где некоего оратора вызывают в суд. Фрагмент представляет собой сцену об «увеличивающемся слове» (ὁ αὐξόμενος λόγος), в которой кредитор дал деньги и по истечении срока требует их назад¹⁴. Должник возражает, что у кредитора нет права требовать эти деньги, ибо всё подвержено изменению, и он уже не тот человек, который эти деньги занимал. Кредитор избивает должника, должник вызывает его в суд, где кредитор пользуется тем же аргументом – тот, кто бил, не тот же человек, что нынче стоит перед судом. Плутарх рассуждает (Plut. *Deserantim. vind.* 15 = *Mor.* 559b): ταῦτά γε τοῖς Ἐπιχαρμείοις ἔοικεν, ἐξ ὧν ὁ αὐξόμενος ἂν ἐφυ τοῖς σοφισταῖς λόγος· ὁ γὰρ λαβὼν πάλαι τὸ χρέος νῦν οὐκ ὀφείλει γεγρονῶς ἕτερος· ὁ δὲ κληθεὶς ἐπὶ δεῖπνον ἐχθρὸς ἄκλητος ἤκει τήμερον· ἄλλος γὰρ ἐστὶ (это похоже на слова Эпихарма, после чего у софистов возникла увеличивающаяся речь. Человек, давно взявший в долг, более ничего не должен, ибо он стал другим человеком. А тот, кто вчера был приглашен к обеду, сегодня приходит без приглашения, ибо он теперь другой человек).

Еще более подробно это разбирается в анонимном папирусном комментарии к *Теэтету* Платона (Pap. Berol. 9782, Anon. In *Pl. Tht.* col. 71, 12-40)¹⁵:

Ἐπίχαρμος ὁ [μιλή]σας τοῖς Πυθα[γορείοις] ἄλλατ[έ] τινα ἐν[εδίδα]σ[κεν] δ[ι]ρά[ματ]α, καὶ τὸ περὶ τ[οῦ] αὐξο[μένου], ὁ [λόγ]ωι ἐφοδ[ικῶι καὶ π[ισ]τ[ῶι] ἐ[π]έρα[ινε]. Οὐ μὴν ἄλλ' ὥς ἄ[φοδοι γίνον]ται πρόσο[δοί τε ἐν α]ρ[γ]έσι, οὐχ [έστ]ώς τις [γί]ν[ε]ται μ[είζων] ἢ

¹³ Подробнее об Аристоксене и о возможных значениях ямба в данном фрагменте Эпихарма, а также о возможных эмендациях Крукса см. Rotstein 2010, 213-221.

¹⁴ К реконструкции этой сцены и её функции см. Willi 2008, 170-175.

¹⁵ Цитируется по Bastianini и Sedley 1995, 458, 460.

ἐ]λ[ά]ττωνε [ιδὲ τοῦτο,] οὐσίαι ἄλλ[οτε ἄλλαι] γίνονται [διὰ την
συν]εχῇ ῥύσιν. κα[ὶ ἐκ]ωμώδησεν αὐτὸ ἐπὶ τοῦ ἀπαιτουμένου
συμβολὰς καὶ [ἀ]ρνούμενου τοῦ αὐτοῦ εἶναι διὰ τὸ τὰ μὲν
προσγεγενῆσθαι, τὰ δὲ ἀπεληλυθέναι, ἐπεὶ δὲ ὁ ἀπαιτῶν ἐτ[ύ]πτησεν
αὐτὸν καὶ ἐν ἐκαλεῖτο, πάλιν κ[ἀ]κείνου [φά]σκοντος [ἄλλ]ο μὲ[ν]
ε[ῖ]ναι τὸν τ[ετυ]πτηκότα, ἕτερο[ν δὲ] τὸν ἐγκαλούμενον.

Эпихарм, общавшийся в пифагорейских кругах, поставил различные хорошие драмы, особенно же об увеличивающемся слове, которую он завершил словом методическим и убедительным. Конечно, происходят как бы наглядные убавления и прибавления, когда некое слово не остаётся неизменным, становясь больше или меньше. Если же это так, то из-за постоянного течения происходит постоянное изменение сущностей. И он написал комедию об этом, как один человек, у которого требуют взносы, отказывается признавать, что это то же самое, ибо одно пришло, а другое от него ушло. Когда же кредитор его избил и за это был вызван в суд, и кредитор тоже сказал, что был одним, когда бил, а сейчас в суде он другой человек.

Место это сложное и запутанное. Эпихарм в античности был известен как последователь Пифагора, и в данном фрагменте можно усмотреть пародию одного из известных принципов раннего пифагорейства: не существует абсолютной справедливости, ибо она зависит от конкретного человека, на которого влияют обстоятельства¹⁶. С другой стороны, очевидно влияние учения Гераклита об изменчивости всех вещей, в данном случае применяемое к человеку непосредственно. Эпихарм полемизирует с риторикой ораторов, по всей видимости, пользующихся аргументаций Гераклита для достижения практических целей. Практическое применение учения Гераклита высмеивается Эпихармом как уже существующая практика. Слово-логос объединяет оба дискурса, философский и риторический, принуждая рассматривать их в непосредственной связи друг с другом¹⁷. И в случае должника, и в случае кредитора, Эпихарм кон-

¹⁶ Ср. Iambli. VP 179-182. Пародия на пифагорейское учение о метемпсихозе прочитывается и во фр. 187 (PCG): τρίς ἀπεδόθη ζῶος (трижды он был вернут живым). Подробнее Willi 2008, 173-174.

¹⁷ Вилли видит, однако, в сцене об «увеличивающемся слове» Эпихарма пародию на рассуждения Пифагора о воздействии и методе риторики, причём Эпихарм увидел негативный потенциал этой риторической инновации: см. Willi

фронтирует со способом поведения, когда сила заключается в «слове-владыке». Этот сюжет Аристофан положит в основу *Облаков*, с резкой критикой софистической модели образования и риторики¹⁸. Фрагмент об «увеличивающемся слове» имеет особое значение для нашего представления об истории греческой комедии. Особенно важно, что он очерчивает рефлексию об использовании профессионального языка в Сицилии задолго до классической софистики в Афинах.

Рассмотрим ещё один фрагмент, также подтверждающий риторико-лингвистические интересы Эпихарма. Этимологии и паронимии встречаются уже в гомеровском эпосе, однако в комедии они достигают особых изысков через пародию. Фрагмент 147 (PCG) легко представить себе в виде школьного диалога в стилистике тех же аристофановских *Облаков*:

Α. τί δὲ τόδ' ἐστί; Β. δηλαδὴ τρίπους. Α. τί μὰν ἔχει πόδας τέτορας; οὐκ ἐστὶν τρίπους, ἀλλ' <ἐστὶν> οἶμαι τετράπους.

Β. ἐστὶν ὄνομα αὐτῷ τρίπους, τέτορας γὰρ μὰν ἔχει πόδας.

Α. εἰ δίπους τοίνυν ποκ' ἧς αἰνίγματ' Οἰ(δίπου) νοεῖς

(Α) А это что такое? (Β) Треножник, само собой. (Α) А почему же у него

четыре ноги? Это не треножник, а по-моему, четвероногий.

(Β) Но имя ему треножник, хоть у него и четыре ноги.

(Α) Если он когда-нибудь был двуногим, то вот тебе и загадка Эдипа.

Аристофан прибегает к той же шутке вокруг этимологии слова «треножник» на перевёрнутый лад в поздней комедии *Теллессцы*. Сохранившийся фрагмент, цитируемый Афинеем вместе с фрагментом Эпихарма, также представляет собой сценку-диалог (Ar. Fr. 545 PCG):

Α. Τράπεζαν ἡμῖν <εἶς>φερε

τρεῖς πόδας ἔχουσιν, τέτταρας δὲ μὴ 'χέτω.

Β. καὶ πόθεν ἐγὼ τρίπουν τράπεζαν λήψομαι;

(Α) Принеси нам стол с тремя ножками, четыре быть не должно.

2008, 174-175. О репутации Пифагора в античности как мастера учения о владении голосом и о роли Пифагора в истории риторики см. Porter 2009, 92-95.

¹⁸ К вопросу о близости фабулы комедии Эпихарма и *Облаков* и степени зависимости Аристофана от Эпихарма см. Kerkhof 2001, 171-173.

(Б) а откуда мне взять стол-треножник?

Неизвестно, знаком ли был Аристофан с этим местом из Эпихарма непосредственно¹⁹. Аристофану это было и не обязательно. В том нагруженном лингвистическим и риторическим дискурсом контексте, в котором Аристофан работал в Афинах в последней четверти V в. до н. э., подобные упражнения витали в воздухе. Именно через такие шутки Аристофан связывает натурфилософский, риторический и лингвистический дискурсы, как например, в космологическом сравнении неба с печью, а людей с углями (Ar. Nu. 97): ἡμεῖς δ' ἄνθρακες (а мы угля = ἄνθρακωποι). Этот каламбур отсылает, с одной стороны, к пифагорейскому натурфилософу Гиппону, приблизительно на поколение старше Аристофана, а с другой стороны, к Гераклиту, который тоже сравнивал человека с раскалённым углем (Sext. Adv. math. 7, 130 = Heracl. 22 A16DK).

Возможно, во фрагменте 147 (PCG) Эпихарм иронически обыгрывает первые лингвистические изыскания, проводимые первыми риториками, которые параллельно отсылают к ученику Гераклита Кратилу, по-видимому, современнику Эпихарма, и его тезису, что тот, кто знает имена, знает и вещи, и нет другой возможности постигнуть суть вещей, как через имена (ὅς ἄν τὰ ὀνόματα ἐπίσθηται, ἐπίστασθαι καὶ τὰ πράγματα, Plat. Crat. 435d-e). Через эту когнитивную предпосылку ὀνόματα Кратила теорией языкового знака Соссюра тесно связаны с ἔστιν ὄνομ' αὐτῶι τρίπους Эпихарма. Эти размышления приведут к введённому Протагором понятию ὀρθοέπεια («правильность выражения») и развитому из него далее Продиком ἡ ὀρθότης τῶν ὀνομάτων («правильное употребление имён / обозначений»). Что же касается самого предмета изложения, то, похоже, стол-треножник стал своего рода топосом в целом ряде αἰνίγματα в античной литературе ещё со времени приписываемой Гесиоду поэмы *Свадьба Кеика*²⁰. Через соединение двух значений слова τρίπους каламбур Эпихарма выглядит более многоплановым, чем во фраг-

¹⁹ Много обсуждался вопрос, знаком ли Аристофану фрагмент 147 (PCG) Эпихарма и прямое ли это подражание, ср. Kerkhof 2001, 147-148 и Willi 2008, 156-157.

²⁰ Возможно, уже в этой поэме обыгрывается каламбур с тремя и четырьмя ножками стола. О топосе загадок в литературе и о возможной параллели *Свадьбы Кеика* и данного фрагмента Эпихарма см. Merkelbach и West 1965, 310-311.

менте Аристофана. Τρίπους одновременно означает «старик с посохом», и через этот смысл становятся понятными и упомянутые αἰνίγματ' Οἰ(δίπου)/²¹

Фрагменты Эпихарма обнаруживают интересный факт: за несколько десятилетий до Аристофана на Сицилии комедия активно обращалась к дискурсу риторики и литературной критики практически на стадии возникновения обоих дискурсов и находилась в интенсивном диалоге с другими литературными жанрами. Как следует из некоторых скудно сохранившихся фрагментов, сицилийская комедия, по крайней мере глазами эллинистических филологов, также высмеивала интеллектуалов (риторов, поэтов, учёных) – приём, дальнейшем превратившийся в комический топос в литературе. Учитывая сицилийский контекст риторики в Афинах во второй половине V в. до н. э. в целом и роль Горгия в софистическом движении в частности, можно представить себе тот фон, в котором формировался дискурс Горгия в Сицилии²². Эпихарм и его полемика с риторикой и литературными жанрами как минимум составляли часть этого дискурса, если не оказали непосредственное влияние на его становление.

Список литературы:

- PCG = R. Kassel, C. Austin (ed.), *Poetae Comici Graeci*. Berlin-New York 1983ff.
Arnson Svarlien, D. 1990. „Epicharmus and Pindar at Hieron's court“, *Kokalos* 36-37: 103–110.
Bastianini, G., D. Sedley 1995. „Commentarium in Platonis *Theaetetus*“, *Corpus dei papiri filosofici greci e latini. Testi e lessico nei papiri di cultura greca e latina*, 3: Commentari:227–562. Firenze.
Berk, L. 1964. *Epicharmus*. Groningen.
Bernays, J. 1853. „Epicharmos und der Αὐξανόμενος Λόγος“, *Rheinisches Museum für Philologie* 8: 280–288.

²¹ Ср. Hes. Op. 533 и комментарий Мартина Веста к этому стиху с многочисленными параллелями West 1978, 293.

²² Речь никоим образом не идёт о прямом воздействии одного на другого, это вряд ли возможно хронологически (см. аргументацию «за» Demand 1971 и «против» Willi 2008, 124 прим. 22 и 166 прим. 14), но, скорее, о некоем общем нагруженном зарождающимся риторическим и интеллектуальным дискурсом контексте, в котором жили оба автора, и который оказал влияние на обоих.

- Cassio, A. C. 1985. „Two Studies on Epicharmus and His Influence“, *Harvard Studies in Classical Philology* 89: 37–51.
- 2002. „The language of Doric comedy“, *The Language of Greek Comedy*, ed. by A. Willi, 51–83. Oxford.
- Demand, N. 1971. „Epicharmus and Gorgias“, *The American Journal of Philology* 92: 453–463.
- Kennedy, G. A. (tr., with intr., notes, and app.) 1991. *Aristotle On rhetoric: a theory of civic discourse*. New York - Oxford.
- Kerkhof, R. 2001. *Dorische Posse, Epicharm und Attische Komödie*. München-Leipzig.
- Merkelbach, R., M. L. West 1965. „The wedding of Ceyx“, *Rheinisches Museum für Philologie* 108: 300–317.
- Orth, Ch. 2009. *Strattis. Die Fragmente*. Berlin.
- Pickard-Cambridge, A. W. 1962. *Dithyramb tragedy and comedy*. 2. ed., rev. Oxford.
- Porter, J. 2009. „Rhetoric, aesthetics, and the voice“, *Cambridge Companion to Ancient Rhetoric*, ed. by E. Gunderson, 92–108. Cambridge.
- Radermacher, L. (hg.) 1951. *Artium scriptores: Reste der voraristotelischen Rhetorik*. Wien.
- Rostagni, A. 1957. „Autonomia e svolgimento della letteratura greca di Sicilia“, *Kokalos* 3: 3–17.
- Rotstein, A. 2010. *The idea of iambos*. Oxford [e.a.].
- Wankel, H. 1976. *Demosthenes, Rede für Ktesiphon über den Kranz, erl. und mit einer Einl.* Bd. 2. Heidelberg.
- West, M. L. 1978. *Hesiod, Works and Days, ed. with proleg. and comm.* Oxford [e.a.].
- Willi, A. 2008. *Sikelismos: Sprache, Literatur und Gesellschaft im griechischen Sizilien (8.-5. Jh. v. Chr.)*. Basel.
- Zimmermann, B. (hg.) 2011. *Handbuch der griechischen Literatur der Antike: Die Literatur der archaischen und klassischen Zeit*. Bd. 1. München.

ДИОНИСИЙ ГАЛИКАРНАССКИЙ О КОМПОЗИЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ

Дионисий Галикарнасский (ок. 55 – после 8 г.¹), автор риторических трактатов и так называемых «литературных писем», создававшихся на протяжении многих лет, анализирует произведения историков V – IV вв. в сохранившемся фрагментарно сочинении «О подражании», «Письме к Помпею», в котором оно цитируется с некоторыми изменениями,² и в трактате «О Фукидиде».

При анализе речей и исторических сочинений Дионисий Галикарнасский выделяет аспект стилистический (λεκτικὸς τόπος) и содержательный (πραγματικὸς τόπος), включающий, в свою очередь, включает «приготовление» (παρασκευή), или «нахождение» (εὕρεσις), и «использование приготовленного» (χρήσις τῶν παρασκευασμένων), называемое «расположением материала» (οἰκονομία), – раздел содержания, требующий от писателя «большого искусства» (τὸ τεχνικώτερον μέρος τοῦ πραγματικοῦ) (De Dem. 51). Можно сказать, что «расположение материала» соответствует литературоведческому термину «композиция» – «взаимная соотнесенность и расположение единиц изображаемого и художественно-речевых средств».³ В предлагаемом сообщении делается попытка рассмотреть принципы анализа композиции исторических сочинений в риторических трактатах Дионисия Галикарнасского.

Отметим, что направление критики Дионисия Галикарнасского в значительной степени определяется риторической системой «достоинств стиля» (ἀρεταί) (Ep. ad Pomp. 3), с которыми соотносятся и достоинства содержания, общие для речей и исторических сочинений: ясность (σαφήνεια), убедительность (πιθανότης) и краткость

¹ Здесь и далее все даты – до н. э.

² Тексты трактата «О подражании» и цитат из него в «Письме к Помпею» сопоставляются в работах: Weaire G. The Relationship between Dionysius of Halicarnassus' De Imitatione and Epistula ad Pompeum // Classical Philology. 2002, vol. 97.4. P. 351–359; Sacks K.S. Historiography in the Rhetorical Works of Dionysius of Halicarnassus // Athenaeum. 1983, vol. 61. P. 66–74.

³ Хализев В.Е. Теория литературы. М., 1999. С. 262.

(συντομία).⁴ Так, историческое сочинение (ἱστορικὴ πραγματεία) должно быть непрерывным (εἰρομένην – букв. «нанизанным») и последовательным (ἀπερίσπαστον – букв. «не увлекаемым в разные стороны»), особенно когда речь идет о многих и малопонятных (δυσκαταμάθτων – букв. «с трудом усваиваемых») событиях (De Thuc. 9), а благодаря множеству излагаемых событий в речи может оказаться трудно следить за ходом изложения (δυσπαρακολούθητος), это нарушит ее ясность (σαφήνειαν) (De Isaeo 14).

Принцип анализа Дионисия Галикарнасского был назван «выборочным подражанием»,⁵ которое подразумевает внимательное изучение содержания и стиля произведений лучших аттических ораторов и историков и отбор лучших качеств каждого. Рассуждая о композиции исторических сочинений, Дионисий Галикарнасский подробно рассматривает произведения одного историка или прибегает к сравнительному анализу, сопоставляя произведения двух авторов. В трактате «О подражании» и в «Письме к Помпею» он дает сравнительную характеристику «Историям» Геродота и Фукидида (Ep. ad Pomp. 3), затем переходит к сочинениям их подражателей, сравнивая Ксенофонта с Геродотом (Ep. ad Pomp. 4), а Филиста с Фукидидом (Ep. ad Pomp. 5), и отдельно рассматривает произведения Феопомпа (Ep. ad Pomp. 6); анализу композиции «Истории» Фукидида он посвящает раздел трактата «О Фукидиде» (De Thuc. 9–20).

Расположение материала (композиция) включает, по Дионисию Галикарнасскому, «разделение» (διαίρεσις),⁶ или последовательность изложения, «расположение» (τάξις), или временную организацию текста, и «отделку» (ἐξεργασία), или технику изложения (De Thuc. 9).⁷

⁴ См. Nicolai R. La storiografia nell' educazione antica. Pisa, 1992. P. 132. Достоинства содержания речей: ясность, краткость и правдоподобие – рассматриваются в работе: Гаспаров М.Л. Античная риторика как система // Гаспаров М.Л. Избранные труды. Том 1. О поэтах. М., 1997. С. 567.

⁵ Eclectic imitation. См. Usher S. On the Ancient Orators. Introduction // Dionysius of Halicarnassus. The Critical Essays I. Cambridge; London, 1974. P. 2.

⁶ При анализе композиции (πραγματικὴ οἰκονομία) речей Дионисий Галикарнасский обозначает «разделение» термином μερίσμός (De Isocr. 4).

⁷ В «Письме к Помпею» к содержательной стороне произведения он относит выбор темы, композицию и авторскую позицию (Ep. ad Pomp. 3).

В «Письме к Помпею» он замечает, что в историческом сочинении важно «распределить и поместить» (διελέσθαι τε καὶ τάξαι) каждое из излагаемых событий в нужное место (Ер. ad Pomp. 3.13). Более подробно Дионисий Галикарнасский пишет о «разделении» в трактате «О Фукидиде» (De Thuc. 9), что в исторических сочинениях излагаемые события группируются по географическому (κατὰ τόπους) или по хронологическому принципу (κατὰ χρόνους εὐπαράκολουθήτους – «по легко прослеживаемым временным отрезкам»): по именам сменяющих друг друга царей или жрецов, архонтов, вступающих в должность на год, а также по олимпиадам. По географическому принципу распределяют материал Гелланик и Геродот, «История» которого обобщает огромный этнографический и исторический материал: она представляет собой ряд логосов, соединенных в последовательное повествование, материал которого сгруппирован по географическому признаку;⁸ по хронологическому – авторы историй отдельных местностей. Необходимо уточнить, что повествование о войнах в трудах Геродота, Фукидида, Ксенофонта и других историков включает ряд повторяющихся типических ситуаций: описания сражений, походов, а также народных собраний; временную последовательность нарушают экскурсы.

«Разделение» в «Истории» Фукидида – изложение событий по летним и зимним кампаниям – представляется Дионисию Галикарнасскому неудачным: оно лишено ясности и последовательности (ἄσαφής καὶ δυσπαρακολουθήτος, Ер. ad Pomp. 3.13). Отметим, что если в «Письме к Помпею» он называет последовательность изложения в произведении Фукидида хронологической (τοῖς χρόνοις, Ер. ad Pomp. 3.13), то в трактате «О Фукидиде» выделяет «разделение» его «Истории» особо, не относя его ни к географическому, ни к хронологическому, но повторяет приведенную ранее оценку: параллельное изложение событий, связанных временным единством, становится не более ясным (οὐ σαφέστερα), а менее последовательным (δυσπαρακολουθητότερα), так как повествование оказывается разорванным на маленькие отрезки (εἰς μικρὰς κατακερματισμένην τομάν, De Thuc. 9). В качестве примера Дионисий Галикарнасский

⁸ Композиция «Истории» Геродота рассматривается в работе: Миллер Т.А. Греческая эпическая историография // Кузнецова Т.И., Миллер Т.А. Античная эпическая историография. Геродот, Тит Ливий. М., 1984. С. 6–10.

приводит третью книгу «Истории», в которой Фукидид описывает происходившие одновременно события в Митилене и Платее, осаду Платеи и походы спартанцев (De Thuc. 9), и захват афинянами Пилоса и Сфактерии, описанный в четвертой книге (De Thuc. 13).

В трактате «О Фукидиде» Дионисий Галикарнасский не отдает предпочтения какому-то одному принципу «разделения», а в «Письме к Помпею» выступает сторонником тематической, в частности географической, последовательности изложения: в «Истории» Геродота, в отличие от сочинения Фукидида, тематическое (ταῖς περὶ οὗχαις τῶν πραγμάτων) «разделение» не разрывает повествования (οὐ διέσπασε τὴν διήγησιν, Ер. ad Pomp. 3.14).

Рассуждая о композиции произведений Ксенофонта, Феопомпа и Филиста, Дионисий Галикарнасский ограничивается краткими замечаниями: первый «хорошо разделил, упорядочил и придал разнообразие» (μεμέρικέ τε καλῶς καὶ τέταχε καὶ πεποίκιλλε) своим произведениям (Ер. ad Pomp. 4.2), оба сочинения второго «последовательны и ясны» (εὐπαράκολούθητοι καὶ σαφεῖς) (Ер. ad Pomp. 6.2). В произведениях Филиста он указывает на те же недостатки композиции, что и в «Истории» Фукидида: из-за неудачной композиции трудно следить за ходом событий (τάξις... δυσπαρακολούθητον, Ер. ad Pomp. 5.2). В трактате «О подражании» Дионисий Галикарнасский пишет об этом более подробно:⁹ он отмечает неупорядоченность расположения материала (τὴν ἀταξίαν τῆς οἰκονομίας) и заключает, что Филист сделал произведение непоследовательным, нарушив связность изложения (дυσπαρακολούθητον τὴν πραγματείαν τῇ συγχύσει τῶν εἰρημένων πεποίηκεν) (De imit., fr.31.3.2).

Кратко анализируя «расположение» (τάξις), Дионисий Галикарнасский обращает внимание на начало и финал произведения, отграничивающие излагаемые события: он указывает, что в начале исторического сочинения должны излагаться причины, а в конце – событие «замечательное и очень приятное для слушателей» (τὴν θαυμάσιωτάτην καὶ μάλιστα τοῖς ἀκούουσι κεχαρισμένην, Ер. ad Pomp. 3.10), как в «Истории» Геродота. Недостатком композиции

⁹ Считается, что эпитоматора, в изложении которого сохранились фрагменты трактата «О подражании», более интересовали суждения Дионисия Галикарнасского о таких историках, как Филист и Феопомп. См. Weaire G. Op. cit. P. 357.

«Истории» Фукидида он видит в том, что историк начинает произведение не с истинной причины Пелопонесской войны – опасений Спарты из-за усиления Афин (Thuc. 1.23.5), а с повода – событий на Керкире (Thuc. 1.24–55), и оставляет сочинение незаконченным, остановившись на битве при Киноссемате в 411 г. (Thuc. 8.106–108) (De Thuc. 11, ср. Ер. ad Pomp. 3.9–10). Ксенофонт, как и Геродот, начинает свои произведения с «весьма подобающих» (πρεπωδέσταταις) событий и заканчивает «весьма подходящими» (ἐπιτηδεϊοτάταις) (Ер. ad Pomp. 4.2).

В «Письме к Помпею», рассуждая о технике изложения (ἐξεργασία), Дионисий Галикарнасский пишет о разнообразии содержания (ποικιλία) исторических сочинений,¹⁰ которое достигается введением речей и экскурсов. Дионисий Галикарнасский считает географические и историко-этнографические отступления обязательным элементом композиции исторических сочинений. Так, он указывает, что Геродот считал необходимым делать паузы (ἀναπαύσεις) в последовательном изложении событий (Ер. ad Pomp. 3.11), приводит примеры отступлений в «Истории» Фукидида (Ер. ad Pomp. 3.12): это история возвышения царства одрисов, предваряющая изложение событий во Фракии (Thuc. 2.96–97) и «Сицилийская археология», посвященная древнейшей истории Сицилии (Thuc. 6.2–5).

О Ксенофонте Дионисий Галикарнасский пишет, что он «привнес разнообразие в произведение (πεποίκιλκε τὴν γραφήν)», подражая Геродоту (Ер. ad Pomp. 4.2). Характеризуя содержание произведений Филиста, Дионисий Галикарнасский, вновь без примеров, указывает на то, что отсутствие экскурсов сближает его с «Историей» Фукидида: «Он не желает включать в произведения ничего, что не связано с темой (πρᾶγμα ἔξωθεν), как и Фукидид, и потому однообразен (ὁμοειδής)» (Ер. ad Pomp. 5.2). Он отмечает, с одной стороны, разнообразие содержания произведений Феопомпа: πολύμορφον τῆς γραφῆς – «многосторонность» (Ер. ad Pomp. 6.3); ποικιλία ἐν τοῖς πράγμασι – «пестрота содержания» (De imit., fr. 31.3.3). С другой стороны, он критикует избыточность (οὐτε ἀναγκαῖαι) и неуместность (οὐτ' ἐν καιρῷ) экскурсов с точки зрения

¹⁰ Fornaro S. Epistola a Pompeo Gemino. Introduzione e commento. Stuttgart; Leipzig, 1997. P. 194–197.

композиции (Ер. ad Pomp. 6.11), указывая на отсутствие одного из достоинств содержания – краткости.

В трактате «О Фукидиде» технике изложения Дионисий Галикарнасский посвящает особый раздел (De Thuc. 9–20), о чем уже было сказано ранее. Необходимо отметить, что с точки зрения представления фактов изложение Фукидида отличается разнообразием, свойственным художественной композиции. Давно замечено, что в «Истории» Фукидида отсутствует определенная модель рассказа, единство темпа: краткий рассказ или только упоминание о каком-либо событии Пелопоннесской войны, хроникальные части чередуются с ретроспективным рассказом, а суммарное изложение событий сменяются непосредственным развернутым их описанием, как будто они происходят на глазах у рассказчика. Так, излагая события 426 г., он замечает: «Я упомяну только о наиболее достопримечательных (ἀ δὲ λόγου μάλιστα ἄξια) военных действиях, совершенных союзниками вместе с афинянами или же неприятелями против афинян» (Thuc. 3.90.1). В качестве примера замедления и убыстрения темпа повествования можно привести приблизительно равные по объему пятую и шестую книги «Истории»: в пятой книге описываются события шести лет войны (422 – 416 гг.), а в шестой – одного (415 г.).

Выбор того или иного типа повествования обусловлен, по видимому, представлениями самого историка о важности данного события и его значении в ходе войны; композиционные приемы служат, таким образом, расстановке нужных автору акцентов. Однако Дионисий Галикарнасский видит еще один недостаток композиции «Истории» Фукидида в непропорциональности распределения детализированных описаний и суммирующих обозначений: о важных и значительных, по мнению автора трактата, событиях историк сообщает кратко, о второстепенных – подробно; это относится к описанию сражений (De Thuc. 13–14), посольств (De Thuc. 14–15) и бедствий войны (συμφοραί, De Thuc. 15), а также к речам (De Thuc. 16–18) и вступлению (De Thuc. 19–20).

Так, о крупных сражениях, где было много убитых и пленных, он пишет бегло (ἐπιτοχάδην): это морское сражение при Евримедонте в 465 г. (Thuc. 1.100), захват афинянами острова Сфактерии (Thuc. 4.38.5) и Никием острова Киферы (Thuc. 4.53–57) и взятие афиняна-

ми города Фиреи в 424 г. (Thuc. 4.57.3). Дионисий Галикарнасский не понимает, почему о посольстве афинян в Спарту в 430 г. Фукидид лишь упоминает (Thuc. 2.59.1–2), а о посольстве спартанцев в Афины после захвата Пилоса и острова Сфактерии в 425 г. (Thuc. 4.15–22) рассказывает подробно, приводя речь спартанских послов (De Thuc. 14–15).

Военные действия, взятие и разрушение городов, захват пленных античные риторики относят к событиям, которые могут быть детализированно, «наглядно» описаны в исторических сочинениях.¹¹ Дионисий Галикарнасский приводит из «Истории» Фукидида примеры удачных развернутых описаний взятия в 427 г. Платеи (Thuc. 3. 52–68) и Митилены (Thuc. 3. 27–50) и захвата Мелоса в 415 г. (Thuc. 5. 84–116). С другой стороны, он отмечает, что Фукидид приуменьшает масштаб бедствий войны кратким упоминанием о них; это относится к описанию захвата Скионы в 420 г. (Thuc. 5.32.1) и Эвбеи в 445 г. (Thuc. 1.114.3) и изгнания жителей Эгины в 431 г. (Thuc. 2.27.1, De Thuc. 15).

Исходя из требований уместности, Дионисий Галикарнасский отмечает, что в одних случаях, где речи необходимы, их нет, но в других, где их могло бы не быть, они присутствуют (De Thuc. 17). Речей не хватает в описании посольства афинян в Спарту в 430 г. (Thuc. 2.59.1–2, De Thuc. 15) и народного собрания, на котором афиняне решают истребить все население Митилены (Thuc. 3.36, De Thuc. 17), а речь, подобная надгробной речи Перикла (Thuc. 2.35–46), была бы уместна в описании не событий первого года войны, а захвата Сфактерии (Thuc. 4.9–23, 26–40) или отступления афинян после разгрома Сицилийской экспедиции в 413 г. (Thuc. 7.78–87, De Thuc. 18).

Наконец, недостатки композиции «Истории» Фукидида Дионисий Галикарнасский отмечает, указывая на непропорциональность (ἀνῶμαλον) вступления: оно слишком велико, так что оказывается отдельным историческим сочинением (ἱστορία τις αὐτῇ καθ' αὐτήν, De Thuc. 19). Исходя из того, что вступление должно передавать основное содержание (τὰ κεφάλαια) того, что будет изложено далее, он предлагает свой вариант (De Thuc. 20): он оставляет только первую и последние главы (Thuc. 1.1, 21–23), считая ненужным осталь-

¹¹ Примеры см. в работе: Nicolai R. Op. cit. P. 139.

ное, т.е. «Археологию» – изложение древнейшей истории Греции (Thuc. 1.2–19), предваряющее описание Пелопоннесской войны.

Таким образом, Дионисий Галикарнасский, анализируя композицию, или «расположение материала», исторических сочинений в трактате «О подражании», «Письме к Помпею» и в трактате «О Фукидиде», обращает внимание прежде всего на последовательность и технику изложения; достоинством первой является ясность, а второй – пропорциональность, понимаемая как зависимость подробности описания от масштаба события (сражение, посольство, речь) или как соответствие требованиям риторики (введение), и разнообразие.

СТРАНСТВОВАНИЯ ИО В «ПРОМЕТЕЕ ПРИКОВАННОМ» ЭСХИЛА И АРХАИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА ГРЕКОВ

В 1968 году, учась на 2 курсе отделения классической филологии филологического факультета МГУ, я слушал курс античной мифологии, который нам преподавала Аза Алибековна Тахо-Годи. Гомер и Гесиод были главными героями наших штудий. Курсовая, посвященная сравнению религиозной мысли первых литераторов Эллады, оказалась моим первым научным трудом. Думаю, что желание заниматься наукой и дальше во многом появилось благодаря тому по-настоящему творческому отношению к исследовательской работе, которое прививала нам Аза Алибековна. Вышло так, что с тех пор я больше занимался римскими древностями и литературой, но сейчас, к концу моей научной карьеры, я стал все чаще возвращаться к греческой архаике. Небольшой этюд из этой области я и хотел бы преподнести моему дорогому учителю Азе Алибековне – скромный дар ее бывшего и всегдашнего ученика.

Легенда об Ио, дочери арголидского царя Инаха, о ее судьбе и странствованиях относится к древнейшим эпическим сюжетам¹. Превращенная за любовную связь с Зевсом в корову, она, гонимая оводом, напускаемым на нее Герой, скитается по всей ойкумене. Настоящая статья посвящена анализу маршрута ее странствований. Этот маршрут описан подробнее всего в трагедии Эсхила «Прометей Прикованный» (Aeschyl. Prom. Vincit. 561-886), где Ио появляется «в Скифии» у прикованного к скале Прометея, рассказывает о своем пути к нему, а тот, в свою очередь, предсказывает Ио, какой путь ей придется проделать, чтобы оказаться в Египте, где ей предназначено было поселиться и родить сына.

Однако прежде чем перейти к анализу самого текста трагедии, я хотел бы сказать несколько слов о той картине мира, которая, на мой

¹ В гесиодическом «Перечне женщин» автор (жил, вероятно, в VI в. до н. э.), составляя перечень потомков Инаха (Фр. 124-126), рассказал историю Зевса и Ио. О ней же повествуется в другом гесиодическом произведении «Этимий» (фр. 294-296). Это означает, что сюжет с Ио возник еще в эпической среде.

взгляд, была характерна для архаических греков, зафиксирована в греческом эпосе и, возможно, проявилась также в трагедии Эсхила².

Как известно, в архаическое время кругозор греков был ограничен несколькими морями, примыкающими к Греции и Малой Азии. Эгейское море, окруженное сушей (Малой Азией на востоке, Фракией на севере, Сицилией на западе, Критом и Египтом на юге), а также Ионийское и Сицилийское – вот пространство, в котором герои греческого эпоса (Одиссей, аргонавты, Геракл, Тезей и др.) должны были странствовать между Азией, Европой и Ливией. При этом, начиная с Гомера, ойкумена считалась окруженной со всех сторон единым Океаном.

Из этих двух хорошо документированных тезисов логически вытекает третий. А именно: в этой ситуации проливы – Босфорский (выводящий вместе с Геллеспонтом и Пропонтидой в Черное море), Мессенский (выводящий между Сицилией и Италией в Западное Средиземноморье), Сицилийский (разделяющий Сицилию и Северную Африку) и Отрантский (отграничивающий Адриатическое море от Ионийского) – воспринимались, по-видимому, как рубежи ойкумены, представляющие собой выходы во Внешний океан.

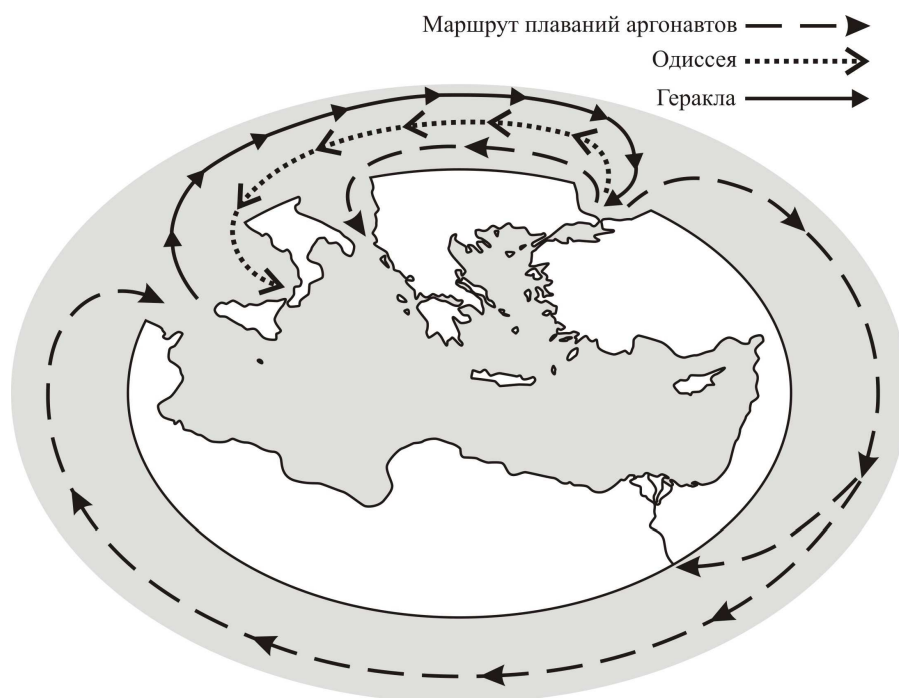
Если составить карту того, как выглядела ойкумена в древнейшее время, то получится следующая картина:



² Основные положения моего понимания архаической картины мира греков были изложены в работах: Морские проливы в античной картине мира: их значение и функции // Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век. Материалы международной научной конференции / Отв. ред. Л. П. Репина. М., 2008. С. 361-363; Океан, моря, проливы и реки в архаической картине мира древних греков // Висы дружбы. Сборник статей в честь Татьяны Николаевны Джаксон. М., 2011. С. 345-356; Куда плавал Одиссей? О географических представлениях греков в связи с путешествиями аргонавтов, Геракла и Одиссея // Аристей. Вестник классической филологии и античной истории. № 5. 2012. С. 72-113.

По карте видно, что, скажем, выход в океан через Босфорский пролив находится недалеко от входа из океана в Адриатику и этим могут объясняться резкие переходы Одиссея, Геракла, аргонавтов и других путешественников из северо-восточной части ойкумены (Черного моря) в западную часть (Адриатика и Тирренское море), или наоборот, или из Черного моря в Индийский и Южный океаны к истокам Нила, или с Гибралтара на Кавказ.

Констатация того, казалось бы, простого и очевидного факта, что проливы на ментальной карте греков соединяют Средиземное море с Океаном, приводит к важным выводам космологического, географического и мифологического порядка. Представляется, что античные проливы – это изначально символ выхода в открытый океан, т.е. из «нашего», (среди-)земного, цивилизованного мира в мир «чужой», фантастический, потусторонний, варварский; они воспринимались как нечто лимитрофное между жизнью и смертью. В связи с этим оказываются возможными выход из Средиземного моря в Океан (так называемый ἑξωκεανισμός) и океанические плавания вокруг ойкумены, которые, на мой взгляд, и осуществляли герои античного эпоса. Вот так могли выглядеть маршруты их плаваний:



Представляется, что в эту картину мира вписывается и маршрут странствований Ио, более того, некоторые трудные места ее итине-

рария получают свое объяснение именно на основе такой картины мира.

Путь Ио³ прослеживается в трагедии Эсхила, начиная от оракула Зевса в Додоне в Феспротии (v. 830 и след.), находящейся на побережье Ионийского моря на юго-западе Эпира. Странствования Ио приводят ее, по Эсхилу, сначала к Адриатическому морю, «к огромному заливу Реи» (v. 838), где в честь нее море будет названо Ионийским (vv. 840-841), а затем она без всякого перехода появляется у скалы, к которой прикован Прометей.

Где находилась эта скала? В первых же строках трагедии говорится: «Вот мы пришли к далеким рубежам земли, / В пространства скифов, в дикую пустую дебрь»⁴ (vv. 1-2; перевод А. И. Пиотровского). Т.е. место мучений Прометея находится где-то на севере, на краю земли, в стране скифов. Где точно локализуется эта скала и как Ио туда добралась, не совсем ясно⁵, но дело происходит явно не на Кавказе, коль скоро Прометей позже, рисуя картину дальнейших странствий Ио, пошлет ее на Кавказ (vv. 719-720).

Впрочем, в аргументе к самой трагедии⁶ говорится, что «место действия драмы находится в Скифии на Кавказской горе» (ἡ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑποκεῖται ἐν Σκυθία ἐπὶ τὸ Καυκάσιον ὄρος)⁶; во фрагменте из Эсхиловой трагедии «Прометей Освобождаемый», сохраненном Цицероном (Tusc. II, 10, 23-25), также говорится о Кавказе, к которому был прикован Прометей (adfixus ad Caucasum)⁷. Несообразность этой локализации стала следствием того, что некоторые переписчики слова ἐπὶ τὸ Καυκάσιον ὄρος удаляли из текста,

³ География странствований Ио у Эсхила подробно рассмотрена в работах: Bolton J. D. P. *Aristeas of Proconnesus*. Oxford, 1962. P. 45-70; Bonnafé A. *Texte, carte et territoire: Autour de l'itinéraire d' Io dans le Prométhée* // *Journal des savants*. Paris, 1991. P. 133-193 et 1992. P. 3-34; Finkelberg M. *The Geography of the Prometheus Vinc-tus* // *Rheinisches Museum für Philologie*. NF. 141. 1998. P. 119-141.

⁴ Χθονὸς μὲν ἐς τηλοῦρόν ἤκομεν πέδον,
Σκύθην ἐς οἶμον, ἄβροτον εἰς ἐρημίαν.

⁵ Bonaffé. Op. cit. P. 152-153.

⁶ Аргументы (ὑποθέσεις к драмам Эсхила были составлены выдающимся эллинистическим грамматиком Аристофаном из Византия (конец III в. – начало II в. до н.э.), работавшим в Александрии и возглавившим там после Эратосфена библиотеку.

⁷ См. также: *Hygin*. *Astron.* II, 15, 3: *Prometheum autem in monte Scythiae nomine Caucaso ferrea catena vinxit* (sc. Juppiter).

например, в рукописи R (Vatic. Gr. 57); так же поступили У. фон Вилламовиц-Мёллендорфф в своем берлинском издании «Прометея» в 1914 году и Умберто Скатена в миланском издании 1968 года, считая эти слова интерполяцией.

Интересна в связи с этим ремарка схолиаста к словам аргумента о Скифии и Кавказе как месте действия драмы: «следует знать: он не говорит, что Прометей оказался на Кавказе, как обычно считается, но на европейских границах океана, как следует заключить на основании того, что было сказано Ио Прометеем⁸». Это уточнение, выносящее скалу, к которой прикован Прометей, на берег Северного океана⁹, оказывается весьма важным для понимания путешествия Ио.

Итак, Ио каким-то образом попадает из Адриатики на побережье Северного океана, к месту, где на северо-западе Европы прикован Прометей. Посмотрев на нашу карту, мы понимаем, что это было нетрудно, коль скоро Адриатическое море должно было в архаической картине мира быть проливом в Океан как раз на северо-западе ойкумены.

Есть несколько данных, позволяющих рассматривать Отрантский пролив, ведущий в Адриатику, как выход в Океан, сопряженный

⁸ Схолий из рукописи M (Laur. 32.9) X века, считающейся самой древней, полной и лучшей для установления текста трагедий: ἰστέον ὅτι οὐ κατὰ τὸν κοινὸν λόγον ἐν Καυκάσῳ φησὶ δεδέσθαι τὸν Προμηθεά, ἀλλὰ πρὸς τοῖς Εὐρωπαϊοῖς τέρμασι τοῦ Ὠκεανοῦ, ὡς ἀπὸ τῶν πρὸς τὴν Ἰῶ λεγομένων ἔστι συμβαλεῖν. Схолии к «Прометею Прикованному» см.: Herington C. J. *The Older Scholia on the Prometheus Bound*. Lugduni Batavorum, 1972.

⁹ Большинство комментаторов принимает это уточнение; Н. Веклайн (Wecklein N. *Aeschylus. Prometheus*. 3 Aufl. Leipzig, 1893. S. 22-23) считает, что схолиаст сделал «richtige Bemerkung» и что „Prometheus von der Höhe seines Felsen die Ansicht auf die blinkende Wasserfläche hat“; Smith H. W. *Aeschylus. Prometheus Bound*. Cambridge, 1956. P. 211 про сцену: “A rocky height, overlooking the ocean, in the uttermost parts of Scythia”; Conacher D. J. *Aeschylus’ Prometheus Bound*. A literary commentary. Toronto; Buffalo; London, 1980. P. 61: “Prometheus’ place of punishment in northern Scythia on the unmapped and mysterious verge of Ocean (the Ocean nymphes hear Haphaistos’ hammering from the oceanic depths, 133-5)”; Finkelberg. Op. cit. P. 119: “near the Ocean at the far north-west limits of the inhabited world”. Дж. Болтон (Bolton. Op. cit. P. 52-53) и А. Бонаффэ (Bonaffé. Op. cit. 1991. P. 156) допускают, что это могли быть мифические Рипейские горы, которые греки помещали на севере Европы.

также с проходом в мир мертвых, мир фантастики и хтонических мифов.¹⁰

Так, уже для Гомера остров Одиссея Итака, находящийся почти при входе в Отрантский пролив, оказывается расположенным на крайнем западе (Od. IX. 23–25). Таким же крайним описывают локализацию своего острова Схерия (= адриатической Коркиры) его жители феаки (Od. VI. 204).

Несколько севернее Итаки на выходе в Адриатику-Океан в античности был известен остров Левкада (Λευκάς πέτρον, совр. Lefkas), знаменитый тем, что с его скалы сбрасывали (очевидно, в жертву морю) людей и бросались сами желающие погибнуть (как это сделала, по преданию, поэтесса Сапфо). Известно, что острова с названием Левкада, как этот остров и остров в Черном море, рассматривались в античности как вход в потусторонний мир.

Гомер в «Одиссее» (XIV, 11–13) описывает последнее путешествие в Аид женихов Пенелопы, убитых Одиссеем: они летят в сопровождении Гермеса из Итаки в Аид на край земли к Океану на западе и мимо Левкадийской скалы. Понятно, что если это самый западный пункт, известный грекам¹¹, то и Адриатическое море могло с легкостью восприниматься как залив Океана, предваряющий вход в подземное царство Аида, и остров Левкада должен был маркировать близость к Аиду¹².

В отдаленный угол Адриатики впадала река Падан (По), которая у греков часто отождествлялась с мифическим Эриданом. Эта река считалась атрибутом нижнего царства мертвых, в частности, именно

¹⁰ См. Cary M., Warmington E.H. The Ancient Explorers. London, 1929 (цитирую по немецкому переработанному переводу : Die Entdeckungen der Antike. Zürich, 1966. S. 50) о неизвестности Адрии грекам вплоть до открытия ее фокейцами после 600 г. до н. э., как об этом пишет и Геродот в I, 163.

¹¹ Еще Геродот писал, что жители Левкады прибыли на помощь Элладе в войне против персов «из самых дальних пределов – οἱ ἐξ ἐσχάτων χωρῶν ἐστράτεύοντο» (VIII, 47).

¹² См.: Ballabriga A. Le Soleil et le Tartare. L'image mythique du monde en Grèce archaïque. Paris, 1986. P. 54: "Faisant partie des confins du monde grec archaïque, au delà de l'Achéloos, Leucade a très bien pu passer pour un cap limite, une frontière entre le monde des vivants et celui des morts, dans un imaginaire cosmologique *relativement original* vers la fin des Ages Sombres et le début du Haut Archaïsme (IXe–VIIIe s. a. C.)".

в ней должен был вечно страдать Тантал¹³. Таким образом, опять мы имеем знак потустороннего мира, находящийся на выходе из пролива в океан. К раннему времени относится также представление, что Эридан, который располагался где-то на крайнем западе (или северо-западе), впадает в океан¹⁴.

К этому же кругу представлений об океаническо-потусторонней Адриатике следует отнести характеристику, данную этому морю Аполлонием Родосским, который назвал отдаленную часть Адриатического моря «морем Кроноса»¹⁵ (Κρονίη ἄλς – Argon. IV, 508; 527; 548; 552), – «именем, с которым связано представление о загробном мире, об островах блаженных, на которых царствует Кронос и которое прилагалось к Адриатическому морю лишь в порядке перенесения на него представлений о Северном океане»¹⁶.

Примечательно, что и Эсхил, по-видимому, следует этой традиции, коль скоро в «Прометее Прикованном» (vv. 837-838) он приводит, как уже упоминалось, Ио к Адриатическому морю, называя его «огромным заливом Реи (μέγαν κόλπον Ῥέας)»; это также отсылает нас к царству мертвых, где правят Рея и Кронос¹⁷. То, что Кронос ассоциировался именно с Северным океаном, явствует из одной версии мифа о Кроносе, в которой тот, убегая от Зевса, пересек Кавказ, добрался до резиденции северного ветра Борея и дал свое имя прилегающему океану – Кронийскому¹⁸.

Таким образом, Адриатическое море на ранних этапах освоения греками Средиземноморья, как и другие проливы, рассматривалось как пролив, как путь в океан.

В свете сказанного представляется, что Ио, придя на берег Ионийского (= Адриатического) моря, могла с легкостью (в представлении греков, ориентированных на эпическую традицию), выйти

¹³ См.: Verg. Aen. VI, 659; Schol. Eurip. Or. 982.

¹⁴ Herod. III, 115.

¹⁵ Э. Делаж считает, что “l'appellation ‘mer de Cronos’ est curieuse” и признает его архаическим (Delage E. La géographie dans les Argonautiques d'Apollonios de Rhodes. Bordeaux; Paris, 1930. P. 210).

¹⁶ Ельницкий Л. А. Знания древних о северных странах. М., 1961. С. 25. Ср.: Plut. De facie in orbe lunae 941a, где море к северо-западу от Британии называется Кронийским (Κρόνιον πέλαγος) Дионисий Периэгет (32) и Плиний Старший (NH. IV, 104) Кронийским называют Северный океан.

¹⁷ Так уже у Пиндара (Ol. II, 70–72 и 77–78) в описании Островов Блаженных.

¹⁸ Ps.-Plut. Fluv. 5, 3.

через него к океану, где и оказалась около скалы Прометея на северо-западе ойкумены¹⁹. Кстати, от Додоны к скале Прометея Ио идет по морскому песчаному побережью (v. 573: ἀνὰ τὰν παραλίαν ψάμμον).

Дальше, по предсказанию Прометея, Ио должна была, направившись на восток, пройти через землю кочевых скифов, халибов, реку Гюбристес, Кавказские горы, землю амазонок, Сальмидесскую отмель и, наконец, прибыть к Киммерийскому Босфору и Меотиде, т.е. практически совершить перипл Черного моря. География этого маршрута весьма запутана²⁰ и представляет собой предмет особого исследования. Нас интересует в данный момент продолжение этого путешествия.

Приведу перевод этого текста (vv. 790-815), выполненный А. И. Пиотровским:

790 Пройдя поток, материки разрезавший,
На солнечный, палящий поверни восток!²¹
Прибой минуй бурлящий моря! Знойные
Поля Кисфены встретишь ты Горгонины
И трех Форкид, седоволосых девушек,
На лебедей похожих. Глаз один у них
И зуб один. К ним луч не проникал еще
Дневного солнца и ночного месяца.
А по соседству три сестры крылатые
Живут. Горгоны, в косах – змеи, в сердце – яд.
800 Кто им в глаза заглянет, в том остынет жизнь!
Рассказываю, чтобы остеречь тебя.
Печального послушай путь скитания!

¹⁹ Ср.: *Finkelberg*. Op. cit. P. 121 о том, что эсхилова трактовка легенды о Прометее “transfers Prometheus’ punishment to the far north-west end of Europe”, куда, собственно, и должен был выходить Адриатический «пролив».

²⁰ Ср.: *Griffith M. Aeschylus. Prometheus Bound. Cambridge, 1983. P. 161*: “the geography of *Prometheus* is generally wild”. Среди множества версий особое место занимает позиция М.Финкельберг, которая считает, что (Кавказская) гора, с которой берет начало река Гюбристес, – это Альпы, а сама река – это Рейн (*Finkelberg*. Op. cit. P. 123-124). Кавказ Эсхила она, вслед за Болтоном, считает идентичным Рипейским горам, которые также иногда отождествлялись с Альпами.

²¹ Здесь предполагается лакуна, в которой рассказывалось бы о переправе Ио через море, возможно, Каспийское (*Bolton*. Op. cit. P. 60).

Острокогтистых бойся грифов, Зевсовых
 Собак безмолвных! Войска одноглазого
 Остерегайся аримаспов-конников,
 У золототекучего кочующих
 Плутонова потока! На краю земли
 Найдешь народец черный, обитающий
 У солнечных ключей, где Эфиоп-река.
 310 Направь шаги по берегу! С Библосских гор²²
 Там Нил обрушивает водопадами
 Волну плодоносящую и сладкую.
 Укажет путь он в землю треугольную²³,
 К Усть-Нилью. Там дано далекий выселок²⁴
 Тебе и детям, Ио, заложить твоим.

Итак, Ио, пройдя через Керченский пролив (Босфор, который будет назван в честь нее и который разделял Европу и Азию) на восток, должна будет пересечь бурлящее море (πόντου φλοῖσρον, по логике движения – Каспийское²⁵). Затем она оказывается в области Кисфены, где живут Форкиды и Горгоны²⁶ (vv. 790-800), причем о Форкидах сказано – «К ним луч не проникал еще // Дневного солнца и ночного месяца²⁷» (vv. 796-797), т. е. имеется в виду, что они жили под землей²⁸. Их расположение неясно. Далее она проходит мимо грифов и аримаспов, которые, по Геродоту, жили на севере Восточной

²² Т. е. с гор Папируса (Библос = папирус). В других источниках не встречается.

²³ Т. е. в дельту Нила.

²⁴ Имеется в виду город Каноп в устье Нила.

²⁵ Finkelberg. Op. cit. P. 129: "the sea to the east of the Pontus can only be the Caspian". Scatena U. Eschilo. Prometeo. 2 ed. Milano, 1968. P. 24 предполагает, что это могло быть Черное море: "si tratta forse del *pontus Euxinus* (Mar Nero)".

²⁶ Причем о Кисфене, Горгонах и Форкидах схолиаст замечает, что на самом деле они находятся в Ливии или Эфиопии: Ἡ Κισθήνη πόλις ἐστὶ Λιβύης ἢ Αἰθιοπίας· περὶ τὰ μέρη δὲ αὐτῆς κατοικοῦσιν αἱ Φορκίδες καὶ αἱ Γοργόνες. Помещение этих персонажей на дальнем востоке является, по-видимому, изобретением самого Эсхила (Rose H.J. A commentary of the surviving plays of Aeschylus. Amsterdam, 1957. P. 303). Болтон замечает в этой связи, что Пиндар в Pyth. X, 45 описывает путь Персея к гипербореям, где он убивает горгону Медузу, и это также показывает возможность их северной локализации (Bolton. Op. cit. P. 62).

²⁷ ἄς οὐθ' ἥλιος προσδέρεται ἀκτίσιν οὐθ' ἡ νύκτερος μήνη ποτέ.

²⁸ Rose. Op. cit. P. 303.

Европы, а по некоторым другим версиям, – в Северной Азии²⁹ и через неизвестную из других источников реку Плутона. Сразу за этим она оказывается... у эфиопов (vv. 807-809): «На краю земли (τηλουρὸν δὲ γῆν) // найдешь народец черный, обитающий // у солнечных ключей, где Эфиоп-река (οἱ πρὸς ἡλίου ναίουσι πηγαῖς, ἐνθα ποταμὸς Αἰθίοψ)». Далее ей следовало пройти по берегу этой реки и оказаться у истоков Нила, по которому она приходит к устью Нила, в город Каноп – цели своего путешествия, где она получит от Зевса исцеление и родит ему сына Эпафа.

Маршрут странствований Ио от Танаиса (Дона) до Египта³⁰ считается, как правило, *confused geography*, иногда рассматривается как *the poet's own invention*³¹.

Мне представляется, что азиатский путь Ио вполне вписывается в ту эпико-архаическую картину мира, о которой шла речь в начале статьи. Более того, путь по океану (или вдоль него, как у Ио) практически полностью повторяет маршрут аргонавтов, проплывших от Кавказа до Египта. Как известно, один из древнейших маршрутов возвратного плавания аргонавтов из Черного моря в Средиземное шел через реку Фасис, которая сначала воспринималась как граница между Европой и Азией и которой приписывалась связь с Северным океаном. По океану, омывающему ойкумену с севера, востока и юга, и мыслилось возвратное путешествие аргонавтов в Египет и – как у Ио, вниз по течению Нила – в Средиземное море³². Маршрут

²⁹ Комментаторы устанавливают, что источником Эсхила послужили здесь Аримаспея Аристеея Проконесского, труды Гекатея Милетского, Скилакса и Геродота (см.: *Bolton*. Op. cit. P. 44 sqq. об Аристее как источнике описания аримаспов, грифонов и золота; *Bees R.* Zur Datierung des Prometheus Desmotes. Stuttgart, 1993. S. 133-241 о заимствованиях из Геродота, которые показывают *terminus post quem* написания «Прометея»; *Podlecki F.J.* Aeschylus. Prometheus Bound. Oxford, 2005. P. 201-203 о возможных заимствованиях из Гекатея, Скилакса и Геродота; *Finkelberg*. Op. cit. P. 129-132 об общих чертах описания у Эсхила и Ктесия).

³⁰ По мнению Болтона, это самое раннее в греческой географии описание такой протяженности северных районов мира (*Bolton*. Op. cit. P. 46).

³¹ *Conacher*. Op. cit. P. 18; 61.

³² См. Schol. ad Apollon. Rhod. Arg. IV, 259: «Гесиод, Пиндар в 'Пифиониках' и Антимак в 'Лиде' говорят, что аргонавты по океану прибыли в Ливию и, перенеся (на плечах) Арго, очутились на Нашем море», при этом чуть ниже (ad IV, 284) тот же схолиаст сообщает, что «Гесиод говорит, что они проплыли по Фасису».

аргонавтов от Черного моря до юга Африки через Восточный океан, ввиду скрадывания в архаической греческой картине мира огромных азиатских пространств, выглядит не таким уж обширным (см. выше карту с маршрутами океанических плаваний).

Кстати, на восточном маршруте Ио также хорошо видно, как скрадывается азиатское пространство, и путь с севера на юг ойкумены мог показаться уже не таким уж далеким как с точки зрения Эсхила, так и его слушателей.

Наиболее проблематичным в итинерарии Ио обычно рассматривается ее переход от североазиатских грифонов и аримаспов к южноафриканским эфиопам. Мне, однако, этот переход не кажется чересчур нелогичным, так как, во-первых, Эсхил сообщает про эфиопов, что «они живут у истоков Солнца» (οἱ πρὸς ἡλίου ναίουσι πηγαῖς), т.е., не на юге, а на востоке (или, по крайней мере на юго-востоке) ойкумены. Известно также, что в античности, уже начиная с Гомера³³, различались две группы эфиопов – восточных и западных³⁴, занимавшие практически всю южную часть ойкумены от востока до запада³⁵. Мимнерм сообщает в *Fragm. 12* (Allen), что солнце, закончив свой дневной путь на западе, в стране Гесперид, переправляется затем в золотой ладье на восток, в страну эфиопов (χώρου ἄφ' Ἑσπερίδων γαῖαν ἐς Αἰθιοπῶν), где колесница и кони ночью отдыхают. Эфиопия здесь оказывается на крайнем востоке³⁶! У Аполлония Родосского, наоборот, солнце садится за горами «западных эфиопов» (III, 1192: Ἑσπερίων νεάτας ὑπὲρ ἄκριας Αἰθιοπῆων). Помпоний Мела (3, 67), говоря о темнокожих обитателей дальней Индии, замечает о них: “atrae gentes et quodammodo Aethiopes”.

В греческой географии существовало представление о том, что Южная Индия и Восточная Африка представляют собой одну страну. Так, согласно Арриану (*Anab. VI, 1, 3*), Александр Великий, когда во время своего восточного похода достиг реки Акесин (совр. Чи-

³³ II, 423-425; XXIII, 206-207; Od. I, 22-26; V, 282-283; 286-287.

³⁴ Od. I, 23-24: Αἰθιοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν, οἱ μὲν δυσορένου Ὑπερίονος, οἱ δ' ἀνιόντος.

³⁵ Ср. *Strabo* I, 2, 27: φημὶ... τὰ μεσημβρινὰ πάντα Αἰθιοπίαν καλεῖσθαι τὰ πρὸς ὠκεανῶ. О восточных эфиопах и их локализации см.: *Snowden F. M. Blacks in Antiquity: Ethiopians in the Greco-Roman Experience. London, 1970; Ballabriga Op. cit. P. 61-62; 180-186, 190-215; Bonaffé. Op. cit. 1991. P. 180-190.*

³⁶ См. об этом фрагменте: *Lesky A. Aithiopica // Hermes. 87. 1959. S. 30-31.*

наб), решил, что эта река, впадающая в Инд, и является истоком Нила. Так что даже при Александре Македонском Нил представлялся находящимся недалеко от Центральной Азии, и это была древняя традиция, которой следовал македонский царь. Такое отождествление Нила и Инда приводит некоторых исследователей к выводу, что у Эсхила под названием «река Эфиоп» (v. 809) скрывается именно Инд, и речь идет об «азиатских», или «восточных» эфиопах³⁷. Интересно, что, в то время как некоторые схолии идентифицируют реку Эфиоп с Нилом (Medic.), некоторые (CPRdWX) видят в ней Ганг (ὁ Γάγγης).

Вообще, река под названием Эфиоп из других источников неизвестна. Мне представляется, что здесь все же имеется в виду начало реки Нил, которая сначала протекает через Эфиопию и становится собственно Нилом уже после катаракт (водопадов) в Египте.

На мысль о возможном океаническом плавании персонажей Эсхила наводит также тот факт, что Прометей, прикованного к Кавказской скале, которая, скорее всего, находится на берегу океана, навещают сам Океан и нимфы-Океаниды. Несмотря на то, что последнее, услышав³⁸ в своих подводных пещерах грохот надеваемых на Прометея оков, прилетели сюда на крылатой колеснице, не исключено, что путь их пролегал через Океан, так как первые же слова Прометея к ним были: «Многодетной Тефии птенцы и отца // Океана, который всю землю кругом // Обтекает гремячей, бессонной рекой» (vv. 138-140; перев. А. И. Пиотровского). И Ио³⁹, и Океан, и Океаниды в таком случае могли в древнейших версиях мифа вос-

³⁷ См.: *Finkelberg*. Op. cit. P. 128-129.

³⁸ Ср.: *Wecklein*. Op. cit. S. 23: "Auf den Schall der Hammerschläge bei dem Anschmieden des Prometheus kommen des Okeanos herbei; jenes Meer ist also der Ocean, nicht der Pontus oder die Mäotis... Der Schauplatz der Handlung ist demnach eine raue, felsige, öde Gegend 'am Ende der Welt' im Norden des Scythenlandes in der Nähe des Oceans".

³⁹ Предполагается, что Ио проделала весь путь по суше, что логично для ее образа, к тому же она постоянно говорит о себе как об идущей (vv. 565-566; 576-577; 707-709; 712; 721-722 и т.д.). Но нельзя исключить, что в первоначальной версии мифа она *плыла* по морю (ведь переплывала же она оба Боспора, переплывал же Геракл целые моря с быками Гериона, а Зевс в образе быка переплыл с Европой на спине море между Палестиной и Кипром). Но в любом случае такое, даже и сухопутное, путешествие она могла совершить только в рамках той картины мира и ментальной карты, которую мы предполагаем.

пользоваться океаническим путем, как самым кратким и удобным⁴⁰. А. Бонаффэ объясняет прибытие этих персонажей по воздуху, а не по морю, техническими особенностями устройства сцены в греческом театре, где при неподвижности главного героя необходимо было использовать машинерию сцены для появления хора Океанид и Океана⁴¹.

Любопытный путь преодолевают также титаны, образующие хор в «Прометее Освобождаемом» (фр. 190-191). Титаны, освобожденные Зевсом из Тартара (находящегося на западе за океаном⁴²), рассказывают Прометею, какой путь они проделали, чтобы прибыть к нему. Вот эти два фрагмента в переводе М. Л. Гаспарова:

Фр. 191 ... (мы пришли туда) Где льется Фасис, двойная грань
Азийской земли и Европы⁴³.

Фр. 192 «... (оставили мы)
Черного⁴⁴ моря святой поток
С порфировым дном
И медью молний блестящий залив
Океана, поильца всего, что есть,
Где всезрящий бог в эфиопской волне
Бессмертное тело и конский пот
Омывает струей.

Итак, титаны приходят из Западного океана через Красное море (собственно Южный океан), далее через Восточный (Эфиопский⁴⁵,

⁴⁰ Хотя в трагедии неоднократно говорится, что они прибыли на колесницах по небу, где «птиц голубая тропа» и сейчас с нее сойдут (vv. 279-282; ср. также vv. 128-129), да и Океан прибыл тоже по небу на крылатом коне и на нем же улетел (vv. 284-287 и 394-396).

⁴¹ Bonnafé. Op. cit. 1991. P. 160.

⁴² См. Pindar Ol. II, 127.

⁴³ Трудным для комментирования является вопрос, почему, если в «Прометее Прикованном» границей Европы и Азии считается Танаис (Дон), то в «Прометее Освобождаемом» – Фасис (Риони). Мы знаем о существовании в античности обеих теорий. Проблема стоит так: либо здесь налицо противоречие, либо под Фасисом и Танаисом раньше понималась одна река (см.: Finkelberg. Op. cit. P. 134).

⁴⁴ В греческом тексте море названо «Красным» (ἐρυθρὰς ἑρὸν χεῦμα θαλάσσης). По Геродоту (II, 158), под Красным морем понималось все море, омывающее с юга Африку и Азию.

⁴⁵ В этом тексте следует также отметить широкое «южное» понимание этнонима «эфиопы».

где Гелиос оmyвает после тяжелого дня своих коней и себя) к Фасису – границе между Европой и Азией⁴⁶. Прав В. Н. Ярхо, отметивший в своем комментарии к этому месту: «...От Нила до Скифии они повторили в обратном направлении путь Ио, предсказанный ей Прометеем в предыдущей трагедии»⁴⁷. Я бы добавил, что титаны повторили в обратном направлении путь также и аргонавтов, что более, что титаны прибывают не к Танаису, откуда начинала свой путь Ио, а к Фасису – исходному пункту путешествия аргонавтов.

Следует сказать, что существуют и другие, более реалистичные античные версии странствований Ио из Аргоса к Египту, в которых путь идет через моря и страны Средиземноморья.

Примечательно, что сам Эсхил в другой своей трагедии «Просительницы» дает иной маршрут странствий Ио (vv. 542-562): она переплывает пролив между Европой и Азией (вероятно, совр. Босфор), затем проходит по странам Малой Азии (Фригия, Мисия, Лидия, Киликия, Памфилия), пока не оказывается в Египте.

Согласно Геродоту (1, 1), Ио была похищена в Аргосе финикийскими купцами и увезена в Египет. Лукиан в «Разговорах богов» (3) говорит о поручении Зевса Гермесу убить сторожа Ио Аргуса и из Нимеи провести ее через море в Египет. Каким путем, не сообщается, но, вероятнее всего, через Средиземное море.

Интересную версию скитаний Ио дает Аполлодор (II, 1, 3): Ио, убежав из Арголиты, прибыла к морю, позже названному в ее честь Ионийским, а потом, «пройдя через Иллирию и преодолев Гемийский хребет, перешла к проливу, который тогда назывался Фракийским, теперь же по ее имени называется Боспор. Затем она пришла в Скифию и Киммерийскую землю: блуждая по огромным пространствам материка и переправляясь через многие моря Европы и Азии, она пришла, наконец, в Египет...». Болтон справедливо считает, что в этом рассказе Аполлодор соединил две различные версии легенды – одну про сухопутный итинерарий Ио (Иллирия, гора Гем), другую – про ее азиатский путь в Египет⁴⁸.

Наконец, Аммиан Марцеллин (XXII, 1, 3) говорит про оба Боспора, что «имя Боспора они носят потому, что некогда дочь Инаха,

⁴⁶ Этот маршрут принимает также Э. Бушор (*Buschor E. Aischylos. Die Danaostöchter, Prometheus, Thebanische Trilogie. München, 1958. S. 136-137*).

⁴⁷ См: Эсхил. Трагедии в переводе Вячеслава Иванова. М., 1989. С. 552.

⁴⁸ *Bolton. Op. cit. P. 47.*

превращенная, по словам поэтов, в корову, перешла через них в Ионийское море». Этот (обратный) переход через проливы в Ионийское море означает, что оно могло соединяться с обоими проливами, т.е. с Черным морем⁴⁹.

Итак, мы можем констатировать, что у Эсхила явно контаминированы две космологическо-географические картины мира – архаическая (Гомера и Гесиода) с океаном вокруг земли, Адриатическим и Черным морями, выходящими непосредственно в океан, возможностью океанического плавания с севера ойкумены на юг и более актуальная, содержащая сведения о Черном, Азовском и Каспийском морях, о Керченском проливе, о Кавказе, о скифах, аримаспах, грифонах, – сведения, которые стали достоянием более позднего времени и отразились в сочинениях Аристея Проконнесского, Гекатея Милетского, Ктесия и Геродота⁵⁰.

⁴⁹ Так полагает *Delage*. Op. cit. P. 200-201.

⁵⁰ О двух слоях в географических представлениях Эсхила говорит и М. Финкельберг (*Finkelberg*. Op. cit. P. 135; 139-140: "There are passages in Prometheus' instructions to Io which can be interpreted to the effect that their author worked with an earlier and a more traditional version of the story").

СПОКОЙСТВИЕ / ТИШИНА У ПИНДАРА В ПИФИЙСКОЙ 8. 1 – 12.

В этой статье хотелось бы рассмотреть мотив «спокойствия», обозначаемый словом ἡσυχία / ἄσυχία в 8-ой оде Пиндара из Пифийского цикла, а точнее – во вступлении к ней. Эту оду вместе с Немейской 11 принято считать двумя последними по времени из дошедших эпиникиев.

Отметим сразу же, что идея спокойствия вызвана Пиндаром из, можно сказать, душевной сферы представлений. Этим она и оказывается привлекательной с позиций темы описания отвлеченной лексики в ранней греческой лирике: т. е. интересно посмотреть, как у Пиндара осмысливается идея спокойствия и какую поэтическую задачу выполняет этот образ в экспозиции к оде на победу Аристомена с Эгины в борьбе.

Давно известны следующие абсолютно справедливые тезисы.

Кто хочет оценить поэзию Пиндара, должен понять, что в его глазах спортивная победа представляла не меньшую ценность, чем победа военная, и, например, Марафонская победа, в которой афинский народ спас свободу и демократию, имела для него гораздо менее значительную ценность

Свобода человека и его достоинство для Пиндара прежде всего заключаются в обладании своим телом. «Прекрасные части тела юношей» — это всегда особая тема похвалы, а одно из главных завоеваний человека – это владение своим телом. Вероятно, можно не упоминать о том, что традиционно принято отмечать, с какой значительностью и торжественностью у Пиндара воспевается сила, мощь и красота телесная – рук, ног, быстроты движения etc.

Безусловно, восхваление победителя преимущественно опирается на описание телесных качеств, но для традиции изучения эпиникиев Пиндара также непременно важны сила духа героя, его мужество, его труд – πόνος или δαπάνη, ведь агонистическая доблесть ориентирована на именно многотрудную победу. Также сюда непременно входят гордость родом и предками победителя – γένος, и, естественно, воля богов

– его δαίμων, как принято суммировать, следуя самому Пиндару, слаемые спортивного успеха (М. Л. Гаспаров).

Однако, при всей справедливости только что сказанного, нельзя не признать, что анализ эпиникиев Пиндара, как правило, происходит в достаточно монохромном семантическом диапазоне и чаще всё же ограничивается описанием сферы телесного. В художественном мире Пиндара, подчеркнем это и постараемся показать дальше, чрезвычайно важны не только физические качества, спортивные умения и волевые факторы победы, но одновременно в поле внимания поэта постоянно находятся эмоции, душевные качества человека и его умонастроение. Для более точного понимания поэтики Пиндара необходимо отметить, что, так сказать, «нетелесный» образный диапазон его эпиникиев откликается не только на стороны, предполагаемые общей этикой παιδεία и спортивных состязаний, т.е. преданность родному городу и соотечественникам, благодарность наставникам-тренерам, стремление к гармонии физической стороны и добродетели (ἀρετή). У Пиндара много сказано о счастье, он высоко ценит в человеке ум и, например, разумное отношение к богатству, он с особым вниманием выделяет сильные эмоции, в частности, такие, как гнев и зависть, наконец, значительное место, как известно, у него занимает тема поэтического искусства.

При описании привлекающей наше внимание лексики ἡσυχία и мотива спокойствия в Pyth. 8 речь не идет и, разумеется, не может идти о каких бы то ни было абстракциях, речь идет о том, что было намечено выше, и в нашу непосредственную задачу входит рассмотрение вопросов, в чем заключаются конкретные составляющие содержания мотива спокойствия – ἡσυχία – в эпиникии Pyth.8 и каковы особенности стоящего здесь за ним поэтического образа. Также хотелось бы немного сказать здесь об основных характеристиках семантики лексики ἡσυχία.

Рассмотрим вступление к оде Pyth.8¹

- 1) Благосклонное Спокойствие² (ἡσυχία), дочь Справедливости,
- 2) Дающее процветание \ величие городам,

¹ Перевод выполнен автором статьи – О. С.

² М. Л. Гаспаров переводит ἡσυχία в Pyth.8 как Тишина. Собственно вопросы перевода в статье специально не рассматриваются, но по ходу изложения отмечаются смысловые особенности того или иного слова, словосочетания.

- 3-4) Которое владеет в вышине ключами от замыслов и войн,
 5) Прими Пифийскую почесть для Аристомена.
 6-7) Ты умеешь и творить, и испытывать кротость/мягкость
 В нужный момент.
 8-9) Но когда кто-то впустит неумолимый гнев
 В сердце,
 10) Ты, суровое,
 11) встав навстречу вражде,
 12) Силой низвергаешь гордыню в бездну...

Как можно видеть, Спокойствие - ἡσυχία обеспечивает, по Пиндару, достижение весьма важных вещей, и представляется целесообразным описать их подробнее.

Сразу же заявлено, что Благосклонное Спокойствие порождается Справедливостью (Δίκας θύγατερ) и, возможно, уже в силу такого происхождения³, оно имеет достаточно влияния, чтобы «делать города великими». Эпитет (ἡσυχία) μεγιστόπολις – это эпитет – гапакс, и он отмечен только здесь, у Пиндара, φιλόφρων же – «благосклонный как благомыслящий, приветливый, ласковый» подчеркивает принадлежность Спокойствия ментальной сфере.

Спокойствие выполняет решающие функции в жизни людей и, что названо прежде всего, в умственной сфере их деятельности: именно оно, Спокойствие, «контролирует» замыслы / решения, в том числе военные. Оно «Держит ключи от замыслов – решений и войн» и способно благотворно воздействовать на эти планы, т. е. отменять их, если они диктуются, например, гордыней или гневом.

Важно, что Спокойствие, при всей силе своего воздействия, названо благосклонным – приветливым, оно склонно и способно к мягкому настроению и обхождению и в нужный момент (это, естественно, καίρως) владеет умением и творить (ἔρξαι) мягкое / кроткое (τὸ μαλθακόν)⁴, и само испытывать / проявлять его (παθεῖν).

³. Справедливость, одна из важнейших ценностей греческого мировосприятия, является для Пиндара основой поэтического прославления достойного, благородного. Вернер Йегер отмечает в Nem. 3.29 такую мысль: ἔπειτα. ..λόγῳ δίκας ἄωτος ἔσλὸν αἰνεῖν. // В. Йегер. Пайдейя. М. ГЛК. 2001. С.257.

⁴. Возьмём на заметку, что Пиндар любит употреблять слово μαλθακός – «мягкий» (на ощупь – о шерсти), например, в сочетании «Мягкие / нежные руки».

Указано и необходимое условие любой победы и удачи – καίρῳ σὺν ἀτρεκεῖ – именно в тот момент, в который следует, в « точный момент», поскольку это время покровительства божества. По традиции повторим, что в художественном мире Пиндара καίρος обозначает особую категорию времени и жизни человека, это момент, когда возможна удача.

«В древнегреческой системе ценностей, – пишет об этом М. Л. Гаспаров, – было понятие, очень точно выражающее художественный – и не только художественный – идеал Пиндара: καίρος, “верный момент”.... Это та точка, в которой индивидуальные целенаправленные усилия счастливо совпадают с непознаваемой волей судьбы...».⁵

Стоит специально отметить следующий лингвопоэтический аспект.

Прилагательное ἀτρεκής, передающее семантику «подлинный, точный», употребляется в Pyth.8, и не только здесь, применительно ко времени как уточнение самого точного, удачного, момента – καίρος, оно также может быть сказано и при выражении похвалы физической стороне, например, ἀτρεκεῖ ποδί – «твёрдой ногой, т.е. надёжно, прочно», а может быть отнесено и к истине ἀλάθεια ἀτρεκής.

Выше шла речь о значении в рассматриваемом пассаже прилагательного μαλ(θ)ακός – «мягкий, нежный, лёгкий» как «мягкость нрава, кротость» и о возможности его употребления для характеристики «(кожи) мягких, нежных рук». В подобных фактах лексической сочетаемости проявляется одна из важных и характерных черт архаического стиля, поэтики ранней лирики, в том числе, и языка пиндаровского эпиникия. Один и тот же эпитет может характеризовать тело (нога, рука), качества ряда «истина, время, характер» и, например, песни. «...Пиндар делает всё, – отмечает М. Л. Гаспаров, – чтобы представить изображаемое осязуемым, вещественным...».⁶

Продолжим описание персонифицированного образа спокойствия.

⁵ Гаспаров М. Л. Древнегреческая хоровая лирика. // Об античной поэзии. Поэты. Поэтика. Риторика. СПб. 2000. С.32.

⁶ Гаспаров М. Л. Поэзия Пиндара. // Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. М. 1980. С.371.

Спокойствие может практически всегда («каждый раз», как следует из обозначения итеративности) оказаться жесткой / суровой силой. Отметим выразительный, даже парадоксальный для нас сегодня образ «суровое спокойствие».

Если посмотреть с позиций стилистики, то по линии предсказуемости/непредсказуемости лексических сочетательных связей мы видим чрезвычайно выразительное соединение ἄσυχία с прилагательным изначально «вещественного» значения τραχεία - «шершавый, колючий, жесткий», откуда идёт метафорическое «грубый, суровый». Поэтика эпиникия при восхвалении победителя строится на сочетании телесного и возвышенного в их единстве.

Как пример этого, рассматриваемый здесь эффект художественной выразительности обеспечивается способом семантического соединения слов «отвлеченное значение + вещественное значение», который был иллюстрирован выше. Иными словами, в результате применения средств и приёмов, закономерных, характерных и разработанных в поэтическом языке греческой архаики, эпоса и ранней лирики, у Пиндара реализуется богатый «психологический ресурс» сочетаемости значений, если это обозначить в терминах лексической семантики.

Далее о содержании образа Спокойствия: встав суровой силой навстречу неумолимому гневу⁷, оно способно низвергнуть гордыню, ὕβρις, в бездну, буквально «на дно» – ἄντλος / ἄντλον. В знаменитой аллегории Алкея «Ἀσυννέτημι ...» этим словом названо днище терпящего крушение корабля. Для «пропасть, яма, гиблое место» существует, к примеру, βάραθρον, и это слово, казалось бы, с достаточной точностью могло бы фигурировать в тексте Пиндара, но обратим внимание, что рассматриваемое пиндаровское τιθέναι ἐν ἄντλῳ из Pyth. 8. (11-12) – «погрузить/утопить на дно, (как) в пропасть» особо отмечено в словаре H.G.Liddel – R.Scott как метафорическое определение наказания гордыни (LS.1996. S. 166).

Что же является наиболее существенным в этом описании для нашей темы? т.е. для понимания особенностей поэтического образа Спокойствия и семантики лексемы ἄσυχία.

В цепочке, выстроенной Пиндаром, завершающим и самым важным фактом становится наказание гордыни. С одной стороны, у

⁷ В переводе М. Л. Гаспарова здесь: «...круто встанешь ты поперёк вражде».

Пиндара постоянно проводится мотив заслуженной гордости победителя, но не менее важна линия наказания гордыни. В Pyth. 8 наказана спесь, гордыня, причем, именно спокойствие карает гордыню – не физическая доблесть, не военная сила, не власть (божество, разумеется, присутствует всегда), а спокойствие. Таким образом, спокойствие, как определённое душевное состояние, в поэтике Пиндара вводится в круг важных для него этических представлений. Трудно удержаться, чтобы не увидеть в сочетании «кротость и суровость Спокойствия как карающей силы» черты агонального начала, как его понимал Я. Буркхардт, а в России наиболее подробно и увлечённо изъяснял А. И. Зайцев в его известной книге «Культурный переворот в Древней Греции VIII–V вв. до н. э».

Известно, что у Пиндара очень часто, почти всегда, усматривается реальная основа для его ассоциаций и мифологических⁸ аллюзий. Такую реальную основу можно увидеть и в этой оде – это осуждение гордыни афинян. По традиции комментирования, здесь говорится не только о победе Аристомена в борьбе, но и отражена военно-политическая ситуация между Афинами и Средней Грецией, к тому же здесь проявилось и личное отношение Пиндара к Афинам.

Эпиникий Pyth.8 датируется 446 годом до н. э., т. е сразу же после победы Беотии в Малой Пелопонесской войне, точнее – после битвы при Коронее в 447 г., когда Афины потерпели тяжелейшее поражение, Беотийский союз вышел победителем и вся Беотия освободилась от 10-летней гегемонии Афин⁹ и от правления демократов,

⁸ Мифологическая иллюстрация в Pyth. 8 тоже связана с темой наказания за гордость на примерах Порфириона и Тифона, но мы не рассматриваем здесь мифологическую часть и символику сюжетов.

⁹ Драматическая ситуация на Пелопоннесе, восстания против Афин (особенно в Мегарах, на Эгине, и в этом видят некоторый повод у Пиндара для хвалы победителю именно с Эгины в Pyth. 8), острые разногласия в Афинах при принятии решения в Народном Собрании – всё это описано весьма подробно (Thuc. 1.113; Paus. 1.27.6 etc). Можно напомнить, что Перикл был резко против экспедиции в Беотию (сухопутные войска афинян были слабы перед силами объединившихся полисов Средней Греции), стратеги Толмид и Клиний (отец Алкивиада) столь же резко настаивали на военной операции. В итоге Толмид одержал верх, отряд в 1000 гоплитов и союзники Афин выступили в Беотию, афиняне были разгромлены, почти все уцелевшие попали в плен, и, чтобы добиться их освобождения, афиняне отказались от претензий на Беотию, от сухопутных военных действий на 10 лет, после чего был заключен мир, который длился до 431 года.

которое воспринималось в Беотии как чуждая форма правления. Пиндар очень скоро после Коронеи предлагает свое выразительное и резкое назидание Афинам, и в связи с этим назиданием логично привести обобщение М. Л. Гаспарова: «Поэзия вообще есть форма социализации, это престижная, уважаемая обществом форма высказывания». Для середины V в до н. э. это тоже абсолютно справедливо.

Однако нельзя не заметить, что поэт выразил свое назидание уже после поражения Афин, а не в течение предшествующих десяти лет, когда длилась гегемония Афин, когда в Беотии и в других областях, в том числе на Эвбее, на Эгине тяжело переносили демократию, установленную Афинами, и шли сильные протесты.

Отношение Пиндара, т. е. его нелюбовь, к Афинам – это отдельная тема, и она всегда была привлекательным предметом исследования, начиная с античности. Можно встретить мнение, что Пиндара не коснулась философия середины V века до н. э., и этим объясняется отсутствие у него любви к Афинам. Хорошо известно, что «Политические симпатии Пиндара ... обращены ... в сторону аристократических государств, где правят «мудрые» (И. М. Тронский).

Однако есть традиционно приводимые свидетельства того, что ситуация была не столь простой. Источники на эту тему были специально обобщены Э. Д. Фроловым в его докладе 2005г. и позже на его основе в статье «История и историк в античности». Так, афиняне почтили Пиндара денежной наградой и даже проксенией. (Исократ. Об обмене состоянием. XV. 166). Э. Д. Фролов полагает, что Исократ опирался на надпись – постановление о проксении. За гимн в честь Афин после войн с персами Пиндар был удостоен почётной статуи в районе агоры (Павсаний I. 8. 4; Ps.-Aeschin. Epist. 4. 3). Фивы же за это наложили на своего соотечественника Пиндара штраф, который был выплачен афинянами, причём, в двойном размере.¹⁰

Возвращаясь к Пифийской 8, отметим, что апелляция Пиндара к спокойствию включает в себя еще один элемент семантики лексемы ἡσυχία, элемент, хотя и сопутствующий, но существенный и интересный. Его можно обозначить как «прерывание плохого состояния», здесь – это прерывание гнева и низвержение гордыни. Инте-

¹⁰ <http://ancientrome.ru/publik/frolov/frol05.htm>. Вариант для печати. Текст приводится по изданию «Античный мир и археология». Вып.12. Саратов. 2006.

ресно, что в первом зафиксированном употреблении слова ἡσυχία у Гомера (Od.18.22) в значении «мир, покой, спокойствие» релевантен именно этот компонент значения. Одиссей, обращаясь к наглецу Иру с гневной речью, выражает надежду, что *избавится* от него и *наступит спокойствие*: ἡσυχίῃ δ' ἄν ἐμοί.. εἴη..αὖριον.

В широком контексте рассматриваемой оды Пиндара эта семантика может быть связана с концом войны, Афинского владычества и заключением мира.

Для нашей темы самым существенным оказывается, что для передачи назидания Афинам и порицания их гордыни Пиндаром выбран именно мотив спокойствия, а сама по себе мысль «наказать гордыню через спокойствие» привлекает к себе внимание как мысль глубокая и неординарная.

Суммируем, что в оде Pyth. 8 лексема ἡσυχία передает персонафицированный образ спокойствия, образ глубоко положительный уже по своей природе (дочь справедливости), насыщенный многими красками, понимаемый как весьма масштабная и действенная сила (судьба полисов), которой присуща такие качества, как благосклонность, мягкость и одновременно способность к суровости, если нужно пресечь зло (гнев) и покарать гордыню. Семантика же лексемы, в свою очередь, может быть охарактеризована как полностью положительная по своим коннотациям, ей присущи признаки силы и активности воздействия; сочетание противоположных, положительных и отрицательных, семантических компонентов в итоге формирует положительный смысл.

Обратимся ещё раз к тезису, что для Пиндара нераздельно слиты атлетика и этика, физические и душевные качества, и рассмотрим, пусть и кратко, несколько интереснейших соположений и рассуждений. Так, именно в Пифийской 8, в развитие мысли о краткости и ненадёжности человеческого бытия (ἐπάμεροι), дана знаменитая и до сих пор с трудом интерпретируемая метафора «сон тени человек» – σκιᾶς ὄναρ ἀνθρώπου (95-96). М. Л. Гаспаров отмечает, что «и сном, и тенью называется человек и у других греческих поэтов, но такое сочетание уникально».¹¹

Контрастом с этой тональностью привлекает Немейская 4, своего рода «Ода к Радости», где в оптимистичном, светлом вступлении

¹¹ Гаспаров М. Л. Указ. соч. С.430.

Радость названа лучшим врачом в предназначенных человеку трудах / тяготах – Ἀριστος εὐφροσύνα πόνων κεκριμένων ἰατρός. Мотив Радости стоит в одном ряду с рассуждениями о силе поэтического слова – «песни, мудрые дочери Муз (...σοφαί Μοῦσας θύγατρες ἀοιδαί), скрашивают (труд)» и продолжается в рассуждении о значимости похвального слова, что раскрывается через конкретное (вновь «вещественное») сравнение похвалы с тёплой водой: «тёплая вода (θερμὸν ὕδωρ) не столь сильно размягчает (μαλθακὰ τεύχει) тело, как похвала (εὐλογία φόρμιγγι συνάορος), сопровождаемая формингой». Эта мысль о силе похвалы, подчеркнём, похвалы поэтической – «в сопровождении форминги» – завершается часто цитируемой сентенцией о долговечности поэтического слова: «слово живёт дольше, чем дела» – ῥῆμα ...ἐργμάτων χρονιώτερον βιοτεύει.

Однако поэт точно представляет, что слово может «отозваться» по-разному. В Немейской 8. 20 он говорит, что «многое сказанное по-многому сказано» (М. Л. Гаспаров) и «я вдыхаю воздух, прежде чем сказать что-нибудь» – ἀμπνέων...πρίν τι φάμεν (19). Далее говорится о результате речей - возникновении зависти (ὄψον δὲ λόγοι φθονεροῖν – «речи же – лакомый кусок для завистников»); зависть «всегда касается достойных, а с дурными людьми она не вступает во вражду» – ἄπτεται... ἐσλῶν ἀεί, χειρόνεσσι..οὐκ ἐρίζει (22). Зависть стала темой восклицания в Ol.8.55: «пусть не поразит меня зависть тяжелым камнем» (μὴ βαλέτω με λίθῳ τραχεῖ φθόνοσ), из которого ясно, что поэт ощущает себя в ряду тех ἐσλῶν, которых задевает зависть.

Воздавая хвалу спортивным победам и победителям, Пиндар высоко ценит разумность, осторожность как предусмотрительность, и одной из часто возникающих у него тем является отношение к богатству.

В ранней оде Пифийской 6 (490 г.) высказан оценочный подход – разумность богатого человека. Пиндар, тогда молодой поэт, прославляя семью Ксенократа из Акраганта, победителя в колесничном беге, уделяет особую похвалу его сыну, своему другу Фрасибулу, который молод, но умеет управлять своим богатством: νόῳ δὲ πλοῦτον ἄγει (47) – «он ведёт богатство разумом». Илизе Румниец справедливо отмечает, что для поэтического взгляда Пиндара важна «...высокая оценка умеренности в действиях и решениях, позволяющая достойно переносить

как счастье, так и невзгоды, то и дело звучащая в дидактических частях эпиникиев», т. е. речь идёт об идее μέτρον.¹²

Даже из этих немногочисленных примеров можно судить о богатстве образного строя пиндаровых эпиникиев. Поэт постоянно внимателен к темам эмоций (неумолимый гнев, зависть, радость) и их влиянию на состояние души человека, в числе его любимых тем – различение гордости и гордыни; ум, разумность как обязательно присущие достойному человеку.

Образ спокойствия принадлежит большой панораме персонификаций и обобщений, органичных художественной семантике поэзии Пиндара.

В круг этих персонифицированных образов входят «врачующая радость», «владычица юность», «спасительный случай (удача)», вода (она лучше всего)», наконец, «песни-гимны, ведущие лиру» и др. Язык и содержание обращений к ним вносят свою весомую ноту в общий пиндаровский стиль великолепия и торжественности.

Мы видим, что поэтическое описание тонко дифференцировано уже самим поэтом, что Пиндар отличается глубиной и философичностью и что Вольтер был абсолютно не прав.

Обратимся вновь к лексеме ήσυχία и для аргументации её семантики как «спокойствие» привлечем ещё один пример – из оды Немейской 9¹³, пример простой, но, на наш взгляд, приятный и достаточно убедительный. Слово ήσυχία употребляется при описании пира в следующем наблюдении: ήσυχία δὲ φιλεῖ μὲν συμπόσιον – «спокойствие любит пиршество..» (Nem. 9. 48). Ясно, что здесь не имеется в виду тишина как безмолвие, отсутствие звуков и т.п., тем более, что в следующей строке говорится о «нежных/лёгких (NB: μαλθακός) песнях» в честь победы: ... αὖξεται μαλθακᾶ νικαφορία σὺν ἀοιδᾷ – «..возрастает победа с нежной песнью» и θαρσαλέα ...παρὰ κρατῆρα φωνὰ γίνεταί – «голос близ чаш с вином звучит уверенно».

В описании пира ήσυχία явно связывается не с тишиной и безмолвием,¹⁴ а именно со спокойствием как уравновешенностью, что входит в

¹² Румнице И. Я. Принцип антитезы в художественном осмыслении и поэтическом выражении Пиндара // *Ранняя греческая лирика*. СПб. 1999. С.201

¹³ Немейские оды 9-10-11, как известно, не связаны непосредственно с самыми молодыми (573г.) греческими состязаниями в долине реки Немей и посвящены победителям местных состязаний (всего их у Пиндара фигурирует около 30).

¹⁴ Гаспаров М. Л. Указ. соч. С. 355.

дискурс греческого симпозиа, здесь же дан и призыв смешать вино с водой. Такое понимание уравновешенности совершенно точно передано у М. Л. Гаспарова как «Безмятежность мила застолице».

В выбранной нами для основного рассмотрения оде Пифийской 8 поэт, завершив экспозицию, больше не возвращается к мотиву спокойствия, как это часто, даже обычно, бывает у него, и дальше идет поток новых ассоциаций, именно так происходит и с персонафицированной темой радости в Немейской 4. В такой смене мотивов справедливо видят одну из «загадочностей» Пиндара. Если кто-то скажет, что, например, в Пифийской 8 вместо «спокойствия» вполне могло стоять другое слово (т. е. идея, качество, сила), то это утверждение будет трудно оспорить, но ведь задача оспорить выбор поэта вообще не стоит. Наша задача, вероятно, заключается в том, чтобы попытаться расшифровать смыслы выбранных им ассоциаций. Правда, при любом результате таких попыток может остаться чувство, которое было бесстрашно сформулировано М. Л. Гаспаровым: «...общее чувство непредсказуемости его лирических путей не покидает читателя – как современного, так и античного». ¹⁵

¹⁵ Отдельным вопросом исторической семантики и лексикологии может быть развитие терминологического значения у слов ряда ἡσυχία в связи с окончательным формированием в XIV в. в Византии мистически-религиозной традиции исихазма, предполагающего в своей аскетической практике покой, отрешённость, безмолвие.

**КЛЕОС АΦΘΙΤΟΝ.
СЮЖЕТЫ ТРОЯНСКОГО ЦИКЛА В АТТИЧЕСКОЙ ВАЗОПИСИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ VI в. КАК ВОЗМОЖНЫЙ ИСТОЧНИК
ПО ИСТОРИИ ТЕКСТА**

Позднеархаический период – время интересных и важных перемен в афинском обществе. На этом фоне происходило последовательное изменение интересов и в области художественного творчества. Вазописцы последовательно развивают принципы своего искусства, заложенные в период расцвета старшей тирании. Интересующая нас преемственность касается и гончарных форм, и структуры росписи ваз, и арсенала вазописных сюжетов.

Вазопись находится под влиянием нескольких факторов, том числе театра¹ и рапсодов. Интересно, что согласно Афиней во время симпосиев исполнялись сколии с близким к вазописным репертуаром сюжетов,² они же становились и темами ранних трагедий. Прежде всего, это дионисийские и героические темы, в которых есть точки соприкосновения.³ При Писистрате была проведена и редакция гомеровских поэм.

Развитие вазописных сюжетов в этот период происходит с их широким переосмыслением в сторону концептуализации и полноты. Отсюда интерес вазописцев к разнообразным формам композиционного решения, нередко сложного. Мастера используют в работе новые приёмы, такие как наложение сюжетов, их совмещение в одной сцене, используют отсылки, сравнения, акцентируют последовательность и взаимосвязь событий. Среди таких приёмов можно назвать и введение в композицию внешней смысловой рамы, фигур «зрителей».⁴

Поэтому требуется применение особого метода для систематизации и трактовки сюжетов. Ближе всего – идея смысловых формул

¹ Самар О. Ю. Аттическая чернофигурная вазопись и рождение аттической трагедии. Герои и «зрители» в вазовых композициях этого времени // Аристей. № 1. 2010. С. 164–171.

² Athen. XV, 649c-695.

³ Кереньи К. Дионис. Праобраз неиссякаемой жизни. М., 2007. С. 204 – 207.

⁴ Самар О. Ю. Там же.

М. Перри.⁵ Такое заимствование метода предложила в одной из своих последних статей и Э. А. Маккай.⁶ Действительно, рассматривая вазописные композиции, мы имеем дело с устойчивыми иконографическими типами, которые родственны формулам М. Перри. Несомненна и связь вазописного творчества с поэтическими произведениями, в контексте которых оно развивалось. «Сказители» у М. Перри и Б. Лорда каждый раз становились творцами устных историй, пропевая их вновь и вновь. Они использовали базовые формулы для обозначения типовых событий и героев, но комбинировали их в разных вариантах, меняя акценты и наполняя их новыми деталями. Так и вазописцы рассматриваемого нами периода разработали ряд художественных формул, внутри которых работали достаточно свободно, сужая или расширяя их значение.

Таким образом, имея представление о существовании многозначных формул и обобщающего их цикла, мы можем реконструировать с достаточной долей вероятности целые сюжетные линии, известные вазописцам второй половины VI в. до н. э.

Рассмотрим такую возможность на примере ваз с изображениями сцен из истории Троянской войны. Эти сюжеты известны в вазовых росписях с самого раннего времени,⁷ но именно во второй половине VI в. – первых двух десятилетиях V в. до н. э. они были необыкновенно популярными в Аттике. Интерес к ним появляется с началом правления Писистрата. Так, например, ваза Франсуа, связанная с историей Ахилла и Троянской войны датируется именно временем его первого прихода к власти. В середине века на вазах появляется целый ряд новых троянских сцен, которые не известны нам по более ранним памятникам. Всё это косвенным образом подтверждает сообщения литературных источников о так называемой писистратовой редакции поэм Гомера. Поэтому систематизация сюжетов Троянской войны в аттической вазописи данного времени представляет особый научный интерес.

⁵ Одно из последних исследований в данном направлении – Foley J. M. *Immanent Art: From Structure to Meaning in Traditional Oral Epic*. Bloomington, 1991.

⁶ Mackay E. A. *Narrative Tradition In Early Greek Oral Poetry And Vase-Painting* // *Oral Tradition* 10/2. 1995. P. 282 – 303.

⁷ Даже некоторые сюжеты ваз эпохи геометрики можно трактовать как троянские. Первые же соответствующие подписи на вазах появляются с середины VII в. до н. э. – Lowenstam S. *The Uses of Vase-Depictions in Homeric Studies* // *Transactions of the American Philological Association* 122. 1992. P. 166–167.

Первый шаг к решению этого вопроса сделал Джон Бордман. Он указал пятерых важнейших вазописцев третьей четверти VI в. до н. э.: группу Е (как наследие преимущественно одного художника), Амасиса, мастера Качелей, Принстонского мастера и самого Эксекия, затем составил сравнительную таблицу их сюжетных предпочтений и выяснил, что Эксекий был основным мастером троянского цикла.⁸ Кроме этого, Бордман составил такую же таблицу по сюжетам троянского цикла. Эти сцены он разделил на старые, известные до этого периода, и новые, которые появились в творчестве Эксекия. Выяснилось, что фактически, сюжеты троянского цикла становятся очень популярными именно в период работы Эксекия, и именно от него получают целый ряд новых иконографических типов.⁹ Таким образом, Эксекий выступает как первый мастер новой трактовки всего этого цикла. Большое значение имело и творчество Лидоса, который представил первое, известное нам, пронзительное в своём драматизме изображение смерти Приама. Поэтому сюжеты троянского цикла получают особое развитие в традиции аттических позднеархаических чёрнофигурных ваз, даже росписи в новой краснофигурной технике ориентированы на иконографические типы мастеров середины VI в. до н. э.

К числу старых сюжетов, существовавших до Эксекия, Бордман отнёс: Суд Париса, Преследование Ахиллом Троила, Вооружение Ахилла, Осквернение тела Гектора, Выкуп тела Гектора, Аякса с телом Ахилла, Пленение Кассандры, Смерть Приама и Возвращение Менелая Елены. Как новые сцены, появившиеся только при Эксекии, он отметил: Смерть Патрокла, Ахилла и Аякса, играющих в кости, Самоубийство Аякса, Ахилла и Пентесилею, Историю Мемнона, Смерть Антилоха, Менелая и Амасоса, Смерть Ахилла, Энея, несущего на плечах Анхиса.

Однако, Самоубийство Аякса и Смерть Ахилла известны и в более ранний период, хотя и в иных художественных схемах. Поэтому их, на наш взгляд, нельзя отнести к новым сюжетам. Кроме того, в списке Дж. Бордмана не хватает следующих сцен, которые не известны нам в творчестве Эксекия, но появились позже: Похищение Пелеем Фетиды,

⁸ Boardman J. Exekias. // AJA. 1978. 82. P. 11-25.

⁹ Иного мнения придерживается К. Йохансен, он считает, что главным новатором и создателем новых сцен Илиады в вазописи был Ольтос в 520-500 гг. до н. э. – Johansen K.F. "The Iliad" in Early Greek Art. Copenhagen, 1967. P. 225-226.

Битва над телом Сарпедона, Спор Одиссея с Аяксом о доспехах, Похищение Одиссеем и Диомедом Палладия и Жертвоприношение Поликсены.

Перечисленные сцены значительно шире традиции самой Илиады. Большая часть представленных вазописцами мотивов известна нам по «киклическим» поэмам VII–VI вв. до н. э. Практически все ключевые моменты первых киклических поэм нашли отражение в аттической вазописи второй половины VI в. до н. э., более того, они обрели в данный период устойчивые иконографические типы. Мы отметим самые популярные из них, известные по десяткам ваз. Это позволит нам предположить, какую композицию могли иметь поэмы троянского цикла при Писистрате.

Поэмы рассказывают об обретении героями бессмертия, и это является их центральной идеей. Хотя каждый герой имеет свою судьбу, ему предоставлен добровольный выбор между славой и жизнью. Ахилл выбирает между κλέος ἄφθιτον и νόστος.¹⁰ Выбор Ахилла, смерть Гектора, Сарпедона и самоубийство Аякса относятся к данному ряду обретения славы. По сути κλέος ἄφθιτον – основная тема поэм. Грегори Надь отметил, что даже сами поэмы являются частью культа героев, поскольку певец прославляет их и делает бессмертными. Они получают κλέος благодаря поэзии, воспеванию.¹¹ Поэтому так важно было пропевать поэмы во время Панафиней. И показательно, что становятся популярными вазовые росписи на данную тему.

Монро пишет, что такие эпизоды как перенесение Ахилла на остров Левка и бессмертие Мемнона – поздние дополнения, поскольку имеют отношение к культу героя, чего во время Гомера не могло быть.¹² С этим согласиться трудно, теперь нам известны и примеры ранних проявлений героических культов, например, героон в Лефканди или Пелопейон в Олимпии. Интересное воплощение это находит и в вазописи. В росписях конца VI в. до н. э. мы встречаем изображения белого кургана и парящего над ним эйдолона Патрокла.

¹⁰ II. IX, 410–415.

¹¹ Надь Г. Греческая мифология и поэтика / пер. Н. П. Гринцера. М., 2002. С. 47–48. Там же: «... тема получения бессмертия героем переносится из сферы культа в область эпоса как такового. Вот почему гомеровская поэзия о даровании бессмертия прямо и не говорит: это действие просто является её сутью». С. 182.

¹² Monro D.B. The Poems of the Epic Cycle // JHS 5. 1884. P. 16.

В вазовых росписях отражено только два сюжета Илиады – Осквернение тела Гектора и Выкуп тела Гектора. Ключевое событие поэмы – гибель Патрокла отходит в росписях на второй план. Сами поступки, решения Ахилла наиболее интересны мастерам, и курган Патрокла появляется в ситуации Осквернения тела Гектора как составная часть композиции. В вазописи ключевое событие цикла – Приам, испрашивающий тело Гектора у Ахилла, что подчёркивает интерес к психологическому решению и назидательности, усмирению ὑβρις. Это сложный момент изменения главного героя, когда Ахилл находит утешение в милосердии.

Судя по вазовым росписям, здесь проявляются законы древнего эпоса, и центром всего повествования оказывается судьба одного героя – Ахилла. Предысторией всех событий становится *похищение Пелеем Фетиды*. Эта сцена обычно представлена на вазах в схеме очередной схватки. Фетида, иногда крылатая, вырывается из объятий Пелея.¹³ В качестве «зрителей» изображаются морские божества. В некоторых росписях рядом стоит кентавр Хирон, научивший Пелея, как изловить возлюбленную. Изображение Фетиды дополняется фигурками льва и змеи, символами её изменчивости, способности к перевоплощению. В краснофигурных росписях V в. до н. э. группа Пелея и Фетиды уже изолирована от окружения, но сохраняет прежнюю иконографию.

Свадьба Пелея и Фетиды,¹⁴ ставшая главной темой в росписи вазы Франсуа,¹⁵ оказывается важным моментом в истории Троянской войны. Именно на свадьбе появилось яблоко раздора.¹⁶ И вазописцы поздней архаики, неслучайно, большее внимание уделяли не Свадьбе, а изображению *Суда Париса*. Обычно эта сцена представляет шествие трёх богинь, возглавляемое Гермесом. Мастера старательно прописывают все атрибуты богинь, рядом с ними Парис кажется второстепенным персонажем. Этот сюжет стал очень популярным в традиции поздней чёрнофигурной вазописи,¹⁷ однако, практически

¹³ Например, Мюнхен, 1415.

¹⁴ Hyg. Fab. 92.

¹⁵ Флоренция, 4209.

¹⁶ Apollod. epit. III 2.

¹⁷ Берлин, F 1894.

не встречается в краснофигурных росписях. Интересно, что Парис в этих росписях представлен уже зрелым, бородатым мужчиной.

Вазописцы практически не изображают в этот период посольство Одиссея, жертвоприношение Ифигении и некоторые другие сюжеты. Зато в вазописи появляется необычный сюжет с *Ахиллом и Аяксом, играющими в кости*, который не знаком нам по литературным источникам. В основе этой сцены лежит симметричная композиция, в ней показаны два сидящих за столиком героя, перед ними доска с игральными костями. Вероятно, это подобие игры в «*pressoï*».¹⁸ В более поздних вариантах в центре композиции изображалась Афина. Сюжет восходит к творчеству Эксекия,¹⁹ именно в этом ключе Джон Бордман пытается его трактовать.²⁰ Необычное решение предлагает Гай Хедрин, он рассматривает элементы пейзажа троянских сцен в вазописи как знаковые. Таким образом, он объединяет композиции Игры в кости, Самоубийства Аякса и Голосования в единый смысловой комплекс, поскольку в них изображается как будто одни и те же пальма и игральная доска, то есть Г. Хедрин отмечает единство места этих сюжетов.²¹ Сцена Игры в кости бесконечно копировалась и переосмыслялась в рамках единого иконографического типа несколькими поколениями вазописцев. Диалог героев становился всё более естественным и оживлённым. Интересно, что в росписях мастера Тесея, одного из последних вазописцев чёрнофигурного направления, появилась необычная композиция с двумя воинами, сидящими по сторонам от холма, которая очень близка формуле Игры в кости.²² Холм-курган, занимает в ней центральное место, на нем изображаются птицы, терзающие змею или

¹⁸ Kurke L. Ancient Greek Board Games and How to Play Them // Classical Philology. Vol. 94. N 3. P. 257; 261–263.

¹⁹ Ватикан, 344.

²⁰ Boardman J. Ibid. P. 11-25.

²¹ Hedreen G. Capturing Troy: The Narrative Functions of Landscape in Archaic and Early Classical Greek Art. Ann Arbor, 2001. Конечно, эта точка зрения не безусловна, критические замечания наиболее полно выразил Джеффри М. Харвит, см. его рецензию на книгу – Bryn Mawr Classical Review 2002. 12. 29.

²² Неаполь, 81159.

зайца. Его обычно сравнивают с гробницей²³ или дельфийским омфалом.²⁴ Эта сцена действительно напоминает ритуал, так же как и Игра в кости. Можно заметить, что в индоевропейской традиции такая игра с фишками и костями является принадлежностью героического культа и имеет связь с идеей перехода в иной мир.²⁵ По сути, победивший герой отправляется туда первым и получает наивысший почёт.²⁶ Таким образом, Ахилл на ватиканской амфоре Эксекия выигрывает именно это первенство, а Афина, вероятно, изображается здесь в новом качестве «проводника», как и в сцене возведения Геракла на Олимп.

В изображениях на вазах популярны и сцены военных поединков Ахилла, и его насилия. Один из самых популярных троянских мотивов на вазах – тема *Ахилла и Троила*.²⁷ Существуют разные варианты трактовки этого сюжета в вазописи. Наиболее частый – отслеживание Ахиллом Троила у источника. В сцене у источника Ахилл, как правило, сидит на корточках и подстерегает юношу, прячась за КРННН. В некоторых случаях, этот момент дополнен и встречей с Поликсеной. В поздний период развития чёрнофигурной техники данная сцена была особенно популярна в росписи лекифов.²⁸ Здесь мастера используют выгнутую поверхность вазы для создания эффекта неожиданности. Фигура Ахилла на них действительно не видна за строением водомёта, пока поворот сосуда не обнаруживает его присутствия для зрителя.

Есть и сцены убийства Троила, иногда при этом явно подчёркивается близость алтаря Аполлона. По одной из версий, он был сыном Аполлона и Гекубы, жены царя Приама. Поэтому смерть Ахилла может рассматриваться и как месть Аполлона за убийство сына и осквернение свя-

²³ Eisman M.M. Attic Kyathos Painters. Ann Arbor, 1972. P. 476; Brinkmann V. Beobachtungen zum formalen Aufbau und zum Sinngehalt der Frieze des Siphnierschatzhauses. Ennepetal, 1994. S. 83-84.

²⁴ Harrison J.E. Delphika // JHS. 1899. 19. P. 227-230.

²⁵ Ср. с кельтской игрой фидхел и древнеегипетской игрой сенет.

²⁶ Ср. перевод каирского папируса в статье С. И. Ходжаш – Ходжаш С. И. Фишки и игральные кости для игры в сенет из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина // ВДИ. 2003. № 2. С. 86.

²⁷ Здесь имеет значение предсказание о том, что Троил не должен достичь возраста двадцати лет, иначе Троя не падёт. Гибель Троила относят к первому году войны – Apollod. epit. III 26, 31-32, или к последнему году – Verg. Aen. I 474-478.

²⁸ Например, Париж, Лувр, F 366.

тыни. Интересна трактовка этого сюжета в росписи мюнхенской гидрии.²⁹ В ней сцена убийства у стен Трои становится страшным предзнаменованием и для города, и для самого Ахилла, и для Приама, вокруг которого мы видим всю какофонию разворачивающихся событий. В этой сложной композиции нет героической трактовки действий Ахилла, перед нами скорее трагическое восприятие ситуации. Можно отметить, что уже на этом этапе появляется сочувствие мастера к троянцам, которое найдёт полное воплощение в знаменитых трагедиях Еврипида.

Композиция Амазономехии, ранее связанная с Гераклом, приобретает новое звучание в сцене *Ахилл и Пентесилея*. Чаще всего Пентесилея изображается в это время раненой и коленопреклонённой, Ахилл возвышается над ней как победитель. И в этом случае, видимо, популярность сюжета можно связать с гением Эксекия, который сумел наделить его необыкновенным драматизмом,³⁰ что, как мы выяснили, было в духе эпохи. В более поздний период эта сцена развивается в схеме диалога взглядов и приходит к блестящему воплощению в творчестве мастера Пентесилеи.³¹

Сюжет с *Вооружением Гектора*, самый знаменитый вариант которого представлен в росписи Евфимида³² – воспроизводит тему прощания с воином, популярную в чёрнофигурной вазописи. Здесь прослеживается отличие от знакомого нам текста, поскольку акцентируются домашние проводы. Сцена приобретает неспешный бытовой оттенок.

С раннего периода в вазописи была популярна сцена *Единоборства героев*. Стоящие в геральдической композиции друг напротив друга два воина сражаются над телом павшего, или за это тело. Уже ранние примеры позволяют видеть в подобных воинах героев Троянской войны, хотя подписных сцен этого круга мало.³³ Несомненно, это древнейший мотив, имеющий особый смысл. Так, например, Калверт Уоткинс приводит в своей книге ряд древних индоевропейских поэтических формул.³⁴ Среди них базовая формула ГЕРОЙ УБИВАЕТ ЗМЕЮ в эпосе превращается в – ГЕРОЙ1 УБИВАЕТ ГЕ-

²⁹ Мюнхен, 1700.

³⁰ Лондон, В 210.

³¹ Мюнхен, 2688.

³² Мюнхен, 2307.

³³ Например, подписи на знаменитом блюде – Лондон, GR 1860.4-4.1.

³⁴ Watkins C. How to Kill a Dragon: Aspects of Indo-European Poetics. Oxford, 1995.

РОЯ2, причём часто эта формула становится обратной – ГЕРОЙ2 УБИВАЕТ ГЕРОЯ1. Например, Гектор убивает Патрокла, Ахилл убивает Гектора, затем погибает сам. В этом есть своя мораль: «Тот, кто убил, будет убит», что находит, например, аналогии в Илиаде³⁵ и в трагедиях Еврипида.³⁶ Вполне вероятна эта мысль и в вазовых росписях со сценами единоборства воинов.

Смерть Сарпедона становится одним из выразительных изображений гибели героя. Самый знаменитый пример – роспись кратера Евфрония.³⁷ Этот сюжет известен нам не только на материале вазописи, он встречается и среди рельефов сокровищницы сифносцев в Дельфах. Здесь раскрывается власть судьбы над человеком.

Очень выразительно и сложно представляется в росписях этого времени *Осквернение тела Гектора Ахиллом*³⁸. Как правило, сцена строится вокруг колесницы, к ней привязано за ноги обнажённое тело Гектора. На колесницу стремительно восходит Ахилл. Непременная часть такой композиции – большой погребальный курган Патрокла на втором плане. Иногда над ним парит эйдолон самого Патрокла. Часто изображается крылатая богиня, бегущая навстречу Ахиллу. Её обычно считают Иридой. Уоррен Мун отметил, что здесь есть некое общее нарушение известного текста Илиады, согласно которому к Ахиллу обратилась Фетида, получившая весть от Зевса через богиню Ириду.³⁹ Здесь можно заметить, что Фетида тоже иногда изображалась крылатой в поздний период чёрнофигурной вазописи,⁴⁰ а здесь – крылья подчёркивают её функцию вестника Зевса. За неимением соответствующей подписи на вазах, можно предполагать, что крылатая богиня – это сама Фетида. В некоторых случаях драматизм ситуации усилен изображением Приама и Гекубы, оплакивающих сына.⁴¹

Этот тип композиции, на наш взгляд, является наиболее ярким воплощением героического культа в вазописи. Здесь особенно важна символика мёртвого тела героя и кургана. Можно утверждать,

³⁵ II. XVIII, 309.

³⁶ Eur. Tr., 95-97.

³⁷ Нью Йорк, 1972.11.10.

³⁸ Бостон, 63.473; Париж, Лувр, СА 601; Делос, В 6137.546.

³⁹ Moon W.G. Some New and Little-Known Vases by the Rycroft and Priam Painters / Greek Vases in the J. Paul Getty Museum, 2. Malibu, 1985. P. 64.

⁴⁰ Например, амфора в Мюнхене, J 380.

⁴¹ Бостон, 63.473.

что, с точки зрения гомеровского эпоса, гробница служит физическим воплощением формулы κλέος ᾗφθιτον. Таким образом, в рассматриваемой нами сцене противопоставляются оскверняемое мёртвое тело Гектора и курган, символ бессмертия Патрокла.⁴² В этой связи символика оскверняемого тела Гектора получает особенное звучание. Композиции с колесницей Ахилла, волокущей его, изображают один из ключевых моментов всего эпоса. Здесь прослеживается становление важной темы ритуально необходимого погребения тела героя, которая проявится в трагедиях, например, в «Аяксе» и «Антигоне» Софокла.

Описанная выше драматическая ситуация находит разрешение в знаменитой сцене *Приам испрашивает тело Гектора у Ахилла*. Эта тема разрешения гнева Ахилла представляется в аттической вазописи как апофеоз героя, знакомый нам по изображениям Диониса и Геракла. Ахилл возлежит на высоком клине с чашей в руке, перед ним столик с едой, под которым находится тело Гектора. Старец Приам обычно изображается в левой части композиции и нередко его сопровождает свита с выкупом.⁴³ Вазописцы как будто заранее наделяют Ахилла κλέος именно в тот момент, когда он выполняет волю Зевса и проявляет милосердие к старику и павшему противнику. Этот сюжет был популярен в аттической чёрнофигурной вазописи последней трети VI в. до н. э.,⁴⁴ и в той же схеме был заимствован мастерами краснофигурной вазописи.⁴⁵

На одной из поздних чёрнофигурных ваз представлена и сцена *Смерти Ахилла*, герои которой подписаны.⁴⁶ Согласно литературным источникам Ахилл погибает от руки Париса при помощи Аполлона,⁴⁷ что не обозначено на вазе. Умиравший Ахилл пред-

⁴² Здесь можно провести параллель с монологом Аякса Софокла, в котором герой просит Зевса спасти его тело от осквернения – Soph. Ajax, 820–830. Погребение – важная часть судьбы героя, без которого он не достоин κλέος.

⁴³ Это ещё одно несоответствие тексту поэмы, поскольку, Приам приходил в лагерь ахейцев без свиты. Возможно, так мастера старались передать богатство выкупа – Lowenstam S. The Uses of Vase-Depictions in Homeric Studies. // Transactions of the American Philological Association 122. 1992. Ibid. P. 168-174.

⁴⁴ Например, Мадрид, 10920; Толедо, 72.54; Эдинбург, L 224.379.

⁴⁵ Например, скифос мастера Брига – Вена, 3710.

⁴⁶ Мюнхен, J 380.

⁴⁷ Apollod. epit. V 3; поздний пересказ несохранившейся поэмы «Эфиопида».

ставлен обнажённым и безоружным, его лицо развёрнуто в фас, он обращён к зрителю. Ещё в период создания вазы Франсуа был известен сюжет с воином, несущим тело павшего товарища, часто эти герои подписаны как Ахилл и Аякс.⁴⁸ *Аякс с телом Ахилла* – популярная тема и в росписях рассматриваемого периода, преимущественно чёрнофигурных.⁴⁹ Мастера обычно показывают идущего мощного Аякса и подчёркивают тяжесть тела Ахилла на его плечах. Иногда основная группа окружена сражающимися воинами. Известно, что Одиссей остановил троянцев, когда Аякс выносил тело Ахилла с поля боя. Но в росписях ваз встречается и другой вариант трактовки событий, Менелай может занимать место Одиссея.⁵⁰ Ахилл изображается в полном вооружении или обнажённым.⁵¹ В некоторых росписях конца VI в. до н. э. подчёркивается внимание Аякса к доспехам Ахилла. Например, на фрагменте кратера Евфрония в Принстоне Аякс, несмотря на тяжесть тела на плечах, поднимает с земли шлем Ахилла.⁵² Вероятно, в этом есть намёк на дальнейшее развитие событий, спор о доспехах и самоубийство оскорблённого Аякса.

Спор Аякса и Одиссея о доспехах Ахилла известен нам в вазописи конца VI в. до н. э., эта сцена изображается как очередное единоборство.⁵³ Голосование ахейцев, подобное сцене с игрой в кости расположение героев есть в более поздних краснофигурных сценах, на-

⁴⁸ Этот сюжет не описывается Гомером, но известен по поэмам троянского цикла, прежде всего, «Эфиопиде».

⁴⁹ Группа с воином, несущим тело товарища известна в греческом искусстве с раннего периода, но определить героев как Ахилла и Аякса можно не раньше росписи Клития – Woodford S. and Loudon M. Two Trojan Themes: The Iconography of Ajax Carrying the Body of Achilles and of Aeneas Carrying Anchises in Black Figure Vase Painting // AJA 84. 1980. P. 25–40. Особенно популярна эта тема в искусстве чёрнофигурной вазописи последней четверти VI в. до н. э. Среди краснофигурных vaz сохранилось только четыре её примера конца VI начала V вв. до н. э. – Padgett M. J. Ajax and Achilles on a Calix-Krater by Euphronios // Record of the Art Museum, Princeton University, Vol. 60. 2001. P. 13.

⁵⁰ Например, на амфоре в Мюнхене, 1415.

⁵¹ Moore M. The Berlin Painter and Troy // Greek Vases in the J. Paul Getty Museum 6, 2000. P. 185; Boardman J. The History of Greek Vases. London, 2001. P. 181–182.

⁵² Принстон, 1997-488a.

⁵³ Например, ойнохоя Талейда – Лувр, F 340; лекиф Эдинбургского мастера – Лувр, СА 545.

пример, на киликах мастера Брига и Дуриса.⁵⁴ В росписи Дуриса представлена вся история спора о доспехах Ахилла – единоборство, голосование и Одиссей, передающий их Неоптолему в композиции тондо чаши. Килик мастера Брига интересен сочетанием сцен голосования и единоборства во внешней росписи и изображением мёртвого Ахилла и Текмессы в тондо. Мастера показывают и ситуацию спора, и его исход в росписи одной вазы.

*Самоубийство Аякса*⁵⁵ – редкая сцена, но важная для развития вазописси. Этот сюжет был известен ещё в коринфском искусстве, где представлен очень кровавым: Аякс, пронзённый мечом, лежит на земле.⁵⁶ Эксекий предложил иную трактовку этого сюжета. Он показал Аякса ещё живым, но уже обречённым на смерть, сделал акцент на выборе героя и тем самым, подчеркнул обретение им κλέος.⁵⁷ Этот сюжет получил развитие и в краснофигурной вазописси начала V в. до н. э.⁵⁸ Но если в трактовке Эксекия сцена имеет сходство с театральным монологом, то в краснофигурной вазописси это вариант оплакивания уже погибшего Аякса.

Сцену *Разрушения Трои* вазописцы представляли наиболее масштабно, часто, как фриз, объединяющий ряд событий. В трактовке этой темы вазописцы рассматриваемого периода выделяют темы гибели, борьбы и спасения, важна сохраняемая мастерами тема надежды. Можно выделить главные группы героев, из которых, как правило, складывается рассказ: это Неоптолем, убивающий Приама и Астианакса на алтаре Зевса, Аякс Оилид и Кассандра у статуи Афины, и Менелай, уводящий за руку из Трои Елену. Каждая из этих групп могла быть и самостоятельной композицией, и, примерно в той же формуле, частью фриза. Следует заметить, что вазописцы показывали сцену разрушения города гораздо жёстче, чем более поздние трагики, например, Еврипид. И важно, что в росписях подчёркивается, как и в случае с убийством Ахиллом Троила, осквернение алтарей.

⁵⁴ Дуриса – Вена, 3695; мастера Брига – Малибу, 86. АЕ.286.

⁵⁵ Apollod. epit. V 6-7

⁵⁶ Росписи конца VII – начала VI вв. до н. э., например, кратер в Лувре, Е 635; Базель, BS 1404.

⁵⁷ Булонь-сюр-Мер, 558.

⁵⁸ См., например, лекиф в Базеле, BS 1442, близкий к произведению Эксекия и килик мастера Брига в Малибу, 86. АЕ.286.

Центральное место среди всех событий занимает *убийство Приама на алтаре Зевса*.⁵⁹ Этот мотив появился ещё в творчестве Лидоса и имел в чёрнофигурной вазописи театральную характеристику с выразительными жестами, тельцем мальчика в руках Неоптолема.⁶⁰ В качестве ключевого момента можно отметить и сцену *Обретения Елены*. Она существует в вазописи в двух вариантах: Менелай нападает на Елену или уводит её за руку из города.⁶¹ В чёрнофигурной вазописи чаще встречается сцена сопровождения Елены. В краснофигурной же трактовке преобладает более драматичная ситуация с Менелаем, обнажающим меч.⁶² Из чёрнофигурных ваз с этим сюжетом можно отметить произведение Лидоса, хотя его герои не подписаны.⁶³ Уже античные авторы находили в этом эпизоде символическую победу красоты над злом и оружием.⁶⁴ Очень популярной в этот период становится и сцена с *Энеем, выносящим своего отца Анхиза из Трои*.⁶⁵ Эней несёт на плечах седого старца, рядом идут другие воины, женщины и иногда даже дети. Такая трактовка бегства троянцев из родного города дополняет весь цикл особенным трагизмом. Мастера подчёркивают немощь старика и детей, часто показывают, как герои оборачиваются назад в ожидании погони.

В краснофигурной вазописи начала V в. до н. э. эти отдельные троянские сюжеты стали изображаться в составе ещё более развёрнутого фриза, располагающегося на плечиках большого сосуда или на стенках килика. Они сохраняют свои прежние схемы, но приобретают новую, более реалистичную трактовку, созвучную росписям группы Леагра на ту же тему.

⁵⁹ Особенно полно эта тема проанализирована в статье - Wiencke M. I. An Epic Theme in Greek Art // AJA 58. 1954. P. 285-306. Мэтью Винки отмечает, что у Арктина, Стесихора и Лесха представлены три различные версии гибели Астианакса, при этом ни одна из них не встречается в вазописи.

⁶⁰ Берлин, F 1685.

⁶¹ См. Clement P. I A. Recovery of Helen // Hesperia. Vol. 27. N 1. 1958. P. 52.

⁶² См. у Никосфена – Лувр, G3; у Ольтоса – тарелка в Одессе; у мастера Брига – RC 5291; у Макрона – Бостон, 13.186.

⁶³ Мюнхен, 1383.

⁶⁴ Eur. Andromache, 627-631.

⁶⁵ Verg. Aen. II.

Особое место в ряду этих фризозов занимает роспись гидрии Вивенцио в Неаполе, созданная мастером Клеофрада.⁶⁶ Расписной фриз располагается на плечиках гидрии кальпиды и представляет целую панораму разрушенного города. Сюжет складывается здесь из перечисления событий. Мастер Клеофрада даёт свою трактовку гибели Приама. Приам, сидящий на алтаре, тщетно закрывает голову руками, а Неоптолем наносит решительный безжалостный удар, и мы видим, что этот удар уже не первый, поскольку одежды старца окровавлены. На его коленях – мёртвый Астианакс, под ногами Неоптолема – убитый воин, чьё лицо развёрнуто прямо к земле. Это тема убийства. За спиной Приама видна пальма, силуэт которой повторяет его склонённую фигуру. Под пальмой рыдают две сидящие женщины. Это тема оплакивания. Далее у статуи Афины ищет спасения нагая Кассандра, но ей угрожает мечом Аякс Оилид, под ногами которого, как и в случае с Неоптолемом, лежит мёртвое тело. Это – тема насилия. По другую сторону от сцены с Приамом развивается сражение троянки с воином – тема борьбы. Сразу за ней, две темы спасения – внуки выручают Эфру, и Эней уносит из города отца. Все эти темы имеют невероятную выразительную силу.⁶⁷

Сцена Разрушения Трои есть и во внешнем фризе луврского килика мастера Брига.⁶⁸ От решения мастера Клеофрада этот вариант отличается ещё более продуманной композицией.⁶⁹ Сохраняется прежняя иконография Смерти Приама и Астианакса, она усиливается в своей монументальности благодаря огромному треножнику, который мастер изобразил за спиной Приама. Вокруг этого неподвижного центра в стремительном движении проносятся фигуры жертв и их преследователей, для чего использован приём построения пространства планами, заимствованный у мастеров чёрнофигурных ваз. Общее движение и объединяет весь фриз. Даже боковые пальметты как бы отступают пе-

⁶⁶ Так называемая «гидрия Вивенцио», Неаполь, 81669.

⁶⁷ Неслучайно, Джон Бордман вспоминает на этом примере Греко-персидские войны и добавляет: No other Greek vase painter approaches this: the muralists could hardly have done it better. «Никакой другой вазописец не подходит так близко к этому, даже монументалисты не смогли бы передать это лучше». Boardman J. Athenian Red-Figure Vases. The Archaic Period. L., 1993. P. 94.

⁶⁸ Лувр, G 152.

⁶⁹ Так считает и Л. И. Акимова. См. Акимова Л. И. Искусство Древней Греции. Геометрика. Архаика. СПб., 2007. С. 227–228.

ред таким напором, уменьшаются и смещаются со своих обычных мест, открывая дорогу героям.

Наверное, самый полный и любопытный вариант сюжета Разрушения Трои представил в росписи своего килика Онесим.⁷⁰ Это произведение имеет сложную программу. В центре, в тондо килика, расположен уже признанный замковый камень сюжета – Смерть Приама. Представленная здесь группа напоминает монумент, возвышающийся на постаменте в виде алтаря. Приам почти опрокинут на алтарь стремительным наступлением Неоптолема, который держит в правой руке тельце несчастного Астианакса. Необычно то, что головы царя и воина мастер сближает, показывая диалог суженных в ярости глаз Неоптолема и расширяющихся от ужаса – Приама. За ними с заломленными над головой руками мечется Поликсена, и видно тело павшего воина. Все эти мотивы уже встречались нам и в чёрнофигурных, и в краснофигурных вазах. Однако Онесим представил сцену в её художественном и драматическом единстве, монументализируя её. Он дополнил изображение и надписями с указаниями персонажей, которые окружают сцену по линии обрамления тондо. Вокруг описанного медальона разворачивается целый фриз со сценами Разрушения Трои. М. Андерсон отмечает внутреннюю логику расположения сюжетов в этом фризе.⁷¹ Одну линию составляют поставленные друг против друга сцены с Надругательством над Кассандрой и Обретением Елены. Другую линию представляют сцены спасения, – с одной стороны, – Эфры, с другой, – Антенора и Феано. Внутренняя роспись килика, таким образом, посвящена событиям внутри города, внешняя же расписана историями, связанными с осадой города.

Можно сделать несколько выводов.

Во-первых, сюжеты Троянской войны становятся особенно популярными в вазовых росписях в период старшей тирании в Афинах, что подтверждает теорию писистратовой редакции поэм.

Во-вторых, круг вазописных сюжетов значительно шире традиции Илиады, следовательно, она не имела в то время центрального значения. Любопытно преобладание в вазописи военных сюжетов,

⁷⁰ Малибу, 83.AE.362, 84.AE.80, 85.AE.385.

⁷¹ См. Anderson M. J. Onesimos and the interpretation of Iliupersis iconography // JHS. Vol. 115. 1995. P. 130-135.

меньший интерес проявлялся к приключениям Одиссея, сцены его странствий ограничиваются бегством от циклопа и встречей с сиренами, кроме того, встречаются они только на поздних малых вазах.

В третьих, в общем повествовании расставлены особые акценты, выделяющие среди всех героев Ахилла и Аякса.

В четвёртых, круг троянских сюжетов, очерченных вазописцами этого времени, представляет собой целостное явление, цикл. Существует тенденция к связи отдельных мотивов между собой, к представлению всего события в комплексе. Сцены выстроены логически, в них прослеживаются причинно-следственные связи, что, несмотря на некоторую вариативность в трактовке, говорит об общей ориентации на единую систему, возможно, на текст.

Поэтому для нас так важны принципы, отмеченные Б. Лордом относительно устной поэзии. Прежде всего, это многозначность каждой формулы, её генетическая связь со многими контекстами, в которых она когда-либо употреблялась.⁷² Мастера-вазописцы выступают чаще не как иллюстраторы, а как интерпретаторы цикла.⁷³ Они могли варьировать детали изображаемого события, например, заменять героев второго плана. В этой связи принято говорить о мифотворчестве вазописцев. Это снова указывает на связь с устной традицией, в которой «сказители» воссоздают песню, а не воспроизводят её.⁷⁴

Иконографические формулы вазописцев связаны между собой единой логикой повествования, что также напоминает элементы устной поэзии. Здесь вступает в силу другой принцип Б. Лорда, который развивается автором на наблюдении за «отсылками» в эпических текстах. «Отсылки» являются связующими элементами разных песен одного цикла. Отсюда Б. Лорд делает вывод о параллельном существовании нескольких повествовательных вариантов каждой темы, например, повторяющийся рассказ одной истории

⁷² См. у А. Б. Лорда: «Каждая тема, большая или малая, - можно даже сказать, каждая формула - окружена ореолом значений, собранных из всех контекстов, в которых она ранее оказывалась. Это значение, которым наделила её традиция, находящаяся в состоянии активного бытования». - Лорд А. Б. Сказитель. М., 1994. С. 167.

⁷³ Lowenstam S. Ibid. P. 174.

⁷⁴ Лорд А. Б. Там же. С. 157.

с акцентом на разных персонажах.⁷⁵ В вазописной традиции мы находим подобие таких «отсылок». Например, в сопоставлении Геракла и Диониса, судеб Ахилла и Аякса, кургана Патрокла и осквернённого тела Гектора, сцен гибели и спасения в сценах Гибели Трои. Подобные параллели Б. Лорд находит и в поэтической традиции, например, в сравнении историй Одиссея и Агамемнона, Телемаха и Ореста.⁷⁶ То есть, каждая отдельная песня – это частный случай единого целого повествования.

Важно, что формулы сохраняют стабильность глубоко традиционной структуры. Это снова заставляет нас отметить преемственность в развитии вазописного искусства как одну из основных тенденций, отражающую и общее направление исторического развития Афин. Существует единое образное поле, единая система смыслов, сложившаяся традиционно (мы наблюдали это на примере темы «пещеры нимф»⁷⁷), на которую ориентируются вазописцы.

Поэмы о Троянской войне для греков были историей, тем, что, по их мнению, было в действительности. Поэтому всё это имело для них несомненную ценность исторического урока и подтверждения их представлений о мире. Поэтому в них прослеживается наставительная нота, выраженная причинно-следственная связь, нашедшие отражение и в вазовых росписях. Неслучайно поэмы стали благодатной почвой для развития сюжетов трагедии.

⁷⁵ «... отсылки имеют, однако, смысл если рассматривать их как часть песни, повествующей о возвращении троянских героев, иными словами, песни, которая включает как события, о которых говорится в кикилической поэме «Возвращение», так и события «Одиссеи» и, возможно, также «Телегонии». ... Оно также указывает последующим поколениям читателей, которые уже не являются слушателями древних песен, на существование иной, нежели в «Одиссее», схемы построения песни о возвращении. Более того, мы узнаём не только о существовании этой схемы, но и о том, что Гомер помнил о ней, когда приступал к пению «Одиссеи». См. Лорд А. Б. Там же. С. 180.

⁷⁶ Лорд А. Б. Там же. С. 181–185.

⁷⁷ Самар О. Ю. Чернофигурная амфора мастера Приама с изображением пещеры нимф (Рим, Музей виллы Джулия, последние десятилетия VI в. до н. э.) // Вопросы классической филологии. Вып. XV: NUMFWN ANTRON. Сборник статей в честь Азы Алибековны Тахо-Годи. М., 2010. С. 366–376.

НА СТЕНАХ СЕРЕБРЯНОГО ЗАМКА

Опыт интерпретации

«Ὡς ἔχει ἀπὸ ἀφηγήματος νὰ ξενισνεῖ ἡ ψυχὴ σου»
(Ливистр и Родамна)

«Τὰ κατὰ Λύβιστρον καὶ Ροδάμνην. (Στίχοι πολλὰ ἐρωτικοί, ἀφήγησις Λυβίστρου, πὼς ὁ φίλος ὁ Κλειτοβός διηγείται τῆς Μυρτάνης)» – византийский рыцарский роман эпохи Палеологов, дошедший до нас в четырех рукописях – codd. Escorialensis Ψ. 1Υ. 22 (16 век), Neapolitanus 111. A. a. 9 (16 в.), Parisinus gr. 2910 (15 в.), Scaligeranus 55 (XV в.). Датировка этого анонимного текста затруднена, и исследователи ограничиваются указанием на XIII–XV века. Ханс-Георг Бек с достаточной степенью уверенности датирует его XIV веком¹.

Предлагаем вниманию благосклонного читателя перевод части романа (стихов 607–644, 669–673 и 782–1016 по изданию Вагнера²). Весь текст насчитывает более 4000 стихов. Отметим, что мы не ставили перед собой задачи передать стихотворный размер (так называемый политический стих, нерифмованный пятнадцатисложник), но имели целью создать перевод, дающий по возможности адекватное представление о содержании подлинника. При этом мы стремились к максимальной точности в передаче каждого слова оригинала (в чём недалеко ушли от жанра подстрочника), не нарушая в то же время чёткости соотношения пространственных и понятийных построений неизвестного автора.

Переведенный нами фрагмент представляет собой рассказ Ливистра о своём первом впечатлении от найденного им наконец замка девы Родамны. Замок предстаёт перед читателем как обозреваемый издали героем, стоящим со своим отрядом лагерем ниже по склону, в горной долине, и наблюдающим блистание замка в лучах восходящего солнца. Затем – перенесшим свой лагерь к самым стенам замка и производя-

¹ Hans-Georg Beck. Ιστορία της Βυζαντινῆς Δημώδους Λογοτεχνίας (перевод с немецкого). Αθήνα, 1993. С.201-203.

² W. Wagner. Trois Poemes Grecs du Moyen-Age. Berlin, 1881.

щим своего рода рекогносцировку, *обходя его кругом*. Фрагмент включает экфрасу венчающих замковые стены изваяний.

Ливистр отправился из отчих пределов
На страстные поиски девы Родамны.
«Уезжаю из своей страны, покидаю наследственные земли,
610 и как рассказать тебе, друг мой, сколь страстно,
и со искушениями сколькими странствовали мы,
покуда не вышли на замок Родамны
я и те сто моих сверстников.
Не стану пересказывать, друг мой, наших скитаний,
615 и то доброе и злое, испытанное нами
покуда мы не вышли на замок Родамны.
Некогда мы приблизились к замку Родамны,
Мы миновали перевал и вышли в долину.
В низовье мы стали лагерем, в начале долины
620 передохнуть после пережитого:
вечер был, когда мы пришли, друг мой, в эту долину,
и сразу мы палатки раскинули для отдыха».
Обрел дивный Ливистр замок Родамны
Посредством великих несчастий, гонимый великой любовью:
625 «Вспыхнуло солнце поутру, и явился в сиянии замок,
Блистали солнца лучи и били в тот замок,
А встречные лучи били в солнце от замка:
Ты увидел бы, друг мой, и еще, коль живы мы будем, увидишь
Замок, лучами споривший с солнцем.
630 Как если бы ты взглядывал на Солнце,
так, когда солнце било на заре в замковую башню,
увидел бы ты солнце явное, настоящее,
восходящее изнутри того замка.
Как если бы ты взглядывал на серебро,
635 увидел бы ты, что так сияют замковые камни
как серебро чистейшее, без изъяна,
и наблюдал бы ты распря замка и Солнца –
Солнце казалось каменной глыбой, и серебром были камни.
Вспыхнуло солнце на заре, всех нас разбудило,
640 я выхожу из палатки, вижу сияющий замок,

и говорю землякам, от радости восклицая:
«видите Замок Серебряный!» – а те сто –
«нас охватила радость, и печаль оставила нас.
Ливистр, живи теперь, ты нашел то, к чему ты стремился».
Не станем спешить, дабы после стольких трудов
770 не оказались напрасными наши усилия:
но давайте выждем, обойдем этот замок,
Узнаем, где расположен девичий покой,
Поставим с той стороны шатер, проведем там с месяц.

782 Наутро мы перенесли лагерь, приблизились к самому замку
Узрели мы замка красоту, узрели замковое зданье,
И было оно таково, что и описание его душу затронет твою.
785 Отображение замка Серебряного девы Родамны.
Треугольным являлся, о друг мой, тот замок Родамны,
И на каждой стене он имел по двенадцати башен,
И над каждым зубцом этих башен
Люди стояли из меди и камня.
790 Одних поставил мастер в доспехах так, что, думаю,
сказал бы по всему ты, друг мой, их увидя –
они живут и движутся, и, к бою изготовясь, замирают,
иных же мастер тот поставил
того – играющим на лире,
795 другого – на свирели играющим любовную мелодию,
и каждый звук из пения свирели
был слышен в гласе ветра, как
искусством изощренным устроил мастер тот.
Из камня цельного, казалось, выточен был замок,
800 шва не увидишь меж камней, не различишь соединений глыб.
И вот, по левому ребру, там, где устроены ворота,
Я вижу добродетелей двенадцать, изваянных из камня.
В руке у каждой свиток с письменами,
И каждая представлена в облике девицы, ею обладающей.

805 Экфраса каждой из двенадцати добродетелей времени.

Первой была *Рассудительность*, и облик ее был таков:

Стояла она строга и серьезна, и руку держала
ко лбу обращенной, указывая пальцем на
несмешанный с душевным целостный рассудок,
810 и свиток держала в другой своей руке
и вот что написано было, друг мой выслушай это.
«Умом исследует, куда стремится финал писания,
И прежде конца отвергает начало заранее».
За нею стояла *Отвага*,
815 Дерзостна видом, с копьем в руке,
а в свитке записаны, друг мой, слова таковые:
«искатель дружбы? Я считаю, что он думает об окончании дела,
и лишенным отваги считаю его и изгоем любви».
за нею увидел я сидящую на троне *Истину*,
820 живую розу держала она в руке,
в другой руке ее был свиток с такими письменами:
«ум истинный не потерпит неудачи, отважный добивается
успеха, желанного достигнет, никогда не допуская боязни».
За нею *Осмотрительность*, и вид ее был таков:
825 серьезна, дивна, осторожна, и в руке
держала крест, в другой – свиток с письменами,
и вот что возвещали эти письма:
«без веры, знай, даже если ты и истинен,
истина твоя ошибочна, прими мои уверения».
830 Там *Справедливость* – слышишь ли – стояла за *Верою*,
Видом приветлива, сладостна взором,
В одной руке она держала весы подвижные,
В другой, мой друг, с такими письменами свиток:
«Без дел добродетели – и ты от меня это знай
835 дела эти мертвы, верь тому, что я говорю тебе».
За ней *Благонравие* стояло неподалеку –
В одной руке эта дева держала ветку мирта,
В другой имела свиток с письменами:
«коли ты истинен, коль справедлив, коль верен от начала,
840 все это преимущества благонравия».
За нею стояло, увидел я, *Смирение*,
дева кроткая видом, взором весьма приятна,
лицом спокойна, и руку одну

держала у груди, а в другой имела
845 свиток, и слова написаны там были такие:
«всякий смиренный человек верен и истинен,
он помышляет о благе, и не всякому отвечает».
Любовь стояла рядом с ней, стыдливо
потупившая взор, очами дивная,
850 и в свитке, что держала она, такие были написаны слова:
«Сколь ни смиренен ты, если любви не сберегаешь, знай
уверен быть не можешь в том, о чем ты помышляешь».
За нею увидел я *Молитву* в образе женском,
сосредоточенную, дивную, взоры имеющую долу,
855 и в свитке, что держала она, такие написаны были слова:
«Молись, человек, не за одних лишь любимых тобою,
но и за тех, кто враждебен тебе, молись и за них».
Дальше увидел я пречудную *Кротость*,
Серьезну и дивну, как бывает то с человеком рассерженным,
860 когда во гневе он стоит лишившись дара речи.
Одной рукой она щеки касалась,
в другой держала свиток с такими письменами:
«Гневливый всякий и свирепый осуждается всеми,
напротив, милосердного все восхваляют».
865 За нею обнаружил я стоящую *Надежду*,
взирающую вверх, на небо, и рукою
указывала также в небеса, взывая к долготерпенью,
в другой руке ее был свиток с такими письменами:
«Человек, дерзай, говорю я тебе, никогда не отчаивайся,
870 полагай надежду на небо, и получишь помощь оттуда».
А за ней я увидел стоящую дивную *Милость*,
Полною горстью монеты
раздававшую бедным, а другою рукою
держала свиток она с таковыми, мой друг, письменами:
875 «К несчастным будьте внимательны вы, благоденствующие,
и милость окажите просящим, дабы не подвергнуться смерти».
Вот каковы двенадцати добродетелей письма и речения,
какие я видел, друг, на одной из сторон Серебряного замка.
А на другом ребре, с другой стороны от ворот,
880 двенадцать стояли изваянных месяцев, и так же

свиток держал каждый из них с письменами.

Экфраса двенадцати месяцев, также из уст Ливистра.

Март был воин в доспехах и при оружии,
весь с головы до ног закован в железо,
885 и опоясан доспехом, в руке держал он меч,
в другой держал он свиток с письменами:
«я – проводник весны, воин, готовый к сраженьям,
и вы нисколько не медлите, на врагов своих выступайте».

Апрель за ним, пастух по виду,
890 простоволос, нечёсан, неуклюж,
пред ним пасущиеся овечки,
в одной руке держал пастуший посох,
в другой руке держал он свиток с письменами:
«Гоню я множество овец и пасу их как пастырь,
895 и резвость овечек мне в радость».

За ним был *Май* – муж прекрасный видом,
сложением хорош весьма и статью,
друг мой, на голове у него был венок из цветов,
и в руках держал он красные розы,
900 и в одной руке держал он свиток с такими словами:
«Пользуйся благами мира сего всяк человек с благодарностью,
не пренебрегай красотами, резво им радуйся».

Июня за ним увидел я, друг, изваянье,
Широкоплечего, крупноголового, мощного,
905 с обнаженными по самые локти руками,
среди цветущего луга лежал он раскинувшись,
в руках держал он цветы разноцветные,
и хартия была при нем с такими словами:

«Этого времени я вкушаю благуя усладу
910 и наслаждаюсь, вдыхая цветов ароматы».

За ним я увидел *Июль*, подобного вида мужа,
С руками обнаженными, весь нараспашку,
На голове его венок из колосьев,
Одною рукою держал он серп пожинающий,
915 другою тянулся захватить колосья,

а позади него был свиток с такими письменами:
«я пожинаю земные плоды, что посеял с трудами,
дабы удесятерить посеянное при жатве».
За ним увидел я и *Август*, подобный им, мой друг,
920 стоящий как бы при омовении – казалось, он старается
от зноя облегчение получить. В руке
держал он свиток с такими письменами:
«кого сжигает бани жар, кто распалится и жаждет,
хладную воду пусть пьет, чтоб не жаждать».
925 Был там *Сентябрь*, собиравший с лозы виноград
и с деревьев плоды, и в руке его свиток,
и письма его были такие:
«Я собираю то, что три года возделывал взорами,
и вот урожай собираю теперь, пью и сок его сладостный».
930 За ним я увидел *Октябрь* в облике
охотника, но за малыми птичками –
в руке его был свиток с письменами такими:
«Присматриваюсь, отслеживаю, охочусь, птичек ловить
ухитряюсь и нахожу в том усладу и развлечение себе».
935 За ним увидел я *Ноябрь*. И он, мой друг,
был земледелец сложеньем и обличьем,
и в фартуке держал он зерна для посева,
в руке его был свиток с письменами:
«я сею в землю и со временем посеянное мною пожинаю,
940 и если что даю земле, та втрое мне возвращает».
За ним увидел я стоящий *Декабрь*,
также в облике земледельца, и в руке
держал он посох, и хартию – в другой,
и были письма такие...
945 «Осматриваю посевы я, пускают ли зерна корни,
по мере прорастанья их имею я надежды».
Январь стоял за ним,
охотник ярый видом, удалой,
пес его следовал за ним, и на руке его сокол,
950 а в хартии, что он держал, слова были такие:
«всякий охотник да не медлит, времени не теряет,
я ведь давно уже кличу его, пора спешить в погоню».

За ним увидел я *Февраль* в облике человека
с шубою на плечах – и перед ним будто теплится пламя,
955 точно желал он согреться от зимнего холода.
Свиток лежал перед ним, и слова в нем были такие:
«Греюсь, спасаясь от стужи жестокой;
видя старцем меня, меня не стыди».
Вот каковы эти месяцев наставленья и речи,
960 изображенные чудным тем камнерезом.
По задней же стороне, по противоположной,
Где и были расположены девичьи покои,
поставил он двенадцать эротов,
со свитками стоящих, покрытыми письменами,
965 и каждого из них тебе я, друг мой, опишу.
Первым было *Усердие*, державшее такую надпись:
«Усердие любовное опытно в искусных речах
и требует настойчивости и неотступности».
За ним была *Осмотрительность* с такими письменами:
970 «Забота о репутации не осуждается в мире,
но в любовных делах поощряется, так как весьма приятна».
Любовь – в руке ее такие были писания:
«любовь, пускай и стыдлива, связывает, и эти узы
не разорвать всем завистникам мира».
975 За нею стояла *Привязанность*,
и в хартии, что держала она, написаны были слова:
«Ничто так не благо в любви, как привязанность страсти,
питаемая душою прелестной девы».
За нею стояла *Нежность* с такими письменами:
980 «Нежны будьте в усердии, вы, влюбленные,
не отрекайтесь любви,
и ожидание – благо, платит чистой монетой».
Далее *Верность* увидел я с письменами:
«Помни всюду любовь, куда бы ни уезжал,
985 вечно в мыслях храни прилежанье любовное».
Увидел я там и *Памятование*, и такая была там надпись:
«Имейте памятование любви, вы, приверженные страсти,
ни на мгновение из сердца вашего да не отлучается должное».
За ней увидел я стоящую *Благопристойность*,

990 в руке она держала свиток с письменами:
«Желание благопристойного благо».
Увидел я стоящую там *Невинность*,
державшую свиток с такими словами:
«Целомудренный никогда не терпит в любви поражения».
995 За ней увидел я дивное *Вежество*
стоящее со свитком и так возвещавшее:
«Благ великодушный, выносящий испытание временем,
не так – малодушный в любовном искусстве».
За ним увидел я *Терпение*, стоявшее с такими письменами:
1000 «Помедли, не отчаивайся, если долго придется ждать,
ибо и страсть пускает корни в любовном ожидании».
За ней стояло вновь *Долготерпение*,
свиток в руке был и у него,
и вот что написано было, запомни:
1005 «Я гневу воли не даю, яростью не пылаю,
не осмеиваю бранящегося своего злопыхателя,
всему свое время, и враги, может статься, станут друзьями».
Вот какие дива увидал я на той стороне, со всяким вниманием
я их усиливался разглядеть, и ими был занят мой разум.
1010 Вот, рассмотрев их все, прочитав их письма,
и рассмотревши росписи, им служившие фоном,
и уяснив, по какой стороне расположен девичий покой,
видел я здесь – добродетели, там – изваяния месяцев,
здесь – изваянья эротов, а над ними – знаки звезд,
1015 ум мой исследовать начал, как взяться за дело,
что предпринять и к каким прибегать ухищрениям.

ЯЗЫК ГОМЕРА И СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВИСТИКА (НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ)

Вводные замечания

Особенностью изучения текста и языка Гомера (также как и текстов на других древних языках) является то, что накопленное начиная с общеиндоевропейского периода понимание «устройства» языка еще много столетий не получало эксплицитного объяснения. Из лексики постепенно стали объяснять глоссы (редкие слова), а из грамматики – деление слов на части речи и фиксацию конца или начала слова.

Между тем текст Гомера явно свидетельствует о существовании длительных и глубоких имплицитных знаний и о типах построения текста (содержание), и о построении словоформы, и о ее значениях.

Как представляется, некоторые стороны этих глубинных значений может сделать доступными современная лингвистика.

В последние десятилетия и в лингвистике, и в литературоведении сложились разнообразные методы (подходы) к изучению речевой деятельности в самом разном объеме ее понимания: от фонемы до обширных текстов. Однако в работах филологов-классиков они пока не находят активного применения, и вот по каким причинам.

1. Одной из особенностей современных филологических исследований является то обстоятельство, что новое направление, получившее терминологическую номинацию, становится стимулом для научной или квази-научной деятельности множества людей, причисляющих себя к науке или обязанных причислить себя к науке (система обязательных кандидатских и докторских диссертаций). Еще в 1936 г. Р. О. Якобсон писал: «...за последние десятилетия термины «структура» и «функция» стали наиболее двусмысленными и трафаретными словечками в науке о языке [Якобсон, 1965, 377]. И все же, согласимся, оба этих термина доказали свою необходимость в исследованиях различных наук¹ и в том числе – лингвистике.

¹ И термин «структура», и термин «функция» долго не осваивались классической филологией. Но напомним об известной статье М. Л. Гаспарова

Данный момент характеризуется обилием авторских терминов. Особенно примечателен для филолога-классика такой факт: известна активная деятельность государственных органов по ниспровержению гуманитарных (то есть человекосозидающих) наук и фундамента европейской цивилизации – дисциплин греко-латинского цикла: классических языков – древнегреческого и латинского, греко-латинской словесности, истории античной философии, основ европейского искусства. Но удивительным образом в филологических исследованиях умножаются термины с латинской (реже древнегреческой) основой. Приведем 1-2 примера вполне достойных авторов без упоминания фамилий. Название одной из докторских диссертаций (2011г.) – «Лингвистические основы юридической теории перевода», где слово «юридический» от латинского *iudus* – «игра» далее заменяется русским словом вплоть до завершающего абзаца автореферата. Или: «Метафорическое моделирование образа шоу-бизнеса в российском и американском массмедийном дискурсе» (2011 г.) вместо «Метафора в языке шоу-бизнеса (Россия и Америка). Такие примеры можно тысячекратно умножать. Ср., было: «языковая личность» - стала «персонология»; была «методика преподавания языка (понимаемая как угодно широко) – теперь – «лингводидактика». Подобная терминологическая деятельность настораживает филолога-классика и приводит к тому, что, не желая участвовать в ней, он отвергает и то новое, что нередко стоит за не очень неудачным или слишком частотным термином. А это наносит вред и классической филологии, практически устранившейся от освоения новых лингвистических направлений, и в целом, лингвистике, обязанной по определению базироваться на греко-латинском фундаменте.

2. Второй причиной неприятия современной лингвистики филологами-классиками является следующее.

В определенных случаях филолог-классик не может до конца искать смысл того или иного направления, манифестируемого как новое, потому что классическая филология практически давно освоила его, не называя его предлагаемым новым термином. Речь идет о «когнитологии» и «когнитивной лингвистике». Классические языки, классическая филология дают возможность расставить правильные

акценты в истории науки о языке, например, определить исторические основы когнитивной лингвистики, когнитивной науки. Отметим кстати, что термин «когнитивный» в указанных словосочетаниях не кажется вполне уместным, учитывая значение *cognitio* «познание, понятие». Любой анализ языка, любые формы познания всегда были и есть «когнитивны». Главную особенность изучения классических языков, в первую очередь, древнегреческого, составило то, что оно началось в недрах древнегреческой философии. «Античная языковая теория возникает не в процессе рассмотрения каких-либо частных, мелочных проблем, а как одна из сторон основной философской проблемы, как вопрос о взаимоотношении между вещью, мыслью и словом... Всю философскую проблематику эпохи софистики пронизывает противопоставление «природы и закона». По поводу всех социальных отношений, даже шире, по поводу всех содержаний сознания ставится вопрос: существуют ли они «по природе» как неотъемлемые свойства объектов, или «по закону» как человеческие мнения и результат соглашения между людьми? В сферу этой проблематики попадает и язык» [Тронский, 1996, 10, 17]. Язык, таким образом, понимался как один из объектов мироздания. Ср. современное определение когниции, которая «есть проявление умственных, интеллектуальных способностей человека и включает осознание самого себя, оценку самого себя и окружающего мира, построение особой картины мира – всего того, что составляет основу для рационального и осмысленного поведения человека» [КСКТ, 81]. Таким образом, направление в исследовании языка, которое сейчас считается если не совсем новым, то значительно обновленным, было изначальным в античной науке. Оно же явилось основой и классической филологии, поскольку вне сопряжения всей внеязыковой и языковой ситуации, вне их обобщения, древнегреческий и латинский тексты, их глубинный смысл, аллюзии совершенно непонятны.

Здесь следует упомянуть и об особой сложности изучения языковых явлений (в первую очередь, номинации) как концепта в связи с тем, что античный текст, особенно архаического периода, есть отражение не только понятийного, но и мифологического мышления, которое создало основу концептного восприятия мира.

Таким образом, практически всегда работая с концептами, но не определяя их этим термином, филологи-классики в большинстве

своем стараются избегать его, поскольку и суть научного исследования для них в сущности не нова. Но вместе с тем, они не учитывают и того нового, что современная концептология (когнитология) привнесла в филологическую науку.

3. Особенностью современной лингвистики является лабильность многих терминов, которые по определению должны быть четкими, однозначными и стабильными. Но в новых направлениях лингвистики значение термина часто изменяется за достаточно короткий промежуток времени (причем, как правило, в сторону расширения значения). См. ниже о значении анализируемых терминов.

I. Текст Гомера и функциональная лингвистика

Как самостоятельное направление функциональная лингвистика начала формироваться только в XX веке. Основными проблемами, которые решает данное направление, являются следующие:

а) описание языка как сложного многоуровневого явления, которое связано с социальной дифференциацией общества и выполняет разнообразные социальные функции; описание функциональной парадигмы его идиомов (форм существования);

б) определение функций языка как общих для всех слоев общества, так и являющихся признаком отдельных его групп.

A.

Функциональная лингвистика показала, что язык был гомогенен лишь в незапамятно первобытные времена, когда существовала только поло-возрастная дифференциация. Но как только возникает социальная дифференциация (появление вождей, жрецов, имущественное неравенство) – появляются разные формы (идиомы) языка. Формирование и развитие не-обиходной и не-фольклорной страты есть постоянное свойство языка уже с самых начальных периодов социального расслоения.

«Характер реконструируемых этим способом словосочетаний позволяет судить об особом назначении таких фрагментов, отражающих части ритуально-поэтического или мифологического текста. Такое назначение этих фрагментов проявляется прежде всего в их своеобразной семантике и поэтической образности, что вместе с их формальными характеристиками дает основание сделать вывод о

наличии в древнем индоевропейском обществе ритуально-поэтической речи» [Гамкрелидзе, Иванов, II, 833].

Функциональная стратификация языка социально маркирована; могут быть выделены два аспекта социальной отмеченности: 1) преимущественная закреплённость идиомов за соответствующими коммуникативными сферами и 2) их соотносённость с речевой практикой известных социальных групп. Конечно, указанные аспекты частично взаимосвязаны, но они обладают не равной степенью стабильности и однозначности. «Стабильна для любого хронологического отрезка в истории языка связь его функциональных страт с конкретными сферами общения. С того момента древней истории языка, когда происходила первичная стратификация ранее гомогенного образования и возникала двучленная парадигма, согласно которой сублимированные формы противостояли формам повседневно-бытового общения, каждый идиом был приписан к определенной или определенным сферам общественной практики» [Гухман. ФСЯ, 1985, 5].

Для понимания языка Гомера и всего текста самым важным является определение его отношений с фольклорным текстом и фольклорным языком. Функциональная лингвистика, определившая набор признаков, по которым различаются отдельные формы существования языка, позволяет четко разделить тип фольклорного и не-фольклорного языка, отделив и тот и другой от обиходной речи.²

Функциональная лингвистика способствовала разделению функций и форм фольклорных и не-фольклорных текстов и языка.

Эти различия можно схематично представить следующим образом:

	<i>фольклор</i>	<i>не-фольклор</i>
Форма реализации текста	устная	устная, устно-письменная, письменная
Адресат	весь этнос	социально высокие слои этноса
Авторство	не отмечается	отмечается или условно, или точно
Основная функция	эмоционально-эстетическая	когнитивная

² О проблемах описания именно фольклорного языка см. С. Е. Никитина. Устная народная культура как лингвистический объект // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, 1982, № 5.

Соотношение с локальными формами языка	локальные	наддиалектные
Тип вариативности содержания	вариативная форма	стабильная форма
Отношение к диахронической форме языка	синхронная форма	диахронная форма
Лексическая семантика	нечеткая	четкая

Именно функциональная лингвистика дает ясный ответ: текст и язык Гомера – не фольклорные. Это другая форма словесности, которая позже получит название *ποίησις*, *λογοτεχνία* и *litteratura*. Разумеется, Гомер в определенной степени использует фольклор (иначе в то время не могло быть).

Б.

Что касается языковых функций, то разные исследователи по-разному определяют и количество языковых функций и их смысл и назначение. Но в любом случае основными являются три функции: коммуникативная (средство общения); когнитивная (познавательная) и эмоционально-экспрессивная (выражение чувств и эмоций).

Не-фольклорные, обращенные к социально высокому слою тексты (их содержание и язык) выполняли прежде всего когнитивную функцию (см. об этом ниже, раздел «Грамматика гомеровского языка как виртуальный концепт»).

Но пребывание поэм Гомера в Элладе на протяжении столетий доказало и их эстетическое значение. Последнее подтверждает «жизнь» гомеровского эпоса и в Новое время. Именно об этом пишет А. А. Тахо-Годи в статье «Об эстетической пользе души или «Одиссея» в переводе Жуковского».³

«Мы привыкли обычно оценивать перевод гомеровской «Одиссеи» В. А. Жуковским с точки зрения художественного мастерства русского поэта, которому античность представлялась в подлинно винкельмановском духе с его классической ясностью, гармонией и завершенностью. И хотя, как известно, Жуковский переводил с немецкого подстрочника, он отнюдь не старался добиться лексического буквализма, полагая, что важна целостность поэмы, ее стилисти-

³ Публикуется с разрешения А. А. Тахо-Годи.

ческое единство; и это вполне отвечало твердой унитарной позиции поэта в отношении гомеровского вопроса.

Современники, оценившие высоко «Илиаду» в переводе Н. И. Гнедича (1829), должны были встретиться с «Одиссеей» Жуковского через много лет, в 1849 г. И среди этих современников у одного человека еще не напечатанный перевод Жуковского вызвал особое, восторженное отношение. Таким современником оказался Н. В. Гоголь, который подвергся жесткой критике Белинского на книгу «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847) за пять лет до своей смерти.

Ничего не было удивительного, что создатель русской эпической поэмы, какой можно считать «Мертвые души», рассмотрел перевод с романтически-опоэтизированным миром Гомера во всей прелести его наивно-патриархальной жизни.

Но Гоголя заинтересовало не только художественное мастерство переводчика, а то, что он замечательно назвал «эстетической пользой души» в письме к своему другу, поэту Н. М. Языкову⁴. Характерно, что письмо напечатано под названием «Об «Одиссее», переводимой Жуковским». Ведь В. А. Жуковский работал над переводом с 1842 г., и близкие могли знакомиться с его результатами еще до издания 1849 г.

В этом замечательном письме Гоголь поставил вопрос о значении «Одиссеи» для русской культуры и русского народа. Полагая, что искусство слова должно воздействовать на жизнь и что писатель – воспитатель человеческих душ, Гоголь особенно трепетно отнесся к переводу «Одиссеи», который при своем появлении «производит эпоху». Здесь, в «Одиссее», – пишет Гоголь, – заключена вся жизнь человека и перед этой поэмой даже «Илиада» – только эпизод.

В приключениях Одиссея соединяется увлекательность сказки и простая правда странствия человека по сложным жизненным путям. Мастерство Гомера так велико, что кажется сплошной импровизацией и только при внимательном изучении открывается «удивительная постройка всего целого и порознь каждой песни»⁵. «Одиссея» – не стихийное творчество народа и Гомер – не миф, как

⁴ Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо к Н. М. Языкову // Полное собрание сочинений Гоголя. Т. IV. М., 1880. С. 583. Далее все сноски по этому изданию.

⁵ С. 587.

думают «немецкие умники». Это произведение великого поэта и, вчитываясь в перевод Жуковского, русские писатели смогут увидеть, как «всякому простому слову можно возратить его возвышенное достоинство» и «с какой разумной осмотрительностью нужно употреблять слова и выражения»⁶. Перевод «Одиссеи», несомненно, возбуждает любознательность читателя, подействует на «развитие эстетического чувства» и «освежит критику»⁷. Ведь для того, чтобы критически прочесть этот перевод, каждому придется много передумать и пережить. Да и сам переводчик, по мнению Гоголя, пережил некий духовный переворот, способствующий углубленному проникновению в жизнь древнего человека. Он стал не просто переводчиком, а истолкователем Гомера. «Одиссея» Жуковского не просто перевод, но скорее «воссоздание, восстановление, воскресение Гомера»⁸.

Конечно, критики всегда готовы спорить с Гоголем, которого не смущали лексические анахронизмы перевода, описание наивно-патриархального быта, напоминающего уклад давно ушедшей в небытие Руси (здесь, если вспомним, не редкость государи, спальники, дворня, лавки, пуховые постели, царские трапезы, где все садятся по чину, есть даже крамольники и деньги, которых не знало гомеровское общество, и т. д. и т. п.).

Однако Гоголю виделось в «Одиссее» нравственное произведение», лишенное грубой морализации, своеобразный этический кодекс жизненной практики древнего грека, представленный в высшей степени художественно.

Мысли Гоголя по прочтении «Одиссеи» в переводе Жуковского, выраженные в чрезвычайно восторженной и риторической форме, вполне соответствуют его глубокой вере, что именно в этом древнем эпосе уже есть предвозвестие верховной силы, то понятие о Боге, которое живет в каждом человеческом сердце. Именно поэтому предназначено «Одиссее» пробудить и оздоровить современного человека. Но сам же Гоголь произносит обвинительный приговор обществу, где «слышится болезненный рокот неудовлетворения»⁹, где страждут от своего «европейского совершенства», где все дошло до

⁶ С. 589.

⁷ С. 588.

⁸ С. 584.

⁹ С. 590.

«неустройства как внешнего, так и внутреннего», где все «опротивели до того друг другу, что не уважает никто никого» и даже те, «которые толкуют об уважении ко всем»¹⁰.

Трудно совместить эти горькие слова великого писателя с его мечтами о моральном обновлении человека при чтении «Одиссеи». Остается лишь действенной и вполне реальной надежда на живое познание и Гомера, и античности вообще, все еще способное воодушевить современного человека, а значит, и принести его душе «эстетическую пользу».

II. Текст Гомера и концепт «двуединный текст»

Понятие «концепт» сразу заставляет исследователя занять определенную позицию: рассматривать одновременно взаимосвязь и взаимозависимость целого комплекса явлений. Концепт есть способ создавать многоаспектные и многоуровневые единицы анализа. «Концепты сводят разнообразие наблюдаемых и воображаемых явлений к чему-то единому, подводя их под одну рубрику... Два и более разных объекта получают возможность их рассмотрения как экземпляров и представителей одного класса/категории» [КСКТ, 1996, 90].

Подобно функциональному и другим типам лингвистического анализа теория концептов (или концептивный анализ)¹¹ постепенно развивается и выявляет систему различных по типу концептов. При их вычленении, как правило, сопоставляются более или менее синхронные явления. Между тем при комментировании греческих и латинских текстов важен тип диахронного концепта, создающего дополнительные трудности.

Для исследований содержания и языка поэм Гомера характерна одна черта, проходящая через столетия: «Илиада» и «Одиссея» рассматриваются как два совершенно разных типа эпоса. Степень этой предполагаемой раздельности в разные времена и в разных работах различна. Еще в III в. до н. э. у александрийцев возникала мысль о том, что поэмы написаны разными авторами. Сторонники этой теории получили название οἱ χωρίζοντες. В Новое время вопрос об

¹⁰ С. 591.

¹¹ Предпочтительнее употреблять этот более точно отражающий суть лингвистического исследования термин, чем термин «когнитивный», употребление которого в некоторых словосочетаниях является оксюмором (ср. когнитивная наука).

авторстве, о времени создания поэм и об их языке составил проблему «Гомеровский вопрос».

Так или иначе можно отметить постоянное желание многих исследователей «лоскутировать» текст Гомера, хотя все понимают, что к тексту устному (лишь отчасти, видимо, записанному) нельзя предъявлять требование сглаженности и абсолютной последовательности.

Посмотрим на содержание «Илиады» и «Одиссеи» с позиции двуединого концепта.

1. Традиционные названия («Илиада» и «Одиссея») свидетельствуют о понимании уже в античности принципиального различия в содержании и сверх-идеи поэм: поэма о многих/поэма об одном.

2. Общая характеристика организации содержания: «Илиада» - чередование «личностных» сцен и сцен сражений, «Одиссея» - последовательное описание последовательных эпизодов.

	«Илиада»	«Одиссея»
Место	одно	разные места
Время	единое и короткое («комплексное»)	длительное и «пунктирное»
Цель	захват чужой земли	возвращение на родную землю
Действующие лица	много героев, Ахилл среди них	один герой
Движущая сила	гнев	любовь
Главные качества главных героев	изменчивость настроения	постоянное присутствие духа
Личностные отношения	постоянные чувства – ненависть Ахилл / Агамемнон Ахилл / Гектор	непостоянные чувства и отношения
Любовь как постоянное качество	мать – сын: Фетида – Ахилл отец – дочь: Хрис – Хрисеида отец – сын: Приам – Гектор друг – друг: Ахилл – Патрокл супруг–супруга: Гектор – Андромаха	к супруге любовь героя: к родной земле к сыну к отцу
Жалость / безжало-	Ахилл - Приам	расправа с женихами

СТНОСТЬ		

Таким образом, если рассматривать текст «Илиады» и «Одиссеи» с позиции двуединого концепта, мы обнаружим совершенно четко и последовательно проведенный принцип противопоставленности их содержания: не просто героический/приключенческий эпос, а гораздо более высокий принцип противопоставления гуманно-героического эпоса и нравственно-этического.

Напомним о том, что древнегреческая необходимая словесность (хоровая, эпическая) развивалась не одно столетие до Гомера, и есть свидетельства о ее многообразии. Поэтому творчески незаурядный аэд не мог бы написать эпическую поэму в том же ключе, что и «Илиада». Он намеренно создает поэму другого типа содержания, другого типа организации текста. В современной терминологии можно сказать, что содержание обеих поэм находятся в отношении дополнительной дистрибуции.

Этот естественный для каждого творческого человека принцип осуществляет далее Гесиод (или кто-то другой), создавая (или организуя) вошедшие в историю древнегреческой словесности поэмы «Теогония» и «Труды и дни».

III. Текст Гомера и интертекстуальный анализ: новый аспект или новый термин?

Одним из направлений лингвистических исследований, которое активно разрабатывается в последние десятилетия, является теория интертекста. Она может трактоваться как общенаучная и даже глобальная парадигма. Подобно концептологии интертекстуальность может при анализе словесного текста использовать данные и достижения смежных наук (семиотики, герменевтики, логики, теории искусств, теории литературы...). Но при анализе художественного текста интертекст, по большей части, понимается как включение «чужого» текста, цитат, а также реминисценций, аллюзий и других языковых явлений, явно ощущающихся как чуждые для данного текста. И наоборот: интертекстуальность может пониматься как культурологическая категория, выявляющая близость семантической композиции художественного текста. Методы, которыми изучается интертекстуальность, многообразны. Это структурно-семиотический, лингво-культурологический, лингвистический

ский, метод анализа вертикального контекста, методы литературоведческого анализа и другие.

Как мы видим, интертекстуальный анализ сложен и многопланов даже для текстов Нового времени. В классической филологии он осложняется трудностями понимания и интерпретации античного текста. Хотя особенно активно интертекстуальность разрабатывается последние десятилетия, она является той областью филологии в целом, и лингвистики особенно, которая существует давно (но без этого термина), и без которой немыслимо изучение художественного текста. Для классической филологии текстовое пространство гораздо шире понятия «художественная литература» и включает практически любые тексты на древнегреческом и латинском языках и в любой форме их сохранности; сведения об авторах, цитаты из их недошедших до нас произведений, выявление аллюзий и реминисценций и пр. Мало того, при анализе греко-латинских текстов часто привлекается мифологический текст в том или ином его виде и объеме. Поэтому для классической филологии проблема интертекста существовала и изучалась давно. Именно филологам-классикам понятен и сам термин, и возможности интертекстуального анализа, хотя пока еще недостаточно используемого в классической филологии.

По отношению к тексту Гомера интертекст позволит по-новому поставить гомеровский вопрос, по-новому проанализировать проблему эолийско-ионийских связей в языке поэм, по-новому рассмотреть типы и роль формул – этого краткого интертекста как «внешнего» (дошедшего даже с микенских времен), так и «внутреннего» (гомеровские формулы), еще раз вернуться к проблеме интерполяций и т. д.

При использовании текста Гомера под углом зрения интертекста возникают две проблемы. Конечно, гомеровский текст есть создание предшествующей словесной культуры, и ученые не перестают исследовать вопросы: что, как, когда и почему оказались в тексте Гомера «не его» тексты, формулы, словоформы...

Но, с другой стороны, этот текст, основное единство которого не подвергается сомнению, есть результат деятельности аэда. Именно он «расставил» и эпизоды, и формулы, и эпитеты так, как это было нужно ему. Исследователи эпоса (и греческого, и индийского, и германского) не раз говорили о том, что какие бы напластования ни

обнаруживались в тексте эпического произведения, оно в основном едино, и таким и воспринималось аудиторией [Лосев, 1960, 172-174; Гуревич, 1978, 178; Гринцер, 1974, 173-174].

Примером фактического исследования интертекста (без упоминания этого термина, еще не получившего в то время широкого распространения) может служить анализ гомеровской проблематики в кандидатской диссертации В. Л. Цымбурского «Гомеровский эпос и этногенез северо-западной Анатолии» (М., 1987). В работе поставлена проблема преобразования «предыстории Гомера» под воздействием гомеровской художественной сверхзадачи. Автор ставит в диссертации своей основной задачей освещение одной из самых таинственных и неизученных до сего времени проблемы творческого метода Гомера (кого бы мы ни подразумевали под этим именем): проблемы преобразования «предыстории Гомера» под воздействием гомеровской художественной сверхзадачи. В своей работе автор решал одну из традиционных задач (соотношение реальной и художественной истории, отношение поэта к исторической и поэтической традиции), но делал это путем расслоения реальной мифологической и гомеровской истории на столько слоев, что это позволило увидеть множество новых исторических фактов и множество особенностей гомеровского художественного метода, которые были спрессованы и незамечены многочисленными исследователями-гомероведцами.

В этом отношении В. Л. Цымбурский являлся антиподом Пэрри, который как раз немало содействовал этому слитно-спрессованному представлению о гомеровском творчестве (по словам Цымбурского, школа Пэрри-Лорда редуцирует «гомеровское повествование до уровня традиционного сказительства, движения творческой мысли по канве обкатанных веками нарративных стереотипов»). В. Л. Цымбурский присоединяется к тем исследователям, которые видят в сюжете «Илиады» динамическую «метаструктуру», преобразующую традиционные формы сообразно уникальной художественной сверхзадаче поэта.

Сама история рассматривается автором как нечто неоднородное. Это: 1) история реальная, подтвержденная историческими свидетельствами, археологией и т.п. (например, существование хеттской державы); 2) история преображенная, но воспринимаемая как ре-

альная история (кетейцы у Гомера); 3) история вымышленная, мифологическая, но воспринимавшаяся как реальная (такие герои как Диомед, амазонки, такие факты как строительство Трои Аполлоном и Лаомедонтом и т. п.). Все эти типы историй проходили переосмысление на мифо-ритуальном уровне. Ярким образцом этого является анализ эпизода с кетейцами, где реальный исторический закон (плата за убитого воина) переплетается с мифо-ритуальной темой зрелой лозы и пролития крови.

Далее, все эти типы истории включались в фольклорные схемы и в фольклорную традицию (похищение жены, товарищ, умирающий за друга) – эти фольклорные схемы в дальнейшем могли быть приняты, а могли быть отвергнуты ахейской эпической традицией, а далее Гомером.

Далее, все вышеизложенное проходит художественное осмысление, переосмысление и включение / невключение через эпическое догомеровское сознание в догомеровский эпос.

Далее все эти комплексы (реально-историко-поэтический, отраженно-историко-поэтический и мифоисторико-поэтический) подвергаются прямому принятию или переосмыслению в художественной ткани текста «Илиады». И, наконец, создается уже гомеровская история – круг как бы замыкается.

Указанные выше уровни анализа, их многочисленность и сложность переплетения ясно отражены в главе 2, где рассматривается самая основная группа этнонимов: троянцы – дарданцы. Как этнос дарданцы – часть троянцев, но сюжетно они противопоставлены троянцам как «разумные» жители Трои, а в языке этот этноним явно употребляется при торжественном обращении к троянцам. Все это предполагает какую-то лауну, которую восполняет анализ легенд, связанных с Дарданием, то есть рассматривается переосмысление, но еще далеко не гомеровское, реальной истории на основе подробнейшего этимологического и историко-культурного анализа этнонима «дарданцы».

Второй раздел главы «Древнебалканские (греческие и фракийские) мифологические мотивы в песнях о подвигах Диомеда» решается совсем в другом ключе. Образ Диомеда рассматривается в связи с образом Реса (Рес как ипостась Диомеда). Различные эпизоды «Илиады» (борьба Диомеда с Аресом, передача белых коней Реса

Диомеду) рассматриваются как художественный итог дальнейшего развития культа Диомеда в Апулии – Этолии – Аргосе – позднее во Фракии и на Кипре в качестве культа божественного героя. Развитие этого культа сопоставлено с развитием культа Ареса – Зевса, его расщеплением, и представлено как результат миграции племен в конце микенской эпохи. Все это автор рассматривает в качестве основы гомеровского сюжета и приходит к выводу: «Гомеровские песни о Диомеде представляют тот случай, когда этно-культурная предыстория сюжета играет огромную роль в развертывании гомеровского повествования, задавая те конкретные сочетания образов, в которые облекается рефлексия поэта над смыслом традиции».

Автор пишет, что в процессе анализа мифов, легенд, этнонимов выявилось, что «сказания о героях из разных регионов, еще задолго до создания гомеровских поэм были «притянуты» к теме падения Трои. Это намного увеличило сложность стоявших перед автором проблем.

В Главе 3 «Эпическая Троя и народы Малой Азии» автор обнаруживает в троянских сказаниях элементы, которые находят соответствие в ликийской и лувийской традициях, с одной стороны, и фракийской – с другой.

В разделе о Сарпедоне, герое термилов, четко выделены особенности культа именно троянского Аполлона как охранителя города, его стен и защитников, как строителя города, хранителя троянских стад, как врачевателя троянских героев Энея и Главка.

Итогом работы стали следующие положения:

1. Дешифрованы многие исторические факты, закодированные в эпическом языке Гомера, и на много веков отодвинуто вглубь представление о реальных исторических событиях северо-западной Анатолии и других районов Эгеиды. Так, реальные отношения фракийцев – троянцев – дарданцев относятся ко времени на тысячу или полторы тысячи лет ранее гомеровского эпоса;

2. Определены особенности гомеровского сюжетосложения, а тем самым, особенности гомеровского художественного метода и особенности гомеровской истории;

3. Уточнены время и место сложения различных легенд и сюжетов, как это сделано в главе о Сарпедоне, образ которого мог сформироваться только в Северо-Восточной Троаде близ Трои, затем был

занесен в южную Анатолию, и у Гомера это уже образ ликийского героя.

IV. Текст Гомера и дискурсивный анализ

В 60-70-х годах прошлого столетия лингвистика обратилась к изучению сначала устной речи в разных ситуациях (лат. *discursus* «беседа»). «Дискурс – связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь». Поэтому термин «дискурс» в отличие от термина «текст», не применяется к древним и др. текстам, связи которых с живой жизнью не восстанавливаются непосредственно» [Арутюнова, 1990, 136-137].

Наиболее лаконичное определение дискурса таково: «Речь в совокупности с условиями ее осуществления»¹². Постепенно в понятие «дискурс» включаются не только устные, но и письменные тексты,¹³ а следовательно, становится возможным дискурсивный анализ текстов определенного содержания на древних языках. Эти тексты могут давать более подробное описание внешней ситуации, чем совсем недавние тексты на новых языках. И теперь дискурс определяется как сложное ментальное и коммуникативное явление, как сложная система знаний, включающая помимо текста и экстралингвистические факторы вплоть до характеристики собеседника (-ков) как языковой личности и всего социокультурного контекста. Именно поэтому дискурсивный анализ широко используется не только в лингвистике, но и в социологии.

Но как бы ни расширяли и усложняли дискурсивное пространство, суть этого типа лингвистического анализа остается прежний: перенесение фокуса исследования на тип и формы речевой деятельности и на описание речевой ситуации.

¹² Л. П. Крысин. Толковый словарь иноязычных слов. М., 2010.

¹³ См. А. А. Кибрик. Анализ дискурса в когнитивной перспективе. Автореферат докт. дисс. М., 2003.

Законно может возникнуть вопрос: какое отношение дискурсивный анализ может иметь к тексту Гомера – к тексту на древнем языке, тексту уже давно изучаемому как письменный? Не забудем однако, что изначально гомеровский текст (даже если он был частично записан его создателем) – это текст, предназначенный для устной реализации, а следовательно, в нем можно и должно обнаружить связь формы речи с внешними обстоятельствами.

Приведем 2 примера:

Местоимение 2 л. ед. ч. имеет форму «σύ», но 6 раз встречается в форме τὴν, эмфатическое значение которой видно уже из структуры звукоформы. Действительно, она встречается только в «Илиаде» в таких контекстах: Сарпедон укоряет Гектора в бездействии (мы, союзники, должны защищать Илион, а ты и сам ничего не делаешь, и других не ободряешь – Ил., V, 485); Гекуба хочет вынести чашу вина, чтобы сделать возлияние Зевсу, а после него и Гектор может испить. «Ведь всякому истомившемуся вино дает силу, а ... ты (особенно) (κέκμηκας) истомлен» – VI, 262; Гектор укоряет Полидамаса: он, Гектор, верит обещанием Зевса, а «ты советуешь повиноваться вещим птицам» – XII, 237. Во всех трех случаях τὴν употреблено в позиции сильного противопоставления. Но еще более ярким является употребление формы местоимения τὴν в остальных трех случаях. Ахилл говорит Патроклу: «ты надень мои доспехи» – XVI, 64; Фетида говорит Ахиллу: «ты прими доспехи от Гефеста» – X, 10; Гермес говорит Приаму: «Ты умоляй Ахилла отдать труп сына» – XIX, 465. Все три раза местоимение τὴν отмечает самые знаменательные и поворотные события эпоса.

Во многих случаях разный дискурс помогает установить не просто смысл, но даже интонацию высказывания. Так, в Ил. II, 198-206 Гомер описывает, как Одиссей удерживает ахейцев от возвращения домой. Он останавливает и знатного мужа, и простого воина, обращаясь к тому и другому - δαίμόνι(ε) – букв. «божественный», но, как можно догадаться, с разной интонацией. Это ясно почувствовал Н. И. Гнедич. Ср. ст. 190: «Муж знаменитый, тебе ли, как робкому, страху вдаваться...». Ст. 200: «Смолкни, несчастный, воссядь, и других совещания слушай».

V. Грамматика Гомера как виртуальный концепт

Одной из положительных сторон концептного анализа является то, что он непременно объединяет исторические предпосылки изучаемого явления, его функциональную направленность, синхронные с ним явления, содействует уменьшению степени анахронизма. Эти положительные свойства концепта должны быть в полной мере отнесены к анализу грамматики языка Гомера.

Язык Гомера предстает перед современным читателем как язык, обладающий не просто развитой грамматической системой, но и сохраняющий многие особенности грамматики предшествующего времени. Напомним, что гомеровская грамматика описывается в подробных современных терминах, но чтобы составить о ней адекватное представление, нужно хотя бы отчасти реконструировать языковую ситуацию того времени.

1. Гомеровский текст ориентирован на слуховое и прямо-контактное восприятие, а потому грамматику гомеровского языка точнее было бы назвать «рематикой» (в традициях греческой терминологии; ср. «реторика» или «риторика»).

2. Систему звуковых комплексов и операции с ней (то, что мы называем морфологией) можно называть «фтонгологией»: φθονγολογία от φθόγγος «звук, звучание». Разумеется, приведенные названия никак не претендуют на их принятие в качестве терминов. Их цель – подчеркнуть отличие гомеровского и современного восприятия грамматики.

3. Все знания о языке, накопленные тысячелетиями, имплицитны: они содержатся в самых словоформах.

Памятники, подобные поэмам Гомера, запрограммированы на удержание как можно большего количества информации о как можно более далеком прошлом данных племен не только на уровне содержания (что свойственно и фольклорным произведениям), но и в способах языкового выражения. Нацеленность подобного типа делает гомеровские тексты предназначенными для слушателей, которые обладают или должны обладать значительной языковой компетенцией (в отличие от фольклорных текстов, предназначенных для неограниченного круга слушателей, а потому избегающих, как правило, глубоких архаизмов). Изобилующая гетерохронность гомеровских грамматических форм есть не архаизация, а закономерный

способ сохранения исторической глубины текста и имплицитной исторической грамматики устного языка (исторической рематики).

Для того, чтобы понять, как Гомер «ощущал» словоформу и ее изменения, нужно обратиться к истории понимания словоформы и ее создания.

1. Устное существование языка стимулировало сверхвнимание к звукам речи (несопоставимое с современным), которые становились звуко-символами и приобретали каждый свое значение.

Анализируя сходное с гомеровским состояние древнеиндийской грамматики, Т. Я. Елизаренкова писала: «Напрашивается предположение, что древнеиндийский грамматик ведийского периода был одним из жрецов, контролировавших правильность (адекватность) речевой части ритуала. В таком случае получает свое объяснение поразительное сходство операций, совершаемых грамматиком, с тем, что делает жрец. Как и жрец, грамматик расчленяет, разъединяет первоначальное единство (текст, ср. жертва), устанавливает природу разъятых частей через установление системы отождествлений (в частности, с элементами макро- и микрокосма), синтезирует новое единство, уже артикулированное, организованное, осознанное и выраженное в слове, которое сочетает в себе атрибут вечности с возможностью быть верифицируемым. Таким образом, грамматик выделяет в тексте элементы, являющиеся языковыми символами, определяет их структуру и возможности синтеза языковых символов более высокого порядка, устанавливает значение этих символов (соотношение вариантов и инварианта, проблема тождества и изменчивости) и тем самым подходит к постановке задачи соотношения языковых символов и символов, определяющих содержательную структуру данного текста [Елизаренкова, 42].

2. Следующим этапом было осмысление самостоятельности слова в целом, без разъятия его на морфемы (суффиксы, окончания), поэтому любое изменение звукового состава слова воспринималось как появление нового слова. Лишь спустя несколько столетий после Гомера стоики подступают к проблеме членимости слова. «В античности слово являлось первичной и по сути неопределяемой единицей анализа. Критерии членения текста на слова не были выработаны не только в античной и средневековой европейской традиции, но и выросшей из нее языковедной науке вплоть до начала XX века. Слово

для александрийцев и для их продолжателей было заранее известной данностью, с которой затем проводились те или иные операции. Слова классифицировали по частям речи, изучалось словоизменение, в то же время слова толковали и заносили в словари. Все было основано на слове, при этом вопрос о том, что такое слово, перед наукой о языке не стоял вплоть до самого конца XIX в. и начала XX в., когда его в разных странах поставили сразу несколько языковедов.

В европейской морфологии слово было не только первичной, но и единственной единицей анализа. Никаких корней и аффиксов для античных и средневековых ученых не существовало. Если иногда и предпринимались попытки определить слово, то они скорее похожи на современные определения морфемы: слово считалось мельчайшей значимой единицей. Этим определениям, правда, несколько противоречила трактовка сложных слов: признавалось, что они не элементарны, а состоят из слов же. Что же касается склонения и спряжения, то еще стоиками была разработана модель, нашедшая окончательное завершение у Присциана. В соответствии с ней слово как таковое – лишь исходная словоформа, для имен – это именительный падеж единственного числа (для глагола единой точки зрения не было, чаще такой исходной формой считали форму первого лица единственного числа настоящего времени, но иногда и инфинитив). Остальное – лишь «отклонения», «падежи» исходного слова (именительный падеж при таком подходе падежом не считался). Предполагалось, что «падежи» слов образуются заменой части (обычно конечной) слова на некоторую другую часть, при этом ни одной из частей не приписывалось никакое значение. То есть склонение и спряжение описывались не как присоединение к корню тех или иных окончаний, а как некоторое чередование звуков в нечленимом слове. При этом не нарушается понимание слова как минимальной значимой единицы. [Алпатов, 1998, 35-36].

Примечательно, что Гомер не только сохраняет традиционные словоформы, но создает новый уровень в их употреблении, который мы в нашей терминологии можем назвать грамматической стилистикой, и который отражает сознательное и творческое отношение к

языку, к слову, что является основным признаком художественной литературы¹⁴.

Очень трудно понять, как аэд вне всяких современных представлений о языке не просто знал его, но и виртуозно использовал. Такой уровень недоступен фольклорным текстам, которые не в состоянии сознательно использовать грамматические формы на протяжении всего текста.

Приведем небольшой пример стилистико-маркирующего употребления словоформы. Таким ярким примером может служить противопоставление форм род. п. ед. ч. теонима Кронос: только в «Илиаде» четыре раза в одной и той же очень торжественной формуле употреблена эпическая форма Κρόνοιο. Ее грамматический облик нельзя адекватно передать на русском языке:

Ἦνῃ πρέσβῃ θεῶ, θυγάτηρ μεγάλοιο Κρόνοιο (V, 721 = VIII, 383 = XIV, 194, 243)

Эпический язык создает свою вариативность словоформы, не соотносимую с вариативностью обиходной речи.

Гомер воплотил совершенно новый тип словесной деятельности: отталкиваясь от стереотипов, сохраняя эпическую традицию, он создал свой собственный и по содержанию, и по языку тип эпического текста.

О таких личностях Наталия Петровна Бехтерева писала: «Мозг легко берет на вооружение стереотипы, базируется на них, для обеспечения следующего уровня деятельности, и в то же время, пока может, пока есть богатство, борется с монотонностью... Чем больше вовлекается мозг в деятельность, тем ярче человек, тем менее избиты его ассоциации. А уж талант! Еще сложнее с гением. Его мозг устроен так, что правильное решение идет по минимуму внешней информации, минимуму и количественному, и по уровню ее над шумом. Но это еще не все. Этим механизм гениальности не исчерпывается. Гениальный человек обладает своей биохимией мозга, определяющей легкость ассоциаций, и, вероятно, многим другим «своим» [Бехтерева, 2007, 71].

Ее слова можно адресовать сторонникам формульной теории языка Гомера.

¹⁴ «...язык художественного произведения не есть только материал поэзии, как мрамор – ваяния, но сама поэзия». А. А. Потебня. Эстетика и поэтика. М., 1976, с. 198.

Заключение

Сложение текста Гомера (от реконструируемого начального состояния до александрийской редакции) настолько далеко отстоит по времени от современности, что исследование его содержания и языка должно опираться на все методы филологического анализа, в том числе использовать методы современной лингвистики. А она все больше и больше обращается к выявлению смысла всех единиц текста, начиная с фонемы.

Отметим, что, несмотря на множественность определений, на несовершенство терминологии, в каждом методе остается неизменным его основное «ядро», его главное направление, которое расширяет научный горизонт филолога-классика, предоставляя совокупность новых аспектов исследований текста в рамках или прежде не совсем четко оформленных направлений или совсем новых.

Цитированная литература:

Якобсон Р., 1965 – Якобсон Р. Разработка целевой модели языка в европейской лингвистике в период между двумя войнами // Новое в лингвистике, вып. 4. М. «Прогресс», 1965.

Тронский И. М. «Проблемы языка в античной науке» // Античные теории языка и стиля. М.-Л., 1936, 1996².

Краткий словарь когнитивных терминов. Под ред. Е. С Кубряковой. М. 1996.

Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984, т. II.

Функциональная стратификация языка. М., Наука, 1985. Введение.

Арутюнова Н. Д. ЛЭС. М., 1990.

Лосев А. Ф. Гомер. М. 1960.

Гуревич А. Я. Пространственно-временной континуум «Песни о Нибелунгах» // Традиции в истории культуры. М. 1978.

Гринцер П. А. Древнеиндийский эпос. М., 1974.

Елизаренкова Т. Я., Топоров В. Н. Древнеиндийская поэтика и ее индоевропейские истоки // Литература и культура древней и средневековой Индии. М., 1979.

Алпатов В. М. История лингвистических учений. М., 1998.

Бехтерева Н. П. Магия мозга и лабиринты жизни. М. – СПб., 2007.

СОННИК МАГА АСТРАМПСИХΑ

Κυρία μου <...> ἄκουσον τοῦ ὀνείρου τοῦ ὀφθέντος μοι.¹

В византийской литературе онейрокритика² представлена в значительном числе рукописей, авторство которых, по понятным причинам, обычно фиктивно или анонимно.³

¹ Acta Thomae, 91 (Acta apostolorum apocrypha. Ricardus Adelbertus Lipsius et Maximilianus Bonnet, eds. Pars 2./2. Acta Philippi et acta Thomae. Accedunt acta Barnabae, edidit Maximilianus Bonnet, 1903, apud Hermannum Mendelssohn, Lipsiae, p. 205).

² Oberhelman, S. M. 1980. "Prolegomena to the Byzantine *Oneirocritica*," *Byzantion*, 50: 487–504. его же 1981. "The Interpretation of Prescriptive Dreams in Ancient Greek Medicine," *Journal of the History of Medicine*, 36: 416–24. его же 1983. "Galen, *On Diagnosis from Dreams*," *Journal of the History of Medicine*, 38: 36–47. его же. 1986. "The Interpretation of Dream-Symbols in Byzantine Oneirocritic Literature," *Byzantinoslavica*, 46: 8–24. его же 1987. "The Diagnostic Dream in Ancient Medical Theory and Practice," *Bulletin of the History of Medicine*, 61: 47–60. его же 1990. "The Hippocratic Corpus and Greek Religion," in B. Clarke and W. Aycock (eds), *The Body and the Text: Comparative Studies in Medicine and Literature*, Comparative Literature Series, 22, 141–160. Lubbock, TX. его же. 1993. "Dreams in Graeco-Roman Medicine," *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, II: *Principat* 37, 2: 121–156. 1994. "On the Chronology and Pneumatism of Aretaios of Cappadocia," *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, II: *Principat* 37, 1: 941–966. его же 1997. "Hierarchies of Gender, Ideology, and Power in Ancient and Medieval Greece and Medieval Islam," in J. W. Wright and E. Rowson (eds), *Homosexuality in Medieval Islam*, 55–93. New York. Новейшая обобщающая монография – S. M. Oberhelman, *Dreambooks in Byzantium, Six Oneirocritica in Translation*, with Commentary and Introduction, Ashgate 2009.

³ Drexel, F. (ed.). 1925a. *Achmetis Oneirocriticon*. Leipzig., Drexel, F. 1925b. "Das Anonyme Traumbuch des cod. Paris. gr. 2511," *Laographia*, 8: 347–75. Drexel, F. 1926. "Das Traumbuch des Propheten Daniel nach dem cod. Vatic. Palat. gr. 319," *Byzantinische Zeitschrift*, 26: 290–314. Drexel, F. 1923. "Das Traumbuch des Patriarchen Germanos," *Laographia*, 7: 428–448. Delatte, A. 1927–39. *Anecdota Atheniensia*, 2 vols (2:511–24). Liege and Paris. Drexel, F. 1922. "Das Traumbuch des Patriarchen Nikephoros," in A. M. Koeniger (ed.), *Festgabe A. Ehrhard: Beiträge zur Geschichte des christlichen Altertums und der byzantinischen Literatur*, 94–118. Bonn. Guidorizzi, G. 1980. *Pseudo-Nicephoro: Libro dei sogni*, Collana di Studi e Testi, 5. Naples.

Сонники Псевдо-Даниила⁴ и императора Мануила II – прозаические, а сонники, приписываемые патриарху Никифору и патриарху Герману – версифицированные; они написаны византийским двенадцатисложником.⁵ Один из версифицированных сборников приписывается магу Астрампсиху, жившему, по сообщению Диогена Лаэртца (I,2), в Персии ещё до завоеваний Александра Великого. Суда сообщает, что Астрампсих – автор трактата о лечении ослов. Сохранился целый ряд приписываемых Астрампсиху сочинений – о геомантии, о значении драгоценных камней в астрологии, сборник оракулов, любовные заклинания⁶. Рукописная традиция сонника Астрампсиха весьма своеобразна⁷

Первое издание Астрампсиха было опубликовано в 1599г.⁸ Наш перевод сделан по изданию Rigaultius, N. (ed.). *Artemidori Daldiani et Achmetis Sereimei F. Oneirokritika: Astrampsychi et Nicephori versus etiam oneirokritiki: Nicolai Rigaultii ad Artemidorum notae*. Lutetiae 1603. К сожалению, новейшее издание Brodersen, K. *Astrampsychos: Das Pythagoras-Orakel und über magische Steine, über Traumdeutung, Liebesbindezauber*. Darmstadt, 2006, осталось нам недоступным.

Альфа

- 1 Идти по углям – это к вражьи́м прои́скам.
- 2 Пчелу поймать – в надежде разувериться.
- 3 Ленъ двигаться – в дороге ждут несчастья.
- 4 Душа выиграла – знай, что на чужбине жить.
- 5 Смотреть на звёзды – к самому прекрасному.

Бета

- 6 Идти по черепице – избежать потерь.
- 7 Быков увидеть – к делу нехорошему.
- 8 Есть виноград – жди ливня с наводнением.
- 9 Во сне раскаты грома – речи ангелов.
- 10 Есть фиги – означает речи вздорные,

⁴ Псевдо-Даниил. Сонник, Толкование снов с богом святым святого пророка Даниила по алфавиту. Вступительная статья, перевод и примечания Т. И. Самойленко под редакцией Д. Е. Афиногенова (Москва) Вестник древней истории, 1999 г., № 1, 239-250.

⁵ Maas P. 1903. "Der byzantinische Zwölfsilber," *Byzantinische Zeitschrift*, 12: 278–323.

⁶ См. S. M. Oberhelman 2009, p. 11.

⁷ См. S. M. Oberhelman 2009 и Guidorizzi G. 1980. *Pseudo-Nicephoro: Libro dei sogni*, Collana di Studi e Testi, 5. Naples, p. 44.

⁸ Opsopaeus S. (ed.). *Astrampsychi Oneirocriticon*. Venetiae 1599.

Гамма

- 11 А молоко – к спокойным обстоятельствам.
- 12 Пролить его – расстроить вражьи замыслы.
- 13 Во сне смеяться – будут неприятности.
- 14 Себя увидеть старцем – это к почестям.
- 15 Себя увидеть голым – к обнищанию.

Дельта

- 16 Зловоние – считай, что к неприятностям.

Эпсилон

- 17 Тебе кадят – так знай, что это – горький сон.
- 18 Грязь означает, что душа нечистая.
- 19 С врагом застолье значит – примирение.
- 20 Обнять, кого ты любишь – к пользе всяческой.
- 21 В собрании стоишь – жди обвинения.

Дзета

- 22 Коль пояс развязался – быстро путь пройдёшь.

Эта

- 23 Приснился гвоздь – страшись укола вражьего.

Тэта

- 24 Улыбчивое море снится к счастью.
- 25 Во сне скончаться – это к неприятностям.
- 26 Поел латука – жди болезнь телесную.

Иота

- 27 Заплыть в болото – к умопомрачению.
- 28 Да, не к добру нам кони снятся чёрные,
- 29 А белые – всегда виденье ангелов.

Каппа

- 30 Летать во сне – прекрасно, к делу доброму.
- 31 Барыш приснится – жди подвоха хитрого.
- 32 Коль сокола поймал – что хочешь, сбудется,
- 33 А плач во сне – всегда к великой радости.
- 34 Сломалась палка – дело плохо кончится.
- 35 Держать ключи – к единству и согласию,
- 36 А держишь прут – готовься к обвинениям.
- 37 Попал в навоз – получишь наказания.
- 38 Сорваться с высоты – сулит несчастье.
- 39 Собачий лай являет вражьи происки.

Лямбда

- 40 Себя увидеть в яме – не к добру оно.
41 Во сне болтаешь – сон твой точно сбудется.
42 Львов видеть – означает бой с противником.
43 Ко благу, если снится тело белое.
44 Носить одежды белые – прекраснейше!
45 А волчья пасть – к речам бессодержательным.

Мю

- 46 А выхваченный меч живописует бой.
47 Обнять родную мать – вот это добрый сон!
48 Приснилась мышь – и наяву появится,

Ню

- 49 Коровы пали – будут годы голода.
50 Увидел мёртвых – дело смертью кончится.
51 Веретено держать – всегда к несчастьям.
52 Плыть по морю – к тревогам и опасностям,
53 Но днём по морю плыть – всегда хороший сон.

Кси

- 54 Засохшие деревья значат труд пустой.

Омикрон

- 55 Увидеть жемчуг – слёзы лить обильные.
56 Пролитое вино – конец страданиям,
57 А мутное вино – жди неприятностей.
58 Вино пить вместе с кем-то – к ссорам яростным,
59 А тело мыть – от всех забот избавиться.
60 Карабкаться на гору – к затруднениям.
61 Елей присниться – бед избегнешь всяческих.
62 Змею попать – от вражьих жал избавиться.

Пи

- 63 Совокупленья значат муки долгие.
64 Оковы на ногах – к большой опасности.
65 Во сне голубок видеть – к неприятностям.
66 На камень сел – твои надежды верные.
67 Сверкающий родник – нет в сердце горестей!
68 Мыть ноги – значит, от забот избавиться.
69 Большие стопы означают горести.
70 Отрезанные ноги – в путь нельзя идти.

71 Жар в теле – это верный знак бесчестия.

72 Бегущий жеребёнок снится к тайному.

Сигма

73 Загар – весьма нехорошо для мальчиков.

74 Носить одежду чёрную – не к доброму.

75 Быть в пурпуре – болезнь приносит долгую,

76 Быть в красном – предвещает подвиг доблестный.

77 Надеть наряд царя – надежды сбудутся.

78 Пытаться воробья схватить – к несчастью.

79 За столб держаться – жди от Бога милости.

80 Сломался меч – гибель неприятелю.

81 Осиный рой являет вражьи происки.

Тау

82 Усесться на стене – к удаче всяческой.

83 Бежать во сне – удачу верной делает.

84 Стричь волосы – ведёт к упадку дел твоих,

85 А выпадают волосы – к опасности.

86 Есть сладкое – изведать горе горькое.

87 Во сне ослепнуть – сон наисчастливейший!

Ипсилон

88 Родник из-под земли – тебе враги грозят.

89 Прозрачная вода – ко благу всякому,

90 Пьёшь воду с мутью – будут неприятности.

Фи

91 Приснился заяц: путь держать – к несчастью.

92 Объятыя, поцелуи – к войнам длительным.

93 Морской прибой – порядок дел нарушится.

94 Маяк приснился – все дела устроятся.

Хи

95 Мыть руки – значит, от забот избавиться.

96 С руки взлетает сокол – потеряешь власть.

97 Хитон порвался – прочь, заботы тяжкие!

98 Слетает снег во сне – несёт вражду тебе.

99 Взял золото – желанья не исполнятся.

100 Разлив реки – врагов злорадство кончится.

Омега

101 Есть яйца, в руки брать их – к огорчениям.

В ГОСТЯХ У АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВИЧА И АЗЫ АЛИБЕКОВНЫ

Вернувшись после госпиталя на философский факультет МГУ в 1943 г., я узнал о двух новых профессорах – Алексее Федоровиче Лосеве и Павле Сергеевиче Попове, о которых я, студент исторического и философского факультетов Института истории философии и литературы, ничего не слышал в довоенные годы. Контакты с А. Ф. студента V курса, сдававшего завершающие экзамены и готовившегося к государственным, а затем и аспиранта, были редкими и довольно случайными. Но от студентов предшествующего курса, где работал А. Ф., а также от своего научного руководителя Бориса Степановича Чернышева, я стал понимать научную и педагогическую значимость профессора Лосева. Очень сожалел, когда в 1944 году его удалили с философского факультета, где он хотел продолжить свою педагогическую и научную деятельность (предполагалось – заведующим будущей кафедры логики), по распоряжению университетских «верхов» его перевели в Пединститут им. Ленина на кафедру классической филологии как доктора филологических наук.

Так Алексей Федорович надолго был вышиблен из философии.

В дальнейшем я был командирован в КНДР, воевавшую с Южной Кореей, в качестве преподавателя истории философии Университета им. Ким Ир Сена и оставался там с эпизодическими поездками в КНР более двух лет. По возвращении в Московский университет в 1955 году с радостью прочитал в «Литературной газете» рецензию украинского академика А. И. Белецкого на работу А. Ф. по античной мифологии, опубликованную в трудах Пединститута им. Ленина. Для меня это был отрадный знак, что Лосев снова выходит на философскую арену. Мой ближайший друг, тогда доцент Михаил Федотович Овсянников, работая в Московском областном пединституте им. Крупской (в 1955 г. переведен в МГУ), познакомился там с Азой Алибековной, тогда доцентом кафедры истории зарубежной литературы. Через нее и самостоятельно он приблизился к Алексею Федоровичу. Он много мне рассказал об их творческом содружестве и даже с большим удивлением, если не с испу-

гом, о «каторжной» литературно-исследовательской работе А. Ф., привлекавшей такое множество первоисточников и необходимых книг, что нам было трудно такую работу даже вообразить. Теперь уже самостоятельно я в 1957 г., проживая в Загорянке, проник к А. Ф. и А. А., жившим в пограничной Валентиновке. Воочию убедился в их творческом содружестве. Задавал им множество вопросов, научил их, как ловить БиБиСи, которая в Москве беспощадно глушилась. В этот год вышла книга А. Ф. «Олимпийская мифология в ее историческом развитии» и мы договорились о моей рецензии на нее в «Вопросах философии», которая и появилась там в следующем году.

В дальнейшем мы с Михаилом Федотовичем (иногда вместе с И. М. Наховым) стали ежегодно посещать Лосева и Тахо-Годи на даче А. Г. Спиркина в «Отдыхе». Было множество философских, исторических бесед, в которых мы, разумеется, были только вопрошателями, которые ни у кого другого не могли почерпнуть столько знаний фактов, которыми они щедро делились с нами. Аза Алибековна была при этом не только щедрой хозяйкой, но и весьма компетентной участницей, особенно в литературной и филологической тематике.

При широкой ее учености и искусстве лектора (о чем осведомлен не только непосредственно, но и от многих ее слушателей) она отличается еще и незаурядной энергией. Алексею Федоровичу посчастливилось в таком возрасте обрести такую ученицу и сотрудницу. Аза Алибековна, мобилизовав поклонников ее супруга и своих учеников, которых она воспитала в длительном руководстве кафедрой классической филологии, можно сказать, обеспечила ему создание новых выдающихся трудов, поражающих своими объемами и содержательностью, и продвижение их в печать. А после того, как были переизданы произведения А. Ф. Лосева 20-х гг. прошлого века, произведения, третировавшиеся и преследуемые тогдашними властями вплоть до ареста автора и его высылки на принудительные работы, теперь стали доступны многим читателям. Вместе с новыми трудами автора последних десятилетий они раскрыли философской общественности не только сверкающую роль Лосева как последнего выдающегося философа Серебряного века русской культуры. Вместе со многими его поклонниками Аза Али-

бековна добилась учреждения «Дома Лосева», важнейшего прибежища философских, религиозных, литературоведческих и других собраний, обсуждений и конференций.

Значителен вклад Тахо-Годи в российскую гуманитарную культуру, в античное литературоведение, в эстетическую проблематику, в осмысление древнегреческой мифологии, без которой нет ни античной, да и мировой гуманистики. Этой неувядаемой проблематике А. А. посвятила и книги и сотни разнообразных статей. Особая ее заслуга заключена в выявлении вклада ее покойного супруга в российскую философию – в исследования прежде всего платонизма на всем его многовековом развитии. Его капитальный много томный труд «История античной эстетики», исследующий не только античную философию, но и многие стороны культуры Античности, стал событием в истории мировой философии и культуры. Ряд научных конференций по многообразному литературному наследию А. Ф. Лосева, организованных Азой Алибековной совместно с энтузиастами его идей, весьма способствовали их популярности не только в России, но и за ее пределами. Ее биографический труд «Лосев», опубликованный в фундаментальной серии «Жизнь замечательных людей», – еще один вклад в нашу философию.

Очень интересен и глубоко содержателен труд Лосева и Тахо-Годи («Платон. Аристотель», опубликованный в той же серии. Сложнейшую проблематику двух основоположников европейской и ближневосточной (средневековой) философии авторы изложили настолько ясно и популярно, что эта книга служит прекрасным учебным пособием для студентов, аспирантов и более широких кругов интеллигенции. Можно также подчеркнуть, что перо Азы Алибековны четко ощутимо в тексте Платона. Что, по моему убеждению, свидетельствует, что А. А. не растворилась без остатка в тексте и мыслях ее покойного супруга, а образует четкую колею, когда, в особенности, автор трактует собственно литературную сторону платоновских диалогов, выявляя ее органическую необходимость для философской доктрины величайшего мыслителя.

В заключение хотелось бы поздравить Азу Алибековну с ее обширной автобиографией, воспоминаниями, названными «Жизнь и судьба», отличающимися незаурядными литературными достоинствами. Читатель встречается здесь с многочисленными фактами

трудной, печальной, а иногда и трагической жизни автора, как и с ее радостными компонентами, которые нарастали в особенности ко второй половине ее жизни. Читатель встречается здесь с десяткам и сотнями полузабытых, забытых и совсем неизвестных множеству читателей имен литераторов, философов, музыкантов различных достоинств и масштабов. Фигурами положительными, выдающимися, но иногда и отрицательными и зловредными. В книге нарисована длительная эпоха, можно даже сказать, не одна – от ранних и более поздних советских времен до последующих десятилетий возрождения российской культуры. Думаю, что книгу с интересом читают все равнодушные к истории нашей культуры.



1978 г. сентябрь

О ЗНАЧЕНИИ ЛАТИНСКОГО СЛОВА *uaccīnium* (по поводу Verg. ecl. 2, 18)¹

Во 2-й эклоге Вергилия пастух Коридон, описывая перипетии своих отношений с юношей Алексидом, сетует:

nonne fuit satius tristis Amaryllidos iras
atque superba pati fastidia? nonne Menalcan,
quamuis ille niger, quamuis tu candidus esses?
o formose puer, nimium ne crede colori:
alba ligustra cadunt, uaccinia nigra leguntur.
despectus tibi sum, nec qui sim quaeris, Alexi,
quam diues pecoris, niuei quam lactis abundans.

(Verg. ecl. 2, 14-20)²

«Не лучше ль бы было терпеть тяжкие проявления гнева и горделивую надменность Амариллиды? Не лучше ли — Меналка, хоть он и чёрен, а ты ослепительно бел? О прекрасный мальчик, не слишком доверяйся цвету: белая бирючина опадает, а чёрные *uaccinia* собирают! Ты презрел меня, Алексид, и не интересуешься тем, кто я, как я богат скотом, как много у меня белоснежного молока»³.

Строка, выделенная курсивом, с одной стороны, вошла в мировой фонд крылатых выражений: так, великий латинист современности Вильфрид Штро (Stroh) использует её как латинский аналог современной английской фразы *Black is beautiful* («Чёрное — это прекрасно») — и она действительно может быть использована в этой функции; с другой стороны, она доставляет значительные трудности при её интерпретации и поэтому уже по меньшей мере с XVIII в. неоднократно становилась объектом изучения (Kirsten, 1764). При этом основную интерпретационную трудность составляет значение существительного *uaccinium*. "*Magna lis est inter eruditos in hujus flore seu fructu constituendo...*" ("Определение того, что это за цветок

¹ В основу статьи лёг доклад "*Alba ligustra cadunt, uaccinia nigra leguntur* (К интерпретации Verg. ecl. 2, 18)", прочтённый на Ломоносовских чтениях 2012 года (секция филологических наук, кафедра классической филологии; 23 апреля).

² Цитаты из Вергилия даны по изданию М. Жеймона (Geymonat, 1973).

³ Переводы, кроме особо оговорённых случаев, принадлежат автору настоящей статьи.

или плод, составляет в учёном мире весьма спорный вопрос"), — констатирует редактор 3-го издания (1827-1831 гг.) словаря Форчеллини, Джузеппе Фурланетто (1775-1848), под словом *Vaccinium*; эта ремарка сохранена и в нынешнем, пятом издании (Forcellini, 1940), что вполне закономерно, ибо, как будет видно из приведённого ниже материала, острота вопроса с первой трети XIX в. не уменьшилась.

Настоящая статья ставит своей целью новое рассмотрение всех относящихся к данной теме свидетельств с целью максимально точного определения семантики слова *uaccīnium* в этом месте Вергилия и — тем самым — уяснения смысла всего пассажа.

Слово *uaccīnium* (везде в форме множественного числа *uaccīnia*, что предопределено метром) встречается в "Буколиках" ещё дважды, один раз в той же 2-й эклоге (Коридон обращается всё к тому же Алексиду (Verg. ecl. 2, 50)), другой раз – в 10-й (10, 39):

huc ades, o formose puer: tibi lilia plenis
ecce ferunt Nymphae calathis; tibi candida Nais,
pallentis uiolas et summa papauera carpens,
narcissum et florem iungit bene olentis anethi;
tum casia atque aliis intexens suauibus herbis
mollia luteola pingit *uaccīnia* caltha.
ipse ego cana legam tenera lanugine mala
castaneasque nuces, mea quas Amaryllis amabat;
addam cerea pruna (honos erit huic quoque pomo),
et uos, o lauri, carpam et te, proxuma myrte,
sic positae quoniam suauis miscetis odores.

(Verg. ecl. 2, 45-55)

«Приди сюда, прекрасный мальчик: вот нимфы несут тебе полные лукошки лилий; прекрасная няяда, собирая бледные маттиолы и головки маков, сочетает для тебя нарцисс с цветком благоухающего укропа, а затем, вплетя туда майоран и другие сладостные травы, рисует (*pingit*) нежные *uaccīnia* оранжевыми ноготками. Я сам соберу плоды (айвы), покрытые серебристым нежным пушком, и каштаны, любимые моей Амариллидой; я прибавлю к этому восковые сливы (почтён будет и этот фрукт), соберу и вас, лавры, и тебя, мирт, растущий поблизости, потому что если расположить вас так, то вы сладостно смешиваете свои ароматы.»

В 10-й эклоге это растение упоминается в речи влюблённого поэта Корнелия Галла, тоже окружённого пастухами и обращающегося к ним:

atque utinam ex uobis unus uestrique fuisset
aut custos gregis aut maturae uinitor uuae!
certe siue mihi Phyllis siue esset Amyntas
seu quicumque furor (quid tum, si fuscus Amyntas?
et nigrae uiolae sunt et *uaccinia* nigra),
mecum inter salices lenta sub uite iaceret;
serta mihi Phyllis legeret, cantaret Amyntas.

(10, 35-41)

«А если б я был одним из вас — сторожем вашего стада или сборщиком спелого винограда! Тогда бы, будь я безумно увлечён Филлидой, — или Аминтом, или кем угодно иным (ну и что из того, что Аминт смугл? — бывают и чёрные (душистые) фиалки, и чёрные *uaccinia*), она лежала бы со мною среди ив под гибкими виноградными лозами; Филлида бы мне плела венки, а Аминт пел.»

Слово *uaccinium* встречается и у других римских авторов, как в стихах, так и в прозе, но представляется целесообразным выделить эти три вергилиевских контекста в отдельную группу. Эта группа тем чётче выделяется, что у Вергилия слово *uaccinium*, помимо трёх приведённых мест из «Буколик», больше не встречается.

В целом можно выделить две основные ветви интерпретации слова *uaccinium* у Вергилия: либо это съедобная ягода (черника или, реже, голубика), либо какой-то цветок (здесь предлагавшихся вариантов гораздо больше).

Основным аргументом сторонников первого понимания является тот факт, что продолжающие латинское *uaccinium* романские формы, восходящие к **uaccinus* (M. L. 9111), значат именно "черника" (*Sumpfbeere*, *Rauchheidelbeere*).⁴ Кроме того, другие античные авторы (Vitr. VII 14, 2; Plin. n. h. XVI 77; Ou. trist. I 1, 5)⁵ сообщают о том,

⁴ Meyer-Lübke (1935), Nr. 9111 (S. 759): *vaccinus* "Sumpfbeere", "Rauschneidelbeere" Obw(aldisch) *mučín*.

⁵ Vitr. VII 14, 2 ((1) *fiunt etiam purpurei colores infecta creta rubiae radice et hysgino, non minus et ex floribus alii colores. itaque tectores, cum uolunt sil Atticum imitari, uiolam aridam coicientes in uas cum aqua, conferuefaciunt ad ignem, deinde, cum est temperatum, coiciunt <in> linteum, et inde manibus exprimentes recipiunt in mortarium aquam ex uiolis coloratam, et eo cretam infundentes et eam terentes effi-*

что это растение использовалось как краситель для тканей и дешёвый заменитель пурпура, а черника, как известно, хорошо для этого подходит.

Те, кто склонен видеть в *uaccinium* какой-то цветок, опираются прежде всего на авторитет античной комментаторской традиции. Так, Сервий рассматривает семантику этого слова трижды и ни разу не сомневается в том, что это цветок (а возможности такой интерпретации, как «черника», даже не упоминает):

alba ligvstra c.] et rustice et amatorie ex floribus facit comparisonem. ligustrum autem flos est candidus, sed uilissimus. 'uaccinia' uero sunt uiolae, quas purpurei coloris esse manifestum est. (Seru. ecl. 2, 18)

mollia luteola p. v. c.] 'mollia uaccinia pingit', id est componit, 'de caltha luteola'. nam nisi 'luteola' septimus sit casus, non stat uersus. 'mollia' autem tactus plumei scilicet. et hoc dicens ex colorum diuersitate quaerit ornatum. (Seru. ecl. 2, 50)

ferrugineos hyacinthos] ferruginei, id est nigri, coloris: ipse enim dixerat "sunt et uaccinia nigra"; qui enim Graece hyacinthus, Latine uaccinium dicitur. (Seru. geo. IV 183)

ciunt silis Attici colorem. (2) eadem ratione *uaccinium* temperantes et lacte miscentes purpuram faciunt elegantem. item qui non possunt chrysocolla propter caritatem uti, herba, quae luteum appellatur, caeruleum inficiunt, et utuntur uiridissimum colorem; haec autem infectiua appellatur. item propter inopiam coloris Indici cretam Selinusiam aut anulariam uitro, quod Graeci ἰσατὶν appellant, inficientes imitationem faciunt Indici coloris); Plin. n. h. XVI 77 ((76) aquas <o>d<e>re cupressi, iuglandes, castaneae, laburnum. Alpina et haec arbor, nec uulgo nota, dura ac candida materie, cuius florem cubitalem longitudine apes non adtingunt. odit et quae appellatur Iouis barba, in opere topiario tonsilis et in rotunditatem spissa, argenteo folio. (77) non nisi in aquosis proueniunt salices, alni, populi, siler, ligustra tesseris utilissima, item *uaccinia* Italiae in aucupiis sata, Galliae uero etiam purpurae tinguendae causa ad seruitiorum uestes. quaecumque communia sunt montibus planisque, maiora fiunt <et> aspectu pulchriora quae in campestribus, meliora autem fructu, materie crispiora qu<a>e in montibus, exceptis malis pirisque); Ou. trist. I 1, 5 (parue — nec inuideo — sine me, liber, ibis in Urbem, ei mihi, quo domino non licet ire tuo! uade, sed incultus, qualem decet exulis esse; infelix habitum temporis huius habe. nec te purpureo uelent *uaccinia* fuco — non est conueniens luctibus ille color — nec titulus minio, nec cedro charta notetur, candida nec nigra cornua fronte geras).

Следует отметить, что сторонники каждой из этих двух интерпретаций в большинстве своём образуют два непримиримых лагеря и, как правило, позволяют легко отнести их либо к одной, либо к другой группе. Ниже даётся сводка мнений лексикографов за последние полтора десятилетия, в ретроспективном порядке:

vaccinium -ii n. - mirtillo [= черника] - a) l'arbusto: Verg. ecl. 2.18; 10.39; Plin. nat. 16.77 - b) il frutto blu della pianta, il cui succo veniva usato anche come tinta: Vitr. 7.14.2; Ov. tr. 1.1.5 (Conte, Pianezzola, Ranucci, 2004);

vaccinium, ii, n. (cf. ὑάκινθος), *vaciet*, myrtillier [= черника] [arbuste]: Plin. 16,77 || myrtille, airelle [fruit du vaciet, servait à la teinture]: Virg. B. 2, 18 (Gaffiot, 2000);

uaccinium, i n....: *vaciet* (arbuste) et fruit du *vaciet* [= черника]. Attesté depuis Virgile (Ernout, Meillet, 1985);

uaccinium ~(i)i, n. [perh. a corruption of Gk. ὑάκινθος] **a** (in Virgil, app.) A dark-flowered plant corresponding to the γράπτα ὑάκινθος of Theocritus 10.28 (variously identified, perh. an orchid [= орхидея] or fritillary [= рябчик]). **b** a plant yielding a purple dye, prob. a whortleberry (*Vaccinium myrtillus* [= черника] or *V. uliginosum* [= голубика]) or its fruit.

a ...Verg. Ecl. 2. 18;...2. 50; 10.39.

b ...Vitr. 7.14.2;...Ov. Tr. 1.1.5;...Plin. Nat. 16.77 (OLD, fasc. VIII, 1982);

(Lieferung. 20. II. - 1953): *vaccinium*, -i n...."Hyazinthe" [= гиацинт] (seit Verg....) (Walde, 1938-1954);

vaccinium, ii (corruption de ὑάκινθος), n. Virg. Plin. Voy. HYACINTHUS

hyacinthus, i (ὑάκινθος), m. Virg. Plin. Hyacinthe des anciens (*vaciet*) [= черника] (Benoist, Goelzer, 1934);

vaccinium, ii, n. (verdorben aus ὑάκινθος) = hyacinthus no. I, Plin., Verg. u. a.; vgl. Voß Verg. georg. 4, 137. p. 781.

2. hyacinthus, i, m. u. (b. Plin.) f. (ὑάκινθος), I) eine Blume (vgl. 1. Hyacinthus), die Hyazinthe der Alten (nicht die unsere), entw. die violettblaue Schwertlilie (*Iris germanica*, L.) [= германский ирис] od. der Garten-Rittersporn (*Delphinium Ajacis*, L.) [= консолида, живокость аякова], rein lat. vaccinium, Plin. 21, 36 u. 66. Col. 9, 4, 4. Verg. ecl. 3, 63 u. georg. 4, 183. Vgl. (ausführl.) Voß Verg. georg. 4, 137. p. 779 sqq. (Georges, 1913-1918);

vaccinium, ii, n., the blueberry, whortleberry: *Vaccinium myrtillus*, Linn. [= черника]: Plin. Nat. 16, 18, 31, § 77; Verg. E. 2, 18; 2, 50; 10, 39; Ov. Tr. 1, 1, 5; Vit. 7, 14, 2 (Lewis, Short, 1879).

vaccinium, ii, n. die Rauschbeere, *vaccinium myrtillus* Linné [= черника], von den Alten als Färbemittel benutzt, Vit. 7, 14, 2. Virg. E. 2, 18. u. 50. Id. ib. 10, 39. Ov. trist. 1, 1, 5. Plin. 16, 18 (21). Id. 21, 26 (97). - K. (Klotz, 1862).

Таким образом, те, кто склонен видеть в *vaccinium* какой-то цветок (Георгес и вслед за ним Вальде-Гофманн), не обращают внимания на использование этого растения как красителя (или в самом деле полагают, что красящими свойствами обладают отождествляемые ими с *vaccinium* цветы: германский ирис, живокость аякова, гиацинт), не придают значения тому, что у Плиния (Plin. n. h. XVI 77) это растение перечислено среди кустарников и деревьев (!), а кроме того, оставляют без ответа вопрос о том, откуда взялись романские производные со значением «черника» (омоним?) — это семантическое несоответствие нагляднее всего заметно в этимологическом словаре Вальде-Гофманна; те же, кто идентифицирует *vaccinium* с черникой (а их гораздо больше: Клоц, Льюис-Шорт, Бенуа-Гёльцер, Эрну-Мейе-Андре, Гаффио-Флобер, Конте-Рануччи), игнорируют мнение Сервия (и, как будет видно ниже, античной комментаторской традиции в целом) о том, что это цветок. Эта тенденция доведена почти *ad absurdum* в словаре Бенуа-Гёльцера: взяв у Георгеса основную часть его лексикографического материала, восходящее к Сервию (Serv. geo. IV 183) и основанное на сравнении Верги-

лия с Феокритом (Theocr. id. 10, 28) отождествление *uaccinium* и *hyacinthus* и понятие о *hyacinthus antiquorum* («гиацинт древних» — т. е. гиацинт, но не в нашем, а в античном понимании), но изменив в духе времени сам перевод слова, Бенуа и Гёльцер получили курьёзное определение *hyacinthus* как "гиацинт древних, т. е. черника", хотя нет никаких данных о том, что латинским словом *hyacinthus* (-os) или греческим ὑάκινθος когда-либо называлась какая-либо ягода (и тем более черника, появившаяся в Греции, по-видимому, лишь в прошлом веке и только как садовое растение).

В науке последних лет, как явствует из приведённого выше, возобладала идентификация слова *uaccinium* во всех контекстах, в том числе и у Вергилия, с черникой. Эту точку зрения можно найти не только в словарях, но и в комментариях, где составитель должен обращать внимание на более широкий контекст и дать понимание не только одного слова, но всего периода. Так, кембриджский филолог Роберт Коулмен, автор одного из наиболее распространённых современных комментариев к «Буколикам», комментирует рассматриваемые контексты следующим образом (Coleman (1977), pp. 95; 102; 286):

"(2, 18) **uaccinia**: the Latin word seems cognate with Greek *huákinthos* and the present passage recalls Th. Id. 10.26-9... However, *uaccinium* and *hyacinthus* were apparently distinguished (Plin. Nat. 16. 77, 21.170). The former is probably the bilberry, *Vaccinium Myrtillus* [= черника], *nigra* referring not to the pink flowers but to the berries, which were a cheap source of purple dye." (p. 95)

"(2, 50) **pingit uaccinia**: 'picks out, sets off, the bilberries' (18 n.). *luteola* implies a colour contrast with the darker hue of the bilberry; *mollia* which introduces a tactile element into the imagery implies a contrast with the firm bunched petals of the marigold." (p. 102)

"(10, 39) **uaccinia**: 'bilberries': see 2.50 n. For the analogy in praise of a dark complexion cf. Th. Id. 10.26-9 (2.18 n.), Asclep. A. P. 5. 210.3-4..." (p. 286)

Обратим внимание на то, что Коулмен счёл нужным объяснить 50-ю строку 2-й эклоги и глагол *pingo* в ней следующим образом: "*pingit uaccinia*: "оттеняет чернику"...; *luteola* подразумевает цветовой контраст с тёмным цветом черники; слово *mollia*, вводящее в образ осязательную составляющую, подразумевает контраст с твёрдыми,

собранными в пучки лепестками ноготков." Несмотря на ту последовательность, с которой Коулмен готов видеть во всех случаях употребления *uassīnium* только чернику — и которая заставляет его даже представлять себе венок из цветов со включениями этих ягод и оправдывать филологически экстравагантность такого сочетания (к сожалению, при этом не задаваясь вопросом о том, насколько практично использование венка или гирлянды, состоящих из столь сильного красителя, что после любого прикосновения пятно от них — по крайней мере до изобретения новейших средств бытовой химии — *не отстирывается*), даже в его комментарии видна интерпретационная неувязка: он вполне справедливо ссылается на Феокрита (Theocr. 10, 28)⁶ как на образец для Verg. ecl. 2, 18 и указывает на то, что слову *uassīnium* соответствует греческое *ὑάκινθος*, но не пишет прямо о том, что греческое слово как ботанический термин, несмотря на всю свою многозначность, всегда обозначает цветок, а не ягоду, ограничиваясь указанием на то, что *uassīnium* и *hyacinthus*, по-видимому, различались (последний вывод верен, хотя аргумент, приводимый Коулменом, ложен, да и всё рассуждение путано: на самом деле у Плиния в XVI книге (Plin. n. h. XVI 77) упоминается только *uassīnium* (но не *hyacinthus*), а в XXI (Plin. XXI 170) — только *hyacinthus* (но не *uassīnium*), а таких мест, где бы он указывал на соотношение этих двух ботанических терминов друг с другом, не встречается, хотя, учитывая особенности плиниевского слога, только это и могло бы быть весомым аргументом).

Странным остаётся то, почему при упоминании красителя слово *pingit* нужно понимать не как «красит», а как «оттеняет», как и то,

⁶ Theocr. 10, 24-35:

Μοῖσαι Πιερίδες, συναείσατε τὰν ῥαδινὰν μοι
 παῖδ'· ὦν γάρ χ' ἄψησθε, θεαί, καλὰ πάντα ποεῖτε.
 Βομβύκα χαρίεσσα, Σύραν καλέοντί τυ πάντες,
 ἰσχινὰν, ἀλιόκαυστον, ἐγὼ δὲ μόνος μελίχλωρον.
 καὶ τὸ ἴον μέλαν ἐστί, καὶ ἅ γραπτὰ ὑάκινθος·
 ἀλλ' ἔμπας ἐν τοῖς στεφάνοις τὰ πρᾶτα λέγονται.
 ἅ αἶξ τὰν κύτισον, ὁ λύκος τὰν αἶγα διώκει,
 ἅ γέρανος τῶροτρον· ἐγὼ δ' ἐπὶ τὴν μεμάνημαι.
 αἶθε μοι ἥς ὅσσα Κροῖσόν ποκα φαντὶ πεπᾶσθαι·
 χρύσειοι ἀμφότεροί κ' ἀνεκείμεθα τᾷ Ἀφροδίτῃ,
 τῶς αὐλῶς μὲν ἔχοισα καὶ ἡ ῥόδον ἡ τύγε μᾶλλον,
 σχῆμα δ' ἐγὼ καὶ καινὰς ἐπ' ἀμφοτέροισιν ἀμύκλας.

почему «красит» не краситель, а цветы ноготков, мало подходящие к этой роли — но это ещё можно списать на прихотливость выражения.

Главное недоумение состоит в следующем: слово *ligustrum*, в отличие от *uassīnium*, никогда не вызывало разногласий при толковании.⁷ Это — бирючина (бирючина обыкновенная *Ligustrum vulgare* L.), кустарник, нередко используемый в наше время, например, в качестве живой изгороди. В римской литературе⁸ бирючина впервые упоминается в вынесенной в название настоящей статьи строке Вергилия, а затем многократно фигурирует как своего рода эталон белого цвета, нередко в контрастных противопоставлениях «белый — чёрный».⁹ Но дело в том, что белы у бирючины *цветы*, а не плоды, и если мы имеем дело с хорошим поэтом и при этом таким знатоком природы, как Вергилий, то хороший контраст (то есть поэтически красивое сравнение) даёт лишь такой случай, где имеется правильное основание для сравнения. При принятии же *uassīnium* как «черники» получается, что Вергилий сравнивает цвет цветов одного рас-

⁷ Исключение составляет Венделл Клаузен, почему-то считающий это отождествление не вполне доказанным (см. ниже его комм.); впрочем, он и отождествление *caltha* с ноготками считает не твёрдо установленным.

⁸ Бирючина, в отличие от черники, упоминается и в греческой литературе. Она известна под названием *σπειραία* (этот корень знаком нам как корень слова "аспирин"), однако упоминается только в учёных контекстах (Theophr. *hist. stirpium* I 14, 2; VI 1, 4) и не имеет поэтических коннотаций, развившихся у *ligustrum* (несомненно, под влиянием Вергилия) в римской поэзии.

⁹ *Ou. met.* XIII 789 ("candidior folio niuei Galatea ligustri, floridior pratis, longa procerior alno, splendidior uitro, tenero lasciuior haedo, leuior adsiduo detritis aequore conchis, solibus hibernis, aestiua gratior umbra, mobilior damma, platano conspectior alta, lucidior glacie, matura dulcior uua, mollior et cyncni plumis et lacte coacto, et, si non fugias, riguo formosior horto..."); *Mart.* I 115, 3 (quaedam me cupit – inuide, Procille! – loto candidior puella cyncno, argento, niue, lilio, ligustro); VIII 28, 11 (lilia tu uincis nec adhuc delapsa ligustra, et Tiburtino monte quod alget ebur; Spartanus tibi cedit olor Paphiaeque columbae, cedit Erythraeis eruta gemma uadis: sed licet haec primis niuibis sint aemula dona, non sunt Parthenio candidiora suo); попутно отметим *Colum.* X 1, 1, 300 nigro permixta ligustro – место, явно неверно воспроизведённое в стандартном издании В. Лундстрема (1902), где следует предпочесть чтение рукописи а (Laurentianus *plut.* 53, 32) nigra permixta ligustro / balsama cum casia, при котором прилагательное относится к casia.

тения с цветом плодов другого.¹⁰ Такая «ботаническая неразборчивость» вполне возможна у писателей меньшего масштаба, но для Вергилия нехарактерна.

Так всё-таки что такое *uaccīnium* — ягода или цветок? Правильное решение этой семасиологической проблемы содержится, как и в большинстве случаев, в «Оксфордском словаре латинского языка» Питера Глэра. В действительности это единственный словарь, не поддающийся отнесению ни к одной из двух выделенных групп и, таким образом, составляющий свою собственную группу. Глэр предлагает видеть в *uaccīnium* два растения: большинство контекстов относятся у него к значению «черника» (или «голубика», как осторожно допускает автор словаря), но у Вергилия это — цветок.

Преимущества такого решения многочисленны и разнообразны. Во-первых, в строке Verg. ecl. 2, 18 появляется разумное основание для сравнения: два цветка сравниваются по принципу цвета. Во-вторых, в строке Verg. ecl. 2, 50 не нужно придумывать странного венка (гирлянды?) с черникой. По поводу этой строки Глэр ограничивается (i. u. *uaccīnium* (a)) ремаркой: «в букете» (i. e. *in a bouquet*), но её вполне достаточно.¹¹ В-третьих, не нужно рвать со всей античной комментаторской традицией, видевшей в вергилиевском *uaccīnium* цветок.

В том, что слово *uaccīnium* вплоть до самого конца античности продолжали понимать как некий цветок, убеждает одно место из Кассиодора — самое последнее, насколько мне известно, свидетельство такого понимания:

uac syllaba, quotiens praeposita fuerit, V uocalem habet pro consonante, ut uacca [id est iumentum] uaccinium [scilicet flos]. nam Bacchus et Baccha et baccar per B scribenda sunt.

(Cassiod. orthogr. 5 (VII p. 172, 3 Keil))

¹⁰ При этом у бирючины есть плоды — ядовитые ягоды (откуда, видимо, русское название — от «бирюк» в смысле «волк», «волчья ягода») чёрно-синего цвета с пурпурной мякотью, а у черники, естественно, есть цветы — зеленовато-белые с розоватым оттенком.

¹¹ Под словом *pingo* Глэр относит рассматриваемое место к значению 3 <a>: "to decorate in colour (by other means than painting)" (украшать цветом, используя иные средства, чем живопись), т. е. предлагает понимать глагол примерно в том же значении, что и Коулмен ("оттенять"), но при ином контексте.

Генрих Кейль считает слова *scilicet flos* «то есть цветок» позднейшей интерполяцией, и возможно, это так, но если учесть, что время жизни самого сенатора Кассиодора, автора трактата «Об орфографии» (*De orthographia*), определяется как ок. 485 — ок. 580 (а время создания трактата — как «около 580 г.»), такая интерполяция не могла быть старше VI в. нашей эры. Не исключено, что автор этого разъяснения *scilicet flos*, кто бы он ни был, имел в виду вторую цель — помимо передачи орфографических сведений, напомнить учащимся, что в литературе это слово обозначает название цветка (а не ягоду чернику — значение, им, скорее всего, знакомое).

Помимо того, существует ещё один важный и авторитетный античный источник, сообщающий точные сведения о семантике слова *uassinium*, который пока что, по-видимому, не вводился в научный оборот. Речь идёт о вставках в некоторых рукописях Диоскорида: ὑάκινθος· οἱ δὲ Ἑλικωνιάς, οἱ δὲ πορφυρανθές, Ῥωμαῖοι βάκκουμ, οἱ δὲ οὐακκίνιουμ.

(Ps.-Diosc. de materia medica (recensiones e codd. Vindob. med. gr. 1.7 suppl. gr. 28; Laur. 73, 41. 7 73, 16. 7 Vind. 93) IV 62)

Педаний Диоскорид служил военным врачом при Клавдии и Нероне, а старейшая из рукописей, содержащих вставленные внутрь Диоскорида прибавления к его тексту (Псевдо-Диоскорида) — С (Constantinopolitanus Vindob. med. gr. 1 — датируется VI в.,¹² так что I в. н. э. является *terminus a quo*, а VI в. *terminus ad quem* для датировки приведённого текста, материал которого, между прочим, не учтён почти ни в одном из латинских словарей.¹³ Только из этого источника мы узнаём, что у названия цветка была ещё одна форма — *uassum* (которую составитель этих пока недостаточно изученных прибавлений считает даже более нормативной, чем *uassinium*).

¹² Такая датировка дана издателем Диоскорида Максом Вельманном (Wellmann, 1907, vol. I, p. V).

¹³ Попытку охватить материал Псевдо-Диоскорида совершил в своём словаре Александр Сутер (Souter, 1949), но сделал это весьма непоследовательно. В частности, ни *uassinium*, ни *uassum* (новое слово!) у него нет.

Итак, uaccīnium у Вергилия — цветок.¹⁴ Но какой? Филологи, часто цитирующие Сервия в том месте, где он отождествляет uaccīnium с hyacinthus (Serv. geo. IV 183), почему-то почти единодушно упускают из виду, что выше (Serv. ecl. 2, 18) он дал другую идентификацию и отождествил uaccīnium с uiola (точнее, с uiola purpurea, если пользоваться терминологией Плиния). Если учесть, что hyacinthus и uiola нигде не отождествляются, из этого, видимо, следует, что уже сам Сервий испытывал неуверенность при идентификации цветка.¹⁵ Следует отметить, что идентификация uaccīnium с uiola окажется совершенно исключённой, если внимательно прочесть вергилиевскую строку из 10-ой эклоги: et nigrae uiolae sunt et uaccinia nigra (ecl. 10, 39); точнее, она возможна, но лишь при условии, что Вергилий сам имел весьма смутное представление о тех растениях, которые упоминает, и был способен употребить два синонима так, как будто это названия двух различных растений — но это совершенно невозможное допущение.

Идентификацию uaccīnium с цветком принимает автор самого авторитетного современного комментария к «Буколикам», гарвардский филолог Венделл Клаузен. Его комментарий таков (Clausen (1994), pp. 69; 80-81; 303):

"(2,) 18. **alba ligustra cadunt, uaccinia nigra leguntur**: 'et rustice et amatorie ex floribus facit comparationem' (Serv.). Cf. 10. 38-9, Theocr. 10.28-9 (no matter that the charming Bombyca is sunburnt) καὶ τὸ ἰὸν μέλαν ἐστὶ, καὶ ἃ γραπτὰ ὑάκινθος·/ ἄλλ' ἔμπας ἐν τοῖς στεφάνοις τὰ προῖτα λέγονται, 'Dark is the violet and the lettered hyacinth, yet in garlands these are accounted first' (Gow). The structure of this line was noticed in antiquity: Diomedes, GLK 1.499.18 'aequidici (uersus) sunt qui

¹⁴ К тому же выводу пришёл — быть может, интуитивно — Сергей Васильевич Шервинский. В своём переводе (Шервинский, 1979, с. 41) он передаёт рассматриваемые строки следующим образом:

"Иль не довольно того, что гнев я Амарилиды
Либо презренье терпел, выносил и упреки Меналка? —
Хоть черномазый он был, а ты белолицый, Алексис!
Не доверяя чересчур, прекрасный юноша, цвету:
Мало ли белых цветов, но темных ищут фиалок."

¹⁵ Или — читая внимательнее и учитывая прибавление Graese и возможное различие в словоупотреблении между двумя классическими языками, мы получаем уравнение uaccīnium = uiola = ὑάκινθος.

singulis propositionibus antithetas apparant dictiones, ut ...albis enim nigra opposuit, ligustris autem uaccinia tribuit et cadentibus legenda assignauit'.

ligustra: of uncertain identity, perhaps privet (Howell on Mart. 1.115.3).

cadunt: fall unregarded, as autumn leaves fall, A. 6.309-10 'autumni frigore primo / lapsa cadunt folia'.

uaccinia: some ancient readers identified the uaccinium with the hyacinth [= гиацинт] (DServ. on G. 4.183). Whether V. did so is a question; see Ernout-Meillet, *Dict. étym.* s. v., A. W. Pickard-Cambridge, *JRS* 8 (1918), 204." (p. 69)

"(2,) 50. **mollia luteola pingit uaccinia calta:** a verse 'which they call golden, or two Substantives and two Adjectives, with a Verb betwixt to keep the peace' (Dryden, Preface to *Sylvae* (1685)). (...)

mollia: of other flowers also: hyacinthus, 6.53, G. 137; uiola, 5.38, A. 11.69. By implication, the texture of the calta should be coarse or uneven to the touch. (...)

pingit: she sets off the dark hyacinths [= гиацинт] (18 'uaccinia nigra') with yellow marigolds; 'ex colorum diuersitate quaerit ornatum' (Serv.). (p. 80)

calta: of uncertain identity; Pliny, *NH* 21.28, compares it with the violet and mentions its strong scent; cf. Ov. *Ex Pont.* 2.4.28 (*an adynaton*) 'caltae Paestanas uincet odore rosas' (Sargeaunt 24-5)." (p. 81)

"(10,) 39. **et nigrae uiolae sunt et uaccinia nigra** (...)

uaccinia nigra: 2.18, where however nigra is not predicative." (p. 303)

Тонкий филологический анализ и опора на традицию, в том числе античную (но и на "Оксфордский словарь" Глэра), привели Клаузена к пониманию уассиниум как цветка и избавили от всех несуразностей, которые был вынужден допустить в своём комментарии Коулмен, но в своей конкретной идентификации уассиниум с гиацинтом Клаузен не уверен.¹⁶

¹⁶ При этом комментарий Клаузена в силу своей авторитетности лёг в основу современных переводов, например, немецкого перевода М. Г. Альбрехта (von Albrecht (2001), 17; 19; 87) ((ecl. 2, 18) "Weißer Liguster fällt ab, dunkle Hyazinthen aber pflückt man gerne." (S. 17); (ecl. 2, 50) "Dazwischen webt sie Zeiland und andere liebliche Kräuter und schmückt zarte Hyazinthen mit gelbem Goldlack" (S. 19); (ecl. 10, 39) "auch Veilchen und Hyazinthen haben eine dunkle Farbe" (S. 87))

Глэр безо всякой уверенности ("perh(aps)") предлагает для *uassīnium* две идентификации: орхидея и рябчик.

Идентификация с орхидеей представляется маловероятной потому, что нам хорошо известно несколько несомненных названий орхидей (*orchis*, *serāpiās*, *satyrion*), но эти названия нигде не отождествляются с *uassīnium* (при том, что те же прибавления к Диоскороду указывают, например, для *σατύριον* латинский аналог *peruium satyricum* (Ps.-Diosc. III 126)).¹⁷

Поэтому из предложенных идентификаций наиболее вероятна идентификация с рябчиком. Идентификация с рябчиком (*Fritillaria*)¹⁸ была поддержана известным ботаником, доктором биологических наук Андреем Кирилловичем Сытиным (частная беседа 24 марта 2002 г.).

Представляется, однако, что в этом вопросе можно пойти дальше и уточнить идентификацию *uassīnium* до вида: это рябчик восточный *Fritillaria orientalis* Adam, 1805 (= *Fritillaria tenella* Bieb.). Из всех восьми видов рябчика, известных ныне на территории Италии (а к ним относятся, помимо *Fritillaria orientalis* Adam, также *Fritillaria imperialis* L., *F. involucrata* Guss., *Fritillaria orientalis* Adam, *F. meleagris* L., *F. messanensis* Rafin., *F. persica* L., *F. tubaeformis* G. et G.) лишь этот сочетает в себе оба известных нам признака: распространённость по всей территории Италии (включая вергилиевские места Северной Италии) и тёмный цвет цветка.

¹⁷ Не вдаваясь в подробности, хотелось бы отметить, что по той же причине представляется весьма маловероятной предлагаемая Георгесом идентификация *uassīnium* с консолидой (живокостью аяксовой *Consolida ajacis* (L.) Schur). Соответствующий пассаж Псевдо-Диоскорида звучит следующим образом:

[δελφίνιον· οἱ δὲ διάχυτος, οἱ δὲ διάχυσις, οἱ δὲ παράλυσις, οἱ δὲ κάμμαρος, οἱ δὲ ὑάκινθος, οἱ δὲ ὕφαμιον, οἱ δὲ ἄρας, οἱ δὲ δελφινιάς, οἱ δὲ Νήρειον, οἱ δὲ Νηρειάδιον, οἱ δὲ σώσανδρον, οἱ δὲ Κρόνιον, Ῥωμαῖοι βουκίνους μίνορ. κλῶνας ἀνίησι δισπιθαμιαίους ἢ καὶ μείζονας ἀπὸ μιᾶς ῥίζης, περὶ οὗς φυλλάρια ἐπεσχισμένα, λεπτὰ, ἐπιμήκη, δελφίνοειδῇ, ὅθεν καὶ ὠνόμασται. ἄνθος δὲ ὅμοιον λευκοῖω, ἐμπόρφυρον, σπέρμα ἐν λοβοῖς κέγχρω ἐμφερές (Ps.-Diosc. III 73 a).

Таким образом, латинское название живокости аяксовой — *bucinus minor*.

¹⁸ Латинское название *Fritillaria* возникло в новое время и дано, видимо, по форме цветка (от *fritillus* "стакан для игральных костей"); русское основано на том, что виды рода *Fritillaria*, распространённые в России (прежде всего рябчик русский *Fritillaria ruthenica* Wikstr.), действительно имеют весьма пёструю, "рябую" окраску.

Сокращения

Шервинский С. В. (1979) — Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. Перевод с латинского. [М.]

von Albrecht M. (2001) — P. Vergilius Maro. Bucolica. Hirtengedichte. Studienausgabe. Lateinisch/Deutsch. Übersetzung, Anmerkungen, interpretierender Kommentar und Nachwort von Michael von Albrecht. Stuttgart, (= [2008])

Clausen W. (1994) — A Commentary on Virgil. Eclogues. By Wendell Clausen. Oxf.

Coleman R. (1977) — Vergil. Eclogues. Edited by Robert Coleman. Cambr.; Lnd.; N. Y.; Melbourne.

Geymonat M. (1973) — P. Vergilii Maronis Opera. Post Remigium Sabbadini et Aloisium Castiglioni recensuit Marius Geymonat. Aug. Taurinorum; Mediolani; Genuae; Patauui; Bononiae; Florentiae; Aterni; Romae; Neapoli; Bari; Panormi, [1973] (= 1991) (Corpus scriptorum Latinorum Parauianum).

OLD — Oxford Latin Dictionary. Ed. by P. G. W. Glare. Fasc. I–VIII. Oxford, 1968–1982.

Wellmann M. (1907) — Pedanii Dioscuridis Anazarbei De materia medica. Edidit Max Wellmann. Vol. I. Berolini.

Литература

Benoist E., Goelzer H. (1934) Nouveau dictionnaire latin-français, rédigé d'après les meilleurs travaux de lexicographie latine, parus en France et à l'Étranger et particulièrement d'après les grands dictionnaires de Forcellini, de Georges, de Freund et de Klotz. Nouv. [= XI.] éd. entièrement refondue et revue par Henri Goelzer. Paris.

Conte G. B., Pianezzola E., Ranucci G. (2004) Dizionario della Lingua Latina. Ed. II. Firenze.

Ernout A., Meillet A. (1985) Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots. Retirage [4.] de la 4-me éd. augmentée d'additions et de corrections nouvelles par Jacques André. Paris, 1985 [= 1994].

Forcellini A. (1940). — Lexicon totius Latinitatis. Ed. F. Corradini, J. Perin. Vol. 1–6. Patavii (= ed. anastatica Bologna, 1965).

- Gaffiot F. (2000) *Le Grand Gaffiot — Dictionnaire Latin-Français*. Nouvelle [= II.] édition revue et augmentée sous la direction de Pierre Flobert. Paris.
- Georges K. E. (1913-1918) *Ausführliches Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch*, aus den Quellen zusammengetragen und mit besonderer Bezugnahme auf Synonymik und Antiquitäten unter Berücksichtigung der besten Hilfsmittel ausgearbeitet von Karl Ernst Georges. Bde. I–II. VIII. verb. und verm. Aufl. von Heinrich Georges. Hannover; Leipzig (= 10. Aufl. Basel; Stuttgart, 1959; Unveränd. Nachdr. d. 8., verb. u. verm. Aufl.: Darmstadt, 1992).
- Kirsten J. J. (P). (1764) *Diss. philol.-botan. in Virgilii vers(um): Alba ligustra cadunt, vaccinia nigra leguntur*.
- Klotz R. (1862) *Handwörterbuch der lateinischen Sprache*. Bde. I–II. Hgb. von Reinhold Klotz unter Mitwirkung von Dr Fr. Lübker und Dr E. E. Hudemann. III., vielfach verb. Aufl. Braunschweig (= III. verb. Aufl. 6. Abdruck. Braunschweig, 1879; Nachdruck Graz, 1963).
- Lewis C. T., Short C. (1879) *A Latin dictionary, founded on Andrew's edition of Freund's Latin dictionary*. Oxford (= 1998).
- Meyer-Lübke W. (1935) *Romanisches etymologisches Wörterbuch*. 3., vollständig neubearbeitete Aufl. Heidelberg.
- Souter A. (1949) *A Glossary of Later Latin to 600 A. D.* Oxford (= 1996).
- Walde A. (1938-1956) *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*. 3., neubearbeitete Aufl. von J. B. Hofmann. Bde.1-2 und Registerband (von Elsbeth Berger). Heidelberg.

Иллюстрации



Рис. 1. Бирючина обыкновенная *Ligustrum vulgare* L. — фото с сайта <http://www.sadovod.org/catalog/section.php?id=301> (снимок сделан в 2004 г.).



Рис. 2. Рябчик восточный *Fritillaria orientalis* Adam — фото с сайта http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.as?TOPIC_ID=26274 (снимки сделаны в апреле 2007 г. в Италии, в горах между Римом и Риети).

ИЗ ИСТОРИИ АНТИЧНОГО НАСЛЕДИЯ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ

«Философия поздней античности (III в. н. э.) использует древнейшие символы ранней греческой культуры. Такая реставрация старины – явление чрезвычайно примечательное для эпохи упадка классического греко-римского мира. Ученые и писатели, философы и поэты, объединяя все силы в борьбе с растущим христианством, пытаются возродить на склоне античности ту языческую старину, которая безвозвратно ушла и уже никогда не вернется. Однако если не могли вернуться к жизни давно исчезнувшие исторические реалии, то система образов, составляющих некогда основу поэтического мифомышления греков, никогда не умирала в греческой традиции»¹.

Перед нами – фрагмент заключительной части статьи Азы Алибековны Тахо-Годи, посвященной трактату неоплатоника Порфирия Тирского (232–304 г. н. э.) – философской экзегезе поэтической картины из XIII песни «Одиссеи». Мы начали наше изложение с этой цитаты не только отдавая дань искреннего и глубокого уважения многогранному творчеству Азы Алибековны, научные интересы которой объемлют всю палитру интеллектуальной жизни античного мира. В приведенном отрывке Аза Алибековна обращает внимание на важное явление в жизни античного общества – обращение его интеллектуальной элиты к древнему духовному наследию как опоре и поддержке в трудное время упадка культурной жизни античного социума на закате его истории – снижения значимости старых культов и идеалов, предвещающего длительный и полный драматических событий период формирования новых духовных ценностей.

Такие настроения в поздней античности были характерны для всего античного мира, который, несмотря на различие приоритетных языков (греческий и латинский) в его восточной и западной частях, объединяли общие духовные ценности, древность культурной традиции.

¹ Тахо-Годи А. А. Художественно-символический смысл трактата Порфирия «О пещере нимф» // Вопросы классической филологии – VI. М.: Издательство Московского университета, 1976. С.3-27. – С.26.

Наиболее драматичной оказалась ситуация в Западной Римской империи. После переноса столицы (и, следовательно, центра культурной жизни) в Константинополь (330 г.) и особенно после раздела Римского государства (395 г.) культурная жизнь в западном регионе претерпевает значительный спад. Ситуация усугубляется с нашествиями германских племен на западные земли, лишенные необходимого военного ресурса для защиты от угрозы извне. Позиция римлян по отношению к варварам была двойкой. В зависимости от обстоятельств и политических расчетов римские императоры подчас принимали их, селили на положении федератов, умеряя этим их агрессивность и пополняя таким способом нехватку военной и рабочей силы. Однако более характерная для римлян позиция – отношение к варварам как к диким народам, разрушителям Римской империи и греко-римской культуры².

Расселение германцев на территории бывшей Западной Римской империи (IV-VI вв.) повлекло за собой не только разрушение жизненных устоев и обычаев местного населения, но и изменения в разговорном латинском языке – следствие неизбежных контактов между римлянами и германцами, взаимопроникновения реалий повседневной жизни, требующих языкового обозначения, а также усвоения латинского языка германцами, как правило, в устной форме, что влекло за собой нередкое искажение фонетического облика заимствованных слов. Зарождавшиеся в устной речи языковые изменения с течением времени стали проникать в письменные тексты. К этому необходимо добавить усиление внутриязыковых процессов в связи с ослаблением сдерживающего влияния литературной нормы и школьной традиции (школы значительно уменьшились в числе по сравнению с прежними временами). Снижению уровня культурной жизни в Западной Римской империи способствовала и позиция ранней христианской Церкви, которая в начальный период своей истории активно противостояла античным духовным ценностям, видя в них препятствие распространению новой религии.

По мере относительной стабилизации политической обстановки и формирования на завоеванных германцами землях новых политических образований восстанавливались в той или иной степени раз-

² Ле Гофф Жак. Цивилизация средневекового Запада / Пер. с франц. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. С.16-20.

личные формы культурной жизни. Необходимость ведения деловой документации в условиях латиноязычного мира и заимствование у римлян многих элементов цивилизованного бытия обусловили привлечение германцами к административной и культурной деятельности образованных римлян, владеющих письменным нормативным латинским языком. Церковь также постепенно начала менять в лучшую сторону свое отношение к латинскому языку (но не к античному литературному наследию), оценив латынь как оптимальный инструмент притяжения местного населения к новой религии.

Еще в последние века существования Римского государства недовольство окружающей действительностью, изменениями в политической и общественной жизни, утрата прежних идеалов вели к тому, что к христианской идее обращалось все больше людей не только из низов общества – рабов и обездоленных, – но и из средних и высших слоев. Однако восприятие новых духовных ценностей ощущалось как диссонанс с усвоенными с детства представлениями, с вошедшей «в плоть и кровь» античной культурной традицией. Важными составляющими этой традиции были античное литературное наследие и нормативный литературный латинский язык (система школьного обучения пришла в упадок, но традиция классического гуманитарного образования не была одномоментно уничтожена, и юноши из обеспеченных семей имели возможность получать образование в сохранившихся школах или посредством индивидуальных занятий). Постепенное ослабление в новой историко-культурной и языковой ситуации прежней литературной традиции и языковой нормы не могло удовлетворять образованных римлян, воспитанных на лучших образцах греческой и римской литературы.

На протяжении всего Средневековья литературная жизнь в западном регионе не прерывалась, хотя темы и идейная направленность сочинений претерпевали изменение, отражая новую реальность.

Известные нам латиноязычные писатели этого времени: язычники и равнодушные (термин И. Н. Голенищева-Кутузова) – в IV веке поэты Авзоний, Клавдиан, Рутилий Намациан, баснописец Авиан, историографы Аврелий Виктор, Евтропий, Фест, Аммиан Марцеллин, в V веке Макробий, Марциан Капелла; среди христианских писателей – поэты Пруденций и Драконтий (IV в.), прозаики-апологеты христианства Тертуллиан (II-III вв.), Арнобий, Лактанций (III-IV вв.), Амвросий

Медиоланский, Иероним (IV в.), Аврелий Августин, Сульпиций Север, Павел Орозий, Сальвиан, Бенедикт из Нурсии (IV-V вв.), Боэций (Боэтий), Эннодий, Аратор, Присциан, Фульгенций, Кассиодор (V-VI вв.), Венанций Фортунат (VI в.), Павел Диакон (VIII в.)³.

Многие деятели ранней христианской Церкви были выходцами из языческих семей и получили классическое образование. Приняв христианство в достаточно зрелом возрасте, благодаря своей образованности они довольно быстро заняли ведущее положение в церковной среде – нередко по единодушному желанию прихожан, увидевших в них своих духовных руководителей. Такова, в частности, судьба знаменитого богослова Тертуллиана (II-III вв.), его последователя Киприана, епископа Карфагенского (III в.), величайшего из отцов древней Церкви христианского Запада Аврелия Августина, епископа Гиппонского (IV-V вв.) и ряда других.

Обращение к новым духовным ценностям предполагало расставание со старыми гуманитарными привязанностями, что давалось непросто. Показателен пример блаженного Иеронима (IV в.). Выдающийся филолог, знаток латинского, греческого и древнееврейского языков, осуществивший по поручению Церкви перевод Библии на латинский язык (Ветхий Завет – с древнееврейского текста), отдавший этому скрупулезнейшему труду около двадцати лет жизни аскета, Иероним предназначал свой перевод, по его словам, *ad usum vulgi* (откуда позднейшее название латинского текста – *Vulgata*), стараясь писать языком, доступным всем людям независимо от уровня их образованности. Но отойти от прочно вошедших в его языковую практику норм и оборотов речи классического латинского языка он был не в состоянии, хотя и сокрушался по поводу того, что язык его перевода получается *ciceronianus, non christianus* (Иероним был слишком строг к себе: текст Вульгаты, несмотря на очевидность владения переводчика классическим латинским синтаксисом, в языковых деталях выдает носителя поздней латыни, живущего на четыреста лет позже Цицерона).

Несмотря на обращение в христианство и служение новым духовным идеалам, Иероним не мог отказаться от любви к классической римской литературе. В одном из писем он признавался: «Когда

³ Подробно о творчестве этих писателей см.: И. Н. Голенищев-Кутузов. Средневековая латинская литература Италии. М.: Наука, 1972.

... я отсек от себя ради царствия небесного дом, родителей, сестру, близких, ... от библиотеки, которую я собрал себе в Риме ценою великих трудов и затрат, я никак не смог отказаться. И вот я, злосчастный, постился, чтобы читать Цицерона. После еженощных молитвенных бодрствований ... руки мои раскрывали Плавта!»⁴.

В «темные века» германских нашествий и борьбы ранней христианской Церкви с древними культами значительная часть античных рукописей литературных и научных сочинений была утрачена, другие сохранились в разрозненном виде или фрагментарно. Однако по мере того, как разговорный латинский язык видоизменялся в результате внутриязыковых процессов и под влиянием соседствующих германских диалектов, в литературной традиции все отчетливее проступала тенденция к сохранению классической нормы как наиболее полно удовлетворявшей требованиям выразительности и художественного вкуса пишущих. Важным шагом по пути реставрации классической языковой нормы и сохранения античного литературного наследия явилась реформа при дворе короля франков Карла Великого (годы правления 768-814), впоследствии получившая название «Каролингское возрождение». Главной задачей реформы было собирание, упорядочение и переписывание в специально созданных с этой целью скрипториях древних латинских и греческих рукописей. Большая часть сочинений античности сохранилась и дошла до нас лишь благодаря деятельности членов «дворцовой академии» Карла Великого, в состав которой входили ученые, приглашенные из разных концов западной Европы: англосакс Алкуин, получивший образование в Йоркской епископской школе, но *Vergilii magis quam psalmorum amator*, главный вдохновитель и автор задуманных Карлом Великим мероприятий; Павел Диакон из Лангобардии, историк и филолог, знаток латинского и греческого языков, автор сочинения "*Historia Langobardorum*"; вестгот из Испании Теодульф, теолог и поэт; франк Эйнхард, позже написавший биографию Карла Великого "*Vita Karoli*", и многие другие. Были организо-

⁴ История всемирной литературы. Т. 2. М.: 1984. С.443; Собуцкий М. От античности к средневековью: перепланировка культурно-языкового пространства // Философская и социологическая мысль (Институт философии АН Укр.РСР). Киев: Наукова думка, 1996, №3/4. С.205).

ваны школы при епископских резиденциях, главным образом для подготовки грамотного духовенства и чиновников⁵.

В последующие века во всех государствах западной Европы латынь продолжала удерживать позиции языка науки, администрации, официальной переписки, Церкви. Латинская письменная традиция обладала большими преимуществами по сравнению с делавшими первые шаги новыми европейскими языками благодаря развитому синтаксису и лексическому тезаурусу. Поэтому латинский язык использовался практически во всех сферах общественной и культурной жизни.

Сложилась и укреплялась новая система образования. Школы функционировали при монастырях и соборах. В XI веке появились муниципальные и частные школы. Латинскую грамматику в них изучали по учебнику Доната (IV век), читали сочинения Цицерона, Катона. В Италии возрождаются серьезные занятия медициной и правом и образуются крупные школы медицины в Салерно и права в Болонье.

В XII-XIII вв. возникают новые центры культуры и образования – университеты. В университетах расширяется круг изучаемых дисциплин, углубляется содержание традиционных *trivium* (грамматика, риторика, диалектика) и *quadrivium* (арифметика, геометрия, астрономия, музыка), появляются факультеты свободных искусств (*artes liberales*), права, медицины, теологии. Университеты создаются во многих городах западной Европы: старейшие, в XII в. – в Болонье, Париже, Оксфорде, Кембридже, Паленсии; в XIII в. – в Падуе, Неаполе, Саламанке, Лиссабоне, Коимбре, Монпелье; в начале XIV в. – в Лериде, Орлеане. Начиная с XIV века университетское движение охватывает все большее число городов не только в западноевропейских землях, на Иберийском полуострове, в Шотландии, но и в странах центральной, восточной и северной Европы⁶.

В XII веке возобновилось широкое чтение латинских авторов и их комментарии. Повсюду читали Вергилия, Овидия, цитировали

⁵ Таривердиева М. А. Истоки романских языков // Алисова Т. Б., Репина Т. А., Таривердиева М. А. Введение в романскую филологию. 3-е изд., испр. и доп. М.: Высшая школа, 2007. С. 108 и след.

⁶ Ле Гофф Жак. Цит. соч. С.516-517; Он же. Интеллектуалы в средние века / Пер. с франц. С-Пб.: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2003. С. 127 и след.

Марциала, Сенеку, Теренция. Риторику изучали по Цицерону. Читали Плиния Старшего, Фронтину, Авла Геллия, Макробия. Составлялись антологии. По сохранившимся экземплярам антологий можно видеть, что их содержание давало представление о римской литературе на всех этапах ее развития.

Стремительно растет спрос на книги. С конца XII века в городах организуется ремесленное производство рукописных книг.

Излишне уточнять, что вся эта многообразная культурная деятельность осуществлялась на латинском языке, которому на протяжении всего Средневековья в Европе не было конкурентов. Складывающиеся в западной ее части на базе местных говоров (соединение разговорной латыни и германских диалектов) новые романские языки еще не обладали развитой грамматической системой, их словарный запас не был приспособлен к выражению абстрактных понятий, у них еще не сложилась письменная норма и литературная традиция. Все это произойдет в последующие века под влиянием и воздействием литературного латинского языка. Но и тогда на протяжении многих столетий, до XVI-XVII вв., за латинским языком будут сохраняться функции языка юриспруденции, образования, литературы; до XVIII в. – международного языка науки; в западной Церкви повсеместно служба велась на латинском языке вплоть до конца XIX в. И поныне, когда научная и гуманитарная мысль получает словесное воплощение посредством новых языков, латинский язык, наряду с греческим, продолжает оставаться неисчерпаемым источником словообразовательных формантов и моделей при формировании международной терминологии во всех областях интеллектуальной деятельности.

Наш обзор судьбы античного литературного и языкового наследия можно заключить словами из статьи А. А. Тахо-Годи: «Определенный тип мысли, складываясь веками, прошел испытание временем». Добавим – и выдержал это испытание достойно, продемонстрировав значимость античной гуманитарной традиции, давшей мощный импульс дальнейшему развитию всех сторон культурной жизни, в том числе – формированию на основе латинского языка большой группы новых, романских языков, впоследствии ставших официальными в ряде государств Европы, а после XV века (эпоха географических открытий) – и Америки.

ПОЭТИКА СНОВИДЕНИЯ В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ: «ЭЛЕКТРА» СОФОКЛА

«По мере эволюции трагедии как жанра роль снов как художественного приёма снижается» – наблюдение, верное относительно функции сновидения как элемента сюжета¹, нуждается, на наш взгляд, в уточнении. Прежде всего, это касается поэтики сновидения, или, иначе, онейротопики². Например, можно ли с уверенностью утверждать, что для «Хоэфор» Эсхила мотив сновидения имеет большее значение, чем для «Электры» Софокла? И что отличия в изображении снов в этих трагедиях определены, главным образом, особенностями сюжета? Разумеется, с важностью мотива сновидения в трагедии Эсхила спорить трудно, но следует ли из этого, что в «Электре» Софокла эта роль менее значительна?

Данная точка зрения особенно ясно сформулирована В. Н. Ярхо: «Что касается зловещего сна Клитемнестры, который в «Хоэфорах» служил для Ореста еще одним благоприятным предзнаменованием, то в «Электре» он является *только средством* (выделено нами – Т. Т.) для того, чтобы посланная с возлияниями дочь Агамемнона обнаружила на могиле прядь волос и сделала вывод (который тут же будет отвергнут как несостоятельный) о возвращении Ореста»³.

Действительно, роль традиции для данного мотива переоценить трудно, так как и эсхилевская версия сновидения опирается, в свою очередь, на Стесихора, но только если у Стесихора Клитемнестре приснился змей с окровавленной головой, превращающийся затем в царя Агамемнона⁴, то у Эсхила змея становится порождением уже самой Клитемнестры. Кровь в её сновидении также сохраняется, но появляется лишь после того, как Клитемнестра покормит эту рождённую ею змейку грудным молоком, спеленав её прежде, как ребенка.

¹ Devereux G. Dreams in Greek Tragedy. Berkeley. Univ. of Calif. Press, 1976, p. 364.

² Теперик Т. Ф. Поэтика сновидений в античном эпосе. Автореферат на соискание ученой степени доктора филологических наук. М., 2008, с. 3-4.

³ Ярхо В. В. Античная драма. Технология мастерства. М., 1990, с. 31.

⁴ Зелинский Ф. Ф. Трагедия возмездия // Софокл. Драмы. Перевод с введением и ступительным очерком Ф. Ф.Зелинского. М., 1914, с. 288

Ничего хорошего в контактах сновидца со змеей, согласно Артемидору⁵, не содержится, а кровь в сновидении и вовсе представляет собой витальную угрозу, неудивительно, что этот сон в трагедии Эсхила интерпретируется, во-первых, как негативный, во-вторых, как посланный жертвой сновидца, (то есть- Агамемноном). Следствием такого толкования, собственно, и является появление на могиле Агамемнона Электры, в сопровождении хора, которую мать посылает с полагающимися по такому случаю поминальными дарами, с тем, чтобы отвлечь пагубное действие сновидения. Сообщается о нём уже в пародии хора, (завязке эсхилевского действия), далее Орест, узнав о содержании сна матери, интерпретирует его как знамение, идентифицируя со змеей себя (ἐκδράκοντ' ὡς θείῃς δ' ἐγὼ, 549.). Тот факт, что реципиент рассказа о сновидении воспринимает его как знак, устраняющий все колебания, безусловно, свидетельство сюжетной значимости данного мотива, который, кроме того, возникнет ещё и в заключительной сцене, сцене - убийства, когда этот сон будет интерпретировать уже и сама Клитемнестра (οἷ' ἔγωγε τέκοῦσα τὸνδ' ὅφιν ἐθρεψάμην – 927, Я родила змею). Все толкования эсхилевских героев, таким образом, так или иначе, связаны с событиями: Орест находит в нём соответствие полученному оракулу, Клитемнестра- событиям, связанным с мнимой смертью Ореста, появлению в доме мнимых вестников, и т.д.. Реплики о сновидении исходят, таким образом, от трех персонажей: сначала хора, (причем и как участника лирического действия, и – собственно драматического), потом Ореста, и, наконец, Клитемнестры. Такая последовательность не случайна, она определена не только событиями, но и смыслами сна, постепенно открывающимся его интерпретаторам, и то обстоятельство, что мотив сновидения возникает один раз в монологе, и дважды – в диалоге, еще одно доказательство драматургической значимости этого мотива.

Отличия в трагедии Софокла, на первый взгляд, не выглядят столь существенными, как будто бы подтверждая точку зрения, согласно которой сновидение в «Электре» не имеет того решающего значения для действия, как в «Хоэфорах» Эсхила.

Прежде всего, рассказчик о сновидении – уже не хор, а сестра Электры, Хрисофемиды, которая, в отличие от эсхилевского хора, не

⁵ Artemidori Daldiani Libri V, recogn. R. A. Pack. Lipsiae, 1963, p. 349

только сама не принимает участия в подготовке возмездия, но и всячески стремится убедить главную героиню в его невозможности. Содержание сна также опирается на стесихоровскую версию, но не в первой, как у Эсхила, а во второй его части: Клитемнестре снится не змей, а сам Агамемнон, ударяющий скипетром в очаг, отчего побеги растительности распространяются по всей микенской земле:

417 λόγος τις αὐτήν ἐστὶν εἰσιδεῖν πατρὸς
τοῦ σοῦ τε κἄμοῦ δευτέραν ὁμίλιαν
ἐλθόντος ἐς φῶς· εἶτα τόνδ' ἐφέστιον
πῆξαι λαβόντα σκῆπτρον οὐφόρει ποτὲ
αὐτός, τανῦν δ' Αἴγισθος· ἐκ δὲ τοῦδ' ἄνω
βλαστεῖν βρύοντα θαλλόν, ᾧ κατάσκιον
πᾶσαν γενέσθαι τὴν Μυκηναίων χθόνα.

Неудивительно, что и этот сон воспринимается сначала как тревожный, хотя с дарами на могилу посылают уже не Электру, отношение к которой матери и Эгисфа у Софокла гораздо хуже, а её более послушную и склонную к компромиссам сестру – Хрисофемиду. Собственно, сама эта инновация (появление сестры) – следствие изменившегося положения софокловской героини в сравнении с трагедией Эсхила: она находится в большей немилости и испытывает большие притеснения. Что касается хора, то не предлагая конкретной интерпретации, он откликается на содержание этого сна лишь в самом общем виде (τόδε φάσμα νυκτὸς εὔ κατασχίσει, 503–502), что, впрочем, можно объяснить меньшей ролью софокловского хора в развитии драматического действия в целом⁶.

Однако является столь же очевидной и уменьшающаяся роль сновидения в трагедии Софокла? Сновидения не только как элемента сюжета, но и как художественного средства, как приёма, в который вложен определённый смысл? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, очевидно, необходимо проанализировать не только содержание самого сна, но и все детали, связанные с его изображением, отклики персонажей, место в развитии действия, и т. д.

Например, как связано содержание сновидения с тем, что необходимой поддержки Электра ни от кого, вплоть до прихода Ореста, который появится, однако не в начале, как у Эсхила, а практически в

⁶ George, Lisa Rengo. The conjecture of a sleeping mind: dreams and the power of Clytemnestra in the «Oresteia». Eranos, 2001, 99 (2), p. 75-86

самом конце действия, не получает? По существу, у Софокла мотив сновидения ограничивается только серединой трагедии, в отличие от Эсхила, в трагедии которого он проникает и в начало, и в середину, и в самый конец действия. Но является ли этот факт сам по себе доказательством меньшей значимости данного мотива, хотя и доводы в пользу мнения об уменьшающейся роли сновидения могут быть продолжены: 1) так, содержание сна в «Электре» не является предметом таких однозначных интерпретаций, как в «Хоэфорах» 2) сам онейротоп в «Хоэфорах» более распространён по тексту трагедии, 3) и, наконец, у Софокла о нём совершенно ничего не говорит герой, осуществляющий возмездие, то есть Орест.

Хотя аллюзиям со сновидением Астиага у Геродота, где вся Азия покрывается виноградной лозой, выросшей из лона дочери Астиага Манданы (ὁ Ἀστυάγης τῷ πρώτῳ ἔτεϊ εἶδε ἄλλην ὄψιν, ἐδόκεε δέ οἱ ἐκ τῶν αἰδοίων τῆς θυγατρὸς ταύτης φῦναι ἄμπελον, τὴν δὲ ἄμπελον ἐπισχεῖν τὴν Ἀσίην πᾶσαν)⁷, в научной литературе уделено достаточно внимания⁸, уточняя содержание и смысл сна в «Электре» Софокла, они не столь действенны в отношении *его поэтики*, и, главным образом, в вопросе о том, является ли это поэтика обусловленной задачами драматургического свойства, или – всего лишь данью предшествующей традиции, от которой Софокл, как мы знаем, в тех случаях, когда считал необходимым, мог и отступить.

Например, в сравнении с предшествующими версиями он наделяет сновидение менее опасным, (так как непосредственной угрозы для жизни сновидца в нём нет), содержанием. Как нет этой угрозы, кстати, и в сновидении у Геродота, где снотолкователи интерпретировали этот сон в том смысле, что сын Манданы будет царствовать вместо её отца (ἐκ γάρ οἱ τῆς ὄψιος οἱ τῶν Μάγων ὀνειροπόλοι ἐσήμαινον ὅτι μέλλοι ὁ τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ γόνος βασιλεύσειν ἀντὶ ἐκείνου).

То есть это, в обоих случаях, прежде всего, сон *о власти* ⁹, и у Софокла эта тема усиливается еще и *скипетром*; сновидение, таким образом, говорит об угрозе дому, возможно, Эгисфу, (так как очаг,

⁷ Her. I, 108.

⁸ Bowman, Laurel. Klytaimnestra's dream : prophecy in Sophokles' Elektra. Phoenix, 1997, 51 (2), p. 131.

⁹ Ibidem, p. 149

по Артемидору, может символизировать еще и супруга)¹⁰, но всё это еще не есть *витальная* угроза, как это имело место в сновидении Клитемнестры у Стесихора или Эсхила, потому что образы сна в «Электре» связаны не столько с витальной угрозой, сколько, наоборот, с жизненными силами, ростом, движением. Таким образом содержание сна здесь не просто отклоняется от предшествующих вариантов, но в определенном смысле с ними и полемизирует.

И хотя вопрос о происхождении снов в трагедии, в отличие от эпических снов, которые могут быть показаны уже непосредственно в сам момент возникновения, далеко не столь однозначен¹¹, независимо от субъективного или объективного происхождения снов, то есть независимо от того, признавать ли за сновидением божественное происхождение, или же считать его порождением страхов самой Клитемнестры, смысл его состоит в предсказании власти потомков того, кто совершает действия со скипетром, вонзая его в очаг.

Однако в «Электре», кроме расхождений с эсхиловской версией сна, существует и очевидное сходство с ней. Например, сам мотив звучит, как и в «Хоэфорах», трижды: 1) Сначала в диалоге сестер 2) Затем в стасиме хора 3) И, наконец, в молитве Клитемнестры, обращенной к Аполлону. Финальная часть онейротопа в обеих трагедиях, таким образом, совпадает, в том смысле, что и у Софокла также представлен *отклик сновидца* на своё сновидение, тем более важный, что если эсхилевская Клитемнестра комментирует свой сон **после** роковой встречи с Орестом, то софокловская – **до** неё. Правда, в противоположность Эсхилу, происходит это не в диалоге, а в монологе¹², отчего драматический эффект, казалось бы, также должен снижаться. Тем не менее, этого не происходит, в том числе, и потому, что на уровне смысловой организации текста ситуация иная: во-первых, сам онейротоп в «Электре» по совокупности строк значительнее, чем в «Хоэфорах», во-вторых, высказываются по пово-

¹⁰ Artemidori Daldiani op. cit., p. 266

¹¹ Тем самым божественное участие для возникновения сна в эпосе может быть не гипотетичным, а доказуемым и очевидным, как это, например, имело место в случае со сном сна Агамемнона в «Илиаде» или снов Пенелопы и Навсикаи в «Одиссее»

¹² Так как непосредственно сами слова Клитемнестры о сновидении включены в ее монолог, хотя вся сцена представляет собой агон матери и дочери, которая, однако, не является адресатом слов матери.

ду сновидения большее количество персонажей (сначала Хрисофемиды, затем Электра, потом хор и, наконец Клитемнестра). А в третьих, ритуальных действий сновидца в связи с его сновидением также оказывается больше: Клитемнестра, не ограничиваясь посылкой даров на могилу и утренней молитвой Гелиосу, обращается с молитвой к Аполлону, хотя слова её и не содержат такой *явной* интерпретации, как у Эсхила. Она всего лишь просит бога не исполнять этот сон в неблагоприятном для неё варианте, обратив его против ее врагов, и исполнить – в благоприятном. В этом заключается и одно из главных отличий от Геродота, где благоприятного сценария для сна Астиага никто не предполагал.

Однако если в словах Клитемнестры явного толкования нет, это не означает, что в них нет *скрытой интерпретации*, поскольку, как это следует из её собственных слов, присутствие дочери не позволяет ей высказаться в полной мере, то есть так, как ей того хотелось бы. Важно и то, что сама она характеризует свой сон иначе, чем другие персонажи. Если Хрисофемиды воспринимает его как страшный (δείματός του νυκτέρου, 410) Электра – как ужасный (δυσπρόσοπτ' ὀνειράτα, 460) хор – как удивительный (δεινοῖς ὀνειροῖς, 500) то Клитемнестра – как «двойкий, двойной» (δισσῶν ὀνειρώων, 645)¹³. Что означает эта амбивалентность, следует из её собственных слов, смысл которых состоит в том, что царствовать могут не только дети Агамемнона, но и дети Эгисфа (653–656).

Но для Электры, в трагедии Софокла находящейся практически в полной изоляции, единственный благоприятный момент заключается именно в сновидении матери, посланном, как она считает, самим Агамемноном, и дающем, следовательно, некоторую надежду *его* детям. Клитемнестра же, как это следует из ее молитвы, в свою очередь, надеется на надежду *другим* её детям, следовательно, в отличие от «Хоэфор», налицо конфликт в понимании сна главными персонажами, отчего его драматический эффект вряд ли должен снижаться. Понимая, что этот сон *может* быть для неё сигналом опасности (хотя бы потому, что в нём появляется убитый супруг, не говоря уже о манипуляциях со скипетром, соприкасающимся с очагом), Клитемнестра, тем не менее, хочет видеть в нём и позитивный смысл: «потомки того, кто владеет скипетром, и не в сновидении, а

¹³ Синтаксис падежей в данном случае отражает грамматику оригинала.

НА МОМЕНТ сновидения, будут владеть Микенами». Агамемнон ведь не появляется со своим скипетром, он только *берет* скипетр, который в настоящий момент находится у Эгисфа, о чем в тексте трагедии упоминается далеко не случайно. Следовательно, можно понять и иначе, а именно, в пользу детей Эгисфа, о которых вспоминает и сама Электра, упрекая мать в том, что, в отличие от законных детей, лишь они одни составляют предмет её забот (588-590).

Сон, таким образом, отвечает на вопрос, смогут ли эти дети, от Эгисфа, кроме любви матери, унаследовать и её власть, и согласно второму, позитивному для Клитемнестры пониманию смысла сна, это неожиданно оказывается вполне возможным. Но есть ли возможность для понимания данного сна подобным образом? По нашему мнению, таких возможностей несколько и состоят они в следующем:

1) Этот смысл *изначально был заложен* в сновидении, просто никто, ни хор, ни Электра, ни Хрисофемиды, его не заметили, не поняли. Иными словами, все они увидели только то, что хотели увидеть.

2) Для данного сновидения релевантен лишь один смысл – в пользу потомков Агамемнона, и Клитемнестра, фальсифицируя смысл сна, наделяет его выгодным для себя значением, видя в нём, что хочет видеть.

Таким образом, в обоих случаях те, кто толкуют сон, игнорируют его подлинный смысл, приписывая ему благоприятное для себя значение. Различается, таким образом, лишь личность интерпретаторов, но не их позиции. Правда, в первом случае о возможности альтернативного понимания смысла сна ничего не сказано, а во втором – Клитемнестра понимает и негативный для себя смысл сна, это детали, конечно, существенные, но для облика интерпретаторов, а не для их толкований.

3) Третья возможность, которая находится в области *casus irrealis*. Согласно ей и второй смысл *был бы* возможен, *если бы и второй владелец скипетра, то есть Эгисф, обладал бы им по праву*. Поскольку если некто осуществляет какие-то действия с предметом, принадлежащим когда-то другому владельцу, а на момент сновидения владеет им на законном основании, то все благоприятные события, происходящие от этого, вполне *могут трактоваться* в пользу этого, последнего владельца. Сами же события, когда от скипетра идут рас-

тущие побеги, заполняющие собой Микены, вполне благоприятны. Вопрос только в том, для кого.

В этом и заключается главный пункт расхождений в понимании данного сновидения, так как в случае легитимного владения Эгисфа скипетром Агамемнона благоприятный для Клитемнестры смысл данного сна был бы вполне возможен. Однако независимо от того, является ли Эгисф законным супругом Клитемнестры, или нет, в контексте известных событий в доме Атридов, а именно в контексте захвата власти, коварно отнятой путем преступления, путём убийства, это как раз совершенно невозможно. В чём и заключается агон Клитемнестры и Электры: мать признаёт своё право на убийство, дочь её такого права лишает. Вот почему и сам сон, о содержании которого мать и дочь друг с другом, кстати, совершенно не говорят, понимается ими совершенно по-разному: Клитемнестра, доказывая правомерность убийства Агамемнона как акта законного и необходимого возмездия, полагает, что законные наследники - они с Эгисфом. Следовательно, и их дети тоже. Поэтому она и стремится получить помощь божества, чтобы оно привело в действие исполнение сновидения в той трактовке, которая позволила бы ей сохранить всю полноту власти.

Для эсхиловской Клитемнестры такого вопроса не было, потому что вместе с возмездием она теряла и жизнь и власть. Но в эсхиловской версии событий у Клитемнестры, кроме детей от Агамемнона, других детей не было, а в софокловской - они есть, поэтому вопрос, беспокоящий *его* Клитемнестру в связи с её сном, состоит не в том, кем будет отомщено убийство Агамемнона, а в том, будут ли они, эти её дети, от Эгисфа, обеспечены царской властью. Именно существованием этих детей объясняется и неприкрытая ненависть Клитемнестры к Электре, и отсутствие необходимых слов для выражения скорби при известии о гибели Ореста в Дельфах. Как не страшилась эсхиловская Клитемнестра прихода Ореста, другого сына у неё не было, поэтому его мнимая смерть вызывает у неё смешанные чувства, и радость побеждает не только в силу кровожадности её натуры, но и потому, что гибель Ореста спасает ее от грядущего возмездия. Не случайно в софокловской версии мифа уже не Клитемнестра, а сама Электра спасает Ореста, передавая его Строфию на воспитание. Зачем об этом сообщается в трагедии, как не для того, чтобы

показать, что уже тогда сын Агамемнона предметом забот матери не был? И так как для Клитемнестры Софокла гибель Ореста означает не только дальнейшую безнаказанность преступления, но ещё и безнаказанную власть, причём не только её, но и *их* с Эгисфом детей, при всем присущем ей лицемерии она не может скрыть радости от известия о гибели сына. Поэтому сокровенный смысл её молитвы, хотя она всячески стремится его от Электры утаить, понять можно только в контексте того, о чем она хочет умолчать (σιωπώσης ἔμοῦ, 657), надеясь на то, что божество, в отличие от дочери, её поймёт: если смерть Ореста может сохранить власть для её детей, значит, надо, чтобы его не стало. Драматизм ситуации усиливается еще и тем, что Электра о содержании сна Клитемнестры знает, но та не знает, что она об этом знает, что вряд ли является доказательством меньшей художественной роли сновидения, хотя о самом сне в том споре, где аргументация сторон сталкивается с наибольшей силой, не сказано ни слова. При наличии уже двух ритуальных действий (посылка даров и утренняя молитва Гелиосу), молитва Клитемнестры выглядела бы избыточной, если бы значение сна как драматургического приёма действительно уменьшалось в трагедии Софокла. Но, как мы стремились показать, художественная роль сновидения в «Электре» как раз не уменьшается, она качественно изменяется, в связи с иными художественными задачами, связанными как с иным развитием сюжета, так и с образами, отличными от эсхилевских. Где ни количество ритуальных действий в связи со сновидением¹⁴, ни апелляция к божеству, ни демонстрируемая уверенность в собственной правоте не могут обеспечить Клитемнестре победы, потому что, по Софоклу, всё это никак не может помочь тому, на чьей стороне нет правды. И не потому, что так определено традицией изложения данного сюжета, она определяет лишь ход событий, но не природу конфликта. А, как и в других случаях у Софокла, это конфликт между истинным и ложным, тем более опасный, когда это касается правителя, считающего, что благодаря обладанию полнотой власти лишь он способен определить, что на самом деле является истинным, а что - нет. Конечно, побег, возникший от удара скипетра, который нанес Агамемнон, в первую очередь указывают на потомков

¹⁴ От участия в которых, кстати, Электра, вопреки тому, как это имело место в трагедии Эсхила, отсечена.

Агамемнона. Но ведь это могут быть и дети Эгисфа, если в реальной действительности этим скипетром владеет уже не Агамемнон, а Эгисф? А раз так, то с божеством стоит попробовать договориться. Что, собственно, Клитемнестра и делает на глазах у дочери.

И если само наличие мотива сновидения, который полностью исчезает в трагедии Еврипида¹⁵, определено традицией, то его качество – персонажами с иной структурой личности, с иным взглядом на события, и двойственный, двуличный характер героини Софокла акцентируется еще и тем, как она понимает свой сон. Эсхилевская Клитемнестра просила секиру, чтобы отражать удары мстителей, но смерти для сына у бога она всё же не просила. Это, хотя и в завуалированной форме, делает Клитемнестра Софокла, потому что только так может осуществиться благоприятное для других её детей исполнение сновидения, и если её сон сулит власть сыну Агамемнона, надо, чтобы этого сына не было. Поэтому, хотя в самом сновидении нет угрозы для жизни сновидца, появляется угроза жизни для того, в ком сновидец видит угрозу для себя. Как это, кстати, имело место и в случае с Астиагом, который, узнав о толковании сна, немедленно отдал приказ умертвить собственного внука. А поскольку Клитемнестре отдать такой приказ некому, ей остаётся только просить об этом бога. Молиться в присутствии дочери о том, чтобы бог послал смерть сыну вот где обоснование жестоких слов «безжалостной» Электры, обращенных к Оресту, наносящему за сценой удары матери: «Коль ты силен, еще раз». Если эсхилевского Ореста окончательно убедил в необходимости возмездия сон Клитемнестры, то софокловскую Электру – такая интерпретация этого сна матерью, которая обрекала на смерть ее брата, потому что живой Орест, конечно, пытался бы вернуть скипетр Агамемнона. Что он, кстати, в итоге и делает. Иначе для чего Клитемнестре молиться о его смерти в присутствии дочери? И для чего Электре знать, о чем та молится? Обратим внимание - понимает она это только лишь потому, что знает о содержании сна матери, что опять-таки трудно считать доказательством меньшей значимости мотива сновидения для трагедии Софокла.

Где сон не меньше связан с сюжетом и конфликтом, он вовсе не менее «драматичен», просто конфликт, в сравнении с Эсхилом,

¹⁵ Valakas K. Dreams and tragedy : the problem of predictions in Euripides' Iphigenia in Tauris. Ariadne, 1993, 6, p. 109-139.

иной, поскольку за время, отделяющее эти две трагедии, проблема легитимности власти, полученной путем преступления, стала иметь большее значение для более поздней из двух трагедий. А в чем-то и более страшной, потому что если у Эсхила сын по велению Аполлона карает мать, то у Софокла мать в молитве тому же Аполлону обрекает на смерть своего сына. Во всяком случае, роль мотива сновидения в «Электре» Софокла при таком кардинальном изменении его содержания, смысла, функции, и характера толкований свидетельствуют, на наш взгляд, именно об этом.

Фактически, задолго до Артемидора, и до авторов других толкований снов, в трагедии Софокла содержится понимание того, что для верной интерпретации смысла сна *знания только его содержания недостаточно*. Для истинного его понимания необходим *контекст*, знание всей жизненной ситуации, поскольку при всем сходстве сюжета та, что изображена в «Электре», отличается от той, что имела место в «Хоэфорах». Поэтому так отличаются и сны Клитемнестры, их содержание и их функция, а также их интерпретации персонажами, то есть всё то, что и составляет *поэтику сновидения*. И даже если бы в тексте трагедий сами сны не сохранились, на основании всего остального, что в связи с этими снами сказано, можно было бы в общих чертах восстановить их смысл, так как в одной трагедии героиню больше тревожит угроза для её жизни, в другой – для её власти. Поэтому во второй из этих двух трагедий драматизма в связи с изображением снов если и не больше, то, как мы стремились показать, во всяком случае, и не меньше.

ТРЕТЬЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГИМНАЗИЯ

Третья петербургская гимназия имеет долгую и примечательную историю, в 2013 году она могла бы отметить 190-летний юбилей¹. На протяжении нескольких десятилетий она считалась образцовым классическим столичным учебным заведением, а потому небезынтересно проследить, как в ее судьбе отразились судьбы классического образования и в целом – античного наследия в России.

Эта гимназия ведет свое происхождение непосредственно от Академической гимназии, основанной в Петербурге в 1726 г. В 1758–1765 гг. ею руководил М. В. Ломоносов, он сам написал для нее устав – «Регламент». Число учеников было невелико: в 1726 – 112, в 1759 – 40, в 1779 – 29, в 1802 – 87.

С наступлением Александровской эпохи ситуация стала меняться. В соответствии с новым уставом 1804 г., в 1805 г. Академическая гимназия была закрыта, её 55 учеников составили первый набор вновь учрежденной 4-летней Петербургской губернской гимназии. Программа была энциклопедической, изучались философия, эстетика, экономика; латынь входила в число обязательных предметов. Помещалась гимназия на Большой Мещанской улице (ныне улица Плеханова, 27/12).

В 1811 г. по проекту попечителя петербургского учебного округа С. С. Уварова, будущего министра народного просвещения, гимназия была преобразована в классическую, первую в России (срок обу-

¹ Важнейшие источники сведений о 3-й гимназии: Белявский А. В. Краткое обозрение истории гимназий в России. СПб., 1908; Алешинцев И. А. История гимназического образования в России (XVIII и XIX век). СПб., 1912; Аничков Н. М. Историческая записка пятидесятилетия третьей Санктпетербургской гимназии. СПб., 1873; Лапшин В. И. Из воспоминаний о 3-й Санкт-Петербургской гимназии // ЖМНП. 1873. Ч. 169. № 10. С. 92–97; Стоюнин В. Я. Воспоминания о третьей петербургской гимназии // Русская школа. 1890. Т. 2. № 7. С. 60–69; Лавров С. В. Памятка бывшим ученикам Санкт-Петербургской 3-й гимназии. СПб., 1911; ...За сто лет. Петербургская б<ывшая> третья гимназия, ныне 13-я Советская трудовая школа: Воспоминания, статьи и материалы. Пг., 1923; Третья Санкт-Петербургская мужская гимназия и ее выпускники 1823–1918 гг.: Историко-биографический справочник / Сост. Б. В. Федоров. СПб.: «ВИРД», 2011.

чения 7, с 1818 г. – 8 лет). В учебный план был введен греческий язык, закон Божий, русский язык. При этом были исключены: философия, политическая экономия, коммерческие науки, эстетика, сокращён курс естественных наук. В 1818–22 гг. гимназия могла выпускать лучших воспитанников с аттестатом, приравненным к университетскому, и, таким образом, приближалась по уровню к высшему учебному заведению.

В 1822 гимназия разделилась на Высшее училище (создано из гимназического пансиона с целью подготовки чиновников для гражданской службы), которое осталось в здании на Большой Мещанской, и обычную гимназию с педагогическим уклоном (с ней был слит Учительский институт). Ее перевели в 1823 г. в здание бывшего Пантелеймоновского училища (Гагаринская улица, позже – улица Фурманова, ныне – снова Гагаринская, 23).

Именно с 26 января 1823 г. официально начинается отсчет существования интересующей нас гимназии, об этом свидетельствует и надпись «1823», украшающая фронтон здания. К 1829 г. здесь училось уже 312 человек. Номер «три» она получила еще позже, в 1832 г., когда петербургским гимназиям решили присвоить номера: 1-й гимназией стал созданный в 1817 г. Благородный пансион при Главном педагогическом институте (с 1819 г. – при университете); 2-й – Высшее училище; 3-й – собственно губернская гимназия.

В 1828 г. был принят новый школьный устав, по которому все гимназии стали сословными (преимущественно для детей дворян), классическими (то есть гуманитарными, с изучением древнегреческого и латинского языков). Были официально введены телесные наказания. Став министром народного просвещения, С. С. Уваров (1834–1849 гг.) продолжил реформу гимназий и резко усилил «классическую» сторону образования. В 3-й гимназии главными предметами стали латинский и греческий языки. С первого по пятый класс было 4 урока латыни в неделю, в 6 и 7 классе – 3. Каждый урок длился 90 минут².

Учились по грамматике Василия Лебедева. Читали Федра и Корнелия Непота, затем приступали к Саллюстию, Цицерону, читали

² Белявский А. В. Краткое обозрение истории гимназий в России. С. 10; Аничков Н. М. Историческая записка пятидесятилетия третьей Санктпетербургской гимназии. С. 97; Алешинцев И. А. История гимназического образования в России (XVIII и XIX век). С. 117, 124–125.

отрывки из Энеиды Вергилия. В последнем классе – Вергилий, Тит Ливий, Тацит, Цицерон, Гораций. Латинский язык давали даже в большем объеме, чем после реформы 1871 года, были курсы «Римские древности» и «Краткий обзор римской литературы»³.

Греческий начинался с 4 класса, по 5 уроков в неделю. Занимались по новейшему выпуску грамматики Ф. Якобса (Йена, 1823), читали «Киропедию» Ксенофонта и «Одиссею» Гомера. (Для сравнения – в 7 классе был один урок в неделю закона Божьего и 2 – русской словесности и логики.)

По воспоминаниям гимназистов этого времени, в грамматические тонкости учителя не вникали, но сурово заставляли учить лексику. Сам Уваров прекрасно знал и любил древнюю литературу и главной задачей курсов по латыни и греческому было чтение текстов. В старших классах практиковалось также так называемое «курсорное» чтение авторов, без объяснения грамматики. Характерно, что в эту эпоху у гимназистов не было отношения к античности как к чему-то официозному, мертвому, казенному. Либерально мыслящий юноша находил в античности многое, близкое для себя, особенно у писателей республиканского Рима. Гимназическое начальство интересовалось новаторскими педагогическими методами, применялась Ланкастерская система, внедрялись идеи Песталоцци, 4 преподавателя были специально командированы в Англию для их изучения.

Особенным уважением пользовался у гимназистов латинист Яков Сафонович Ильенков, автор программы обучения 1837 года. Все изучение грамматики было подчинено задаче – как можно быстрее перейти к комментированному чтению римских авторов, к которым он относился с фанатической любовью. Гимназисты вспоминали, что с 5 класса он начинал говорить им «Вы»: «Ведь вы уже переводите Овидия». С 7 класса он обращался к ним по имени и отчеству, объясняя: «Ведь вы читаете Цицерона и великого Горация»⁴.

Революционные события 1848 года во Франции испугали российское правительство и отразились на порядках наших учебных заведений: из университетского преподавания была исключена философия, была разрушена и уваровская система классического образования: в

³ Аничков Н. М. Историческая записка пятидесятилетия третьей Санктпетербургской гимназии. С. 91.

⁴ Там же. С. 126.

гимназиях начали резко сокращать преподавание древних языков. Преподавание греческого в большинстве гимназий было совершенно отменено. В каждом округе было оставлено лишь по одной классической гимназии. Латинский язык начинался только с четвертого класса и стал предметом необязательным, необходимым лишь тем, кто хотел поступить в университет без экзаменов. В этот период в Петербурге только Третья гимназия осталась классической, с преподаванием и латыни и греческого, хотя часы были сокращены и здесь⁵. Однако с 1852 г. греческий снова стал обязательным предметом и начинался с третьего класса, латынь – со второго⁶.

В эпоху реформ Александра II, в 1864 г. был принят новый устав средних учебных заведений, были утверждены и новые учебные программы. Гимназии были разделены на классические и реальные. В классических гимназиях греческий язык снова был сделан обязательным, появилась космография, церковно-славянский язык, естественная история, исчезла логика и остался только один новый язык. Увеличилось количество часов по латинскому и греческому языкам, а также по математике. Согласно уставу, утвержденному 19 ноября 1864 г., латинский язык в первом классе был 4 урока в неделю, далее – по 5 уроков в неделю, греческий начинался с третьего класса, в третьем и четвертом – по 3 урока в неделю, в 5, 6, 7 классах – по шесть уроков⁷.

Именно этот момент можно считать переломным в судьбе школьного классического образования в России – и Третья гимназия, как «самая классическая» ощутила на себе этот перелом. В 1864 году, как нам кажется, программа по древним языкам была продуманной и сбалансированной, она была сформирована в результате широкой общественной дискуссии и старалась уравновесить, гармонизировать различные общественные устремления.

Однако российское общество радикализировалось, и ожесточенные споры продолжались, Сторонникам «реального» образования казалось, что занятий древними языками слишком много. Школь-

⁵ Там же. С. 100–101.

⁶ Аничков Н. М. Историческая записка пятидесятилетия третьей Санктпетербургской гимназии. С. 103, 125–136; Алешинцев И. А. История гимназического образования в России (XVIII и XIX век). С. 184.

⁷ Алешинцев И. А. История гимназического образования в России (XVIII и XIX век). С. 251.

ный классицизм воспринимался как способ отупления молодежи, отвлечения ее от проблем современности. Это мнение разделял не только радикальный демократ Дмитрий Писарев, но и знаток античности И. С. Тургенев, писавший 6 (18) сентября 1871 г.: «Я вырос на классиках и жил и умру в их лагере: но я не верю ни в какую *Alleinseligmacherei* – даже классицизма – и потому нахожу, что новые законы у нас положительно несправедливы, подавляя одно направление в пользу другого. <...> Классическое, как и реальное, образование должно быть одинаково доступно, свободно – и пользоваться *одинаковыми* правами»⁸.

Другая часть образованного общества считала необходимым именно в этот момент более широкое изучение античных языков и литературы. Эту точку зрения замечательно обосновал известный поэт, один из крупнейших переводчиков с латыни Афанасий Фет (автор первого полного перевода Горация в России, за который получил Пушкинскую премию и стал членом Академии Наук). Вдохновленный попытками властей провести в начале 1860-х гг. одну из величайших в истории России реформ, Фет пишет программное публицистическое эссе – «Два письма о значении древних языков в нашем воспитании»⁹. Он ставит вопрос не столько об изучении древних языков, сколько о роли античной культуры в деле воспитания нового поколения и еще шире – о роли античного наследия в современном мире, и прежде всего – в России.

Исключение древних языков, античной культуры из учебных планов означает, по мнению Фета, исключение фундамента из здания. Это приведет новые поколения интеллектуалов-реформаторов к невежеству. Фет писал, что невежество опасно тем, что «вечно строит узкую, близорукую систему»¹⁰, главная особенность которой – тупость, ограниченность, неспособность к широте взгляда, склонность к догматизму и агрессивность – все то, что является антиподом духовной свободы.

⁸ См., например: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1978–2003. Письма. Т. 11. С. 133.

⁹ Литературная библиотека. 1867. Т. 5. Кн. 7/8. Апрель. С. 48–69; Т. 6. Кн. 9. Май. С. 298–316. См. также: Фет А. А. Собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 3. С. 274–307.

¹⁰ Фет А. А. Собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 3. С. 279.

Почему современному человечеству необходим постоянный диалог с культурой античного мира? По мнению Фета, только приобщение к великой сокровищнице древней мысли может воспитать философа-мыслителя, человека, способного на универсальный, системный взгляд на мир. «Только он стоит на громадной вершине пирамиды человеческой деятельности... Только он один в силах задавать существеннейшие вопросы небу и земле»¹¹.

При этом Фет был реалистом – и, конечно, не считал, что изучение древних языков обязательно для всех. Он ставил вопрос о создании умственной и нравственной аристократии, которая должна получать широкое образование в гимназии а затем – в университете. Формирование новой, интеллектуальной элиты становилось первоочередной задачей в России, где только что были фактически отменены сословные различия. Изучение древних языков, по мнению Фета, должно послужить молодежи великолепной гимнастикой ума, ибо эти занятия прививают умение четко и системно мыслить. Но главное – это нравственное воспитание, возвращение широты взгляда, свободы духа. Воспитанная таким образом молодежь могла бы стать новой российской аристократией – но уже не по рождению, не по крови, а по духу. Изучение античной культуры, по его мнению, важно и в другом плане: это способ приобщения России к магистральному пути развития, приведшему Европу от античности к великим идеям эпох Возрождения и Просвещения. Фет писал: «Идеал европейского образования есть всестороннее развитие человека. Факт всемогущества Европы – у всех перед глазами», это «глава и повелительница всего света... Народу, не желающему неподвижности лентаргии, духовного и вещественного рабства и, наконец, политической смерти, не остается ничего другого, как примкнуть к европейскому идеалу образования»¹². И Третья гимназия в первые годы правления Александра II во многом соответствовала этому идеалу.

Но, как это часто бывает в России, прекрасные идеи в процессе воплощения испытали серьезное искажение. 19 июня 1871 года министром народного просвещения Д. А.Толстым была утверждена

¹¹ Там же. С. 286, 287.

¹² Там же. С. 295. Примечательно, что те же идеи высказывал и директор 3-й гимназии В. Лимониус в статье: «Мнение о проекте устава общеобразовательных учебных заведений». СПб., 1862.

новая программа классических гимназий (теперь только их выпускники могли поступать в университеты).

Латынь в первом классе – 8 уроков в неделю, во втором – 7, в третьем и четвертом – по 5, в пятом, шестом, седьмом и восьмом классах – по 6 раз в неделю. Греческий начинался в третьем классе – по 5 уроков в неделю, затем по 6, а в восьмом классе – по семь. (Для сравнения – закон Божий в последнем классе – 1 урок, русский язык – 2 урока в неделю.)¹³ Но дело было даже не в увеличении количества часов, по древним языкам, а в изменении методики преподавания.

Известный российский политический деятель Павел Милюков так характеризовал реформу Д. Толстого: «Против большинства Государственного Совета и вопреки протестам общественного мнения, он провёл гимназический устав 1871г., по которому центр преподавания сосредоточивался на латинском и греческом языках (с 1-го и 3-го класса, по 2 часа в день), тогда как история и литература, новые языки отодвигались на второй план, а естественные науки почти во все исключались из программы. С естественными науками соединялось у реакционеров представление о материализме и либерализме, тогда как классицизм, как им казалось, обеспечивал формальную гимнастику ума и политическую благонадежность. Для этой цели преподавание должно было сосредоточиваться на формальной стороне изучения языка: на грамматике и письменных упражнениях в переводах (ненавистные для учеников)»¹⁴. Далее будет показано, как отнеслись к этому ученики.

Только в 1889 г. правительство решилось внести некоторые коррективы. «1) изучение греческой и латинской грамматик с упражнениями заканчиваются в VI классе; 2) курс двух старших классов посвятить исключительно чтению авторов; 3) на испытаниях зрелости письменные переводы с русского языка на древние заменить переводами с древних языков на русский»¹⁵. Гимназистов перестали «душить» грамматикой, дали возможность читать авторов.

В 1900–1914 гг. постепенно происходило сужение, ослабление дискредитировавшего себя в глазах общества классического образо-

¹³ Алешинцев И. А. История гимназического образования в России (XVIII и XIX век). С. 302.

¹⁴ Милюков П. Н. Воспоминания (1859–1917). Т.1. М.: Современник, 1990. С. 75.

¹⁵ Белявский А. В. Краткое обозрение истории гимназий в России. С. 21.

вания: в гимназиях отменяли обязательный греческий, сокращали до минимума число часов латыни. При этом в Третьей гимназии, единственной в Петербурге, все-таки продолжали преподаваться оба древних языка. Латынь держалась на уровне 6 уроков в неделю. В восьмом классе был даже разговорный латинский час. Ученикам раздавались картинки из жизни Древнего Рима, и они должны были рассказать по-латыни содержание доставшейся картинки.

В Третьей гимназии учились В. Х. Лимониус, будущий ее директор, В. Я. Стоюнин, проработавший потом в гимназии 18 лет, Д. И. Писарев, Л. Модзалевский, зоолог Карл К. Сент-Илер, оставивший подробные воспоминания, педагог Владимир Эвальд, известный профессор права Петр Калмыков, Петр Струве, Иван и Дмитрий Толстые, Владимир Дмитриевич Набоков – крупный политический деятель партии кадетов, Д. С. Мережковский – один из крупнейших писателей серебряного века, отец русского символизма, С. Я. Маршак – детский писатель, переводчик. В Новосибирской публичной библиотеке хранится дневник ученика этой гимназии, впоследствии крупного врача, доктора медицины Владимира Чемезова.

Многие выпускники оставили интересные воспоминания, в основном они собраны в книге: «За сто лет: Петербургская б(ывшая) третья гимназия, ныне 13-я советская трудовая школа». Пг., 1923. Наиболее подробные воспоминания относятся к эпохе 70–80 гг. Обратимся к некоторым из них. Владимир Набоков-старший, будущий видный политический деятель, учился в этой школе начиная с 5 класса. Он получил еще до гимназии отличную подготовку по древним языкам и не испытывал трудностей в учебе, окончил гимназию с золотой медалью, но отмечал общую неблагоприятную атмосферу в гимназии: низкий уровень преподавания, страх учеников, издевательства некоторых учителей. В том числе Набоков описывает деятельность латиниста А. А. Кимберлинга. Набоков называл его «безумным и нелепым явлением»: «Полоумный деспот производил свои дурацкие эксперименты, вколачивая вместе со своей нищенской латынью глубокую ненависть и отвращение к ней, засушивая наши мозги...»¹⁶. По свидетельству В. Д. Набокова учеников заставляли бесконечно заниматься грамматикой, причем постоянно прак-

¹⁶ ...За сто лет. Петербургская б<ывшая> третья гимназия, ныне 13-я Советская трудовая школа: Воспоминания, статьи и материалы. С. 129.

тиковались ненавистные «extemporalia» – устные и письменные переводы с русского языка на латынь и греческий.

Читались и греческие авторы: в пятом классе – Ксенофонт и «Одиссея» Гомера, в шестом – «Илиада» и Лукиан, в седьмом – Демосфен и Платон, в восьмом – Софокл и Геродот. Но само чтение авторов превращалось в мучение. Великие тексты греков и римлян рассматривались только как иллюстрация для уроков грамматики. За урок читали 8–10 строк, спрягая все глаголы, склоняя все существительные, местоимения и т. д. У Кимберлинга в 5 классе из 30 человек подавляющее большинство имели отметки «1» и «0» по латыни.

Возможно, наиболее подробные, эмоциональные и художественно значимые воспоминания о гимназии оставил Д. С. Мережковский. Это «Автобиографическая записка», а также поэмы «Вера» и «Старинные октавы». Гимназические годы его пришлись на конец 70-х – начало 80-х, (окончил гимназию в 1884) это был самый разгар школьного классицизма, введенного реформами Д. А. Толстого и И. Д. Делянова. При этом, как уже говорилось, 3-я гимназия являлась «наиболее классической» в Санкт-Петербурге.

В поэме «Вера» он пишет:

В гимназии невыносимый гнет
Схоластики пришлось узнать Сереже...
Словарь да синтаксис; из года в год
Он десять лет твердил одно и то же.
Как из него не вышел идиот,
Как бедный мозг такую пытку вынес
Непостижимо. «Panis, piscis, crinis», –
Вот вся наука... Иногда весной
Он ласточкам завидовал... Не учат
Они аорист первый и второй,
Грамматикой латинской их не мучат¹⁷.

В поэме «Старинные октавы» Мережковский с грустью вспоминал, как их учили древним языкам – начетнически, подменяя живое общение с великими классиками унылым изучением грамматических форм.

О юность бедная моя, как мало
Ты вольных игр и счастья мне дала:

¹⁷ Мережковский Д. С. Собрание стихотворений. СПб.: БАН РАН, 2000. С. 308.

Классической премудрости начало,
Словарь латинский, холод, скука, мгла...
От слез дрожал неверный голосок
Когда твердил я: *lupus... conspicavit...*
In rupe pascebatur... и не мог
Припомнить дальше... Единицу ставит
Мне золотушный немец-педагог.
Томительная скука сердце давит...¹⁸

Впрочем, в старших классах латынь вел блестящий преподаватель и ученый Эрнест Эрнестович Кесслер, выпускник Дерптского университета (преподавал с 1873 по 1896), – автор известной «Граматики» и «Синтаксиса» латинского языка, о котором в тех же «Старинных октавах» Мережковский вспоминал с благодарностью:

Честнейший немец Кесслер – латинист,
заросший волосами, бородатый
На вид угрюм, но сердцем добр и чист,
Как древние Катоны, Цинциннаты
И Сцеволы; большой идеалист,
Из года в год, отчаяньем объятый,
Всем существом грамматику любя,
Он нас терзал и не жалел себя.
Ответов ждал со страхом и томленьем,
Краснея сам, смущаясь и дрожа:
Ему казалась личным оскорбленьем
Неправильная форма падежа...
Земному чуждый, пламенный фанатик,
Писал он ряд учнейших грамматик¹⁹.

А вот как вспоминались Мережковскому занятия греческим языком:

Лимониус, директор, глух и стар,
Софокла нам читал и «Одиссею»,
Нас усыплять имея редкий дар;
Но до сих пор пред ним благоговею,
Лишь вспомню, с крепким запахом сигар,
Я вицмундир перед скамьей моею
И тонкий пух седых его волос

¹⁸ Там же. С. 504, 516.

¹⁹ Там же. С. 516–517.

И в голубых очках багровый нос.
Урок по спрятанной в руках бумажке,
Бывало, всякий ловко отвечал.
При нем играли в карты мы и в шашки:
Нам добродушный немец все прощал...²⁰

Вильгельм, или, как его называли ученики, Василий Христианович Лемониус (Лимониус) (1817–1903) был магистром греческой и римской словесности, человеком классически образованным и, по воспоминаниям его многочисленных учеников, необыкновенно добрым и снисходительным. Он закончил Петербургский университет, в 1859 г. защитил магистерскую диссертацию: «De parasceniis»; написал работу «Observationum in Vitruvium capita duo» и обширную статью в «Журнале Министерства Народного Просвещения» за 1871 г. – «Общеобразовательные и специальные женские учебные заведения в Берлине».

К началу 1880-х годов он проработал в этой гимназии уже сорок лет, двадцать пять из которых был ее директором. Несмотря на почтенные годы, к занятиям древними языками он относился с редким энтузиазмом, любил комментировать с учениками тексты, (правда, не выходя за пределы мнений авторитетных комментаторов), заставлял гимназистов заучивать наизусть большие куски из «Илиады», «Одиссеи» и трагедий. К переводам же подходил не творчески – требовал не художественных красот, а буквальную точности. Однажды брат Д. С. Мережковского, Николай, несказанно порадовал старика таким переводом: «Олень был ранен в отношении затылка...»²¹.

С другим преподавателем греческого Мережковскому повезло меньше, это был Бюриг, о котором недоброжелательно отзывались многие гимназисты:

Читал Платона Бюриг – не педант,
Напротив, весельчак, но злейший в мире,
Весь белый, бритый, выхоленный франт,
В обрызганном духами вицмундире;
К жестоким шуткам он имел талант.
Того, кто знал урок, оставив в мире,
Он робкого лентяя выбирал

²⁰ Там же. С. 516.

²¹ ...За сто лет. Петербургская б<ывшая> третья гимназия, ныне 13-я Советская трудовая школа: Воспоминания, статьи и материалы. С. 96–97.

И долго с ним как с мышью кот играл²².

Герман Васильевич Бюриг, читавший, как правило, Платона и Геродота, по воспоминаниям выпускников, действительно пользовался дружной нелюбовью гимназистов, он относился к ним «с презрением культурного тевтона к дикарям», но его боялись – и уроки учили старательно.

Мережковский по греческому не был среди первых учеников, часто получал тройки. Но тройка в такой гимназии много значила. Еще один из выпускников этой гимназии, К. К. Сент-Илер вспоминал: «Я был не из сильных учеников по древним языкам... в старших классах переходил из класса в класс с тройками... Однако я многому выучился и не могу сказать, чтобы скоро забыл латынь и греческий язык; многое, особенно слова, оставались долго в памяти»²³.

Если сопоставить воспоминания Набокова-старшего и Мережковского, можно прийти к интересному выводу: поэма «Старинные октавы» и гимназические воспоминания отца, возможно, отразились в романе Владимира Набокова «Приглашение на казнь» – это описание детства Цинцинната, томившегося в школе, «в канареечно-желтом, большом, холодном доме, где живых, бойких детей «готовили к благополучному небытию взрослых истуканов»²⁴.

История Третьей петербургской гимназии отражает общую картину классического гимназического образования в России, которое на протяжении XIX века несколько раз испытывало резкие изменения. Российские гимназии – одна из форм реализации идей Петра, стремившегося быстро, даже насильственно привить России европейский облик. Его преемники стремились пересадить на российскую почву европейскую систему образования, порой не считаясь с тем, есть ли у страны достаточная база, есть ли ресурсы, возможности для такого рода ускоренной вестернизации. Первая эпоха, 1805–1828, отражает прекраснодушие и либеральные мечты Александра I, когда гимназическое образование попытались сделать фундаментальным, энциклопедическим, приближенным к университетскому – и при этом внесловным. Однако обилие разнообразных курсов и

²² Мережковский Д. С. Собрание стихотворений. СПб.: БАН РАН, 2000. С. 517.

²³ ...За сто лет. Петербургская б<ывшая> третья гимназия, ныне 13-я Советская трудовая школа: Воспоминания, статьи и материалы. С. 43.

²⁴ Набоков В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М., 1990. С. 54.

недостаток учителей порождали поверхностность. В николаевское царствование в гимназии воцарилась жесткая, казарменная система, сопровождавшаяся введением строгого сословного принципа. При этом уваровская реформа позволила достаточно серьезно изучать древние языки и античных авторов, более того, она в рамках жесткой идеологической системы прививала гимназистам широту взгляда и даже некое вольномыслие. Следующий период – последние годы царствования Николая (1849) – падение «уваровского классицизма», резкое ослабление преподавания древних языков, попытка отказа от широкого гуманитарного образования (примечательно, что в России с ужесточением политического режима не раз происходило резкое уменьшение объема и качества преподавания гуманитарных дисциплин). Наконец, в 1860–80 годы – наступает эпоха усиления и полного расцвета школьного классицизма, который вводился с самыми лучшими намерениями. Эта система была плохо продуманной, а главное – насильственно навязывалась, поэтому не была поддержана в обществе. Однако важно отметить, что именно эпоха «школьного классицизма» способствовала расцвету русского Серебряного века, она дала России ряд поэтов и писателей, чье творчество насыщено античностью: Иннокентий Анненский, Вячеслав Иванов, Николай Гумилев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам и др. В частности, прошедшие суровую классическую школу Д. С. Мережковский и В. Я. Брюсов оставили серьезный след в истории переводов античных классиков: Брюсов перевел «Энеиду» Вергилия, Мережковский перевел 6 трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида.

ARISTARCHEA

I

Научное исследование чтений александрийских филологов, которые они предлагали в своих изданиях «Илиады», имеет даже более долгую историю, чем гомеровский вопрос. Упоминаю о последнем потому, что одним из отправных пунктов книги Фридриха Августа Вольфа “*Prolegomena ad Homerum*” было издание схолиев к кодексам Venetus A и Venetus B, предпринятое в 1788 году Франсуа Вилуазоном. Многочисленные сохраненные схолиастами варианты александрийцев, отличные от чтений средневековых манускриптов, дали Вольфу дополнительную уверенность в поздней фиксации дошедшего до нас текста «Илиады» и «Одиссеи».

Тому же Вольфу мы в значительной мере обязаны понятием «гомеровская вульгата». Его влиятельное издание «Илиады» (1804), включавшее 15693 стиха, до сих пор остается точкой отсчета в отношении нумерации строк. Ученый основывался на тексте большинства средневековых рукописей, который и получил название «(гомеровской) вульгаты». Пополнение списка рукописей не отменило этого понятия, так как оказалось, что почти каждый отдельный вариант действительно поддерживается большинством источников, хотя состав этого большинства в каждом случае может меняться. Позднее оказалось, что текст средневековой вульгаты очень близок к чтениям эллинистических папирусов «Илиады». Впрочем, наиболее ранние папирусы, называемые «дикими», нередко демонстрируют существенные отличия.

Издавая схолии, Вилуазон предполагал, что теперь ученые вплотную приблизились не просто к изданию Аристарха, но и к подлинному тексту Гомера¹. Более внимательное рассмотрение всей совокупности данных, скорее, вызывает пессимизм. Даже сейчас у нас нет достаточно надежных ответов на многие важные вопросы об издании Аристарха (не говоря уж о более ранних этапах истории гомеровского текста). Отчасти этот факт связан с характером сохранившихся источников: схолии нередко демонстрируют крайнюю

¹ Nagy G. *Homer's text and language*. Univ. of Illinois Press, 2004. P.11-12.

неполноту, сомнительность или взаимную несогласованность. Например, схолии А и Т противоречат друг другу, поясняя П. 14.223:

А	<μέσῳ:> Ἀρίσταρχος μέσῳ, ἄλλοι δὲ „ἐῶ”.
Т	<ἐῶ:> οὕτως Ἀρίσταρχος, Ζηνόδοτος δὲ „μέσῳ”.

Итак, одна часть традиции приписывает Аристарху вариант μέσῳ, другая — чтение ἐῶ, причем о другом варианте также сообщается. Очевидно, мы имеем дело с ошибкой традиции, но какое исправление здесь надлежит принять, неясно; принято больше доверять схолиям А. Есть и еще одна возможность: считать это двойным чтением Аристарха. Именно этому александрийцу нередко приписывают два взаимоисключающих варианта; принято считать, что один из них более ранний, другой — более поздний, хотя нам почти никогда не сообщается об их сравнительной хронологии².

Например:

А	ἐλέγχιστος: διχῶς Ἀρίσταρχος, καὶ „ἐλέγχιστον”.

Подобных примеров в схолиях несколько десятков, однако едва ли есть серьезные основания причислить к ним случай П. 14. 223.

Рассмотрим теперь пример очевидной неполноты. Комментируя стих П. 1.24

ἀλλ' οὐκ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἦνδανε θυμῷ,
схолиаст пишет: Ζηνόδοτος γράφει ἀλλ' οὐκ Ἀτρεΐδew. ὁ δὲ ποιητὴς δοτικὴν ἀντὶ γενικῆς παραλαμβάνει. Гартмут Эрбзе в своем издании схолиев, на которое я здесь и далее опираюсь, добавляет Ἀγαμέμνονος после Ἀτρεΐδew, и, действительно, это совершенно необходимо. Кроме того, что чтение Зенодота дошло в усеченном виде; следующий за ним комментарий «поэт использует дателный падеж вместо родительного» едва ли соответствует резонам антич-

² Видимо, единственное исключение — комментарий А к П.19.386: πρότερον δὲ γράφων ὁ Ἀρίσταρχος τῷ δ' εὔτε καὶ κατὰ συστολὴν δεχόμενος ἀντὶ τοῦ ἡὔτε, ὡς ἐπὶ τοῦ „εὔτ' ὄρεος κορυφῇσι” (Г 10), μετέγραψεν ὕστερον „τῷ δ' αὖτε”. Мне представляется, что это систематическое неупоминание на окончательное мнение Аристарха представляет собой проблему. Казалось бы, с учетом трудностей, с которыми сталкивался автор схолия, сопоставляя два комментария Аристарха, естественно было бы встречать такое указание, если, конечно, правда, что это были два различных текста, сопоставлявшихся между собой, а не свидетельства такого типа: ἀμείνων οὖν εἶχεν ἄν φησὶν ὁ Ἀρίσταρχος εἰ ἐγγέγραπτο ἅψ ἐπάσαντο ἢ αἶψ' ἐπάσαντο <...> ἀλλ' ὅμως ὑπὸ περιττῆς εὐλαβείας οὐδὲν μετέθηκεν ἐν πολλαῖς οὕτως εὐρὼν φερομένην τὴν γραφὴν (ad П.9.222).

ного филолога. Поскольку родительный падеж при ἀνδάνω ни у Гомера, ни позднее не употребляется, сомнительно, чтобы Зенодот стал бы говорить о замене генетива на датив в порядке поэтической вольности. Как мне кажется, смысл чтения Зенодота (не будем касаться вопроса о том, имеет ли оно конъектуральное или рукописное происхождение) состоит не в вариативности глагольного управления. Генетив Ἀτρεΐδew Ἀγαμέμνονος в таком случае употреблялся не при ἀνδάνω, а, очевидно, зависел от θυμῷ (т.е. «не нравилось духу Атрида Агамемнона»). Интересно, что к версии Зенодота синтаксически близок перевод Н. И. Гнедича: *Только царя Агамемнона было то не любо сердцу*.

В чем Зенодот мог видеть преимущество такой трактовки, если, конечно, ему был известен наш вариант, что едва ли можно утверждать с полной уверенностью? С точки зрения синтаксиса чтение с генетивом дает более простую конструкцию вместо двух дативов при ἀνδάνω, а с точки зрения метрики — избавляет от зияния³ на границе Ἀγαμέμνονι ἦνδανε. Впрочем, вместо этого появляется «метрико-просодическая» вольность: произношение ew в один слог в форме Ἀτρεΐδew. Такая синизеса встречается у Гомера по моим подсчетам 184 раза, то есть гораздо реже, чем различные виды зияния⁴.

Сложности в понимании источников приводят издателей к различным интерпретациям одного и того же краткого указания. Любопытный пример дают схолии к II. 12.26:

Α	<συννεχές:> Ἀρίσταρχος καὶ Ἀριστοφάνης διὰ τοῦ ἑτέρου ν

Томас Аллен в аппарате издания «Илиады» 1920 г. приписывает александрийцам совпадающее с вульгатой (но не с Α) чтение через одно ν. В этом случае διὰ τοῦ ἑτέρου понимается как «через одно (из двух) ν». В издании же 1931 г. он дает противоположную трактовку: совпадение с Α и меньшинством рукописей (тогда указание схолиев, видимо, следует переводить как «через второе, еще одно

³ Исторически корень глагола ἰνδῆνω начинался с согласной, и зияния не было. Однако здесь важна реконструкция взгляда александрийских филологов, которые едва ли это учитывали, даже если знали о каких-либо диалектных вариантах этого глагола.

⁴ Примеры перечислены в книге: Файер В. В. Александрийская филология и гомеровский гекзаметр. М., 2010. С. 91.

v»)⁵. Противоположную эволюцию проделали интерпретации Мартина Уэста: в комментарии к «Теогонии» (ad 636) он приписывает Аристофану и Аристарху вариант с двумя v, а в издании «Илиады» — с одной, признавая свою прошлую интерпретацию ошибочной⁶. Я согласен с ранним Алленом и поздним Уэстом, так как имеется, например, такой схолий: οὕτως φθάνει διὰ τοῦ ἑτέρου ε, οὐ „φθανέει” (Π. 21.262). Однако нельзя не признать, что сама по себе лаконичность источника вызывает трудности, а противоречивость схолиев дезориентирует.

Рассмотрим также схолии к стиху Π.12.11:

Α	<ἔπλε:> οὕτως Ἀρίσταρχος ἔπλεν
Τ	Ἀρίσταρχος ἔπλεν σὺν τῷ ν, ἐκ τοῦ ἔπελεν συγκοπὴ<ν> δεχόμενος, Ζηνόδοτος ἔπλε ἀποκοπὴ τοῦ ἔπλετο

Аллен трактует чтения Зенодота и Аристарха как практически тождественные и совпадающие с вульгатой. Для Уэста это два различных варианта, а большинство привлекаемых им рукописей (что бывает нечасто) не объединяется вокруг какого-либо чтения. Таким образом, не только собственно чтение вульгаты и, соответственно, согласие с ней того или иного филолога, зависит от мнения издателя, но даже совпадение чтений Зенодота и Аристарха может быть предметом различных трактовок. По моему мнению, и в данном случае прав Мартин Уэст.

Понятие вульгаты, как видно из описанного выше примера, не является самоочевидным: если мы меняем набор рукописей, нередко меняется и чтение большинства из них. Это не уникальное явление: по моим подсчетам, во второй половине «Илиады» имеется 16 случаев, когда чтение Аристарха совпадает с вульгатой по Аллену и не совпадает по Уэсту и наоборот⁷. Я не сопоставлял две эти вульгаты более широко, но нет сомнения, что такого рода разногласия

⁵ Allen T. W. *Homeri Ilias*. Vol. I–II. Oxford, 1920; Allen T. W. *Homeri Ilias*. Vol. I–III. Oxford, 1931.

⁶ Hesiod. *Theogony*: edited with prolegomena and commentary by M. L. West. Oxford, 1966. West M. L. *Homeri Ilias*. Vol. 1. Stuttgartiae-Lipsiae, 1998. Vol. 2. Monachii-Lipsiae, 2000.

⁷ Эти примеры перечислены в статье: Файер В. В. Проблема гомеровской вульгаты и александрийская филология // *Индоевропейское языкознание и классическая филология XVI*. СПб., 2012. С. 833–4.

проявляются у Аллена и Уэста в десятках, если не в сотнях стихов. Итак, мы не всегда можем сказать, совпадает ли чтение Аристарха с вульгатой, поскольку в некоторых случаях неочевидно, каков вариант большинства.

Иногда указания схолиев однозначны, но сомнительны. Комментируя П. 16.467-8, схолии Т приписывают Аристарху вертикальное чтение⁸. Вместо варианта вульгаты:

ὁ δὲ Πήδασον οὐτάσεν ἵππον
ἔγχεϊ δεξιὸν ὦμον

Аристарх будто бы предлагал вставить два стиха, тождественных П. 6.153-4, и изменить еще два слова:

ὁ δὲ Πήδασον ἀγλαὸν ἵππον
τόν ῥα ποτ' Ἠετίωνος ἐλὼν πόλιν ἥγαγ' Ἀχιλλεύς,
ὃς καὶ θνητὸς ἐὼν ἔπεθ' ἵπποις ἀθανάτοισι,
τὸν βάλε δεξιὸν ὦμον.

В аппарате своего издания «Илиады» Мартин Уэст отмечает: «Аристарху приписывают схолии Т, чему невозможно верить». Более развернуто об этом пишет Адольф Рёмер, который предполагает, что в схолиях имя Аристарха стоит по ошибке вместо Аристофана⁹.

II

Очевидно, что главный путь к избавлению от ошибочных чтений и атрибуций — тщательная инвентаризация вариантов Аристарха, которые несомненно или предположительно (с разной степенью уверенности) ему принадлежат. Конечно же, этим занимались исследователи, начиная уже с Вилуазона, однако нельзя сказать, что эта работа завершена. Во-первых, за последнее столетие в песках Египта нашли множество гомеровских папирусов, обогативших наше представление о рукописной традиции «Илиады», и это отражено в новых изданиях гомеровского текста. Во-вторых, большая работа была проделана исследователями схолиев: так, в издании Г. Эрбзе пред-

⁸ То есть вариант, затрагивающий количество строк. Чтение, не связанное с добавлением или удалением стихов, называют горизонтальным.

⁹ Roemer A. Der angebliche Einheitlichkeits- und Gleichheitsfanatismus in der Homerkritik und Homerexegese Aristarchs // Rheinisches Museum 66, 1911. S. 290-292, 352-353.

принята попытка разделить материал, восходящий к книгам каждого из «четырех мужей» Дидима, Аристоники, Геродиана и Никанора. Это позволяет сопоставить каждую из этих линий в отдельности с материалом так называемых «экзегетических схолиев». Впрочем, все семейства схолиев к «Илиаде» даже Г. Эрбзе охватить не удалось¹⁰; вообще, этот материал изучен еще недостаточно.

Недоисследованность проявляется и на методологическом уровне. Мне представляется, что, скажем, упоминавшееся выше рассуждение Рёмера о том, что вариант к 16 книге «Илиады» не может приписываться Аристарху, должно быть дополнено статистикой, показывающей, часто ли александриец прибегал к вертикальным чтениям и совпадают ли они с вульгатой. Мне удалось найти 18 вертикальных чтений Аристарха, и в большинстве из них он согласен с вульгатой. Так, Аристарх неоднократно прибегает к атетезе там, где в издании Зенодота стих отсутствовал (Ζηνόδοτος τὸν στίχον οὐ γράφει. Ἀρίσταρχος δὲ ἀθετεῖ). Поскольку схолии четко отличают удаление от атетезы, мы можем считать, что эти строки имелись в издании/изданиях Аристарха, хотя он и признавал их сомнительными. Всего мне удалось обнаружить 5 вертикальных чтений, в которых александриец не согласен с вульгатой. Три из них связаны с удалением стихов (Π. 5.808, 16.613, 21.73), один — с заменой двух стихов на один, и он тоже находится под подозрением (Π. 23.332)¹¹. В любом случае, пример Π. 16.467-8 с добавлением двух строк не имеет аналогов среди вариантов Аристарха и должен считаться ошибочным.

О необходимости новых исследований свидетельствует и тот факт, что неточная статистика Аллена о числе чтений Аристарха продолжает цитироваться до самого последнего времени. Например, она приводится в недавней статье известного гомероведа Маргалит Финкельберг, предлагающей одно из возможных решений

¹⁰ Рассматривая схолии-D, я пользовался изданием Г. ван Тилля (<http://kups.ub.uni-koeln.de/1810/>). Эта традиция весьма бедна указаниями на варианты Аристарха: мне удалось найти там только два чтения, не засвидетельствованных другими традициями.

¹¹ Возможно, этот вариант также принадлежит Аристофану Византийскому, см. Bolling G. M. The External Evidence for Interpolation in Homer. Oxford, 1925. P.201.

проблемы стандартизации текста эллинистических папирусов¹². Как показали мои предварительные подсчеты¹³, в статистике Аллена присутствует небольшое, но систематическое искажение; здесь я представляю мои полные и уточненные данные по изданиям Аллена и Уэста, а также по данным схолиев¹⁴. Что же они показывают?

Во-первых, в аппарате своих изданий Аллен нередко пренебрегает вариантами, которые касаются ударения и придыхания. По большей части эти опущенные варианты совпадают с большинством рукописей¹⁵. Во-вторых, Аллен иногда приписывает Аристарху чтения, которые упоминаются в схолиях анонимно. Безусловно, многие из них действительно принадлежат великому александрийцу, но возникает путаница между засвидетельствованными и гипотетическими чтениями, а их следует разделить.

Рассмотрим это на конкретном примере I книги «Илиады»¹⁶, к которой схолии, по моим подсчетам, сохранили 63 чтения Аристарха. В малом издании Аллена, которое до сих пор остается, пожалуй, наиболее доступным и распространенным, аппарат к первой книге упоминает 44 чтения Аристарха, 9 из которых — гипотетические. В трехтомнике Аллена гипотетических чтений гораздо меньше: в первой книге всего одно (ad II. 1.116). Всего же вариантов Аристарха в аппарате указано 56, что полностью соответствует подсчетам ученого, приводимым в первом томе¹⁷ его издания. Без внима-

¹² Finkelberg M. Regional Texts and the Circulation of Books: the Case of Homer // Greek, Roman, and Byzantine Studies 46. 2006. P. 231–248.

¹³ Файер В. В. Чтения Аристарха в издании «Илиады» // Индоевропейское языкознание и классическая филология XV. СПб., 2011, а также Файер В. В. Проблема гомеровской вульгаты...

¹⁴ Важно иметь в виду, что некоторые различия в статистике обусловлены несходной трактовкой понятия «чтение»: изменение двух рядом стоящих слов может считаться одним чтением, а может — двумя. М. Уэст тяготеет к последнему, Т. Аллен — к первому варианту. Кроме того, два очень похожих чтения могут считаться одним вариантом (по сравнению с третьим, существенно отличным), а могут — разными.

¹⁵ Такие варианты ниже я буду иногда для краткости называть просто «совпадающими», а иные — «несовпадающими».

¹⁶ Еще более впечатляет пример IV книги, где Аллен проигнорировал 1/3 чтений, большая часть из которых относилась к категории совпадающих (см. Файер В. В. Чтения Аристарха... С. 550–552).

¹⁷ Allen T. W. Prolegomena // Homeri Ilias. Vol. I. Oxford, 1931. P. 199–200.

ния остались чтения к стихам 49, 52, 244, 364, 567, 591 и 593, причем только одно из них не совпадает с вульгатой.

Наиболее полно представлены варианты Аристарха в издании Уэста, но там очень много гипотетических чтений. В первой книге отмечаются 109 чтений александрийца (несколько – под знаком вопроса). Между тем, 7 случаев (разночтения к стихам 49, 154, 175, 244, 396, 493 и 591) не упоминаются у Уэста и не вошли в «Addenda et corrigenda» во втором томе его издания. В целом это не следует считать случайным недосмотром.

Рассмотрим схолии к двум стихам, о которых умалчивают оба издателя:

1.244	A	οὐδέν: Ἀρίσταρχος παρέλκειν λέγει τὸ δὲν, Ἀπολλόδωρος δὲ ἐν Γλώσσαις εἶναι τὸ πλήρες οὐδὲ ἐν· πολλοῖς γὰρ καὶ τῶν ἄλλων γραμματικῶν δοκεῖ τρία εἶναι μέρη λόγου, οὗ καὶ δὲ καὶ ἐν.
1.591	D	ἀπὸ βηλοῦ: ... οἱ Ἀριστάρχειοι βηλὸν ὥς χολὸν προφερόμενοι...

В обоих случаях мы имеем дело с малыми вариантами, в которых Аристарх высказывается в пользу традиции и здравого смысла против некоего экзотического чтения (во втором примере оно даже не названо). В схолии к стиху 49 речь идет о правильном делении на слова, во втором примере – о правильном ударении. Обратим внимание, что в схолиях D крайне редко встречаются упоминания александрийских филологов; οἱ Ἀριστάρχειοι здесь употреблено вместо нормального αἱ Ἀριστάρχειοι [ἐκδόσεις]. Почти все проигнорированные Алленом и Уэстом чтения Аристарха в I книге «Илиады» касаются постановки правильного ударения, придыхания и деления на слова (то есть фактически того же ударения). Единственное исключение – комментарий 1.593, оставленный без внимания Алленом, где идет речь о правильном предлоге: ἐν Λήμνῳ / ἐς Λῆμνον.

Важно уточнить: я не считаю изобилие гипотетических чтений недостатком издания, также издатель вправе опустить варианты александрийских филологов, которые считает неинформативными, сомнительными или второстепенными. Однако при этом не должны искажаться данные о числе чтений той или иной группы. Статистика же Аллена дает небольшое, но систематическое искажение,

которое связано не с ошибками подсчета¹⁸, а с исключением некоторой группы чтений, примеры которых были даны выше.

Итак, рассмотрим данные об общем количестве чтений Аристарха по трем источникам: статистике Томаса Аллена¹⁹, моим подсчетам по аппарату издания Мартина Уэста и моим подсчетам по схолиям²⁰. Варианты разделены на три группы: совпадающие с вульгатой (I), не совпадающие с ней (II) и остальные (III). Однако состав третьей группы несколько различен: у Аллена в нее включены чтения, которые совпадают примерно с половиной рукописей, мои же подсчеты также учитывают двойные варианты (см. выше), которые в статистике Аллена, видимо, отсутствуют. Из-за этих различий подсчеты Аллена и мои в столбце III разделены. Не учитываются в Таблице 1 и атетезы. Атетируя стих, филологи не удаляли его, а лишь ставили под сомнение, этой операции не соответствует никакое чтение рукописей и, следовательно, о совпадении/несовпадении с вульгатой говорить не приходится.

Таблица 1. Чтения Аристарха в «Илиаде» по подсчетам Т. Аллена, изданию М. Уэста и по данным схолиев

	I	II	III	Итого
Т. Аллен	240	558	76	874
М. Уэст	1021	677	92	1790
Схолии	378	515	80	973
<i>то же в процентах</i>				
Т. Аллен	27,5%	63,8%	8,7%	100,0%
М. Уэст	57,0%	37,8%	5,1%	100,0%
Схолии	38,9%	52,9%	8,2%	100,0%

¹⁸ Повторю, что и число вариантов, и совпадение данного чтения с вульгатой может быть подсчитано по-разному. С этой поправкой Аллен не ошибается в арифметике.

¹⁹ Выборочная проверка показывает, что посчеты ученого вполне соответствуют аппарату его издания.

²⁰ Иногда также включаются чтения Аристарха, сохраненные другими источниками; я мог что-то упустить из этих вариантов, но их в принципе очень немного.

В дальнейших рассуждениях я буду считать мои подсчеты по схолиям «Илиады» отправным пунктом; это можно сделать потому, что они сделаны совершенно формально и учитывают все упоминания Аристарха в схолиях, когда они сопровождаются указанием на какое-либо его чтение²¹. Отличие моих данных от подсчетов Аллена в колонках (I) и (II) вызвано прежде всего, тем, что издатель игнорирует некоторые малые разночтения, которые тривиальным образом совпадают с большинством рукописей (примеры см. выше). Получается, что Аристарх Аллена несколько чаще предпочитает несовпадающие чтения. Аристарх Уэста выглядит иначе: доля совпадающих чтений (I) здесь почти достигает 60%, тогда как у Аллена доля несовпадающих вариантов (II) лишь немногим превышает этот уровень. Почему же гипотетические чтения Уэста в подавляющем большинстве попадают в колонку (I)? Потому, что последний часто (но далеко не всегда) предполагает, что, например, несовпадающему чтению Зенодота соответствует совпадающий вариант Аристарха. Это предположение вполне закономерно: действительно, дошедшие до нас сведения о Зеноте прошли через руки Аристарха, причем последний обычно не соглашался со своим предшественником и даже создал особый критический знак для указания на это несогласие. Такое же рассуждение применимо и к другим предшественникам Аристарха (за исключением Аристофана, с которым тот нередко единомыслен).

Важнейший вопрос, к которому позволяют нам обратиться данные Таблицы 1 – это влияние Аристарха на вульгату. Аллен уверенно пишет об александрийцах: «Они заслуживают нашей благодарности, но действительное их воздействие [на традицию] было незначительным, если вообще имело место»²². Именно в этом убеждают его подсчеты: из 874 вариантов Аристарха во всех рукописях находим только 9%. Однако теперь мы знаем, что его подсчеты не вполне точны, и почти 40% атрибуированных чтений александрийского филолога совпадают с вульгатой. Если же верить Уэсту, получается, что 60% вариантов Аристарха встречаются в большинстве рукописей

²¹ Сохранилось также несколько десятков комментариев Аристарха к тем или иным местам «Илиады», которые не влияют на текст, например (ad II.1.36): Ἀπόλλωνι ἄνακτι: τὸ α ἐκτείνει Ἀρίσταρχος διὰ τὸ μέτρον.

²² Allen T. W. Prolegomena... P. 196.

и, следовательно, взгляд на проблему влияния александрийцев на традицию становится иным.

В середине II в. до Р. Х. происходит поворот в гомеровской традиции Египта. На смену папирусам с большим количеством добавочных строк (или, наоборот, с пропусками) приходят стандартные тексты, близкие к средневековой вульгате. Наиболее естественное предположение – считать исчезновение «диких папирусов» результатом деятельности Аристарха – наталкивается на трудность: почему же тогда множество чтений филолога не проникло в традицию? Многие выдвигают книготорговое объяснение: продавцы и покупатели «Илиады» заботились о том, чтобы в тексте было правильное число стихов (установленное Аристархом), но не интересовались горизонтальными чтениями филолога²³. Однако почему в таком случае было просто не копировать версию Аристарха? Если она была им доступна, почему все разночтения не попали в текст вместе с правильным числом стихов; если же не была, то как удалось добиться не только правильного количества стихов, но и того, чтобы это были именно нужные строки, а не какие-то иные?

Ни уточнение данных Аллена, ни даже принятие гипотетических чтений Уэста не решает проблемы: в любом случае вне рукописной традиции остаются сотни чтений Аристарха. Можно предположить вслед за Г. ван Тилем, что несовпадающие чтения – это на самом деле параллельные места, а совпадающие – это собственно варианты, которые поддерживал филолог²⁴. Можно, основываясь на том, что одно из двойных чтений почти всегда совпадает с большинством рукописей, предположить, что вульгата – это одно из двух изданий Аристарха, а отличающиеся от рукописей варианты отражают другое издание. Ясности в этом вопросе нет.

Рассмотрим деление чтений Аристарха на группы по объему. Я выделял следующие группы вариантов: (1) вертикальные (влияющие на количество стихов, как в примере Il. 16.467-8), (2) затраги-

²³ См., например, Janko R. The text and transmission of the Iliad // The Iliad: A Commentary, general editor G. S.Kirk. Vol. IV. Cambridge, 1985. P. 22.

²⁴ van Thiel H. Zenodot, Aristarch und andere // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 90, 1992. S. 1–32. Критику см. в Schmidt M. Variae Lectiones oder Parallelstellen: Was notierten Zenodot und Aristarch zu Homer? // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 115, 1997. S. 1–12.

вающие более одного слова (сюда попадают и небольшие изменения двух соседних слов, например, П. 1.24), (3) затрагивающие одно слово (см. П. 14.223) или (4) малые чтения, которые связаны с изменением словоформы в рамках одной лексемы или с правописанием конкретного слова (случаи П. 4.171, 12.11, 12.26). Разделить случаи (3) и (4) не всегда легко, поэтому за отсутствием строгих критериев предлагаю считать, что нижеследующая статистика носит предварительный характер. Удаление аугмента с одновременным исчезновением элизии предыдущего слова я относил к малым вариантам; эту количественно существенную группу можно было бы классифицировать и иначе.

Таблица 2. Типы чтений Аристарха по объему

Типы чтений		
вертикальные	18	1,8%
несколько слов	56	5,7%
одно слово	317	32,2%
малые	592	60,2%
всего	983	100%

Мне кажется, что предлагаемая статистика чрезвычайно существенна для понимания методов работы Аристарха. Действительно, более 90% его разночтений разворачиваются на пространстве одного слова, которое заменяется на какое-то иное или, чаще, орфографически уточняется.

Аристарх был чрезвычайно осторожным издателем, он занимался прежде всего текстологическими и лингвистическими вопросами, мало обращаясь к экзегезе гомеровского текста и различным спекуляциям на его счет. Если рассмотреть его практику на фоне известных рассуждений Платона о Гомере, станет заметно огромное различие между философской и филологической критикой текста, и этот путь был пройден за сравнительно небольшое время. Конечно, случай Платона особый, но и другие упоминания об изменениях в тексте Гомера, относящиеся к более раннему времени, описывают значительные манипуляции: например, замена текста в «Каталоге кораблей» о дружине Аякса Теламонида, которая должна была под-

твердить права афинян на Саламин (Arist. Rhet. A 1375b 30). В трудах Аристотеля, которому приписывают издание «Илиады» (Strabo XIII 594), мы не находим следов работы с текстом Гомера, которая хотя бы отчасти напоминала деятельность Аристарха. «Гомеровские проблемы» философа были посвящены ответам на содержательную критику поэта, которого обвиняли в противоречиях, нечестии, неправдоподобии и т. д. Текстологических вопросов Аристотель не затрагивает, а Гомера цитирует, очевидно, по памяти с обычными для своего времени неточностями²⁵. Схолии упоминают Аристотеля, но ни разу не ссылаются на его издание²⁶, а цитируют все те же «Гомеровские проблемы», так что и здесь мы не находим следов его издания «Илиады». Менее, чем за два века, от Зенодота до Аристарха пройден огромный путь, и уже можно говорить о рождении филологии – науки, которая в центр внимания ставит наиболее точное установление текста данного произведения, во вторую очередь комментирует этот текст, чтобы разъяснить его читателю, и лишь только затем обращается к разного рода рассуждениям о тех или иных особенностях произведения.

Данные таблицы 2 возвращают нас к вопросу о влиянии Аристарха на вульгату. Известно, что среди вариантов Зенодота частотны вертикальные чтения; он работал в эпоху распространения «диких папирусов», и должен был бороться с многочисленными неподлинными вставками. Как пишет Дж. Кёрк, «задачей Зенодота Эфесского было навести порядок в хаосе рукописей, собранных в Музее. Он, очевидно, сделал вывод, что многочисленные более длинные рукописи хуже: С. Уэст в своем исследовании птолемеевских папирусов правильно соглашается с этим»²⁷.

Если продолжить эту мысль, то характер чтений Аристарха свидетельствует не просто об осторожности филолога, но и о том, что он мог себе позволить эту осторожность в условиях стандартизации текста гомеровских поэм. Можно предположить, что Аристарху, су-

²⁵ Pfeiffer R. History of Classical Scholarship from the Beginnings to the End of the Hellenistic Age. Oxford, 1963. P. 67-73.

²⁶ Этот факт заметил еще Ф. А. Вольф (Op. cit. P. 183); впрочем, он считал, что александрийцы все-таки могли пользоваться изданием Аристотеля.

²⁷ Kirk G. S. Introduction // The Iliad: A Commentary, general editor G. S. Kirk. Vol. I. Cambridge, 1985. P. 22.

дя по тому, что почти все его варианты небольшие, уже не приходилось бороться с многочисленными вставками/пропусками, и он уже имел дело со значительно более стабильными версиями текста. Например, «точкой кристаллизации» гомеровской традиции мог бы быть текст Аристофана Византийского с исправлениями раннего Аристарха. В таком случае несовпадающие чтения Аристофана – это те, которые Аристарх заменил своими, а его собственные несовпадающие варианты – это те, которые он опубликовал позже, и они, оставшись в схолиях, не смогли повлиять на рукописи. Аргументом в пользу этого предположения может стать схолий к П. 19. 386, где указана хронология чтений великого александрийца: сначала он предлагает совпадающее чтение, затем вводит отличный от вульгаты вариант. Впрочем, все эти недоказуемые соображения гипотетичны, так что их следует считать лишь одной из многих возможностей, но отнюдь не окончательным ответом на вопрос о соотношении текста вульгаты и чтений Аристарха Самофракийского.

**THE RANSOM OF HECTOR AND BEYOND:
READING THE *ILIAD* IN THE 21ST CENTURY**

Nothing the peoples of Europe have produced
matches their first known poem.

Simone Weil, *The Iliad or the Poem of Force*

In Greek antiquity, the Homeric poems were being consumed – first listened to, then both listened to and read, and finally only read – consecutively during more than two millennia, from the eighth century B.C.E. until the dissolution of Byzantium in the fifteenth century. Even the transition to Christianity did not affect their status as canonical texts, and the *Iliad*, side by side with the *Psalms*, was the principal school text of the Eastern Empire. The situation was different in the Latin West. Since the Age of Augustus Rome saw Virgil's *Aeneid*, which both imitated the *Iliad* and the *Odyssey* and emulated them, as its own national epic that answered its educational and ideological needs much better than the Homeric poems. This is why in the Latin Middle Ages Virgil was universally read whereas Homer became a mere name. For Dante (1265–1321), he was still "Homer, the sovereign poet" (*Omero poeta sovrano*), but Dante never had the opportunity to read the *Iliad* or the *Odyssey*. The first modern translation of Homer, into Latin prose, was made several decades after Dante's death. But the true modern reception of Homer began only in the 17th and 18th centuries, with the appearance of the first translations of the *Iliad* and the *Odyssey* into modern languages.

It is generally recognized today that every act of reading is culturally conditioned, in that it embodies a contract, or an agreement, shared by the members of the community, about what a given text is supposed to deliver. This is communicated through cultural codes signalling the way in which the text is to be approached by readers. Let me clarify my point by quoting Wolfgang Iser's comment on the conventions involved in reading literary texts; although the passage as such addresses the conventions of fictionality, its emphasis on contractuary terms that condition the act of reading are of general relevance:

Literary texts contain a range of signals to denote that they are fictive. It would be tedious to run through the whole repertoire of these signals. More important than the repertoire is the fact that these signals are not to be equated exclusively with linguistic signs in the text. All attempts to treat them as linguistic have proved unsuccessful. For these signals can become significant only through particular, historically varying conventions shared by author and public. Thus the signals do not invoke fictionality as such but conventions, which form the basis of a kind of contract between author and reader.¹

At the time of the appearance of the first modern translations of the Homeric epics the contractual terms according to which they had been read in the ancient world were irrevocably lost. This is made manifest in the reaction of the reading public at the end of the 17th--the beginning of the 18th-century. During this period, the Homeric poems, and especially the *Iliad*, stood in the focus of the so-called La Querelle des Anciens et des Modernes or, as dubbed in English by Jonathan Swift, The Battle of the Books, a great controversy over the cultural canon. Even a cursory examination of books, pamphlets, and even poems dealing with the issue shows that rather often than not early modern readers considered the composition of the Homeric poems poor, their plot weak, the morals gross, the heroes brutal, the manners appalling, and the theology odious.² Even such a sympathetic reader of Homer as Giambattista Vico could not abstain from passing negative judgments as for example the following:

Not wisely behaved was he who aroused in the hearts of the vulgar crowd the feeling of pleasure stirred by the coarse actions of gods and heroes, as for example when we read [in the *Iliad*] of how, in the middle of the strife [of the gods], Mars calls Minerva a "dogfly" [21.394] and Minerva punches Diana [Venus, 21.424], whereas Achilles and Agamemnon, one the greatest of the Greek heroes and the other the leader of the Greek league, call each other a "dog" [1.

¹ Wolfgang Iser, *The Fictive and the Imaginary. Charting Literary Anthropology* (Baltimore and London 1993), 11).

² See esp. Joan DeJean, *Ancients Against Moderns. Culture Wars and the Making of a Fin de Siècle* (Chicago and London: 1997), 43-44, 95-108).

225], the name that in our times would barely appear on the lips of servants in the comedy.³

Yet, towards the end of the 18th—the beginning of the 19th century new contractual terms as regards the way in which the Homeric poems should be read started to develop. This was inextricably linked with two events of pivotal cultural significance--the rise of the historical approach and the emergence of the Romantic movement, both of which owed a clear intellectual debt to the Querelle. Yet, as distinct from the uncritical belief in unchanging human nature held by the earlier defenders of Homer and from the anachronistic criticism of his detractors, who saw their own times as the absolute standard of aesthetic judgment, the new approach treated each historical period as a phenomenon *sui generis* that is to be interpreted on the basis of its own criteria. Among the initiators of the historical approach were such pioneers of Homeric studies as Richard Bentley and Robert Wood in Britain and Christian Gottlob Heyne and Friedrich August Wolf in Germany. But it was above all the radical change in the taste of the reading public effected by Romanticism that firmly established Homer's position as a canonical author. Together with Shakespeare, Homer was now generally admired as the embodiment of natural genius, and the *Iliad* became the very poem on which German critics, first and foremost Schiller, built their influential theories of the objective and the naïve.

Together with translations of the Homeric poems into modern languages, their Greek originals became part of the elite school curriculum. As the texts of many authors, from Thackeray to Joyce, demonstrate, former schoolboys remembered their Homer very well and readily applied Homeric images and quotations whenever they saw fit. Even more important, they used Homer's myths and narratives to create myths and narratives of their own. It was above all this appropriation and re-use of Homer by new canonical authors that guaranteed the relevance of the *Iliad* and the *Odyssey* to the modern age. James Joyce, T. S. Eliot, Ezra Pound, W. H. Auden and other leading figures of 20th-century modernism used Homer freely as an integral part of the shared cultural language equally understandable to the authors and the reading public.

³ La scienza nuova 782. Third edition. Quoted from Giambattista Vico, *Opere*. A cura di Fausto Nicolini (Milan and Naples 1953), 730. My translation.

All this began to change after World War II. The modernization of the system of education, which led to a sharp reduction in the study of Greek and Latin in schools, was undeniably one of the factors; cultural pluralism, accompanied by increasing openness towards other cultural traditions, was another. But it was above all the advent of cinema and then TV that gave rise to a radical change in reading habits all over the world. The first to be affected was the genre of the epic, both ancient and modern. The sheer length of epic compositions has become a deterring factor, so much so that today only a few are prepared to read not only through the entire *Iliad* or *Mahabharata* but also through the entire *David Copperfield* or *War and Peace*.

As far as Homer is concerned, the situation thus created has resulted in a cultural break not dissimilar to the one that took place in the early modern period. Agreement as to what the Homeric poems are supposed to deliver no longer exists. While they are still generally respected, the *Iliad* and the *Odyssey* as a rule are not being read, and even when they are read it is increasingly difficult for readers to find their way through the epics. This is especially true of the *Iliad*. While the *Odyssey*, with its lively plot and universally appealing story of adventure and love, is still capable of attracting sympathetic readers, the very epic breadth of the *Iliad* makes readers lose themselves in the bulk of its digressions and the leisurely pace of its narrative. The grand design of the *Iliad*, its complex and sombre characters, its tragic but at the same time life-confirming wisdom – all of which, as I will argue below, render the *Iliad* uniquely relevant to our own times – have become inaccessible to the uninitiated.

To be sure, none of this is without precedent. The history of civilization abounds in examples of canonical texts that were ousted from their former position within the canon in order to make room for new works. We should not forget indeed that, as distinct from the ancient Greek civilization, for which Homer was truly a foundational text, for the Western tradition Homer has always been an acquired taste and, judging by the above-mentioned reception of the Homeric poems in the early modern period, not an effortlessly acquired one at that. It is not out of the question, therefore, that the moment has arrived when Homer should become again, just as in Dante's times, not much more than a revered name, a 'sovereign poet' standing for everything that is Greek and ancient without at the same time being actually read. It seems to me,

however, that in the last decade or so certain symptoms have appeared that ostensibly point in a quite different direction. It is perhaps still premature to treat these symptoms as new contractual terms that would make the *Iliad* speak not only to educated elites but also to a general readership. But first let me describe in outline what I see as a very promising new reading of the *Iliad* that has been evolving over recent years.

THE POEM OF FORCE?

The *Iliad* is an epic of war, and naturally war takes pride of place in the poem. As both Simone Weil's *The Iliad or the Poem of Force* (1941) and Auden's "The Shield of Achilles" (1952) demonstrate, it is this aspect of the poem that spoke most to readers who lived through the great wars of the 20th century. It should not be forgotten, however, that war is envisaged in the *Iliad* as an integral part of the fabric of life and a paradigm of human existence as such. This is why the significance of death in the poem goes far beyond each individual case of a warrior's death on the battlefield.⁴ Homer's treatment of death derives directly from his general view of mortality as humankind's existential condition. Nothing brings out this point better than the famous parable of leaves put in the mouth of the Trojan ally Glaukos in *Iliad* 6:

The generation of men is just like that of leaves. The wind scatters one year's leaves on the ground, but the forest burgeons and puts out others, as the season of spring comes round. So it is with men: one generation grows on, and another is passing away. (146-49)⁵

Significantly, the gods of the *Iliad* not only do not act as upholders of justice but even the principle itself seems to be alien to them.⁶ This is best illustrated by the "exchange deal" between Zeus and Hera described in *Iliad* 4. Although Zeus sympathizes with the people of Troy, who have always been particularly pious towards him, and is reluctant to

⁴ See esp. Jasper Griffin, *Homer on Life and Death* (Oxford 1980).

⁵ Here and elsewhere, I use the Penguin translation of the *Iliad* by Martin Hammond.

⁶ The literature is enormous. I would single out E. R. Dodds, *The Greeks and the Irrational*. (Berkeley, Los Angeles, London 1951), 1-33, and Hugh Lloyd-Jones, *The Justice of Zeus*. Revised Edition (Berkeley, Los Angeles, London 1983), 1-32, as two standard treatments representative of two different views of the subject. I concur with Dodds' view that "I find no indication in the narrative of the *Iliad* that Zeus is concerned with justice as such" (*ibid.* 32).

let the city be sacked, he eventually concedes it to Hera. His reason is two-fold: first, to put it into his own words, "I would not want such an issue as this to become a great quarrel between the two of us for the future" (37-38); second, he receives from Hera a free hand to destroy one of the three cities – Argos, Sparta, Mycenae – that are considered her special favourites. The question as to whether the inhabitants of the cities concerned deserve such a terrible punishment does not suggest itself at all. It would be sufficient to compare this with Genesis 18, the moral dispute between Abraham and God that precedes the destruction of the sinful cities Sodom and Gomorrah, to see that considerations of justice are not the ones that motivate the actions of the gods in the *Iliad*. Rather, the gods of the *Iliad* act like the blind forces of nature, which also do not distinguish between the innocent and the guilty.

The situation in the *Odyssey* is different. As Hugh Lloyd-Jones put it, "Few people doubt that the *Odyssey* is a poem in which Zeus and Justice play an important, and indeed a preponderating part: and few doubt that its theology is in some important ways different from that of the *Iliad*."⁷ The wrongdoers of the *Odyssey*—Aegisthus, Penelope's suitors, even Odysseus' companions (who sinned in that they ate the forbidden meat of the sacred cows of Sun)—are not only explicitly identified as such but are also all eventually punished by gods for their deeds, whereas the virtuous ones, first and foremost Odysseus himself, are duly rewarded. Theological considerations aside, there is no doubt that it is above all the fact that both the poet of the *Iliad* and its gods as a rule abstain from passing moral judgment on the behaviour of the characters that is mainly responsible for the artistic and philosophical depth of the poem.

Consider indeed the following. While the poem's characters repeatedly criticize themselves and each other, the poet of the *Iliad* consistently avoids judging their behaviour by the standards of "good" and "bad." To quote Jasper Griffin, "No feature of Homeric style is more important than this. The narrator depicts events in a way which leaves the understanding of their moral significance to the audience — an audience whose presence is never acknowledged."⁸ Owing to this narrative strategy, even Helen emerges as a tragic character trapped in a hopeless

⁷ Lloyd-Jones (n. 6), 28.

⁸ Jasper Griffin, "Homeric Words and Speakers." JHS 106 (1986), 39.

situation created by gods and her own folly. This withdrawal of moral judgment results not only in the famous impartiality of the *Iliad* (in the apt formulation of Simone Weil, “[i]t is difficult to detect that the poet is Greek and not Trojan”)⁹ but also in the remarkable roundedness of its characters.

THE RANSOM OF HECTOR, OR WHY THE *ILIAD* ?

On a more general plane, the withdrawal of moral judgment characteristic of the *Iliad* amounts to the poet’s silent recognition that life is much too complex a phenomenon to be assessed unambiguously in “either/or” categories. This is made especially clear in the reconciliation of Achilles and Priam in the concluding book of the poem. The climax of this memorable episode, a favourite with Greek rhapsodes and vase-painters, is the moment at which the old king of Troy does not hesitate to humiliate himself by prostrating himself before Achilles and kissing his hands – “those terrible, murderous hands, which had killed many of his sons” (24.479) – in order to retrieve the body of his beloved Hector. For the Greeks, Priam’s humiliation amounted to the highest form of courage, namely, heroic endurance, amply exemplified by the character of Odysseus in the *Odyssey*.¹⁰ This is why Achilles reacts to the Trojan king’s action with words of admiration and wonder: “How could you bear to come alone to the ships of the Achaeans, into the eyes of a man who has killed many of your brave sons? Your heart must be of iron” (24. 519-21).

In 1994, the encounter between Achilles and Priam was poetically re-composed in the “Ceasefire” by Michael Longley, a poem which was first published in the *Irish Times* in the week of the IRA ceasefire in Northern Ireland. Let me adduce the concluding lines of the poem:

I get down on my knees and do what must be done
And kiss Achilles' hand, the killer of my son.

Why do I see Longley’s “Ceasefire” as a turning point in the contemporary reception of Homer? First of all, because of the importance of the

⁹ Simone Weil, *The Iliad or the Poem of Force. A Critical Edition* by James P. Holoka (New York and Frankfurt am Main 2003), 66.

¹⁰ Margalit Finkelberg, “Odysseus and the Genus Hero,” *Greece and Rome* 42 (1995), 1-14.

concluding book of the *Iliad*. It is often being overlooked that the subject of the *Iliad* is neither the Trojan War as such nor the Quarrel of Achilles and Agamemnon but the Wrath of Achilles. This is made clear from the very first lines of the poem:

Sing, goddess, the wrath of Achilles, son of Peleus, the ruinous wrath which brought uncounted anguish on the Achaeans and hurled down to Hades many mighty souls of heroes, making their bodies the prey to dogs and the birds' feasting. (1. 1-5)

The direct cause of the Wrath is Achilles' quarrel with Agamemnon, which is described in Book 1. Yet, although Achilles and Agamemnon are reconciled in Book 19, this does not put an end to the Wrath. The death of Patroclus, the very event that brought Achilles to set aside his wrath against Agamemnon, channels this wrath, now more violent than ever, against Hector, Patroclus' slayer. Hector dies in Book 22; but the *Iliad* does not end until Hector's body has been ransomed by Priam in Book 24.

To fully assess the structural significance of the concluding book of the *Iliad*, we have to turn again to the poem's opening words, in which the poet asks the Muse to sing of "the ruinous wrath of Achilles," thus proclaiming the wrath of Achilles as the main theme of the poem. Note now that Achilles is the only one who is described in the poem in terms of development of character. The egocentric and wild youth of Books 1, 9, and 16 begins to be transformed after the death of Patroclus, and already in Book 18 he is represented as turning to a revaluation of his former behaviour. But only Book 24 brings forth what the Homeric scholar Paul Mazon called "the death of the Wrath,"¹¹ which means not only Achilles' reconciliation with Priam but first and foremost the essential humanization of his character. In that it presents a mirror image of the birth of the Wrath in Book 1, Book 24 not only superimposes upon the framework of the *Iliad* the first study of character in European literature but also endows the poem with a perfect structural harmony unparalleled in most traditional poetry. Thus, in choosing Achilles' reconciliation with Priam as the subject of his poem Longley put his finger on what was probably seen by the poet of the *Iliad* as its most important episode.

¹¹ Paul Mazon, Introduction à l'Iliade (Paris 1943), 230.

But there is more to this than just reasserting the importance of the Achilles-Priam encounter. In a letter to the Shakespeare Association of America, written shortly after the events of September 11, its President, Tony Dawson, suggested that, to do justice to the complexity of the present, Longley's "Ceasefire," the Ransom of Hector in the *Iliad* and Shakespeare's *Troilus and Cressida* should be read side by side. He wrote in this connection:

I find it more difficult to speak directly to students about their present, though I feel the need just now to do so—not to offer reassurance or (God bless us) jingoism, but rather the kind of complexity that, in our relations to the real, Shakespeare offers more fully than any other writer. But even Shakespeare doesn't cover everything—which is why I was led to bring him into relation with Homer and Longley. Reading *Troilus and Cressida* beside "Ceasefire" beside the *Iliad* yields a complex picture of the waste and shattered hopes of war, where loss and yearning go briefly hand in hand, and the hope of reconciliation sits down beside the most outrageous cynicism.¹²

Let us consider for a moment the arrangement of the scenes on the Shield of Achilles whose creation by the craftsman-god Hephaestus is described in *Iliad* 18.¹³ After the heavenly bodies in the first band around the boss, two cities appear in the second band, one at peace, in which both a homicide trial and a wedding ceremony are taking place, the other at war—in fact, like Troy, under siege; in the third band, there are agricultural scenes arranged in the order of the seasons of the farmer's year--ploughing, reaping, and the vintage; in the fourth, two pasture-land scenes, the one peaceful and the other violent, with the herd being devoured by lions; in the fifth, a festivity accompanied by dance and music, the whole surrounded by the river of Ocean, the traditional boundary of Earth. In that it encompasses war and death alongside peace and prosperity, loss and crime alongside gain and justice, the Shield of Achilles provides a model of life as advocated throughout the

¹² Tony Dawson. January 2002. Letter from the President of the Shakespeare Association of America. <http://web.mala.bc.ca/saa/Admin/PresLetter.htm>

¹³ See esp. Oliver Taplin, "The Shield of Achilles within the 'Iliad'", *Greece and Rome* 27 (1980), 1-21. Reprinted in Douglas L. Cairns (ed.), *Oxford Readings in Homer's Iliad* (Oxford 2001), 342-364.

Iliad—a vision, I must add, which is entirely different from Auden's vision in his *Shield of Achilles* but very close indeed to what we find in Longley's *Ceasefire*.¹⁴ That is to say, as far as the *Iliad* has a philosophy, what it conveys is this: life is inseparable from death and, cruel and messy as it is, it is decidedly worth living.

It is true that the *Iliad* presents a complex and often challenging reading. But it is hard not to agree with Dawson that rather more often than not the very complexity of the *Iliad* and its amazing tolerance to everything human renders it strikingly modern. In the 21st century, we need the *Iliad* more than ever. It does not matter that it can no longer be read as it was being read through the nineteenth and twentieth centuries or moreover as it was being read in ancient Greece. Again, it is perhaps still premature to speak of new contractual terms that would make the *Iliad* relevant to the new century. But reading the *Iliad* vis-à-vis the complexity of contemporary experience seems to suggest the direction in which these contractual terms may be profitably developed.

¹⁴ Cf. Taplin (n. 13), 17: "Auden was disturbed that the great poem of war should include the shield of Achilles, and insisted that art must present war in all its brutal inhumanity without such loopholes. But the *Iliad* is not only a poem of war, it is also a poem of peace. It is a tragic poem, and in it war prevails over peace—but that had been the tragic history of so much of mankind."

У КОГО И КАК ИЗУЧАЛ ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК Ф. М. РТИЩЕВ?

В научной литературе уже давно существует интерес к роли Федора Михайловича Ртищева (1625-1673) и основанного им Андреевского монастыря в просвещении России в XVII в., в распространении на русской почве изучения греческого и латинского языков¹. Хотя тему существования в Андреевском монастыре какого-либо серьезного учебного заведения после работ К. В. Харламповича можно считать закрытой², вопрос об изучении самим Ф. М. Ртище-

¹ См., например: (Горский А. В.) О духовных училищах в Москве в XVII столетии // Прибавления к творениям святых отцов в русском переводе. Год третий. М., 1845. С. 155-157; Каптерев Н. О греко-латинских школах в Москве в XVII веке до открытия Славяно-греко-латинской Академии // Творения святых отцов в русском переводе. Кн. IV. М., 1889. С. 613-615; Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. Время патриаршества Иосифа. М., 2003. С. 26-28; Козловский И. Ф. М. Ртищев. Историко-биографическое исследование. Киев, 1906; Харлампович К. Ртищевская школа // Богословский вестник. 1913. Апрель. С. 1-22 (на с. 6-7 — отсылки ко всем наиболее серьезным работам конца XIX — начала XX в., рассматривающим вопрос об Андреевском монастыре и его роли в истории русского просвещения); Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914. С. 126-137; Румянцева В. С. Ртищевская школа // Вопросы истории. 1983. № 5. С. 179-183; Она же. Андреевский училищный монастырь в Москве в XVII в. // Культура средневековой Москвы. XVII век. М., 1999. С. 292-304.

² Основополагающей здесь следует признать работу К. В. Харламповича «Ртищевская школа» (см. выше, прим. 1), где на базе архивных материалов рассмотрены все вопросы, касающиеся а) основания Ф. М. Ртищевым Андреевского монастыря и последующих десятилетий его существования, б) вызова Ртищевым монахов-учителей из Киева и в) роли Андреевского монастыря в истории русского просвещения середины — третьей четверти XVII в., и сделан убедительный вывод об ошибочности представлений относительно какого-либо серьезного значения этой обители в преподавании древних языков (особенно греческого) в Москве в указанное время.

На этом фоне по меньшей мере странной выглядит попытка В. С. Румянцевой представить Андреевский монастырь важным центром русского просвещения, где «существовала школа европейского образца» (Румянцева В. С. Андреевский училищный монастырь... С. 298). Заимствовав у Харламповича («Малороссийское влияние...». С. 133-134. Прим. 1 на с. 134) известие о

вым греческого языка продолжает оставаться в поле зрения исследователей, причем к известным уже в XIX – начале XX в. сведениям источников можно теперь добавить новые данные.

О том, что Ф. М. Ртищев «учитца ... у киевлян... греческой грамоте», в Москве стало известно, по-видимому, во второй половине 1649 г. Известие об этом вызвало в некоторых кругах общества отрицательное отношение: «...в той де (греческой. – Б. Ф.) грамоте и еретичества есть»³. Это, однако, не возымело никаких последствий, ибо та группа противников малороссийского влияния на русскую культуру, не принимавших насаждения в России знания не только латинского, но и греческого языков, не могла в тот период ни в какой мере противостоять уже оформившемуся стремлению московского правительства к созданию прочной основы просвещения, к призыванию православных учителей и появлению разного рода учебных заведений.

Можно предполагать, что Ртищев начал изучать греческий язык за несколько лет до указанного времени. Он был тесно связан с ар-

преподавании в течение двух лет, по-видимому, в конце 50-х гг. XVII в. латинского и польского языков иеромонахом виленского Духова монастыря Варлаамом, жившим у Ртищева в Москве и в Андреевском монастыре (курсив наш. — Б. Ф.), исследовательница, во-первых, сообщает об этом документе как о собственной находке (Румянцева В. С. Ртищевская школа. С. 182; Она же. Андреевский училищный монастырь... С. 298; в действительности, ее «заслугой» является знакомство в РГАДА с подлинным «делом», шифр которого указан Харламповичем уже в 1914 г.), во-вторых, заявляет, что «спорный вопрос» о школе в ртищевском монастыре решен ею окончательно и, наконец, утверждая, что Варлаам преподавал именно в Андреевском монастыре (Харлампович же осторожно предполагает, что это, скорее всего, происходило в Москве, в доме Ртищева: «Малороссийское влияние...». С. 134), «реконструирует» эту школу как учебное заведение «двух ступеней», состоявшее из младшего и среднего классов, где «преподавали... грамматику, риторику, философию, диалектику и богословие» (Андреевский училищный монастырь...». С. 299). Мало того, что исследователь без каких-либо оговорок «заимствует» указание на важный источник из работы такого выдающегося специалиста, каким был и остается в истории русско-украинских связей и просвещения XVII в. К. В. Харлампович, и объявляет это собственным «открытием», но еще и позволяет себе «восстанавливать» историю русской школы XVII столетия.

³ РГАДА. Ф. 141 (Приказные дела старых лет). 1650 г. № 31. Л. 1. См. также: Харлампович К. Ртищевская школа. С. 16; Он же. Малороссийское влияние ... С. 136.

химандритом Венедиктом, находившимся в Москве с марта 1646 до мая 1647 г. (Венедикт называет Ртищева своим духовным сыном⁴), и, возможно, сделал свои первые шаги по освоению греческого в занятиях с этим известным на Балканах дидаскалом⁵. Если это так, то занятия (как и общение) с Венедиктом требовали участия переводчика, так как греческий учитель, будучи образованнейшим человеком и свободно владея многими языками, не знал славянского и в своих отношениях с властями обходился с помощью Ивана Спиридонова сына Соболева⁶. Венедикт уехал из Москвы, по-видимому, в мае 1647 г. Никаких сведений для ответа на вопрос, сыграл ли он какую-либо роль в обучении Ртищева греческому языку, мы не имеем. Существует лишь один способ получить об этом некоторое представление.

В Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова хранятся два экземпляра изданий Московского Печатного двора XVII в.: Лествица Иоанна Синаита 1647 г. и Евангелие толковое 1649 г.⁷ На нижнем поле л. 5 (второго счета) первой книги и л. 7 – второй находятся писанные по-гречески одинаковые владельческие записи:

Εκ τ(ῆς) βιβλιοθήκης Евангелие:

βιβλιοθήκης) τοῦ Θεοδώρου Μηχαηλίδεος Ἰρτηστζεβίου Евангелие:

Ἰρτηστζεβίου), τοῦ κουβικουλάριου Евангелие:

Κουβικουλάριου) κ(αὶ) Στρωννύτου (Евангелие: Στρωννύτου) βασιλικῶ (Евангелие: βασιλικου) «Из библиотеки Федора Михайловича Ртищева, кувикулярия и царского постельничего»). (Рис. 1-2). Обе записи, несмотря на незначительные отличия, могли быть сделаны в одно время, быть может, вскоре после получения Ртищевым

⁴ См.: Бычков И. А. Каталог собрания славяно-русских рукописей П. Д. Богданова. Вып. I. СПб., 1891. С. 144-145.

⁵ О нем см.: Фонкич Б. Л. Греко-славянские школы в Москве в XVII в. М., 2009. С. 27-41.

⁶ См.: Флоря Б. Н. Вопрос о создании греческого училища и греческой типографии в Москве в 30–40-х годах XVII в. // Греческая культура в России. XVII–XX вв. М., 1999. С. 16.

⁷ Их шифры соответственно: 5Oh513 (инв. 2746-11-80) и 5Oh 442 (инв. 5312-19-77). Об этом экземпляре Лествицы см.: Поздеева И. В. Конкретно-исторические знания и искусство истории (Историческая информация записей на книгах) // Книга. Исследования и материалы. Сб. 71. М., 1995. С. 113.

чина окольного (6 января 1656 г.)⁸; царским постельничим он был с 1648 г.

Почерк этих записей позволяет сделать несколько немаловажных наблюдений. Можно было бы ожидать его сходство (хотя бы до определенной, достаточной для уверенного заключения, степени) с почерком архимандрита Венедикта, предполагаемого учителя Ртищева. Если бы Ртищев *начал* свои занятия греческим языком с Венедиктом, он почти обязательно подражал бы при воспроизведении греческих букв своему учителю-греку⁹, и тогда его греческие записи в немалой степени были бы близки по своему начертанию к почерку Венедикта (Рис. 3). Однако никакого сходства мы не наблюдаем. Почерк владельческих записей Ртищева скорее напоминает шрифты печатных греческих книг XVI – XVII вв.

Легко заметить, что греческое письмо для Ртищева – непривычная, «неродная» стихия, написание греческих букв и слов – занятие исключительно редкое. Отсюда – аккуратное выписывание каждой буквы, разный наклон букв даже в пределах одного слова, наличие ударения в определенном слове одной записи и его отсутствие на том же месте – в другой записи.

Сделанные наблюдения свидетельствуют о том, что Ф. М. Ртищев не получил систематических начальных знаний греческой грамматики, не приобрел навыков греческого письма. Скорее всего, можно думать, что у него при общении с многочисленными греками в Москве в 30–40-х гг. XVII в. возник интерес к греческому языку, однако не было возможности начать и затем постоянно, без значительных перерывов продолжать его изучение. Ртищев пытался овладеть азами греческого самостоятельно, с помощью греческих печатных книг,

⁸ Едва ли можно сомневаться в соответствии византийского *κουβικουλάριος* и древнерусского «окольный»: Ртищев, как известно, имел два чина — постельничий и окольный; соответственно два чина он называет и в своих владельческих записях.

⁹ Как мы можем это наблюдать на примере почерков Арсения Елассонского и его учеников, а также Иоанникия Лихуда и его учителя Герасима Влаха или многочисленных учеников Славяно-греко-латинской Академии и Софрония Лихуда. См.: Фонкич Б. Л. Греческие рукописи и документы в России в XIV–начале XVIII в. М., 2003. С. 336; Рамазанова Д.Н. История просвещения XVI–XVII вв. и палеографический метод. Учитель–ученик // Хризограф. Вып. 3. М., 2009. 179–187.

которых и в Кремле, и на Печатном дворе было к тому времени уже немало, а также беря «уроки» у находившихся в Москве греков, вроде Венедикта, или у русских знатоков греческого языка¹⁰, но каких-либо твердых знаний, как это видно из текста двух владельческих записей, ему до 1647 г., пока в русской столице больше года жил архимандрит Венедикт, приобрести не удалось.

В июле 1649 г. в Москву «ради научения славенороссийского народа детей еллинскому наказанию» приехал Епифаний Славинецкий¹¹. Хотя мы не располагаем никакими сведениями о его школе, тем не менее совершенно ясно, что, спустя несколько месяцев после своего прибытия в Россию, Епифаний начал в Москве обучение греческому языку. Именно в это время его учеником и оказался Ф.М. Ртищев; слова «учится у киевлян Федор Ртищев греческой грамоте», сказанные в марте 1650 г., можно истолковать только в одном смысле – что он изучал греческий язык у Епифания Славинецкого: других «киевлян», которые могли бы в конце 1649–начале 1650 г. преподавать в Москве эту дисциплину, не известно. Однако никаких источников для освещения связи Ртищева с Епифанием на почве изучения греческого языка не существует¹².

¹⁰ Как, например, Никифор Симеонов, который был духовником его отца, М. А. Ртищева. См.: *Кашкин Н.* Ртищев Михаил Алексеевич // *Русский биографический словарь*. Том Романова–Рясовский. Пг., 1918. С. 341.

¹¹ См.: *Evangelienübersetzung des Jepifanij Slavynec'kyj*, Moskau 1673. Facsimile-Ausgabe /Besorgt und eingeleitet von O. B. Strakhov. Paderborn –München –Wien –Zürich, 2002. S. XVII–XVIII; *Фонкич Б. Л.* Греко-славянские школы в Москве в XVII веке. С. 41–48.

¹² Единственным, пожалуй, исключением является знание Ртищевым соответствия русскому «окольничий» византийского чина «кувикулярый» — этим знанием он, несомненно, обязан Епифанию. Впрочем, в Греко-латино-славянском Лексиконе последнего (ГИМ. № 488. Л. 411 об.) это греческое слово отсутствует.

ПОЛИКРАТ, ЭСХИН И РЕЧЬ АЛКИВИАДА В ПИРЕ

Пир – последний текст Платона, где речи играют самостоятельную роль, он замыкает группу *Апология*, речь *Менексена*, три речи *Федра*. Для датировки трех из названных текстов есть «внешние критерии»: *Апология* написана после 392 (Поликратово Обвинение Сократа и постановка *Экклесиазус* Аристофана); *Менексен* – после 386 (Анталкидов мир); *Пир* – после 385 (разрушение Мантинеи и расселение ее жителей спартанцами). Поэтому можно говорить примерно о десятилетии, когда Платон преимущественно занят публикацией речей: в четырех названных текстах их 12; это число возрастает до 14, если учесть речи из *Протагора*, хотя в этом диалоге они уже менее самостоятельны.

Платон успешно соревнуется с лучшими писателями речей: судебных (*Апология* спорит с Лисием), политических (речь *Менексена* спорит с речью Перикла у Фукидида и, возможно, с Горгием) и эпидиктических – парадоксальных (первая речь *Федра* приписана Лисию и содержит отсылки к Антисфену, вторая – к Исократу) и энкомиев (*Пир*, где, в частности, тема красоты и любви перекликается с *Еленой* Исократа, речь *Федра*, ученика Лисия – спорит с Лисием, речь Агафона воспроизводит Горгия).

Образ Сократа в похвальной речи Алкивиада в *Пире* связан с *Апологией* (cf. *Apol.* 31b4-5: ...ὥσπερ πατέρα ἢ ἀδελφὸν πρεσβύτερον и 219d1-2: ...μετὰ πατρός ... ἢ ἀδελφοῦ πρεσβυτέρου), но Платон существенно развивает его, поскольку на сей раз он спорит с тем обвинением Поликрата, которого в *Апологии* не касался: суть этого обвинения, согласно Либанию, состояла в том, что Сократ, наедине встречаясь с юношами, влюбленными в него (μόνους ἔχων τοὺς ἐραστάς), развращал их еще больше, чем в своих общедоступных беседах (Liban. *Decl.* I, 114.1-5). Именно поэтому Алкивиад у Платона подчеркивает, что в своей речи расскажет то, о чем никто не знает: о своих тайных встречах с Сократом один на один (217b1: μόνος, 3-4: μόνος μόνῳ). Но обратил внимание Платона на тему любовных отношений Сократа с его учениками, намеченную Поликратом, Эсхин.

Эсхин привлек внимание Платона, поскольку в *Алкивиаде* он использовал созданный Платоном в *Апологии* образ Сократа, который не владеет никаким искусством (*Apol.* 20b9-c3: καὶ ἐγὼ τὸν Εὐήνων ἐμακάρισα εἰ ὡς ἀληθῶς ἔχοι ταύτην τὴν τέχνην... ἐγὼ γοῦν καὶ αὐτὸς... ἤβρυνόμην ἂν εἰ ἡπιστάμην ταῦτα· ἀλλ' οὐ γὰρ ἐπίσταμαι, cf. Aesch. frg. 11a1-2 Dittmar = SSR VI A 53.4-6: 'Εγὼ δ' εἰ μὲν τι τέχνη ὥμην δύνασθαι ὠφελῆσαι πάνυ ἂν πολλὴν ἐμαυτοῦ μωρίαν κατεγίνωσκον) и не знает никакой науки (*Apol.* 33b5-6: μήτε ὑπεσχόμην μηδενὶ μηδὲν πώποτε μάθημα μήτε ἐδίδαξα, cf. Aesch. frg. 11c5-6 Dittmar = SSR VI A 53.26-27: ἐγὼ οὐδὲν μάθημα ἐπιστάμενος ὁ διδάξας ἄνθρωπον ὠφελῆσαιμ' ἂν). Но Платон в *Пире* сознательно противопоставляет своего Сократа Сократу Эскина.

1) у Эскина Сократ влюблен в Алкивиада (ср. ученический поздний диалог *Алкивиад I*), у Платона – Алкивиад в Сократа;

2) у Эскина Сократ ставит в пример Алкивиаду Мильтиада, у Платона Алкивиад говорит, что речи политиков не трогают его по сравнению с речами Сократа;

3) у Эскина Сократ ничего не знает, у Платона в *Пире* – прикидывается незнающим (216d3-5: ἀγνοεῖ πάντα καὶ οὐδὲν οἶδεν... τοῦτο γὰρ οὗτος ἔξωθεν περιβέβληται);

4) у Эскина ничего не знающий Сократ подводит Алкивиада к осознанию своих недостатков, у Платона Алкивиад, слушая некие речи Сократа, сам стремится услышать все, что тот знает (217a4-5: πάντ' ἀκοῦσαι ὅσαπερ οὗτος ἥδει – вне полемического контекста речи Алкивиада это заявление, как и предшествующее, выглядит у Платона очень странно, потому что в речи Алкивиада Сократ под личиной неведения полон знаниями);

5) у Эскина Алкивиад в раскаянии плачет на коленях Сократа, у Платона – бежит от него прочь, продолжая активно заниматься государственными делами (дело происходит в 416 году)...

Алкивиад сравнивает Сократа с Марсием, действительным автором тех напевов, которые играл Олимп и которые даже в исполнении плохой флейтистки обнаруживают свою божественность (215b8-c6), и замечает, что речи Сократа производят впечатление на всех, даже когда их пересказывает совсем ничтожный рассказчик (215d4: ...ἄλλου λέγοντος, καὶ πάνυ φαῦλος ἦ ὁ λέγων). Это замечание подчеркивает полемический характер *Пира*, понятный со-

временникам, и намекает на литературных соперников Платона, писавших о Сократе.

Отметим, что в *Пире* отсутствует специальное внимание Платона к технике ведения бесед: διαλέγεσθαι и ἔλεγχος употребляются только в своих бытовых значениях. Литературная техника речей занимает Платона гораздо больше, что можно считать приметой всех текстов, опубликованных им с конца 90-х до конца 80-х годов.

СОДЕРЖАНИЕ

Юрий Шичалин МНОГАЯ ЛЕТА	5
Михаил фон Альбрехт QUID AUGUSTINUS DE RE PUBLICA CENSUERIT	12
Дмитрий Афиногенов ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРДАНАПАЛА В ВИЗАНТИИ	18
Михаил Бибииков ПРОСТРАНСТВО ВИЗАНТИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ	26
Нина Брагинская ПОЧИТАНИЕ «МУЧЕНИКОВ МАККАВЕЙСКИХ» У ЕВРЕЕВ И ХРИСТИАН	35
Юрген Вернер WISSENSCHAFT IN ANEKDOTEN	73
Николай Гринцер ОБ ЭТИМОЛОГИИ θεός В ЛИТЕРАТУРНОЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ V в. до н.э.	77
Владимир Жданов ГОРОД ТРЕВОЖНО НАЧАВШЕЙСЯ ЮНОСТИ	97
Яна Забудская РЕЦЕПЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ СЮЖЕТОСЛОЖЕНИЯ ДРЕВНЕЙ КОМЕДИИ	104
Валентина Завьялова КИРЕНСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО КАССАНДРЫ У ЛИКОФРОНА	117

Ольга Иванова АННЕНСКИЙ И ЧЕХОВ, или ФИЛОЛОГ-КЛАССИК ПРОТИВ «ЧЕЛОВЕКА В ФУТЛЯРЕ» (из записок переводчика)	128
Наталья Крофтс МОЯ ОДИССЕЯ	135
Анна Курилова РУКОПИСНЫЕ РОССИЙСКИЕ РИТОРИКИ XVIII ВЕКА НА ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ О ХВАЛЕБНЫХ РЕЧАХ	138
Ольга Левинская ДЕМЕТРА-ВЕЯТЕЛЬНИЦА (об одном гомеровском сравнении)	149
Надежда Малинаускене КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА А. А. ТАХО-ГОДИ (1969 / 70 уч. г.): ЖИВАЯ НИТЬ	157
Татьяна Мальчукова «И ЗАПОВЕДАННОЙ ОГРАДЫ КАСАЯСЬ ЖГУЧИМ КОЛЕСОМ» (К оценке перевода А. С. Пушкина из Горация Carm. I, 1)	170
Евдокия Нестерова ОСОБЕННОСТИ РОЛИ И ФУНКЦИИ ПРЕДМЕТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЖ. Р. Р. ТОЛКИЕНА	185
Олег Никитинский ЛАТИНИСТИКА И ЭТРУСКОЛОГИЯ. INEDITUM: ПИСЬМО ЯКОПО ФАЧЧОЛАТИ А. Ф. ГОРИ	198
Анна Новохатько ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΝΑ, ИЛИ О ПОЭТИКЕ ЭПИХАРМА	204

Ольга Осипова ДИОНИСИЙ ГАЛИКАРНАССКИЙ О КОМПОЗИЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ	216
Александр Подосинов СТРАНСТВОВАНИЯ ИО В «ПРОМЕТЕЕ ПРИКОВАННОМ» ЭСХИЛА И АРХАИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА ГРЕКОВ	224
Ольга Савельева СПОКОЙСТВИЕ / ТИШИНА У ПИНДАР В ПИФИЙСКОЙ 8. 1 – 12.	239
Ольга Самар ΚΛΕΟΣ ΑΦΘΙΤΟΝ СЮЖЕТЫ ТРОЯНСКОГО ЦИКЛА В АТТИЧЕСКОЙ ВАЗОПИСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ VI в. КАК ВОЗМОЖНЫЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ТЕКСТА	250
Татьяна Самойленко НА СТЕНАХ СЕРЕБРЯНОГО ЗАМКА. Опыт интерпретации	267
Марина Славятинская ЯЗЫК ГОМЕРА И СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВИСТИКА (НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ)	276
Ольга Смыка СОННИК МАГА АСТРАМПСИХΑ	299
Василий Соколов В ГОСТЯХ У АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВИЧА И АЗЫ АЛИБЕКОВНЫ	304
Алексей Солопов О ЗНАЧЕНИИ ЛАТИНСКОГО СЛОВА <i>uaccīnium</i> (по поводу Verg. ecl. 2, 18)	308

Мария Таривердиева ИЗ ИСТОРИИ АНТИЧНОГО НАСЛЕДИЯ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙ- СКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ	325
Тамара Теперик ПОЭТИКА СНОВИДЕНИЯ В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ: «ЭЛЕКТРА» СОФОКЛА	332
Анна Успенская ТРЕТЬЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГИМНАЗИЯ	343
Владимир Файер ARISTARCHEA	356
Маргалит Финкельберг THE RANSOM OF HECTOR AND BEYOND: READING THE <i>ILIAD</i> IN THE 21ST CENTURY	370
Борис Фонкич У КОГО И КАК ИЗУЧАЛ ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК Ф. М. РТИЩЕВ?	380
Юрий Шичалин ПОЛИКРАТ, ЭСХИН И РЕЧЬ АЛКИВИАДА В <i>ПИРЕ</i>	387